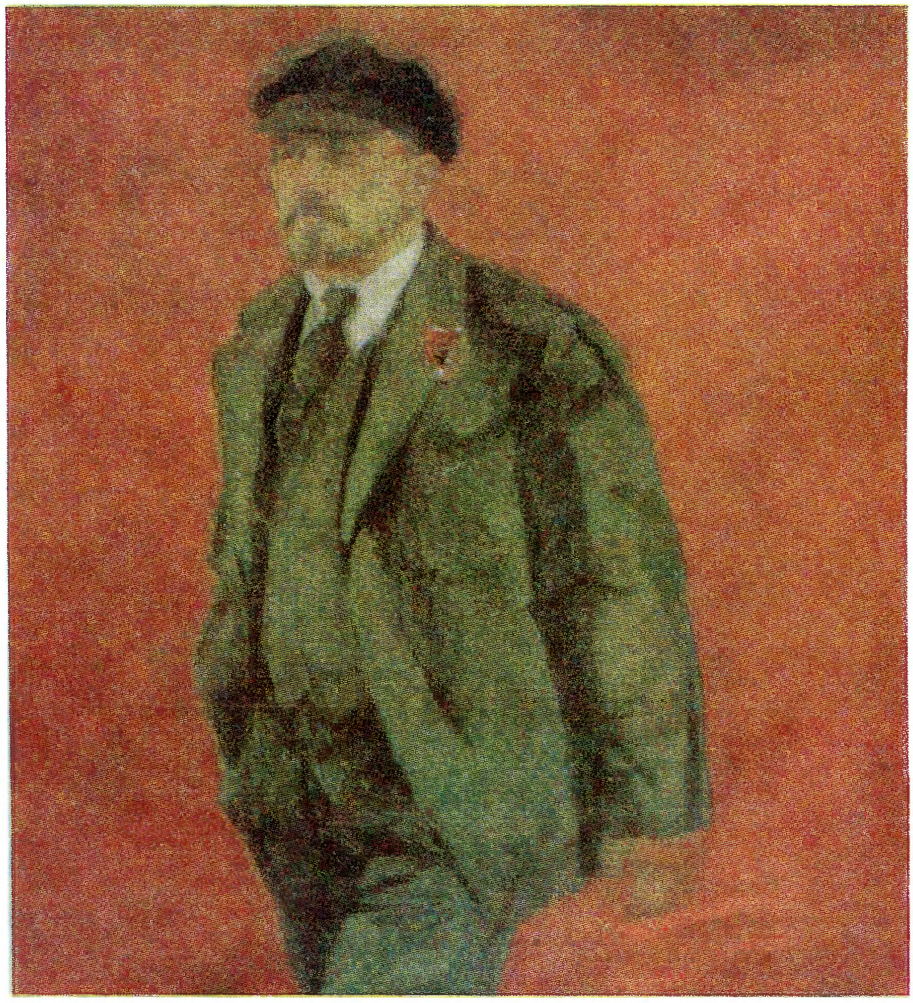
ISSN 0130 – 6545

4. 1982

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

4 апрель 1982

Содержание

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — Концерт барокко *(Повесть. Перевод с испанского Р. Линцер)* 3

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — Из книги стихов «Пока еще здесь» *(Перевод с английского Андрея Сергеева)* 36

СОНОМЫН ЛОЧИН — Исповедь двух героев *(Роман. Перевод с монгольского Г. Матвеевой)* 41

ЛАРС ГУСТАФСОН — Стихи *(Вступление Алексея Парина. Переводы с шведского Алексея Парина и Наталии Булгаковой)* 101

ЭММА СМИТ — Только раз в жизни *(Роман. Перевод с английского Л. Огульчанской)* 107

Критика

Анкета «Иностранной литературы»

Ответственность таланта. Слово — писателям мира *(Герман Кант, Фернандо Намора, Бхишам Сахни, Джон Фаулз, Сэнгийн Эрдэнэ)* 165

Наш календарь

МОРИС ВАКСМАХЕР — Цветы мы еще принесем *(К 60-летию со дня рождения Жака Стефена Алексиса)* 169

Наши публикации

Последняя пьеса Гарсиа Лорки *(Вступление и перевод с испанского Н. Малиновской)* 172

Трибуна переводчика

ВЕРА ПОТАПОВА — Сегодня... или полторы тысячи лет назад *(Лирический комментарий)* 182

Культура и современность

М. САЛГАНИК — «Люблю Люси», или Колонизация культуры ◆ В. ЛУГОВАЯ — В защиту литературы и труда писателя в США 186

Публицистика

Н. ФЕДОРЕНКО — ...Мечи на орала 193

Запад: права человека

ГАРРИ МАУРЕР — Без работы. История безработных — из первых уст *(Вступление М. Лапицкого. Перевод с английского В. Воронина)* 205

Северяне о себе

ТОМАС ФРЕДЕРИКСЕН — Дневник гренландца *(Перевод с датского Л. Горлиной)* 218

Д. УХОВ — Рок-музыка. Взгляд из 80-х 228

Наши гости

Л. Савельева — Писатели Югославии 239

Среди книг

Издано в СССР

И. Попов — «Да» Карла Сэндберга ◆ В. Маркова — Дорожная тушечница ◆ А. Желоховцев — Литература островной республики 241

Издано за рубежом

Вл. Солоухин — Преодоление пространства ◆ К. Чугунов — Без экзотики ◆ В. Иорданский — Когда арена — народное воображение 246

Из месяца в месяц 251

На 1-й странице обложки — фрагмент картины болгарского художника ВЛАДИМИРА ГОЕВА «В. И. Ленин».

© «Иностранная литература», 1982.

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР

Концерт барокко

ПОВЕСТЬ

Перевод с испанского Р. ЛИНЦЕР

Радостно пойте...
Псалом 80.

з серебра узкие ножи, изящные вилки; из серебра большие блюда с чеканкой в виде серебряного дерева, чьи листья хранили, бывало, в своих углублениях жирные соки жаркого; из серебра фруктовые вазы — три круглые тарелки, надетые одна над другой на стержень, увенчанный серебряным гранатом; из серебра винные кувшины, сработанные серебряных дел мастерами; из серебра блюда для рыбы, и на каждом — выпуклая серебряная султанка плывет над сплетенными водорослями; из серебра солонки, из серебра щипцы для орехов, из серебра ложечки, украшенные монограммами... И все это потихоньку, неторопливо, с заботой, чтобы не звякнуло серебро о серебро, укладывается в темные глубины деревянных ящиков, багажных корзин, сундуков с надежными запорами, под бдительным оком закутанного в халат Хозяина, и он один, только он, время от времени разрешал серебру зазвенеть, когда мастерски мочился, метко направляя мощную струю в серебряный ночной сосуд с лукаво подмигивающим серебряным глазом на дне, сразу же ослепленным пеной, которая, отразив в себе столько серебра, тоже начинала серебриться...

— Сюда — то, что остается,— говорил Хозяин.— Туда — все, что поедет.

Среди подготовленного к отправке не так много серебра — кое-какая столовая посуда, набор кубков и, конечно, сосуд с серебряным глазом, но главное — шелковые рубашки, короткие шелковые панталоны, шелковые чулки, китайские шелка, японский фарфор — сервиз для утреннего чая, а чай, как вам известно, лучше всего пить в приятном обществе,— и манильские шали, совершившие путь через просторы западных морей. Франсискильо — лицо у него замотано, словно узел с бельем, в голубой платок, прижимающий мягчительные листья к раздутой флюсом правой щеке,— во всем подражал Хозяину и даже мочился так же, как он, правда, не в серебряный сосуд, а

АЛЕХО КАРПЕНТЬЕР — ALEJO CARPENTIER (1904—1980).

Кубинский писатель — романист, поэт, эссеист, искусствовед. Автор романов и повестей, переведенных на многие языки мира, в том числе на русский, «Царство земное», «Потерянные следы», «Век просвещения», сборника рассказов «Война времени», книги «Музыка Кубы» и др.

В «Иностранной литературе» напечатана его повесть «Погоня» (1974, № 8), роман «Превратности метода» (1977, № 9, 10), статья «Значение Льва Толстого для Латинской Америки» (1960, № 11).

Повесть «Концерт барокко» («Concierto barroco». La Habana, Editorial Arte y literatura) вышла в Гаване в 1975 г.

в глиняный горшок. Он тоже ходил из патио в галерею, из прихожей во внутренние покои, бормоча, словно церковный служка: «Сюда — то, что остается... Туда — то, что едет».

И так прекрасны были в лучах заходящего солнца шали и шелка, серебряные блюда, китайские и японские изделия, покоившиеся среди стружек, где предстояло им мирно спать либо терпеть превратности далекого пути, что Хозяин, все еще в халате и колпаке — в этот вечер прощальных визитов не ожидалось и можно было не переодеваться,— предложил слуге, после того как были заперты все ящики, сундуки, корзины и ларцы, разделить с ним кувшин вина. Затем, прогуливаясь медленным шагом, он принялся разглядывать упакованные вещи, затянутую чехлами мебель, картины, которые остались висеть на стенах. Вот портрет племянницы-монахини: в белых одеждах, с длинной нитью четок, осыпанная драгоценностями и цветами, взгляд у нее, пожалуй, слишком пылкий — она изображена в день, когда стала невестой господней. Напротив, в черной квадратной раме, портрет владельца дома, нарисованный с каллиграфическим мастерством: кажется, будто художник сделал его одной линией — петлистой, скрученной завитками, раскрученной и снова закрученной,— ни разу не оторвав перо от холста. Но самая великолепная картина была там, в зале для балов и приемов, где подавались атоле [1] и шоколад,— на этой картине европейский художник, проездом побывавший в Койоакане [2], запечатлел величайшее событие в истории страны. Монтесума, изображенный не то римлянином, не то ацтеком, каким-то Цезарем в головном уборе из перьев кецаля, восседает на троне ватикано-мичоаканского стиля, под балдахином, который держат над ним два воина, а рядом стоит растерянный племянник императора — Куаутемок с миндалевидными глазами на лице юного Телемака. Перед ним — Эрнан Кортес, в бархатном берете, со шпагой на поясе, дерзко поставил сапог на первую ступень императорского престола и замер в подобающей конкистадору горделивой позе. Позади фрай [3] Бартоломе де Ольмедо, в одеянии мерсенария, с не очень дружелюбным видом потрясает крестом, а донья Марина в сандалиях и юкатанской хламиде, раскинув руки, видимо, выступает посредницей и переводит владыке Теночтитлана слова испанца. Все написано маслом, густыми мазками, в итальянском вкусе старых времен — теперь же в Италии небеса на сводах с изображениями поверженных титанов подобны своей ясной синевой настоящему небу, а художники пользуются светлой солнечной палитрой. На заднем плане видны двери с драпировками, из-за которых выглядывают любопытные лица индейцев, жадно взирающих на разыгравшуюся перед ними драму, индейцев, как будто сошедших со страниц какого-нибудь рассказа о путешествии в татарское ханство...

Дальше, в маленькой гостиной, дверь из которой вела в туалетную комнату с парикмахерским креслом, можно было полюбоваться тремя фигурами кисти Rosalba pittora [4], знаменитой венецианской художницы, чьи картины славили в блеклых тонах — серых, розовых, бледно-голубых, зеленоватых — красоту женщин, далеких и оттого еще более прекрасных. «Три прекрасные венецианки» называлась пастель Росальбы, и Хозяин подумал, что, в конце концов, венецианки эти не так уж далеки, принимая во внимание, что вскоре он сам познакомится с куртизанками — серебра для этого ему не занимать,— которых превозносят в своих писаниях многие прославленные путешественники; скоро и он будет забавляться «игрой в звездочеты», которой, по слухам, там все увлекаются,— другими словами,

[1] Сладкий напиток из молока с кукурузной мукой. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Селение в Мексике, ныне район мексиканской столицы.

[3] Брат (сокращенно от фрайле) — монашеское звание (в данном случае — монаха, принадлежащего к военно-религиозному ордену Мерсед).

[4] Художница Росальба *(итал.)*.

спрятавшись в гондоле с приспущенными занавесками, скользить по узким каналам и подстерегать неосторожных красоток, когда те, зная, что за ними подсматривают, но изображая полнейшую невинность, поправляют спустившееся с плеча платье и, случается, показывают мимолетно, однако не так уж мимолетно, чтобы не наглядеться всласть, розовое яблоко груди... Хозяин вернулся в большую залу и мимоходом, попивая вино из нового бокала, прочел двустишие Горация, что велел он выбить над одной из дверей в насмешку над старыми друзьями лавочниками, не говоря уж о нотариусе, инспекторе мер и весов и священнике, переводчике Лактанция [5],— которых, за отсутствием людей лучшего положения и звания, он принимал, чтобы поиграть в карты или откупорить прибывшую из Европы бутылку:

И доблесть старого Катона
Часто вином, говорят, крепилась [6].

На галерее, где уже уснули птицы, раздались приглушенные шаги. Появилась ночная гостья, закутанная в шаль, печальная, заплаканная, притворщица, нацелившаяся на прощальный подарок — роскошное ожерелье из золота и серебра, камни на вид хороши, но, ясное дело, завтра же надо снести их к какому-нибудь ювелиру — узнать, чего они стоят. В перерыве между рыданиями и поцелуями она требует вина получше, чем то, что в графине, из которого они пьют: пусть себе считается, будто оно из Испании, а дает осадок, лучше и не взбалтывать, она-то знает в этом толк, такое вино хоть в клизму наливай, хоть мой себе это самое место,— выкладывала она все словечки, украшавшие ее разухабистую речь,— пускай пьют его Хозяин и слуга, тоже мне ценители тупоголовые! — А тебя, что ли, во дворце на свет породили, надралась вот сегодня ночью, да ведь ты поломойкой была, за кукурузный початок на работе надрывалась, когда, причастившись святых даров и получив папское благословение, скончалась моя добрая, чистая супруга!.. Но вот Франсискильо, нацедив вина из самого заветного бочонка, сразу укротил ее язык и распалил дух, и ночная гостья, выставив напоказ груди, уселась, бесстыдно скрестив ноги, а рука Хозяина уже запуталась в кружевах ее нижней юбки, стремясь к зною segrete cose[7], воспетому Данте. Прислужник, стараясь поддержать настроение, взял свою гитару и пел утренние псалмы царя Давида, затем перешел к дневным песням о неверных красавицах: о, я покинут, любимая скрылась и никогда не вернется, а я страдаю, страдаю, страдаю от вечной любви,— пока Хозяину не надоела эта старая дребедень и он, усадив ночную гостью на колени, не велел спеть что-нибудь более современное, что-нибудь из того, чему учили в школе, куда он немало денег переплатил за его уроки. И по обширным покоям каменного дома, под сводами, расписанными розовыми ангелочками, среди ящиков — тех, что остаются, и тех, что едут,— набитых серебряными тазами и кувшинами, серебряными шпорами, серебряными пуговицами, серебряными ларчиками, понесся голос слуги, с особым местным акцентом произносившего слова итальянской песни, вполне подходящей в этот день,— песни, которой маэстро научил его накануне:

Ah, dolente partita,
Ah, dolente partita!..[8]

Но тут раздался стук дверного молотка у главного входа. Голос певца прервался, а Хозяин, положив руку на струны, приглушил гитару: «Поди-ка взгляни... Но никого не пускай, хватит уже, целых три дня прощаются...» Вдали заскрипели дверные петли, кто-то от имени сопровождающих попросил прощения, смутно послышалось

[5] Лактанций (260—325) — автор ряда богословских и исторических сочинений.
[6] Гораций. Оды, книга III, ода 21. (Перевод Н. И. Шатерникова.)
[7] Тайный уголок *(итал.)*.
[8] Ах, печальный отъезд!.. *(итал.)*.

«благодарю, благодарю вас», потом «потише, не разбудите его» и пожелания на разные голоса «спокойной ночи».

Слуга вернулся, неся свернутый рулоном большой лист голландской бумаги, где четким, округлым почерком были записаны последние поручения и просьбы — из тех, что приходят на ум остающимся, когда путник уже вдел ногу в стремя,— его друзей и сотрапезников...

Бергамотовое эфирное масло, мандолину с перламутровыми инкрустациями в кремонском вкусе — для дочери — и бочоночек марраскина из Зары просил инспектор мер и весов. Два фонарика, по болонской моде, к налобнику для упряжных лошадей просил Иньиго, серебряных дел мастер, наверняка намереваясь взять их за образец для новых изделий в угоду местным заказчикам. Один экземпляр «Bibliotheca Orientalis» [9] от халдея Ассемино, торгующего книгами в Ватикане, просил священник, кроме нескольких «римских монеток» — конечно, если это не слишком дорого! — для своей нумизматической коллекции, и еще, по возможности, яшмовую трость с золоченой рукоятью (совсем не обязательно, чтобы золотая), какие присылают в длинных чехлах, подбитых алым бархатом. Нотариус мечтал о некой редкости — колоде карт неведомого здесь рисунка, придуманной якобы художником Микеланджело, чтобы обучать детей арифметике, причем вместо обычных мастей, червовой, трефовой, бубновой и пиковой, на картах красовались звезды, солнце и луна, папа римский, дьявол, смерть, повешенный, безумец — последняя карта сводила на нет всю игру — и трубы Страшного суда, которые означали победный выигрыш. («Все это для ворожбы и гадания»,— уверяла женщина, прислушиваясь к чтению списка и снимая тем временем браслеты и чулки.) Но прелестнее всего была просьба достопочтенного судьи: для своей коллекции редкостей он хотел получить ни больше ни меньше как образцы итальянского мрамора, настаивая, чтобы среди них были — по возможности — темно-синий, мраморная мозаика, сиенский желтый, не говоря уж о белом пентелийском и красном нумидийском, весьма употребительном в древности, а может быть, также кусочек пятнистого в прожилках с отпечатками раковин и, если не очень затруднит его такая любезность, плиточка переливчатого, зеленого, зеленоватого, в разводах — такой можно увидеть в иных ренессансных пантеонах...

— Да этого не дотащит ни один египетский раб, а их выносливость восхвалял еще Аристофан! — воскликнул Хозяин.— Что же, мне бродить по свету с сундуком за спиной? Пропади они все пропадом, не собираюсь я тратить время в чужих краях на поиски редких фолиантов, необыкновенных камней или бальзама Фьерабраса [10]. Единственный, кому я хочу доставить удовольствие,— это твой учитель музыки, Франсискильо. Да он и просил о таких скромных и невесомых дарах: сонаты, концерты, симфонии, оратории — тяжесть невелика, зато сколько гармонии... А теперь продолжай свою песню, юнец...

Ah, dolente partita,
Ah, dolente partita!..

Дальше он не очень хорошо запомнил слова, как будто «A un giro sol di bell'occhi lucenti...» [11]. Но когда слуга допел мадригал и оторвал взгляд от грифа гитары, то увидел, что остался один: Хозяин и его ночная гостья удалились в спальню, обиталище святых в серебряных рамах, дабы предаться прощальным ласкам на ложе с инкрустациями из серебра, при свете свечей в высоких серебряных канделябрах.

---

[9] Восточная библиотека *(лат.)*.

[10] Фьерабрас — герой песен каролингского цикла (XII в.), сарацинский гигант воитель, завладевший чудодейственным «бальзамом Христа».

[11] «Одним взглядом прекрасных сверкающих глаз...» *(итал.)*.

озяин бродил среди ящиков, кое-как сваленных в сарае,— присаживался на один, передвигал другой, останавливался перед третьим — и снова и снова изливал свою досаду в бессвязных монологах, то ярясь, то впадая в уныние. Недаром древние говорили, что не в богатстве залог счастья и обладание золотом — лучше сказать, серебром — бессильно против преград, расставленных роком на тернистом пути человеческой жизни. Едва они вышли из Веракруса [12], как на корабль обрушились яростные ветры: именно такие ветры и насылают, раздувая щеки, изображенные на аллегорических картах злые гении — враги мореплавателей. С изодранными парусами, пробитым корпусом и поврежденной палубой прибыли они, наконец, в тихую гавань и увидели Гавану, объятую горем и страхом, пораженную грозной эпидемией злокачественной лихорадки. Все там — как сказал бы Лукреций — «трепетали тогда в смятении полном, и каждый в мрачном унынии своих хоронил мертвецов как придется» [13]. («О природе вещей», книга VI, уточнил путешественник-эрудит, процитировав эти слова на память.) И вот, отчасти потому, что необходимо было привести в порядок потерпевший бедствие корабль и получше разместить груз, с самого начала плохо уложенный грузчиками в порту Веракруса, а главное потому, что разумнее было стать на якорь подальше от зараженного города, они оказались здесь, в селении Регла [14], и при одном взгляде на эту жалкую деревушку, окруженную мангровыми зарослями, еще ярче возникал в памяти волшебный город, оставшийся далеко позади, его сверкающие купола, гордая осанка храмов, просторные дворцы — и лепные цветы на фасадах, и резные виноградные лозы в церковных нишах, и драгоценности в дарохранительницах, и многоцветие светильников,— город, подобный сказочному Иерусалиму в главном алтаре собора. Здесь же тянутся узкие улочки с низкими домами, открытые окна загорожены вместо искусно кованных решеток деревянными, кое-как выкрашенными в белый цвет, а черепица на кровлях такая, что в Койоакане вряд ли кто взял бы ее для курятника или свинарника. Все вокруг словно оцепенело в одуряющей жаре, пропитанной зловонием стоячей воды, свиного навоза, загаженного хлева, и эта постоянная духота вызывала еще более острую тоску по наипрозрачному утру на высокогорье Мехико, когда кажется, будто до вулканов рукой подать, будто за каких-нибудь полчаса дойдет до них тот, кто любуется белоснежными вершинами, ослепительно сверкающими среди бескрайней синевы. И вот здесь-то остановились со своими ящиками, сундуками, узлами и корзинами пассажиры разбитого судна, поджидая, пока залечат его раны, а напротив, в городе, возведенном высоко над водами порта, царило зловещее безмолвие, обычное для жилых мест, отгороженных эпидемией от мира. Закрыты танцевальные залы, где, бывало, отплясывали гуарачу или ременео, а соблазнительные мулатки выставляли напоказ свои прелести, едва прикрытые накрахмаленными кружевами. Закрыты увеселительные заведения на улицах Меркадерес, Обрапиа, Офисиос, где часто выступали — хотя это было не такой уж новинкой — оркестры механических котов, устраивались концерты на музыкальных бокалах, показывали павлинов, танцующих форлану, знаменитых мальтийских близнецов и обученных певчих птичек, которые не только насвистывали модные мелодии, но и вытаскивали клювом билетики с предсказанием судьбы. Словно господь время от времени решал покарать за неисчислимые грехи этот болтливый,

[12] Портовый город в Мексике, на побережье Мексиканского залива.
[13] Перевод Ф. Петровского.
[14] Ныне район Гаваны.

чванный, беззаботный город — внезапно, когда никто не ожидал беды, на него веяло дыхание зловредной лихорадки, которая, по словам сведущих людей, приходила с гнилых болот, отравляющих ближнее низменное побережье. Снова неотвратимо звучало пение Dies Irae [15], и люди принимали его как привычный и неизбежный проезд колесницы смерти. Но главная беда была в том, что Франсискильо, промаявшись три дня, в конце концов испустил душу вместе с кровавой рвотой. Лицо у него стало желтее серы, беднягу положили в дощатый ящик и снесли на кладбище, где гробы приходилось наваливать один на другой, вдоль и поперек, словно спиленные стволы на лесосеке, потому что в земле не хватало места для мертвецов, которых везли и везли со всех сторон... И вот Хозяин остался без слуги (а разве хозяин без слуги может быть настоящим хозяином?), и теперь за отсутствием прислужника и мексиканской гитары не сбудется его мечта о торжественном въезде, о знаменательном появлении на землях Старого света, куда он собирался прибыть богатым, богатейшим, разбрасывающим серебро потомком тех, кто отправился оттуда — как говорится, «дружески протянув одну руку и держа камень в другой»,— искать счастья в краях Америки.

Но однажды на постоялом дворе, откуда каждый день уходили караваны вьючных мулов в Харуко, его внимание привлек молодой свободный негр, который ловко подстригал гривы мулам, чистил их скребницей, а в часы досуга пощипывал неприглядную гитару или, если приходила охота, распевал не совсем пристойные песенки о блудливых монахах и беспутных дурочках, подыгрывая себе на барабане или отбивая ритм парой уключин, и тогда возникал тот звук — звон молотка о металл,— что раздается в мастерской мексиканского чеканщика по серебру. Путешественник только и ждал, как бы продолжить плавание, и, стремясь заглушить свое нетерпение, по вечерам присаживался послушать пение негра во дворе, где стояли мулы. И вот он подумал, что теперь, когда богатые сеньоры взяли моду заводить черных слуг — а, сдается, эти мавры появились уже в столицах Франции, Италии, Богемии и даже в далекой Дании, где королевы, как известно, убивают своих мужей, вливая им, словно дьявольскую музыку, яд в уши,— неплохо было бы прихватить с собой такого слугу, конечно, обучив его хоть немного хорошему обхождению, которое вряд ли ему знакомо. Он спросил у хозяина постоялого двора, честен ли парень, каких он нравов и воспитания, и узнал, что лучше его нет во всем селении, что вдобавок он умеет читать, может написать не слишком сложное письмо и, говорят, даже играет по нотам. Затем Хозяин побеседовал с Филомено — так его звали — и выяснил, что парень этот — правнук негра Сальвадора, который сотню лет назад был героем таких славных дел, что здешний поэт, по имени Сильвестре де Бальбоа [16], воспел его в эпической благозвучной поэме «Зерцало терпения»...

Однажды, рассказал паренек, в водах Мансанильо, там, где густая полоса прибрежных деревьев скрывает от глаз надвигающуюся с моря опасность, встала на якорь бригантина под началом Жильбера Жирона, французского еретика из тех, кто не верит ни в святых, ни в деву Марию. Он командовал шайкой лютеран, отпетых разбойников, которые творили свои злодеяния по всему простору Карибского моря и Флоридского пролива, нападая на корабли, промышляя контрабандой и грабежами. Прознал свирепый Жирон, что в асьендах Яры, в нескольких милях от берега, находился объезжавший свою епархию добрый фрай Хуан, епископ острова Кабесас Альтамирано, который в старину назывался Фернандина, «потому что, когда

[15] День гнева — гимн в заупокойной мессе *(лат.)*.

[16] Сильвестре де Бальбоа (ок. 1563 — ок. 1649) — кубинский поэт, автор первого в кубинской литературе поэтического произведения «Зерцало терпения» (1608).

открыл его великий адмирал дон Христофор, в Испании правил король Фердинанд, а верховодила королева. Может, она и в постели брала над ним верх, да кто его знает, тут такое дело, что...».

— Веди-ка свой рассказ прямиком, парень,— прервал путешественник,— и не пускайся в околичности. Чего не докажешь, о том и говорить нечего.

— Ладно,— сказал негр.

Он поднял руки и задвигал большими пальцами и мизинцами, словно это были ручки марионеток, и вся история пошла так живо, будто ее изображал ловкий комедиант, вытаскивая из-за спины свои куклы и сажая их к себе на плечи. («Так показывают в балаганах на мексиканских ярмарках,— подумал путешественник,— историю Монтесумы и Эрнана Кортеса».) Значит, гугенот прознал, что святой пастырь Фернандины ночует в Яре, и повел туда своих висельников со злым умыслом похитить епископа и потребовать за него богатый выкуп. На рассвете, когда все жители спали, он прокрался в селение, не долго думая схватил добродетельного прелата и потребовал за его свободу дань — огромную для этого бедного люда: двести дукатов деньгами, сто арроб мяса и сала, тысячу бычьих кож, не говоря уж о других требованиях этого сборища порочных скотов. Несчастные поселяне кое-как собрали непомерно тяжелую дань, и епископ вернулся к своей пастве, устроившей в его честь веселые празднества, «о которых впоследствии будет рассказано более подробно»,— предупредил паренек и, нахмурив брови, торжественным тоном начал вторую, еще более драматическую часть своего повествования...

Об этих событиях узнал некий храбрец Грегорио Рамос, воин «бесстрашный, как паладин Рольдан», и, негодуя, решил, что не добьется француз своего, не попользуется столь легко захваченной добычей. Быстро собрал он отряд смельчаков, настоящих мужчин, и, встав во главе их, направился в Мансанильо, чтобы сразиться с пиратом Жироном. Все это были люди закаленные, боевые, горячего нрава и недюжинной силы, однако же, идя на битву, они могли захватить с собой лишь то, что нашлось под рукой, ибо не военное дело было их обычным занятием. Кто тащил заточенный железный прут или, в лучшем случае, ржавое копье; кто — палку с железным наконечником, годную погонять волов, или мотыгу, а вместо щита— намотанную на руку шкуру морской коровы. Были с ними и несколько индейцев набори, готовых бороться, пользуясь хитростью и ловкостью, присущими их племени. Но главное — главное! — в отряд, охваченный героическим пылом, вступил *некто, еще один, Тот самый* (и тут рассказчик снял свою растрепанную соломенную шляпу), кого поэт Сильвестре де Бальбоа воспел в особой строфе:

Средь всех бойцов особенно в ударе
был негр, что Сальвадором наречен.
Сын Голомона, в достославной Яре
рабом смиреннейшим считался он.
Но, обретаясь в боевом угаре,
мачете и копьем вооружен,
и видя, сколь Жильбер в бою спокоен,
как лев на галла прыгнул этот воин [17].

Долгим и ожесточенным был бой. Одежда негра превратилась в лохмотья, изодранная ножом лютеранина, а тот сражался, надежно защищенный кольчугой норманнской работы. Но вот, пустив в ход уловки и хитрости, принятые при разбивке на гурты стада свирепых быков, бесстрашный Сальвадор сбил с толку, вымотал, лишил сил, загонял Жирона,

...и тут ему как раз и удалось
проткнуть француза гордого насквозь.
О, славный негр, креольский Сальвадор!

[17] Здесь и далее стихи в переводе С. Гончаренко.

Пусть слава о тебе войдет в поверья!
Пусть подвиг твой навечно с этих пор
запечатлеют и молва, и перья!

Пирату отсекли голову и вздели ее на острие копья, чтобы все встречные узнали о его жалком конце; затем, сняв голову с копья, насадили ее на лезвие кинжала, который вошел в глотку по самую рукоять, и с этим трофеем под восторженные клики победителей бесстрашный воин явился в славный город Баямо. Дружным хором жители потребовали, чтобы негру Сальвадору было пожаловано звание свободного человека, ибо он с честью заслужил его. Власти оказали ему эту милость. И с возвращением святейшего епископа все население предалось празднествам и ликованию. Тихо радовались старики, веселились женщины, шумно забавлялись ребятишки, и, горюя, что их не позвали на веселое гулянье, сквозь густую зелень гуайяв и сахарного тростника подглядывали целые сонмы (рассказывал Филомено, игрой рук изображая внешний вид, рога и прочие отличия всех, кого перечислял) сатиров, фавнов, лесовиков, козлоногих, кентавров, наяд и даже дриад «в кружевных юбочках». Что касается козлоногих и кентавров, выглядывавших из листвы кубинских гуайяв, то путешественнику они показались некоторым излишеством воображения поэта Бальбоа, однако же он не мог не восхититься тем, что негритенок из Реглы способен произнести столько необычных прозваний, возникших в далекие языческие времена. А сам Филомено — гордый своим высоким происхождением и необычайными почестями, выпавшими на долю его прадеда,— ничуть не сомневался, что на всех ближних островах встречаются сверхъестественные существа, порождения классической мифологии, очень похожие на других обитателей — правда, с более темным цветом лица — здешних лесов, рек и пещер, а также и на тех, кто живет в далеких туманных царствах, откуда пришли предки знаменитого Сальвадора. Сам же Сальвадор, на свой лад, был настоящим Ахиллом, ибо там, где нет Трои, появляется, если происходят события поистине значительные, Ахилл из кубинского Баямо или Ахилл из мексиканского Койоакана. А пока что, распевая на все голоса, пуская в ход и самозабвенную игру, и звукоподражание, хлопая в ладоши, подпрыгивая, стуча по ящикам, кувшинам, корытам, кормушкам, пробегая палочками по изгороди патио, издавая крики и выбивая дробь пятками, Филомено старался воспроизвести оглушительную музыку, звучавшую во время достопамятного празднества; оно длилось чуть ли не два дня и две ночи, и надо сказать, поэт Бальбоа дотошно перечислил все инструменты — флейты, дудки и «лютней до ста» («Ну, это уж виршеплет приврал для рифмы,— подумал путешественник,— никто никогда и не слыхивал, чтобы одновременно играли сто лютней, даже при дворе короля Филиппа, а он, говорят, был таким любителем музыки, что всегда возил с собой маленький орган, на котором в часы досуга играл ему слепец Антонио де Кабесон»), рожки, мавританские бубны, тамбурины, литавры и даже типинагуа, которые индейцы делают из выдолбленной тыквы,— инструменты самые разнообразные, ибо для этого всеобщего концерта объединились музыканты Кастилии и Канарских островов, креолы и метисы, индейцы и негры. «Белые и цветные вперемешку в этом шумном торжестве? — подумал путешественник.— Какая уж тут гармония? Ведь это нелепость — слыхано ли, чтобы старые благородные мелодии романсов, тонкие переходы и модуляции истинных мастеров сливались с варварским грохотом, какой поднимают негры своими гремушками, мараками и барабанами... Адская какофония, больше ничего не могло получиться, и сдается мне, этот Бальбоа отъявленный обманщик». Но он также подумал — и теперь с еще большей уверенностью,— что правнук Голомона более всех достоин унаследовать парадный костюм покой-

ного Франсискильо. И однажды утром, предложив Филомено место слуги, чужеземец заставил его примерить красный камзол, и оказалось, что камзол сидит великолепно. Затем нахлобучил на него белый парик, и негр показался еще чернее, чем был. Со светлыми панталонами и чулками все обошлось неплохо. А вот в башмаки с пряжками шишковатые ступни Филомено влезли не без труда, но, надо полагать, тоже постепенно привыкнут...

Итак, ранним сентябрьским утром, переговорив обо всем, о чем следовало переговорить, уладив дело с хозяином постоялого двора, мексиканец надел широкополую шляпу и отправился на пристань Реглы в сопровождении негра, который держал над его головой зонт из голубого бархата с серебристой бахромой. Чайный сервиз с большими и малыми серебряными чашками, бритвенный тазик, ночной сосуд, клистирная кружка — тоже серебряная,— письменные принадлежности, футляр с ножами, ларчик с реликвиями пресвятой девы, ларчик с реликвиями святого Христофора, покровителя плавающих и путешествующих, были уложены в ящики, еще в одном ящике хранились барабаны и гитара Филомено. Рабы взвалили кладь на спину и двинулись в путь, а слуга, грозно хмурясь под надвинутой на лоб лакированной треуголкой, подгонял их, выкрикивая непотребные ругательства на негритянском наречии.

Ведя свое происхождение от людей, которые родились в местности, расположенной между Кольменар-де-Ореха и Вильяманрике-дель-Тахо, и рассказывали чудеса о покинутых ими краях, Хозяин представлял себе Мадрид совсем по-другому. Унылым, незврачным и нищим показался этот город ему, выросшему в Мехико среди серебра и резного камня. За пределами Пласа Майор все здесь выглядело тоскливо, неопрятно, бедно, особенно когда ему вспоминались широкие, нарядные улицы родного города, мозаичные порталы, балконы, вознесенные на крыльях херувимов, потоки каменных фруктов, льющиеся из рогов изобилия на фасадах домов, искусно разрисованные вывески, где надписи, переплетенные плющом и виноградными листьями, извещали об изысканных драгоценностях. Постоялые дворы были здесь из рук вон плохи, комнаты насквозь пропитаны запахом прогорклого оливкового масла, а об отдыхе и думать не приходилось из-за кутерьмы, которую поднимали в патио бродячие комедианты: они то завывали стихи пролога, то кричали во весь голос, изображая римских императоров, сменяли тоги из простынь и занавесок на костюмы шутов и бискайцев, а музыка, сопровождавшая эти интермедии, хоть и нравилась негру своей новизной, Хозяина бесила фальшью и нестройностью.

О кухне нечего и говорить: при виде неизменных фрикаделей и мерланов Хозяин вспоминал нежную рыбу гуачинанго, великолепную индейку под темным соусом, благоухающую шоколадом, сдобренную жгучим перцем; при виде повседневной капусты, безвкусной фасоли и гороха негр воспевал прелесть мясистого, сочного плода агуакате или клубней маланги, приправленных уксусом, петрушкой и чесноком, которые подавались у него на родине к столу в окружении лангустов, чье розоватое мясо было куда вкуснее говяжьего филе в этой стране. Днем они заходили в таверны, где попадалось хорошее вино, а главное, в книжные магазины, где Хозяин покупал старинные фолианты в красивых переплетах, богословские трактаты, которые всегда служат к украшению библиотеки,— однако развлечь-

ся им так и не удавалось. Однажды вечером они отправились к проституткам, в дом, где их встретила хозяйка, тучная, курносая, кривоглазая, с заячьей губой; на шее у нее красовался зоб, лицо было изрыто оспой, а широкий, отвислый зад делал ее похожей на гигантскую карлицу. Оркестр слепых музыкантов заиграл нечто вроде менуэта, и, выкликаемые по именам, появились Филида, Клорида и Лусинда, одетые пастушками, а вслед за ними Исидра и Каталана, которые наспех доедали нехитрый ужин — хлеб с луком и оливковым маслом — и, передавая друг другу бурдючок с вином, давились последними глотками. В эту ночь было изрядно выпито, Хозяин рассказывал о своих приключениях на серебряных приисках подле Таско [18], а Филомено танцевал танцы своей страны, напевая в такт песню, в которой говорилось о змеях с глазами ярче свечей и зубами острее булавок. Дом был наглухо заперт, чтобы чужестранцы могли развлекаться без помехи, и наступил уже полдень, когда оба они вернулись к себе в гостиницу после веселого завтрака вместе с потаскушками. Но если Филомено только облизывался, вспоминая о своем первом пиршественном наслаждении белой плотью, то Хозяин, за которым увязывались нищие, стоило ему появиться на улицах, где все уже приметили его шитую серебром шляпу, не переставал сетовать на убожество этого хваленого города — разве мог он идти в какое-нибудь сравнение с тем, что остался на другом берегу океана,— города, где кабальеро его положения и достоинства вынужден якшаться со шлюхами из-за невозможности найти порядочную женщину, которая откинула бы перед ним полог своего алькова. Здешние ярмарки далеко уступали по красочности и оживлению койоаканским; в лавках предлагали лишь бедный выбор товаров и ремесленных поделок, а мебель, если ее где и продавали, отличалась унылым чинным стилем, чтобы не сказать старомодностью, несмотря на хорошее дерево и тисненую кожу; конные празднества были из рук вон плохи — всадникам не хватало отваги, во время парада при открытии состязания они не умели ни вести лошадь ровной иноходью, ни пустить ее во весь опор прямо на трибуны и внезапно осадить в ту самую минуту, когда гибельный удар о помост кажется неизбежным. Что же касается мистерий, разыгрываемых в уличных балаганах, то они уж никуда не годились, смотреть тошно было на этих дьяволов с кривыми рогами, безголосых Пилатов или изгрызенные мышами нимбы святых. Проходили дни за днями, и Хозяин, не зная, что делать со своими деньгами, ужасно затосковал. И такую тоску почувствовал он однажды утром, что решил сократить пребывание в Мадриде и поскорее отправиться в Италию, куда приуроченные к рождеству карнавальные празднества влекли людей со всех концов Европы. Беднягу Филомено словно приворожили любовными забавами Филида и Лусинда, которые в доме гигантской карлицы резвились с ним на широкой кровати, окруженной зеркалами, и он принял сообщение об отъезде с великим неудовольствием. Но Хозяин заверил его, что здешние девки — сущие уроды и отбросы по сравнению с теми, кого он встретит в другом, более древнем городе. И негр сдался на уговоры, уложил багаж и облачился в недавно купленный дорожный плащ. Пока они продвигались к морю, делая короткие дневные переходы и останавливаясь на ночевку в беленьких постоялых дворах — а чем дальше, тем белее они были — Таранкона или Мингланильи, мексиканец пытался развлечь своего слугу рассказами об одном безумном идальго, который разъезжал по этим краям и однажды вообразил, будто ветряные мельницы («Такие, как та вон, видишь?») на самом деле не мельницы, а великаны. Филомено решительно заявил, что мельницы эти ничуть не похожи на велика-

[18] Город в Мексике, известный расположенными поблизости месторождениями серебра.

нов, а настоящие великаны живут в Африке, и они такие огромные и могучие, что, коли захотят, могут метать молнии и вызывать землетрясения...

Когда они прибыли в Куэнку[19], Хозяин нашел, что этот город, с главной улицей, карабкающейся по косогору, и сравнить нельзя с Гуанахуато[20], где была похожая улица, упиравшаяся в церковь. Валенсия им понравилась, там они окунулись в течение жизни, не знающей заботы о часах, и вспомнили присловие «Не делай завтра то, что можно оставить на послезавтра», принятое в их блаженных краях. И так, следуя по путям, откуда все время было видно море, они добрались до Барселоны и с радостью услыхали звуки свирелей и литавр, звон бубенцов, крики «Посторонись, посторонись!», расчищавшие дорогу высыпавшим из города бегунам. Они увидели корабли у причалов, паруса были опущены, яркие вымпелы и флажки трепетали на ветру, отражаясь в воде. Веселое море, приветливая земля, ясный воздух — казалось, все люди счастливы и довольны.

— Похожи на муравьев,— говорил Хозяин, разглядывая набережную с палубы судна, которое назавтра должно было отправиться в Италию.— Дай им волю, они воздвигнут здания высотой до туч небесных.

Филомено тем временем тихонько молился святой деве с черным ликом, защитнице рыбаков и мореплавателей, чтобы плавание было счастливым, чтобы живыми и невредимыми прийти им в порт Рима,— ведь такой важный город должен был, по его разумению, выситься на берегах океана, надежно защищенный от циклонов грядой рифов, а не то циклоны срывали бы колокола с собора Святого Петра чуть ли не каждые десять лет, как это случалось в Гаване с церквами Святого Франсиско и Святого духа.

Серая вода и туманное небо, несмотря на такую мягкую зиму; серые тучи, отливающие сепией, когда отражаются они внизу, в колыхании широких, мягких, округлых волн — медленном, плавном,— а волны то разбегаются, то сталкиваются, возвращаясь от одного берега к другому; словно размытая акварель, расплываются контуры церквей и дворцов; сырость легким слоем ряски зеленеет на широких лестницах, на пристанях, влажными отсветами мелькает на каменных плитах площадей, грязными пятнами проступает на стенах, которые лижут бесшумные язычки воды; расплывчатость, приглушенность, желтые огни, унылая плесень под арками мостов, переброшенных через тихие каналы; неясные очертания кипарисов... И вот среди всей этой серости, сумеречных опаловых переливов, бледной сангины, дымчато-голубой пастели разразился карнавал, большой карнавал в день богоявления, разразился и заиграл всеми цветами: апельсиново-желтым, мандариново-желтым, канареечно-желтым, лягушачье-зеленым, гранатово-красным, малиново-красным, красным, словно лак китайской шкатулки; замелькали костюмы в клетку — индиго с шафраном — и полосатые, как карамель; банты и кокарды, колпаки и плюмажи; ярко переливались шелка, атлас, ленты в несметной толпе веселящихся и ряженых; а цимбалы, трещотки, барабаны, тамбурины и корнеты грянули так оглушительно, что голуби во всем городе взлетели одновременно и, черной тучей закрыв на мгновение небосвод, устремились к дальним берегам. Вдруг, включаясь в цветовую симфонию

[19] Город в Испании.
[20] Город в Мексике.

флагов и вымпелов, вспыхнули фонари и опознавательные огни на военных судах, фрегатах, галерах, торговых баркасах, рыбачьих шхунах, где каждый моряк был в маскарадном костюме, и появился похожий на плавучую галерею, весь обитый разнокалиберными досками и бочарными клепками, полуразрушенный, но все еще блистательный и пышный последний «буцентавр»[21] Светлейшей Республики, извлеченный в день празднества из-под своего навеса, чтобы озарить город искрами, ракетами и бенгальскими огнями фейерверка, огненными колесами и шарами... И сразу все изменили свой облик. Застывшие белые маски, все одинаковые, закрывали лица знатных господ — от полей шляпы с лакированной оторочкой до воротника камзола; из-под темных бархатных масок видны были лишь смеющиеся губы переодетых дам. Зато народ — моряки, торговцы зеленью, пончиками и рыбой, солдаты, писцы, гребцы, судейские — познал полное перевоплощение: гладкая и сморщенная кожа, гримаса обманутого, нетерпение обманщика, сластолюбие развратника — все скрылось под раскрашенными картонными личинами монголов, мертвецов, короля-оленя либо под масками с красным носом, растрепанными усами и бородой или козлиными рогами. Дамы из общества, изменив голос, произносили все непристойности и бесстыдные словечки, что столько месяцев держали на уме, а рядом женоподобные юнцы, нарядившись греческими богинями или надев черные испанские юбки, тонкими голосками делали мужчинам соблазнительные предложения, и не всегда впустую. Все говорили, кричали, пели, восхваляли, поносили, предлагали, льстили, намекали, изменяя обычный свой голос; толпа кишела вокруг театра марионеток, балагана комедиантов, кафедры астролога, лотков торговца приворотным зельем и снадобьями от боли под ложечкой или старческого недержания мочи. Теперь целых сорок дней все лавки будут открыты до полуночи, не говоря уж о тех, что не будут закрываться ни днем ни ночью; неустанно плясали обезьянки шарманщиков; покачивались на качелях ученые попугаи в своих филигранных клетках; перебегали над площадью по натянутым проволокам канатоходцы; занимались своим делом прорицатели, гадалки на картах, нищие, шлюхи — единственные женщины с открытым лицом, эти честно показывали себя, ведь каждый хотел знать, кого в случае, если сговорится, поведет он с собой в соседнюю гостиницу, раз уж все кругом только и стремились скрыть свою подлинную личность, возраст, намерения и внешность. Под огнями иллюминации засверкали все воды города, большие и малые каналы, и казалось, будто в их глубине переливается дрожащий свет затонувших фонарей.

Думая отдохнуть от суматохи, толкотни, непрерывного вращения толпы, головокружительно ярких красок, Хозяин, наряженный Монтесумой, вошел в Botteghe di Caffé[22] Виктории Ардуино вместе с негром, который не счел нужным маскироваться, понимая, как походит на маску его собственная физиономия среди множества личин, белых, словно лицо статуи. В глубине кофейной сидел за столиком Рыжий Монах, одетый в сутану из лучшего сукна; его длинный крючковатый нос торчал из падающих на лицо кудрявых волос, его собственных, однако выглядевших как пышный парик.

— Раз уж я родился в такой прекрасной маске, не вижу надобности покупать другую,— сказал он со смехом и затем спросил, потрогав пальцем стеклянные бусы ацтекского императора: — Инка?

— Мексиканец,— ответил Хозяин и принялся рассказывать пространную историю; изрядно подвыпившему монаху она представилась историей короля гигантских скарабеев — чем-то и впрямь напо-

[21] Роскошно отделанная галера, на которой венецианские дожи ежегодно выходили в море и в знак господства республики над морем бросали в воду перстень, как бы совершая обряд бракосочетания Венеции с морем.

[22] Кофейная *(итал.)*.

минал скарабея зеленый чешуйчатый, блестящий панцирь рассказчика — короля, жившего, если вникнуть, не так уж давно, среди вулканов и дворцов, озер и храмов и правившего великой империей, которую захватила горстка отчаянных испанцев при помощи прекрасной индеанки, влюбившейся в вождя завоевателей.

— Отличный сюжет, отличный сюжет для оперы...— приговаривал монах, сразу подумав о сцене с хитроумными приспособлениями, люками и подъемными машинами, где дымящиеся горы, появление чудовищ и обрушенные землетрясением дома произвели бы величайший эффект, тем более что здесь можно было рассчитывать на искусство театральных мастеров-машинистов, способных изобразить любое стихийное бедствие и даже поднять в воздух живого слона, как это было сделано недавно на замечательном зрелище чудес магии.

А Хозяин все еще рассказывал о чародействе пришельцев издалека, о человеческих жертвоприношениях и торжествах в Ночь печали[23], когда в кофейной появился забавного вида саксонец, друг монаха, в обычной одежде и вместе с ним молодой неаполитанец, ученик Гаспарини[24]. Сбросив маску — уж очень он вспотел,— неаполитанец оставил открытым умное, лукавое лицо, по которому пробегала усмешка всякий раз, как он бросал взгляд на черную физиономию Филомено: «Привет, Югурта[25]...»

Саксонец, однако, был в отвратительном настроении: багрово-красный от гнева — а также, пожалуй, и от нескольких лишних стаканов вина,— он рассказал, что какая-то маска, вся в бубенчиках, обмочила ему чулки и, вовремя скрывшись, избежала тумака, который пришелся прямо по ягодице какому-то извращенцу, и тот принял это за ласку.

— Успокойся,— сказал Рыжий Монах,— я уже знаю, что «Агриппина»[26] имела сегодня небывалый успех.

— Настоящий триумф! — воскликнул неаполитанец, опрокидывая рюмку агуардиенте себе в кофе.— Театр Гримани был переполнен.

Успех, видно, и впрямь был большой, судя по аплодисментам и вызовам, но саксонец никак не мог привыкнуть к этой публике.

— Никто здесь ни к чему не относится серьезно.

Между арией сопрано и хором castrati зрители ходили взад и вперед, ели апельсины, чихали, нюхали табак, закусывали, открывали бутылки, а то и перекидывались картами в момент наивысшего трагического напряжения. Это уж не говоря о тех, кто совокуплялся в ложах — слишком много в этих ложах мягких подушек,— сегодня вечером до того дошло, что во время драматического речитатива Нерона над красным бархатом перил взметнулась женская нога в спущенном до лодыжки чулке и прямо в середину партера полетела туфелька, к вящему ликованию публики, которая тут же начисто позабыла о том, что происходит на сцене. И, не обращая внимания на хохот неаполитанца, Георг Фридрих принялся восхвалять своих соотечественников, которые слушают музыку так, словно присутствуют на мессе, восторгаясь благородным рисунком арии или с полным пониманием оценивая мастерское развитие фуги... Прошел не один час, пока все они обменивались шутками и замечаниями, злословили о ком попало, рассказывали историю о том, как одна куртизанка, приятельница художницы Росальбы («Была она у меня вчера ночью»,— заметил Монтесума), обобрала до нитки, не дав ничего взамен, богатого французского дипломата; а тем временем на столе сменялись оплетенные разноцветной соломкой пузатые бутылки с

[23] Имеется в виду ночь на 30 июня 1520 года, когда войскам конкистадора Кортеса было нанесено временное поражение ацтекскими воинами в Теночтитлане.

[24] Франческо Гаспарини (1668—1727) — итальянский композитор.

[25] Царь Нумидии (ок. 160—104 гг. до н. э.), побежденный римлянами.

[26] Опера Г. Ф. Генделя, написанная в 1709 г.

легким красным вином, которое не оставляет лиловых следов на губах, а проскальзывает внутрь и разливается по всему телу весело и незаметно.

— Это самое вино пьет датский король, он веселится вовсю на карнавале, разумеется инкогнито, под именем графа Олемборга,— сказал Рыжий.

— Не может быть никаких королей в Дании,— возразил Монтесума, уже изрядно охмелевший,— не может быть королей в Дании, все там прогнило, короли умирают оттого, что им вливают яд в ухо, принцы сходят с ума, повстречавшись в замке с привидениями, и под конец играют черепами, словно мексиканские мальчишки в День поминовения усопших...

И поскольку разговор начал сводиться к пустой болтовне, то проворный монах, краснолицый саксонец и веселый неаполитанец — оглушенные доносившимся с площади шумом, из-за которого все время приходилось кричать, утомленные мельканием белых, зеленых, черных, желтых масок,— подумали, не пора ли сбежать с веселого празднества в какое-нибудь тихое место, где можно было бы помузицировать. И они гуськом, поставив впереди — в виде волнореза или фигуры на носу корабля — плотного немца, а за ним Монтесуму, начали пробиваться сквозь бурлящую толпу, останавливаясь время от времени лишь затем, чтобы передать друг другу бутылку ликера; бутылку эту Филомено подвесил за горлышко на атласной ленте, которую сорвал мимоходом с какой-то торговки рыбой, причем та в ярости осыпала его такой отборной бранью, что словечки вроде «coglione» [27] или «шлюхин сын» оказались самыми нежными в этом потоке ругательств.

Настороженно выглянула через решетку монахиня-привратница, но при виде Рыжего сразу просияла:

— О! Нечаянная радость, маэстро!

Заскрипели петли калитки, и все пятеро вступили в Приют Скорбящей богоматери, погруженный в полную тьму; по широким коридорам порой прокатывался, словно занесенный порывом ветра, отдаленный гул карнавала.

— Нечаянная радость! — повторяла монахиня, зажигая свечи в большом музыкальном зале: мрамор и лепные гирлянды, ряды стульев, драпировки и позолота, ковры, картины на библейские сюжеты делали его похожим не то на театр без сцены, не то на церковь без алтаря, создавали одновременно впечатление монастырского благочестия и светской суетности, показного блеска и тайны. В глубине, там, где угадывались затененные своды купола, мерцание свечей и люстр отражалось в высоких трубах органа.

Монтесума и Филомено начали было недоумевать, зачем занесло их в такое странное место, если можно развлечься там, где нашлись бы женщины и вино, как вдруг справа из мрака, слева из полутьмы возникли два, пять, десять, двадцать светлых силуэтов и окружили черную сутану фрайле Антонио прелестной белизной своих полотняных рубашек, домашних халатиков, ночных кофточек, кружевных чепцов. И появлялись все новые и новые — сначала они выходили совсем сонные, лениво потягиваясь, но вскоре оживились и сгрудились вокруг ночных гостей; кто взвешивал на руке ожерелье Монтесумы, кто во все глаза разглядывал Филомено, кто щипал его за щеку, желая убедиться, что это не маска. И появлялись все новые

[27] Итальянское ругательство.

и новые, с надушенными волосами, с цветами в вырезе платья, в расшитых туфельках, пока весь неф не заполнили молодые лица,— наконец-то лица без масок! — смеющиеся, озаренные радостным удивлением и уж вовсе засиявшие счастьем, когда из кладовых начали приносить кувшины с медом, испанское вино, малиновые и мирабелевые ликеры. Маэстро — так они все называли его — решил представить своих учениц: *Пьерина — скрипка... Катарина — корнет... Беттина — виола... Бьянка Мария — органистка... Маргарита — двойная арфа... Джузеппина — басовая лютня... Клаудиа — флейта... Лучета — труба...*

Но постепенно, поскольку сироток было много, чуть ли не семьдесят, а маэстро Антонио изрядно выпил, он запутался в их именах и стал, указывая на одну за другой пальцем, называть лишь инструменты, на которых они играли, словно у девушек не было никакой иной жизни, кроме музыки: *Чембало... Виола... Рожок... Гобой... Басовая виола... Флейта... Орган... Регаль... Пошетта... Морская труба... Тромбон...*

Но вот поставили пульты, саксонец величественно уселся перед органом, неаполитанец проверил строй чембало, Маэстро поднялся на подиум, схватил скрипку, поднял смычок — и после двух повелительных взмахов грянул прекраснейший concerto grosso[28], какой только можно было услышать в веках, хотя века ничего не запоминают, и очень жаль, ибо это стоило и слушать, и видеть...

Неистовым аллегро начали семьдесят женщин — они так часто репетировали свои партии, что знали их на память,— Антонио Вивальди решительно и пылко вступил в четко согласованную игру оркестра, Доменико Скарлатти — ибо это был он — летал в головокружительных пассажах по клавишам чембало, а Георг Фридрих Гендель вдохновенно исполнял ослепительные вариации, ломавшие все нормы расшифровки basso continuo[29].

— Давай, чертов саксонец! — кричал Антонио.

— Сейчас покажу тебе, сучий монах! — отвечал тот и продолжал свои чудесные импровизации, а Антонио, не отрывая взгляда от рук Доменико, рассыпавших арпеджио и трели, с цыганским пылом взмахивал смычком, словно извлекая звуки из воздуха, и бегал им по струнам, беря октавы и двойные ноты с дьявольской виртуозностью, хорошо знакомой его ученицам.

Но вот наступила кульминация: Георг Фридрих сменил регистровку, включил все крупные регистры органа, и в мощном pleno[30], казалось, зазвучали трубы Страшного суда.

— Всех нас уел саксонец! — крикнул Антонио, доводя fortissimo[31] до предела.

— Я и сам себя не слышу,— крикнул Доменико, с еще большей силой беря аккорды.

А Филомено тем временем сбегал на кухню, притащил целую батарею больших и малых медных котлов и принялся колотить по ним ложками, шумовками, сбивалками, скалками, сковородниками, так удачно подбирая ритм, синкопы и акценты, что целых тридцать два такта все молчали, предоставив ему импровизировать в одиночку.

— Великолепно! Великолепно! — кричал Георг Фридрих.

— Великолепно! Великолепно! — кричал Доменико, в восторге колотя по клавиатуре чембало.

Такт 28. Такт 29. Такт 30. Такт 31. Такт 32.

---

[28] Большой концерт *(итал.)*.

[29] Басовая линия, снабженная в нотах цифровыми обозначениями аккордов, требующими от исполнителя соответствующей расшифровки *(итал.)*.

[30] Здесь: полное звучание органа *(итал.)*.

[31] Очень громко *(итал.)*.

— Пошли! — взвыл Антонио Вивальди, и все вдохновенно грянули da capo[32], словно стремясь раскрыть самую душу скрипок, гобоев, тромбонов, больших и малых органов, виол да гамба — всего, что только могло звучать под сводами нефа, а в вышине, как будто потрясенные громом небесным, звенели хрустальные подвески люстр.

Финальный аккорд. Антонио опустил смычок. Доменико захлопнул крышку чембало. Вытащив из кармана кружевной платочек, слишком миниатюрный для такого обширного лба, саксонец стер пот. Питомицы приюта разразились громким хохотом, увидев, как Монтесума раздает всем бокалы с напитком собственного изобретения, подмешивая всего понемножку из кувшинов и бутылок. Таково было общее настроение, когда Филомено вдруг замер перед картиной, на которую неожиданно упал свет от переставленного канделябра. На картине была изображена Ева, искушаемая змеем. Но внимание привлекала не Ева, тощая и желтая, слишком тщательно прикрытая длинными волосами в напрасной заботе о стыдливости, которой еще не существовало во времена, не ведавшие плотских соблазнов,— а змей, толстый, в зеленых разводах, тремя витками охвативший ствол дерева; глядя огромными злобными глазами, он, казалось, предлагал яблоко тем, кто рассматривал картину, а не своей жертве, пока еще не решавшейся — и это понятно, если вспомнить, чего стоило нам ее согласие,— принять плод, который сулил ей рожать в муках чрева своего. Филомено медленно подошел к картине, словно опасаясь, что змей может выскочить из рамы, и принялся бить в большой, глухо звенящий поднос; обведя взглядом всех окружающих и как бы свершая какой-то невиданный обряд, он запел:

Что ж со мною стало,
мамочка моя!
На меня напала
чертова змея.

Что в ней за глазищи!
Это ж просто жуть.
В ней зубов до тыщи,
а не как-нибудь.

Ну, змея! Гляди же:
в жизнь не сдамся я.
Подползи-ка ближе,
чертова змея!

И сделав такое движение, будто убивает змея с картины кухонным ножом, прокричал:

Толстую змеюку,
ка-ла-ба-сон.
Одолеет злюку
веч-ный сон.

Ка-ла-ба-сон,
Сон-сон.

— *Ка́бала-сум-сум-сум,*— подхватил Антонио Вивальди, по привычке к церковному пению придав припеву неожиданный оттенок латинского псалма.

— *Кабала-сум-сум-сум,*— подхватил Доменико Скарлатти.

— *Кабала-сум-сум-сум,*— подхватил Георг Фридрих Гендель.

— *Кабала-сум-сум-сум,*— повторяли на семьдесят голосов питомицы Приюта, заливаясь смехом и хлопая в ладоши. И вслед за негром, который теперь бил в поднос пестиком, они потянулись вереницей, ухватив одна другую за пояс, покачивая бедрами, отплясывая самую причудливую фарандолу; потом фарандолу повел за собой Монтесума, вертя над головой огромный фонарь на палке от метлы, двигаясь в такт несмолкаемым ударам. *Кабала-сум-сум-сум!* И так извивающей-

[32] Сначала *(итал.).*

ся, приплясывающей веренице они несколько раз обошли зал, пересекли часовню, три раза прошлись по внутренней круговой галерее, проследовали дальше по коридорам и переходам, поднимаясь по лестницам, спускаясь по лестницам, обежали все боковые галереи, пока к ним не присоединились монахини-надзирательницы, сестра-привратница, кухарки, поднявшиеся с постели судомойки, а за ними домоправитель, огородник, садовник, звонарь, лодочник, даже чокнутая с чердака, которая сразу переставала быть чокнутой, едва дело доходило до пения,— и все это в доме, посвященном музыкально-инструментальному искусству, где два дня назад был дан большой концерт духовной музыки в честь короля Дании...

— *Ка-ла-ба-сон-сон-сон* — пел Филомено, все громче отбивая ритм.

— *Кабала-сум-сум-сум,*— отвечали венецианец, саксонец и неаполитанец.

— *Кабала-сум-сум-сум,*— повторяли остальные, пока, обессиленные всем этим кружением, подъемами, спусками, беготней, не вернулись обратно к оркестровой эстраде и не повалились с хохотом на красный ковер вокруг бутылок и бокалов. Отлежавшись и отдышавшись, они перешли к изысканным танцам с фигурами под модную теперь музыку, а Доменико играл на чембало, украшая известные всем мелодии умопомрачительными трелями и морденто. За нехваткой кавалеров — поскольку Антонио не танцевал, остальные же отдыхали, раскинувшись в креслах,— парами соединились гобой и труба, рожок и орган, кларнет и виола, флейта и лютня, а пошеты отплясывали вчетвером вместе с тромбонами.

— Вся инструментовка перевернулась вверх дном,— объявил Георг Фридрих,— какая-то фантастическая симфония.

Филомено тем временем поставил свой бокал на чембало, устроился поближе к клавиатуре и завладел движением танца, скребя ключом по терке.

— Чертов негр! — воскликнул неаполитанец.— Только захочу указать ритм, как он навязывает мне свой. В конце концов придется играть каннибальскую музыку!

И, сняв руки с клавиш, Доменико опрокинул в глотку последний бокал, подхватил за талию Маргариту —двойную арфу и углубился с ней в лабиринт келий Приюта Скорбящей богоматери...

Но вот в окнах заалел рассвет. Белые фигуры останавливались одна за другой; вяло и неохотно складывали девушки свои инструменты в шкафы и футляры, видно, с тоской думая о возвращении к повседневным занятиям. Веселая ночь умирала, напутствуемая звонарем, который, сразу позабыв о выпитом вине, принялся звонить к утренней молитве. Белые фигуры исчезали, словно театральные духи, в правых дверях, в левых дверях. Появилась сестра-привратница, неся две корзины, набитые булочками, сырами, кренделькими, айвовым мармеладом, засахаренными каштанами и марципанами в виде розовых поросят, а из всего этого великолепия выглядывали горлышки бутылок с романьольским вином.

— Это вам позавтракать в дороге.

— Я отвезу их в своей лодке,— сказал лодочник.

— Спать хочу,— сказал Монтесума.

— Есть хочу,— сказал саксонец.— Но я хотел бы поесть в тишине, где были бы деревья, птицы, конечно, не наглые прожорливые голуби с площади, грудастые, как натурщицы Росальбы, с ними только зазевайся — слопают весь наш завтрак.

— Спать хочу,— повторил Монтесума.

— Сейчас тебя убаюкает плеск весел,— откликнулся Антонио.

— Что это ты там прячешь за пазуху? — спросил саксонец у Филомено.

— Ничего, подарочек на память от Катарины-корнета,— отвечал негр, поглаживая пальцами — с таким благоговением, будто прикасался к священной реликвии,— подарок, который никому не удалось разглядеть.

Из города, все еще погруженного в серую полутьму медлительного рассвета, порывы ветра доносили до них отдаленные звуки рожков и трещоток. Веселый праздник продолжался в тавернах и под навесами кабачков; огни постепенно угасали, но ряженые, прогуляв всю ночь, и не думали приводить в порядок костюмы и маски, заметно терявшие свою привлекательность, по мере того как становилось светлее.

После долгих и мерных взмахов весел лодка подошла к кипарисам тихого кладбища.

— Тут можете позавтракать спокойно,— сказал лодочник, причалив к берегу. Кошелки, корзины, бутылки перекочевали на землю. Могильные плиты походили на столики без скатертей в большом опустелом кафе. И после романьольского вина, добавленного ко всему уже выпитому ранее, голоса снова радостно зазвенели. Мексиканец очнулся от сонного оцепенения, и его попросили еще раз рассказать историю Монтесумы, которую Антонио вечером не мог как следует расслышать из-за оглушительного крика и шума.

— Великолепно для оперы! — восклицал Рыжий, с напряженным вниманием впитывая каждое слово рассказчика, а тот, все более воодушевляясь, говорил драматическим тоном, жестикулировал, менял голос, произнося импровизированные диалоги, и в конце концов создал живые образы всех персонажей.

— Великолепно для оперы! Ничего больше не надо. А вот машинистам хватит работы. Блистательная роль для сопрано, эта индеанка, влюбленная в христианина, ее можно поручить одной из тех прелестных певиц, что...

— Знаем, знаем, в них у тебя недостатка нет,— перебил Георг Фридрих.

— А как хорош образ побежденного императора,— продолжал Антонио,— несчастного повелителя, который так горестно оплакивает свое поражение. Я вспоминаю «Персов», вспоминаю Ксеркса:

Это, я, ой-ой, ой, больно!
Окаянный! Я родной земле
На пагубу родился...[33]

— Ну уж Ксеркса оставь мне,— недовольно сказал Георг Фридрих,— для этого гожусь только я.

— Ты прав,— сказал Рыжий, указывая на Монтесуму.— Из этого получится персонаж поновее. Скоро услышим, как запоет он у меня на сцене театра.

— Монах на подмостках оперы! — воскликнул саксонец.— Единственное, чего не хватало, чтобы окончательно испохабить этот город.

— Но если я это и сделаю, то уж во всяком случае не стану спать с Альмирами или Агриппинами, как некоторые *другие*...— заявил Антонио, надменно подняв острый нос.

— Благодарю! Что касается меня...

— А кроме того, мне надоели избитые сюжеты. Сколько Орфеев, сколько Аполлонов, сколько Ифигений, Дидон и Галатей! Пора искать новые сюжеты, незнакомую среду, быть может, другие страны... Польшу, Шотландию, Армению, Татарию... Другие персонажи: Джиневру, Кунигунду, Гризельду, Тамерлана или албанца Скандербега, не-

[33] Эсхил. Персы. Эксод (Перевод А. Пиотровского).

мало бед причинившего проклятым оттоманам. Повеяло новым духом. Скоро публике наскучат влюбленные пастушки, верные нимфы, поучающие уму-разуму козопасы, распутные боги, лавровые венки, траченные молью пеплумы и заношенные мантии.

— А почему бы вам не написать оперу про моего прадеда Сальвадора Голомона? — спросил Филомено.— Вот был бы новый сюжет. Да еще декорации с морем и пальмами.

Саксонец и венецианец так дружно расхохотались, что Монтесума вступился за своего слугу:

— Не вижу тут ничего смешного: Сальвадор Голомон защищал от гугенотов свою веру так же, как Скандербег защищал свою. Если наш земляк вам кажется варваром, то уж не меньший варвар тот тип с Востока из тех вон мест,— и он указал туда, где, по его представлениям, не очень точным после выпитого за ночь вина, должно было находиться Адриатическое море.

— Но... где это видано, чтобы главным героем оперы был негр? — сказал саксонец.— Негры хороши для маскарада и интермедий.

— Кроме того, опера без любви — это не опера,— сказал Антонио.— Но любовь негра и негритянки — просто потеха, а любовь негра и белой невозможна, по крайней мере в театре.

— Постойте... Постойте...— сказал Филомено, все повышая тон под воздействием романьольского вина.— Мне рассказывали, что в Англии имеет большой успех драма об одном мавре, заслуженном генерале, который влюбился в дочь венецианского сенатора. Какой-то соперник, завидуя их счастью, даже назвал его черным козлом, взобравшимся на белую овечку, к слову сказать, от этого получаются премилые пятнистые козлята!

— Не говорите мне об английском театре! — воскликнул Антонио.— Английский посол...

— Большой мой друг,— вставил саксонец.

— Английский посол рассказывал мне о пьесах, которые идут в Лондоне, это ужас что такое. Ни в ярмарочных балаганах, ни в волшебном фонаре, ни в представлениях слепцов не увидишь ничего подобного...

И под бледными лучами зари, чуть осветившей кладбище, пошла речь о страшных преступлениях, о призраках убитых детей; а еще герцог Корнуэльский выколол кому-то глаза на виду у публики и потом растоптал их, словно отплясывающий фанданго испанец; дочь римского полководца изнасиловали, вырвали ей язык и отрубили руки, а в конце пьесы был устроен пир, на котором оскорбленный отец, оставшийся без руки, после того как его ударил топором любовник жены, переодевается поваром и подает готской королеве пирог, начиненный мясом двух ее сыновей,— из них прежде выпустили кровь, как из поросят накануне сельской свадьбы...

— Мерзость какая! — воскликнул саксонец.

— А хуже всего то, что в пирог попали и глаза, и языки, и носы — так рекомендуют наставления по разделке наиболее ценной охотничьей добычи...

— И все это съела королева го́тов? — спросил не без задней мысли Филомено.

— Так же охотно, как я эту снедь,— сказал Антонио, вонзив зубы в очередную булочку из корзины монахинь.

«И еще говорят про обычаи негров!» — подумал негр, а венецианец, пережевывая изрядный кусок кабаньей головы, маринованной в уксусе с зеленью и красным перцем, прошелся вокруг, но внезапно замер перед соседней могилой и стал разглядывать плиту, на которой красовалось имя, звучавшее в этих краях непривычно.

— «ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»,— прочел он по складам.

— Да, правда,— сказал саксонец, тоже с трудом прочитав имя.— Он захотел покоиться на этом кладбище.

— Хороший музыкант,— сказал Антонио.— Но многое в его сочинениях устарело. Он вдохновлялся извечными темами: Аполлон, Орфей, Персефона — до каких же пор?

— Я знаю его «Oedipus Rex» [34],— сказал саксонец,— кое-кто утверждает, что в финале первого акта — «Gloria, gloria, gloria, Oedipes uxor» [35] — музыка напоминает мою.

— Но... как только могла прийти ему в голову странная мысль написать светскую ораторию на латинский текст?

— Исполняют также его «Canticum Sacrum» [36] в соборе святого Марка,— сказал Георг Фридрих,— там можно услыхать мелодические ходы в средневековом стиле, от которых мы давным-давно отказались.

— Дело в том, что эти так называемые передовые мастера слишком уж стараются изучать творчество музыкантов прошлого — и даже стремятся порой обновить их стиль. Тут мы более современны. На кой мне знать оперы и концерты столетней давности. Я пишу свое, по собственному знанию и разумению, и только.

— Согласен с тобой,— сказал саксонец,— но не следует также забывать, что...

— Хватит вам чушь молоть,— сказал Филомено, отхлебнув первый глоток из вновь откупоренной бутылки. И все четверо опять запустили руки в корзины, привезенные из Приюта Скорбящей богоматери, корзины, которым, подобно мифологическому рогу изобилия, не суждено было иссякнуть. Но когда пришло время айвового мармелада и бисквитов, последние утренние тучки рассеялись и лучи солнца упали прямо на каменные плиты, вспыхивая белыми отблесками под темной зеленью кипарисов. И в ярком свете словно выросли буквы русского имени, которое было им так близко. Монтесуму вино усыпило снова, саксонец же, который вообще больше привык к пиву, чем к этому дрянному винцу, опять пустился в нескончаемый спор:

— А Стравинский,— вспомнил он не без ехидства,— сказал, что ты шестьсот раз написал один и тот же концерт.

— Возможно,— сказал Антонио,— однако я никогда не сочинял цирковую польку для слонов Барнума.

— Вот скоро появятся слоны в твоей опере о Монтесуме,— сказал Георг Фридрих.

— В Мексике нет слонов,— сказал ряженый Монтесума: эта чудовищная нелепость вывела его из забытья.

— Однако сходные животные изображены вместе с пантерами, пеликанами и попугаями на коврах в Квиринальском дворце, где показывают привезенные из Индий диковины,— сказал Георг Фридрих, упорствуя, как всякий человек, одержимый навязчивой идеей под влиянием винных паров.

— Хорошую музыку слушали мы вечером,— сказал Монтесума, чтобы прекратить глупый спор.

— А! Сладкое варенье! — сказал Георг Фридрих.

— Я бы скорее сравнил ее с jam session [37],— сказал Филомено, но слова эти прозвучали так странно, что показались пьяным бредом. Потом он вдруг вытащил из своего свернутого плаща, брошенного подле корзин с продовольствием, таинственный предмет, подаренный, по его словам, «на память» Катариной-корнетом: оказалось, это блестящая труба («И отличная»,— заметил саксонец, великий знаток инструментов), которую негр тут же поднес к губам и, проверив мундштук, разразился пронзительными трелями, глиссандо и резкими жалобными воплями, что немедленно вызвало протесты всех остальных, ведь они пришли сюда в поисках тишины, сбежав от карнавального гвалта,

---

[34] «Царь Эдип» *(лат.)*.

[35] «Слава, слава, слава Эдиповой жене!» *(лат.)*.

[36] Священное песнопение *(лат.)*.

[37] Закрытое исполнение джазовых мелодий и импровизации *(американский музыкальный жаргон)*.

и, кроме того, это не музыка, а если даже и музыка, то совершенно невозможная на кладбище, хотя бы из уважения к покойникам, которые лежат в торжественном безмолвии под своими плитами. Филомено — несколько пристыженный выговором — перестал пугать неуместными выходками птиц на островке, и те, снова почувствовав себя хозяевами, залились привычными мадригалами и мотетами. Но теперь, вволю наевшись и напившись, устав от споров, Георг Фридрих и Антонио принялись дружно зевать по всем правилам контрапункта, сами смеясь над своим невольным дуэтом.

— Вы похожи на кастратов из оперы-буфф,— сказал Монтесума.

— Кастраты, мать твою! — откликнулся монах с жестом, не вполне пристойным для того, кто — хоть ни разу не отслужил ни одной мессы, под предлогом, что от запаха ладана у него начинается одышка и зуд,— был все же человеком духовного звания с тонзурой на голове... Тени деревьев и склепов постепенно удлинялись. В это время года дни уже становились короче.

— Пора собираться,— сказал Монтесума. Он подумал, что надвигаются сумерки, а кладбище в сумерках всегда навевает грусть, нерадостные думы о человеческой судьбе — им-то и предавался принц датский, любивший играть черепами, как мексиканские мальчишки в День поминовения усопших... Под всплески весел по спокойной воде, едва колыхавшейся у бортов лодки, они медленно продвигались к площади. Уютно устроившись под украшенным кисточками навесом, саксонец и венецианец отсыпались после бурного веселья; их лица выражали такое удовольствие, что приятно было смотреть. По временам с губ у них срывалось неясное сонное бормотанье... Когда лодка проходила мимо дворца Вендрамин-Калерджи, Монтесума и Филомено увидели, что какие-то темные фигуры: мужчины во фраках, женщины в черных покрывалах, подобно античным плакальщицам,— несут к черной гондоле гроб, холодно отсвечивающий бронзой.

— Это один немецкий музыкант умер вчера от удара,— сказал, подняв весла, лодочник.— Теперь его останки везут на родину. Говорят, писал какие-то странные, очень длинные оперы, там все было: драконы, летающие кони, гномы, титаны и даже сирены, поющие на дне реки. Подумайте только! Петь под водой! В нашем театре Фениче и то нет ни приспособлений, ни машин, чтобы устроить такое представление.

Черные фигуры, закутанные в газовые и креповые покрывала, опустили гроб в похоронную гондолу, и, отталкиваясь шестами, гондольеры торжественно повели ее к железнодорожной станции, где уже пыхтел в облаках пара будто написанный Тернером[38] локомотив с пылающим, как глаз циклопа, фонарем...

— Спать хочу,— сказал Монтесума, сраженный безмерной усталостью.

— Сейчас будем на месте,— сказал лодочник.— Ведь гостиница ваша выходит на канал.

— Как раз там, где причаливают шаланды с нечистотами,— сказал Филомено, который снова хлебнул из бутылки и теперь сердился, вспоминая полученный на кладбище нагоняй.

— Все равно спасибо,— сказал мексиканец. У него слипались глаза, и он едва почувствовал, как его вытаскивают из лодки, поднимают по лестнице, раздевают, укладывают и закутывают, подсовывая под голову подушки...

— Спать хочу,— пробормотал он только.— Ты тоже поспи.

— Ну уж нет,— сказал Филомено.— Отправлюсь со своей трубой туда, где можно повеселиться...

На улицах продолжался праздник. Взмахивая бронзовыми молотками, отбивали время мавры на Часовой башне.

---

[38] Уильям Тернер (1775—1851) — английский художник.

снова мавры на Часовой башне отбили часы, неуклонно выполняя давнюю свою обязанность измерять время, хотя сегодня пришлось им бить молотками в сером осеннем тумане, а изморось с самого рассвета приглушала звон бронзы.

Филомено окликнул хозяина, и тот очнулся от долгого сна, такого долгого, что казалось, он длился целые годы. Теперь мексиканец уже не был вчерашним Монтесумой: на него надели пушистый ночной халат, ночной колпак и ночные чулки, а маскарадный костюм не лежал на кресле, куда он его бросил — или где кто-нибудь сложил его — вместе с ожерельем, перьями и сандалиями из золоченых ремней, придававшими такое великолепие его особе.

— Костюм унесли, чтобы одеть синьора Массимилиано Милера,— сказал негр, доставая другую одежду из шкафа.— И поторопитесь, сейчас начинается генеральная репетиция, с освещением, машинами и всем прочим...

— Ах да! Ясно! — бисквиты, размоченные в мальвазии, сразу оживили его память.

Слуга проворно побрил его, и, одетый как обычно, он спустился по лестнице, поправляя запонки на кружевных манжетах. Снова ударили молотки мавров — Филомено называл их «своими братьями»,— но звон часов потонул в торопливом перестуке молотков на сцене театра Сант-Анджело: за красным бархатным занавесом машинисты устанавливали сложные декорации первого акта. Музыканты в оркестре подстраивали струнные и медные инструменты, когда мексиканец и слуга уселись в темной пустой ложе. Но вот мгновенно замолкли молотки и инструменты, воцарилась глубокая тишина, и за дирижерским пультом появился весь в черном, со скрипкой в руке маэстро Антонио. Он выглядел еще более тощим и носатым, чем всегда, но стал как будто выше ростом; суровое напряжение всех душевных сил перед решением задач высокого искусства проявлялось в величественной скупости жестов — эта тщательно выработанная сдержанность еще ярче подчеркивала неистовые, почти акробатические движения во время игры, завоевавшие славу его виртуозному исполнению сложных пассажей. Погруженный в себя, не оглядываясь на немногих зрителей, разбросанных кое-где по залу, он медленно раскрыл партитуру, взмахнул смычком — *как в ту ночь* — и, выполняя двойную роль дирижера и несравненного исполнителя, начал увертюру, быть может, более тревожную и быструю, чем другие его симфонические произведения, написанные в спокойном темпе, и занавес раскрылся, явив взорам яркое великолепие красок. Мексиканец сразу же вспомнил многоцветные вымпелы и флажки, которыми любовался он когда-то в Барселоне, едва увидел пламенеющий лес парусов и штандартов, развевающихся над кораблями с правой стороны сцены; слева же высились мощные стены дворца, украшенные пурпурными знаменами и полотнищами. А переброшенная через залив мексиканского озера стройная аркада моста (пожалуй, слишком похожего на некоторые венецианские мосты) отделяла место высадки испанцев от резиденции императора Монтесумы. Однако наряду со всей этой роскошью были ясно видны следы недавнего сражения: разбросанные по полу копья, стрелы, щиты, военные барабаны. Вышел император мексиканцев со шпагой в руке и, поглядывая на смычок маэстро Антонио, запел:

Son vinto eterni Dei! Tutto in un giorno
Lo splendor de'miei fasti, e l'alta Gloria
Del valor Messican cade svenata...[39]

[39] Я побежден, вечные боги! В единый день погибло все, блеск и великолепие моего царства и высокая слава мексиканской доблести *(итал.)*.

Бессильны мольбы, заклятия, призывы к небу против ударов враждебного рока. Его удел — скорбь, отчаяние и гибель величия: Un dardo vibrato nel mio sen...[40]

Тут появляется императрица, красивая, отважная женщина, одетая не то как Семирамида, не то как венецианка Тициана, и пытается пробудить мужество в душе побежденного супруга, которому «коварный иберийец» уготовил столь тяжкие испытания.

— Без нее в драме не обойтись,— шепнул Филомено своему хозяину.— Это Анна Джиро, возлюбленная фрайле Антонио. Ей всегда дают первую роль.

— Научись, наконец, почтительности,— строго сказал мексиканец слуге. Но в это время, наклоняя голову под ацтекскими знаменами, свисавшими над подмостками, на сцену вышел Теутиле, персонаж, упомянутый в «Истории завоевания Мексики» священнослужителя Антонио де Солиса[41], главного историографа Индий.

— Да что это, они превратили его в женщину! — воскликнул мексиканец, увидев, как выпирает у Теутиле грудь под туникой, украшенной греческим орнаментом.

— Недаром ее прозвали «немкой»,— сказал негр,— сами знаете, они ведь пухленькие.

— Но это же величайшая глупость,— перебил Хозяин.— Священнослужитель Антонио де Солис говорит, что Теутиле был *полководцем* в войсках Монтесумы.

— А здесь ее зовут Джузеппа Пиркер, и я знаю, что она спит с его высочеством принцем Дармштадским, или, как говорят другие, Арместадтским. Ему надоел снег, и он живет в каком-то дворце этого города.

— Но Теутиле — мужчина, а не женщина!

— Кто знает! — сказал негр.— Здесь есть очень порочные люди. Вот посмотрите хотя бы на это.

Оказалось, что на Теутиле пожелал жениться Рамиро, младший брат конкистадора дона Эрнана Кортеса, однако эту мужскую роль пела синьора Анджола Дзануки...

— Эта тоже спит с его высочеством принцем Дармштадтским,— шепнул негр.

— Но... тут что же, все спят со всеми? — спросил скандализованный мексиканец.

— А, тут все спят с кем попало!.. Погодите, дайте послушать музыку, сейчас началась очень интересная партия трубы,— сказал негр.

Мексиканец, сбитый с толку неожиданными поворотами действия, уже заблудился в лабиринте событий, которые без конца запутывались, распутывались и снова запутывались.

Монтесума молил императрицу Митрену — так вздумалось им назвать ее,— чтобы та принесла в жертву свою дочь Теутиле («Но, черт возьми! Теутиле был ведь мексиканским полководцем!..»), прежде чем ее обесчестит разъяренный победитель. Но (эти «но» можно было умножать до бесконечности) принцесса предпочла убить себя на глазах у Кортеса. Она перешла через мост, теперь уже и вовсе похожий на мост Риальто, и, исполненная чистоты и достоинства, провозгласила перед конкистадором:

La figlia d'un Monarca,
in ostagio a Fernando? Il Sangue illustre
di tanti Semidei
cosi ingrato avvilirsi? [42]

---

[40] Стрела, пущенная мне в грудь... *(итал.)*

[41] Антонио де Солис-и-Рибаденейра (1610—1686) — испанский историк, автор «Истории завоевания Мексики».

[42] Дочери монарха стать заложницей Эрнана? Так унизить славную кровь стольких полубогов? *(итал.)*

Тут Монтесума пустил стрелу в Кортеса, и на сцене началось такое светопреставление, что мексиканец совершенно потерял нить всей этой истории и пришел в себя, лишь когда заметил, что декорация переменилась: перед зрителями возникли внутренние покои дворца с изображениями символов солнца на стенах, и затем вышел император, одетый как испанец.

— Вот это странно! — заметил Хозяин, увидев, что синьор Массимилиано Милер сменил маскарадный костюм, в котором он — он, сидящий здесь, в этой ложе, богатый, богатейший негоциант, промышляющий серебром,— щеголял вчера ночью, позавчера ночью, или позапозапозавчера ночью, или кто его знает когда, а сменив, стал походить на римских аристократов, которые, гордясь строгостью своих нравов, в отличие от сумасбродства Венеции, перенимали моды Мадрида или Аранхуэса, как это, вполне естественно, делали во все времена богатые сеньоры заморских земель. Но так или иначе этот выряженный испанцем Монтесума выглядел настолько неуместным, настолько неприемлемым, что действие снова начало путаться, прерываться, пресекаться в сознании бедного зрителя, и он, глядя на новое роскошное одеяние героя, этого побежденного Ксеркса музыкальной трагедии, уже не мог отличить певца от множества других переодетых людей, которые мелькали перед ним словно прошлой ночью, позапрошлой ночью или бог его знает когда — на карнавале, пока красный бархатный занавес не закрылся под звуки мощного призыва к морскому бою, брошенного неким Аспрано, другим «мексиканским полководцем», о котором никогда не упоминали ни Берналь Диас дель Кастильо [43], ни Антонио де Солис в своих знаменитых хрониках...

Снова звонко отбили время мавры на Часовой башне; на сцене слышался торопливый перестук молотков, но Вивальди не уходил из оркестра; музыканты чистили апельсины, потягивали из бутылок красное вино, а он, сидя на табурете, проверял нотную запись следующего акта и порой вносил поправки, сердито чиркая пером. Худая спина маэстро оставалась совершенно неподвижной, пока он нервно перебрасывал страницы, вчитываясь в ноты с таким вниманием, что никто не смел отвлекать его.

— Вылитый лисенсиат Кабра [44],— сказал мексиканец, вспомнив знаменитого наставника из романа, который обошел всю Америку.

— Я бы сказал, лисенсиат Кабро [45],— заметил Филомено, которого не оставили равнодушным округлые бедра и розовые плечи Анны Джиро.

Но вот смычок виртуоза указал начало нового симфонического вступления — на этот раз в медленном, спокойном темпе,— сцена открылась, и перед нами предстал большой зал, точно такой же, как на картине в койоаканском доме мексиканца, изображавшей эпизод из истории конкисты, и, пожалуй, картина эта более соответствовала действительности, чем все, что можно было тут увидеть до сих пор. Теперь Теутиле (неужели надо окончательно примириться с тем, что это женщина, а не мужчина?) оплакивала участь своего отца, захваченного в плен вероломными испанцами. Однако оказалось, что Аспрано командует людьми, готовыми освободить его: «*Мои воины горят желанием скорее сесть в каноэ и пироги; горят желанием покарать герцога* (так!), *изменившего своему слову*». На сцену выходят Эрнан Кортес и императрица. Мексиканка разражается патетической арией, в которой гордая отвага, приводящая на память царицу Атоссу Эсхила, сочетается (в начале этого акта) с известным пораженчеством,

---

[43] Берналь Диас дель Кастильо (1498—1568) — испанский конкистадор, соратник Эрнана Кортеса, автор «Подлинной истории завоевания Новой Испании».

[44] Персонаж романа испанского писателя Франсиско Кеведо «История жизни пройдохи по имени дон Паблос».

[45] Cabro — козел *(исп.)*.

свойственным скорее Малинче. Митрена-Малинче признает, что жила во тьме идолопоклонства, что грозные предзнаменования возвещали поражение ацтеков. Кроме того:

Per sécolo si lunghi
furo i popoli cotanto idioti
ch'anche i propi tesor gl'érano
ignoti, —[46]

и становится ясно, что в этих краях поклонялись ложным богам, а теперь, наконец, под гром пушек и ломбард явилась истинная религия вместе с порохом, лошадью и Евангелием. Цивилизация людей высшей породы воцарилась посредством разума и силы... Но именно поэтому (здесь малинчизм[47] Митрены отступает, и в голосе ее звучит отвага) унижение, уготованное Монтесуме, недостойно людей такой культуры и могущества: *«Если с небес Европы сошли вы в эту часть света, будьте правителем, сеньор, а не тираном»*. Появляется Монтесума в цепях. Спор становится все более ожесточенным. Музыканты маэстро Антонио безумствуют, подчиняясь неистовым взмахам дирижерской палочки; происходит смена декораций, на какую способны только машинисты венецианской сцены, и, словно сияющее видение, появляется озеро Тескоко с вулканами на заднем плане; по озеру скользят индейские суда, и завязывается страшный морской бой, кровавая схватка испанцев с мексиканцами. Крики ярости, тучи стрел, звон оружия, сбитые шлемы, удары мечей, падающие в воду люди... Наконец на сцену врывается кавалерия, довершая всеобщую неразбериху. Трубят трубы вверху, трубят трубы внизу, пронзительно заливаются флейты и рожки; горит ацтекский флот — вспыхивают фейерверки, зажигательная смесь, летят искры, валит дым, пущена в ход вся пиротехника высшего класса. Вопли, смятение, крики, гибель...

— Браво! Браво! — орал мексиканец.— Так оно и было! Так и было!

— А вы сами видели? — спросил насмешник Филомено.

— Видел не видел, а говорю, что было так, и баста...

Бегут побежденные, ускакала кавалерия, сцена завалена трупами и ранеными, а Теутиле, словно покинутая Дидона, хочет броситься в догорающее пламя и умереть по законам высокой трагедии, как вдруг Аспрано объявляет, что ее собственный отец уготовил ей завидную участь: ее должны заклать, как новоявленную Ифигению, на алтаре старых богов, дабы смягчить гнев тех, кто на небесах вершит судьбы смертных.

— Ладно, как эпизод в классическом духе может сойти,— с некоторым сомнением заметил мексиканец, когда красный занавес снова закрылся.

Вскоре опять раздался перестук молотков, предвещавший смену декорации, вернулись на места музыканты, и после короткого симфонического вступления — ничего хорошего не предвещавшего, если судить по раздирающим слух гармониям,— узкая сцена открылась, и восхищенным взорам предстала тяжеловесная башня, а в глубине — созданная с помощью световой техники панорама великого города Теночтитлана. На земле валялись трупы, что показалось мексиканцу не совсем понятным. И возобновилось запутанное действие с участием Монтесумы, опять наряженного Монтесумой («мой костюм, тот самый костюм»), плененной Теутиле, воинов, решивших освободить ее, и Митрены, которая собиралась поджечь башню.

— Еще один пожар? — спросил Филомено в надежде, что повторится столь великолепное зрелище. Но нет. Башня чудесным образом превратилась в храм, у входа в который возвышалось изваяние како-

[46] Многие века народы были столь неразумны, что не ведали даже собственных сокровищ *(итал.)*.

[47] Малинчизм — от имени Малинче, индеанки — переводчицы и наложницы Кортеса, действовавшей против интересов собственного народа.

го-то страшного, уродливого, длинноухого бога, очень похожего на дьяволов Босха, чьи картины так нравились королю Филиппу II и до сих пор хранятся в могильно-мрачном Эскориале. Одетые в белое жрецы называли этого бога *Училибос*.

«Откуда они взяли это имя?» — подумал мексиканец.

Привели Теутиле со связанными руками и уже собрались приступить к кровавому жертвоприношению, когда синьор Максимилиано Милер, из последних сил напрягая голос, изрядно утомленный безудержным вдохновением Антонио Вивальди, героически запел скорбную арию, вполне достойную поверженного монарха Персов: «*Звезды, вы победили. На моем примере мир убедится в непостоянстве вашем. Я был королем и хвалился божественной властью. Теперь я — жертва, скованный пленник, презренная добыча чужой славы, и мне суждено стать в грядущем лишь достоянием истории*».

Пока мексиканец утирал слезы, вызванные столь возвышенными сетованиями, занавес закрылся, вновь раскрылся, и мы перенеслись на украшенную в стиле римских триумфов площадь с ростральными колоннами, Главную площадь Мехико, где реяли по ветру все флажки, вымпелы, штандарты и знамена, какие только появлялись ранее. Входят пленные мексиканцы с цепями на шее, горько оплакивая свое поражение; зрители приготовились уже наблюдать новую бойню, но тут происходит нечто непредвиденное, невероятное, чудесное и нелепое, противное всякой правде: Эрнан Кортес прощает своих врагов, и, дабы закрепить дружбу между ацтеками и испанцами, при общем восторге, под радостные клики празднуется свадьба Теутиле и Рамиро; побежденный император клянется в вечной верности испанскому королю, а хор в сопровождении струнных и медных, играющих под водительством маэстро Вивальди, победно и оглушительно громко славит наступление мира, торжество истинной религии и счастье, дарованное Гименеем. Марш, эпиталама, общий танец, da caро, еще da caро, еще da caро, и наконец красный бархатный занавес закрывается перед негодующим мексиканцем.

— Вранье, вранье, вранье, все вранье! — кричит он.

И, продолжая кричать «вранье, вранье, вранье, все вранье», бросился к Рыжему Монаху, который складывал партитуру, утирая пот большим клетчатым платком.

— Вранье? Что именно? — спросил с удивлением музыкант.

— Все. Этот финал — чистая глупость. История...

— Историкам в опере делать нечего.

— Но... никогда в Мексике не было такой императрицы, и никакая дочь Монтесумы не выходила замуж за испанца.

— Минутку! Минутку! — внезапно вспылив, воскликнул Антонио.— Поэт Альвисе Джусти, автор этой «драмы для музыки», изучил хронику де Солиса, которую главный библиотекарь знаменитой библиотеки святого Марка очень ценит как документальную и точную. И там говорится об императрице, да, сеньор, женщине достойной, возвышенной и отважной.

— Никогда ничего подобного не видел.

— Глава XXV пятой части. А кроме того, в четвертой части говорится, что *две* или *три* дочери Монтесумы вышли замуж за испанцев. Так что одной больше или меньше...

— А этот бог *Училибос?*

— Не виноват я, что у всех ваших богов какие-то невозможные имена. Сами конкистадоры, стараясь подражать мексиканской речи, называли его *Училобос* или как-то в этом роде.

— А, понял. Речь идет об Уицилопочтли.

— И вы полагаете, что это можно спеть? Все имена в хронике де Солиса похожи на скороговорку. Сплошные скороговорки: Истлапалальпа, Гоасокоалько, Хикаланго, Тласкала, Махискацин, Куальпопо-

ка, Хикотенкатль... Я заучил это как упражнение в артикуляции. И какого черта надо было придумывать такой язык?

— А Теутиле, из которого вы сделали женщину?

— Ну, это имя хоть произнести можно, и оно вполне подходит для женщины.

— А куда девался Гуатимосин, настоящий герой этой истории?

— Он нарушил бы единство действия... Это персонаж для другой драмы.

— Но... Монтесуму побили камнями.

— Совсем непривлекательная картина для финала оперы. Англичанам это еще могло бы пригодиться, они всегда кончают свои театральные представления убийствами, резней, похоронными маршами и погребениями. Но здесь люди приходят в театр, чтобы развлечься.

— А где же донья Марина? Ее и вовсе нет в этом мексиканском маскараде!

— Ваша Малинче была мерзкой предательницей, а публика не любит предателей. Ни одна наша певица не согласилась бы на такую роль. Чтобы стать поистине великой и удостоиться музыки и рукоплесканий, эта индеанка должна была поступить, как Юдифь с Олоферном.

— Однако же ваша Митрена признает превосходство конкистадоров.

— Да, но именно она до самого финала призывает к безнадежному сопротивлению. Такие персонажи всегда имеют успех.

Мексиканец, хотя несколько сбавив тон, продолжал настаивать:

— История говорит нам...

— Не суйтесь вы с историей в театральные дела. Главное тут — поэтическая иллюзия... Сами судите, знаменитый мосье Вольтер не так давно поставил в Париже трагедию, построенную на нежной любви Оросмана и Заиры, а живи эти исторические лица в то время, когда происходит действие, ему было бы за восемьдесят, а ей — далеко за девяносто.

— Тут уж никакие снадобья не помогут,— буркнул Филомено.

— ...И еще там говорится, что Иерусалим поджег султан Саладин, а это уж чистое вранье, потому что на самом деле если кто разграбил город и вырезал население, то наши крестоносцы. А ведь святые места имеют свою историю. Великую, достойную уважения историю!

— Значит, историю Америки вы не считаете великой и достойной уважения?

Музыкант положил свою скрипку в подбитый пунцовым атласом футляр.

— В Америке все выдумки: сказка об Эльдорадо и Потоси, города-призраки, говорящие губки, ягнята с золотым руном, амазонки с одной грудью и индейцы орехоны, которые питаются иезуитами...

Мексиканец снова вспылил:

— Ну если вам так нравятся выдумки, пишите музыку на сюжет «Неистового Роланда».

— Это уже сделано: премьера была шесть лет назад.

— Не хотите ли вы сказать, что вывели на сцену Роланда, который нагишом, с голым задом мечется по всей Франции и Испании, а потом пускается вплавь через Средиземное море и от нечего делать летит на луну?..

— Хватит вам чушь молоть,— сказал Филомено, который с большим интересом разглядывал на свободной от машинистов сцене синьору Пиркер (Теутиле) и синьору Дзануки (Рамиро): певицы, уже разгримированные и одетые для выхода на улицу, горячо обнимались и, быть может, слишком страстно целуясь, поздравляли друг друга с тем, как хорошо — и это была правда — обе они пели.

— Особое пристрастие? — спросил мексиканец, выбирая самые

осторожные слова, какие могли выразить возникшее у него подозрение.

— Да кому до этого дело! — воскликнул Вивальди и сразу заторопился, услышав нетерпеливый зов прекрасной Анны Джиро, которая появилась, на этот раз без блеска освещения и театральных эффектов, в глубине сцены.

— Чувствую, вам не понравилась моя опера... Следующий раз подыщу сюжет из римской истории...

На площади мавры Часовой башни пробили молотками шесть раз, а вокруг них уже спали голуби, и от каналов поднимался влажный туман, застилая эмаль и золотые украшения часов.

Труба вострубит...
Первое послание к коринфянам I, 52.

асквозь промокшие под упорным мелким дождем суконные плащи отдавали запахом хлева; мексиканец шагал мрачный, погруженный в свои мысли, не поднимая глаз, словно пересчитывал мраморные плиты площади, казавшиеся голубыми в свете городских огней; слышно было только его невнятное бормотанье, в котором мысли так и не выражались словами.

— Что это, вы как будто удручены этим музыкальным представлением? — спросил его Филомено.

— Сам не знаю,— сказал наконец мексиканец, прервав свой невразумительный монолог.— Маэстро Антонио задал моим мозгам работу этой сумасбродной мексиканской оперой. Я — внук людей, родившихся в Кольменар-де-Ореха и Вильяманрике-дель-Тахо, сын эстрамадурца, крещенного в Медельине, где крещен был и Эрнан Кортес. И тем не менее сегодня, сейчас вот со мной произошло нечто весьма странное: когда лилась музыка Вивальди и развивалось сопровождавшее ее действие, я горячо хотел, чтобы восторжествовали ацтеки, я жадно ожидал развязки, совершенно невозможной,— ведь я-то родился там и лучше всех знаю, как происходили события. Я сам себя поймал на нелепой надежде, что Монтесума победит спесивого испанца, а его дочь, подобно библейской героине, обезглавит выдуманного Рамиро. И я вдруг почувствовал, как, стоя среди индейцев, натягиваю лук и страстно желаю погибели тем, кто дал мне мою кровь и имя. Будь я Дон Кихотом с алтаря маэсе Педро, я бросился бы с копьем и щитом против своих единоверцев в шлемах и кольчугах.

— А разве не в том и состоит назначение театральной иллюзии, чтобы вырвать нас из обычной обстановки и перенести туда, куда по собственной воле нам не попасть? — спросил Филомено.— Благодаря театру мы можем вернуться назад и жить, независимо от теперешней нашей телесной оболочки, в те времена, что ушли навсегда.

— Назначение театра, как об этом писал один древний философ, состоит также и в том, чтобы очищать нас от тревог, скрытых в тайных глубинах нашей души... При виде искусственной Америки, этого жалкого поэта Джусти я почувствовал себя не зрителем, а актером. Я позавидовал Массимилиано Милеру, надевшему одежду Монтесумы, она с пугающей достоверностью вдруг стала моей. Мне почудилось, будто певец играет роль, предназначенную для меня, а я по трусости и неумению оказался неспособен исполнить ее. Я вдруг почувствовал себя как бы вне окружающей жизни, неуместным здесь, далеко от самого себя и от того, что действительно было моим... *Иногда необходимо уехать подальше, пересечь моря, чтобы оценить свое по-настоящему.*

Тут мавры Часовой башни отбили время, как делали это испокон веков.

— Осточертел мне этот город с его каналами и гондольерами. Плевал я на Анчиллу, Камиллу, Джульетту, Анжелетту, Катину, Фаустолу, Спину, Агатину и всех остальных, чьи имена даже не запомнил. Хватит! Сегодня же ночью возвращаюсь домой. Мне нужен другой воздух, чтобы вновь стать самим собой.

— Если верить маэстро Антонио, все *тамошнее* — одни сказки.

— Сказками питается великая история, не забывай об этом. Сказкой кажутся наши дела здешним людям, потому что они утратили понимание сказочного. Они называют *сказочным* все давно прошедшее, непостижимое, оставшееся позади,— помолчав, заметил мексиканец.— Они не понимают, что сказочное ждет нас в будущем. Будущее всегда сказочно.

...Теперь они шли по веселой улице Мерчериа, менее оживленной, чем обычно, из-за дождя, моросившего так упорно, что вода начала капать с полей шляп. Мексиканец вспомнил о поручениях, которыми нагрузили его накануне отъезда там, в Койоакане, друзья и сотрапезники. Он, конечно, не собирался разыскивать образцы мрамора, яшмовую трость и редкие фолианты или добавлять к своей поклаже бочонок марраскина и римские монеты. Что же касается инкрустированной перламутром мандолины... пускай вместо ее струн дочка инспектора мер и весов щиплет собственные телеса, они вполне для этого подходят! Но вот здесь, в музыкальной лавке, наверняка можно найти сонаты, концерты и оратории, о которых так скромно просил учитель бедного Франсискильо. Они вошли. Для начала продавец предложил им несколько сонат Доменико Скарлатти.

— Великолепный парень,— сказал Филомено, вспомнив знаменательную ночь.

— Говорят, этот повеса сейчас в Испании, и там великодушная, любвеобильная инфанта Мария Барбара уплатила все его карточные долги, а они ведь знай растут, пока остается хоть одна колода карт в игорном доме.

— У каждого свои слабости. Этого всегда больше привлекали женщины,— сказал Филомено, кивнув на концерты маэстро Антонио. Они назывались «Весна», «Лето», «Осень», «Зима», и каждому предшествовал, в объяснение, прекрасный сонет.

— Он-то всегда будет жить весной, даже если его настигнет зима,— сказал мексиканец.

Но продавец уже восхвалял достоинства замечательной оратории «Мессия».

— Ни больше ни меньше! — воскликнул Филомено.— Саксонец на мелочи не разменивается.

Он раскрыл партитуру.

— Черт! Вот это называется писать для трубы! Ах, если бы сыграть это!

И он с восторгом читал и перечитывал арию баса, написанную Георгом Фридрихом на слова Послания к коринфянам. Над нотами, которые мог сыграть на своем инструменте только самый искусный исполнитель, были написаны слова, чем-то напоминающие spiritual [48]:

The trumpet shall sound
And the dead shall be raised
Incorruptible, incorruptible,
And we shall be changed,
And we shall be changed!

[48] Религиозные песнопения негров *(англ.)*.

The trumpet shall sound,
The trumpet shall sound! [49]

Уложив багаж, спрятав ноты в чемодан из толстой кожи, с украшением в виде ацтекского календаря, мексиканец и негр отправились на станцию железной дороги. Когда до отхода экспресса оставалось несколько минут, Хозяин выглянул из окна своего купе в Wagons-Lits-Cook: [50]

— Чувствую, ты остаешься,— сказал он Филомено, который, ежась от холода, топтался на перроне.

— Останусь еще на денек. Сегодняшний вечер для меня особенно важен.

— Представляю себе... Когда же ты вернешься на родину?

— Сам не знаю. Раньше поеду в Париж.

— Женщины? Эйфелева башня?

— Нет. Женщин всюду хватает. А Эйфелева башня давно уже не чудо. Разве что фигурка для пресс-папье.

— В чем же дело?

— В Париже меня будут называть *Monsieur Philomène,* вот так, через «Ph» и с красивым ударением на «е». А в Гаване я навсегда останусь всего лишь «негритенком» Филомено.

— Все может когда-нибудь измениться.

— Для этого понадобится революция.

— Боюсь я революций.

— Потому что у вас много серебра там, в Койоакане. У кого есть серебро, те не любят революций... А мы — такие, как я,— нас много, и скоро мы станем *массами.*

Еще раз — который раз за века? — пробили молотками время мавры на Часовой башне.

— Может быть, я слышу их в последний раз,— сказал мексиканец.— Многому научили они меня за время путешествия.

— Вообще, путешествуя, многому можно научиться.

— Басилио, великий каппадокиец, святой и ученый муж церкви, утверждал в интереснейшем трактате, что Моисей приобрел немало знаний, пока жил в Египте, а Даниил превосходно разгадывал сны — сейчас это так модно! — потому что его научили этому халдейские прорицатели.

— Постарайтесь извлечь пользу из вашего путешествия,— сказал Филомено.— Я же займусь своей трубой.

— Ты остаешься в хорошей компании: труба напориста и решительна. Инструмент грозного и возвышенного звучания.

— Потому и трубит она в час Страшного суда, когда приходит время свести счеты со всеми негодяями и сукиными детьми,— сказал негр.

— Ну, чтобы покончить с ними, придется ждать конца света,— сказал мексиканец.

— Странно,— сказал негр.— Всегда я слышу о конце света. Не лучше ли говорить о начале, о наступлении нового времени?

— Оно начнется в день воскресения мертвых,— сказал мексиканец.

— Нет у меня времени ждать столько времени,— сказал негр.

Большая стрелка вокзальных часов перескочила через минуту, отделявшую ее от восьми вечера. Поезд начал почти незаметно скользить в темноту.

[49] Труба вострубит,
И мертвые восстанут
Нетленными, нетленными,
А мы изменимся,
А мы изменимся!
Труба вострубит,
Труба вострубит! *(англ.).*

[50] Спальный вагон *(франц.).*

— Прощай!

— Надолго ли расстаемся?

— До завтрашнего дня?

— Или до вчерашнего...— сказал негр, но слово «вчерашнего» заглушил долгий свисток локомотива...

Филомено вернулся на освещенную площадь, и ему вдруг показалось, что город невероятно постарел. На обветшалых стенах проступили морщины, трещины, расщелины, появились пятна плесени и древнего грибка, разъедающего непрочные творения человека. Колокольни, мозаики, купола и эмблемы, красующиеся на плакатах по всему белому свету, чтобы привлекать обладателей travellers checks [51], утратили из-за этих бесчисленных изображений волшебную силу святых мест, которые требуют, чтобы тот, кто хочет созерцать их воочию, преодолел в пути преграды и опасности. Казалось, будто уровень воды поднялся. Быстро проносились моторные лодки, бурлили мелкие, но упорные, неустанные волны, разбиваясь о сваи и деревянные столбы, на которых высились дома, кое-где обманчиво подновленные при помощи строительной косметики и пластических операций, произведенных рукой современного архитектора. Венеция как будто с каждым часом все глубже погружалась в мутные, взбаламученные воды. Глубокая печаль нависла этим вечером над больным, дряхлеющим городом. Но Филомено не был печален. Никогда он не был печален. Сегодня вечером, через полчаса, состоится концерт — столь долгожданный концерт того, кто всех призывает своей трубой, как бог Захарии, господь Исайи или как велит самый радостный псалом Святого писания. И, зная, что ему предстоит выполнить еще немало задач там, где музыка подчиняется четкому ритму, Филомено легким шагом направился к концертному залу: афиши извещали, что через минуту зазвучит труба несравненного Луи Армстронга. И Филомено показалось, будто единственное, что осталось для него в этом свайном городе живым, современным, стремительным, летящим, словно стрела, в будущее,— был ритм, ритмы простейшие и вместе с тем полные глубокого смысла, существующие только здесь, на земле, и нигде более, ибо люди доказали — совсем недавно, конечно,— что в сферах есть только музыка самих сферических тел, однообразный контрапункт их круговращений,— ведь даже поднявшись на луну, обожествленную в Египте, Шумере и Вавилонии, жители земли с огорчением обнаружили там лишь свалку никчемных камней, звездную пыль и обломки других, летящих по более отдаленным орбитам светил, уже показанных нам в астрономических атласах и показавших, что наша иной раз довольно мерзкая земля в конце концов не такое уж дерьмо и не так недостойна благодарности, как кое-кто утверждает,— ведь что бы ни говорили, это самый жилой дом во всем мироздании,— а у проклятого и испорченного человека, которого нам не с кем сравнивать за неимением других людей в солнечной системе (быть может, потому он и оказался избранником, ничто не доказывает противного), нет более высокой задачи, чем прийти к пониманию собственной жизни. Пусть ищет решения своих проблем в оружии Огуна или на путях Элегуа [52]; в Ковчеге завета или в Изгнании торгующих из храма, в платоновском универсальном магазине идей и предметов потребления или в знаменитом «аргументе-пари» Паскаля и иже с ним, в слове или в спасательном канате — это уже его дело. Филомено пока что собирался решить их при помощи музыки земной, ибо музыка сфер его ничуть не волновала. Он показал свой ticket [53] у входа в театр, капельдинерша с невероятно толстым задом — негру все представлялось особенно явственным,

[51] Аккредитив *(англ.)*.

[52] Огун и Элегуа — божества афрокубинского негритянского культа, духовные защитники человека.

[53] Билет *(англ.)*.

почти осязаемым — проводила его на место, и под гром, оглушительный гром рукоплесканий и приветствий появился чудодей Луи. И, поднеся трубу к губам, вдохновенно, как умел только он один, начал мелодию «Go down Moses» [54], затем перешел к «Jonah and the Whale» [55], и звуки неслись из медного раструба к театральным небесам, где замерли в полете розовые музыканты ангельского хора, возможно обязанные своим рождением светлой кисти Тьеполо. И снова Библия претворялась в ритм и жила меж нами вместе с «Ezekiel and the Wheel» [56], пока не вырвалась на простор в звуках «Hallelujah, Hallelujah» [57], которые неожиданно напомнили Филомено образ Того — Георга Фридриха *той ночи*, теперь он покоился под барочной статуей Рубильяка в большом мраморном приделе Вестминстерского аббатства рядом с Перселом, который тоже знал толк в грозных и торжествующих трубах. Но вот вслед за виртуозом заиграли новое произведение инструменты, собранные на сцене: саксофоны, кларнеты, контрабас, электрическая гитара, кубинские барабаны, мараки (а может, это и есть «типинагуа», упомянутые когда-то поэтом Бальбоа?), цимбалы, деревянные брусочки, постукивающие в руках музыканта, словно молотки по серебру, барабаны с приглушенным звуком, щетки, треугольники-систры и рояль с поднятой крышкой, который в давние времена, помнится, назывался как-то вроде «хорошо темперированный клавир».

«Пророк Даниил, тот, что многому научился в Халдее, рассказал об оркестре, который состоял из медных, цимбал, цитры, арф и самбук и, наверное, очень походил на этот»,— подумал Филомено.

Но тут все инструменты, следуя за трубой Луи Армстронга, грянули энергичный strike-up [58] ослепительных импровизаций на тему «I Can't Give You Anything But Love, Baby» [59] — нового концерта барокко, к которому, как нежданное чудо, присоединился залетевший через слуховое окно звон часов: мавры отбивали время на Часовой башне.

Гавана — Париж, 1974.

[54] «Сойди, Моисей» *(англ.)*.
[55] «Иона и кит» *(англ.)*.
[56] «Иезекииль и колесо» *(англ.)*.
[57] «Аллилуйя, аллилуйя» *(англ.)*.
[58] Начало *(англ.)*.
[59] «Я не могу тебе дать ничего, кроме любви, малютка» *(англ.)*.

Примечание

Очевидно, опера «Монтесума» Вивальди — который ввел американскую тему в театр за два года до того, как Рамо написал «Галантные Индии» из жизни совершенно фантастических инков,— имела такой успех, что либретто Альвисе (другие называют его Джироламо) Джусти побудило написать оперы на тему завоевания Мексики еще двух известных итальянских композиторов: венецианца Бальдасаре Галуппи (1706—1785) и флорентийца Антонио Саккини (1730—1786).

Хочу выразить благодарность выдающемуся музыканту и пылкому вивальдисту Ролану де Конде, который навел меня на след «Монтесумы» маэстро Антонио.

Что же касается чарующей атмосферы Приюта Скорбящей богоматери — его Катарины-корнета, Пьерины-скрипки, Лучеты-виолы и так далее и так далее,— то о нем упоминают многие путешественники того времени, особенно утонченный знаток президент де Бросс, примерный вольнодумец и друг Вивальди, в своих вольных «Итальянских письмах».

Должен предупредить, я описал не то здание, что существует сейчас,— построенное в 1745 году,— а старое, стоявшее на том же месте на набережной Скьявони. Любопытно, однако, отметить, что нынешняя церковь Скорбящей богоматери, верная своему музыкальному предназначению, сохраняет необычный для церкви вид концертного зала, благодаря роскошным внутренним балконам, похожим на театральные, а также большой почетной ложе в центре для именитых слушателей и знатных меломанов.

А. К.

ЛИНЦЕР РАИСА ИСАЕВНА.

Советский переводчик с испанского и французского языков. В ее переводе выходили произведения А. Карпентьера, Пабло Неруды, Х. К. Онетти, Б. Переса Гальдоса, В. Бласко Ибаньеса, Д. Дидро, О. Бальзака, Жорж Санд, Ф Мориака и др.

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН

Из книги стихов «Пока еще здесь»

■

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Осенний пикник давным-давно

— Вот, сэр,— Бамбо передал папе поводья,
Маме помог с малышкой, крепость ремня
Проверил на пледах и белых корзинах со снедью,
Поднял сестренку и подсадил меня,
И всех нас заливало сиянье золотого осеннего дня.

Цок-цок — очень скоро мы были уже на проселке
И после в лесу под трепещущею листвой.
Блики и тени лица дробят на осколки,
И мы — как уродцы по братии цирковой,
И лошадь, мерцая, везет нас, и это само волшебство.

По тряским камням мы переехали речку
К округлой поляне, конечно, конечно, на ней
Заранее папа для нас присмотрел местечко
И сложил у ручья очаг из замшелых камней.
Лошадь вмиг распрягли, сестренка помчалась за мной.

Все обычно и чинно — воскресный пикник, как бывало
В те годы, когда экипажи сдавали внаем,—
Машин не то не было вовсе, не то было мало.
Мама в платье узком, длинном и голубом,
Папа в ботинках на кнопках и в блузе с простым пояском.

Все обычно и чинно — поели, малышка уснула,
Мы с сестренкой сбежали, папа и мама ушли
В разговоры о чем-то своем, как всегда, без начала
И конца, ушли и вернуться назад не могли,
Ушли — куда? На облачный, солнечный край земли.

© Robert Penn Warren, 1978, 1979, 1980.

РОБЕРТ ПЕНН УОРРЕН — ROBERT PENN WARREN (род. в 1905 г.).

Американский писатель — прозаик, поэт, критик. Автор десяти романов и многих сборников стихов. Известен в нашей стране по переводам романов «Вся королевская рать», «Приди в зеленый дол». Член Американской Академии искусства и литературы и Американской Академии наук. Награжден премиями Пулицера за прозу и за стихи и другими литературными премиями, в том числе и за последний сборник стихов «Пока еще здесь» («Being Here». New York, Random House Inc., 1980), из которого взяты предлагаемые стихи. Они войдут в однотомник стихов и прозы Р. П. Уоррена, готовящийся к печати в издательстве «Прогресс».

Но кончался пикник, солнце пряталось в зелень,
И мама воскликнула: — Места прекраснее нет!
И папа сказал: — Мой корабль возвратится в гавань,
И ты повидаешь все, чем славится свет.
И мама: — Чего мне желать, когда я счастлива тут!

И она подняла малышку к алевшему небу,
И веселая песня вдруг выпорхнула из груди.
Мама пела, а мы — *цок-цок* — катились по ле́су,
И тени сгущались, и мрак поджидал впереди,
Я дремал и не знал о мраке, сгустившемся впереди,

А мама пела.

Как птица давала ночи названье, или Деревенские похороны

Все было так, как всегда бывает в итоге.
Старая миссис Клинч каменела в гробу,
Похоронных дел мастер прикрыл ее худобу,
Подкрасил ей волосы и подрумянил щеки —
Подготовил клиентку для Бога и гробовых
Червей,— и миссис Клинч о себе услыхала
Ту же щедрую правду с ложью, какую, бывало,
Слово в слово говаривала о других.

Старики-соседи поужинать предложили
И вызвались с мистером Клинчем побыть до утра.
Он сказал им спасибо, сказал, что давно пора
Привыкать одному, и еще — о цветах на могиле.
Пожал проповеднику руку. Сглотнул комок.
Вылез у фермы. Ужин счел неуместным.
Пошел доить, как был, в костюме воскресном.
Лбом уперся корове в шершавый бок.

Ведро с молоком поставил на ле́дник. Дома
Снял башмаки и костюм аккуратно убрал,
И вдруг загляделся на белоснежный крахмал,
Постеленный чьей-то рукой, ему не знакомой,
Лечь не смог. Внутри не стихала зыбь.
Он взял бумагу, перо и чернила. Сыну
Хотел написать письмо, но не смог: в сердцевину
Сознанья проникло короткое слово *выпь*.

Ибо птица давала ночи названье: *выпь*.

Выпь.

Сон в лунную ночь

Я не слышал, но узнавал любое дыханье,
Когда, проснувшись, побрел через спящий дом:
Папино — словно из сути существованья,
Мамино — как шелестенье цветов над прудом
При медленном убыванье дневного света,
И самое шумное, сиплое — старого деда,
Который все, что ни делал, делал с трудом
И кричал, когда снился Форт-Пиллоу и пушечный гром.

Дом был тихий, как мышка, лишь кое-где половица
Под грузом реальности и сновидений, на ней
Лежавших, скрипела и жаловалась, что снится
Реальность реальней дневной и намного грустней.
Зачем же я вышел, к какой направляюсь цели?
Оглянулся, увидел: мои босые чернели
Следы на залитой лунным светом росе.
Люди знают, куда идут, и я туда, куда все.

Казалось, люди и вправду знают дорогу
В том сне, который о мире снился луне,
И они по тропинке спускались со мной к потоку,
И коровы, храпя, слепыми глазами во сне
Видали меня бестелесного, и над ночными
Просторами выпь давала луне свое имя,
И я, безымянный, гадал о грядущей судьбе
И двигался в лунном свете вне радостей и скорбей.

Через белый клевер на холм, где в кленовой чаще
Тьма свисала, касалась меня, чтоб узнать,
Насколько увиденный в лунном сне настоящий
Тот, чья реальность должна в эту пору спать
Под крышей, которая тоже часть сновиденья.
Провал. Я проснулся в первых лучах и в смятенье
Через клевер, межу, ручей помчался домой,
Но дыханья не услыхал, ибо дом был как нежилой.

О, какой он жилой! Хоть столько лет миновало,
И трудов, и веселья, и горя давно лишены
Обитавшие в нем, чья реальность много ли, мало
Значила в свете солнца или луны.
Шоссе перекрыло ручей и слизнуло ферму.
Шестьдесят на спидометре, я бездумно и мерно
Мчался — ничто не шевельнулось во мне,
А ведь именно здесь луна видала меня во сне.

Единственное стихотворенье

Написать бы это единственное стихотворенье,
Только память дурит и я что-то глазами плох.
Так все ярко, что тотчас от слез ослепленье
И забытое с толку сбивает, застав врасплох.

Дело давнее и, без сомненья, пустое,
Хотя я ночью проснулся как будто на зов.
Умиравший сон возвратился, и я простынею
Вытер жгучие слезы, лишавшие слов.

Мама, время твою красоту истощило —
Отец перед смертью как вспоминал о ней...
Но к делу: в тот день мама меня потащила
Взглянуть на новую дочку моих друзей,

Оставленную до лучших времен у бабки.
Я на руки взял душистый клубочек тепла,
Из вежливости погугукал, почмокал в лапки
И вдруг растерялся. И мама ее приняла —

Да так, что я понял: она целый день готова
Сидеть на полу, как девчонка, и ждать полусмех-
Полукрик и движенье ручонок, чтоб снова и снова
Визжащую от восторга подбрасывать вверх.

И это, в сущности, все, кроме прощанья.
По скользкому снегу в молчанье мы шли назад,
Она прижималась ко мне, и, прервав молчанье
И звеня ключами, сказала: — Как годы летят! —

Накрыла мне ужин. Мой поезд должен был в девять
Увезти меня в мир, где все обращается в прах.
Неудача, удача — что они могут поделать
С униженьем при мысли о быстротекущих годах?

Мир в платоновой дреме

Замерший луч солнца.
Белый кот притаился
Под растрепанной красной розой,

Последней в сезоне. Моргает.
Солнечный луч золотит
Глазированных ос, они вьются

Вокруг золотистой груши,
Единственной, на макушке,
Не достанешь! Пропел петух.

Солнце, прибитое к небу,
Благословляет землю,
На которой смертно лишь Время.

Ты не согласен с этим,
Смеешься. Глупец, ты забыл,
Как лежал в желтевшей траве

В подростковой бесцельной тоске —
Разве твоя тоска
Не превратилась в ничто?

И тело твое покачнулось
И поплыло в покой, в молчанье,
В серебристую даль и осталось

Лишь первозданное пламя
Бытия, и оно трепетало
От платоновой радости мира.

Мир в платоновой дреме.

Прощайте, скворцы!

В сиянье солнца пурпуром отливая,
Рассыпается, чернопёрая, в голубизне,
Перчит даль и бесследно скрывается стая.
Я забылся. Стою и смотрю, точно во сне.

Еще один год. Я забылся во сне осознанья.
Когда-то вспыхнувший лист на моих глазах
Оторвался от ветки и в золотом сиянье
Опустился на черный лоск озерка в горах.

Еще один год. Когда-то, держась за маму,
Я смеялся, пиная листву, устилавшую луг.
Мог ли тогда я предчувствовать горную яму,
Где листва на воде образует зловещий луг?

Кто, безумный, доверясь, войдет в эту ловушку?
Все мы в пасти у Времени и у Земли в плену.
Кто заманит другого безумного в эту ловушку?
И восход и закат твердят про нашу вину.

Прощайте, скворцы! Пустое небо умолкло.
Когда еще крики вернувшейся вашей семьи
Возвестят, что дело пошло к теплу и что только
Во имя Смерти откроется имя Любви?

Жатва в прерии

Взгляни на запад, на дали в сплошной стерне.
Рева красных машин не слышно, не слышно.
Слышно, как сердце колотится в тишине.
Огромный расплавленный шар повис неподвижно

Над горизонтом. Из дальних расселин вылез
Туман и пополз по стриженой круглой земле.
Летучие мыши в последних лучах закружились,
Их крики — ничто во вселенской зияющей мгле,

Ибо в ней ты слышишь только биенье сердца.
С убывающей жизни срезан еще один пласт.
Ты можешь забыться на миг при заходе солнца?
Звезда, которой молились индейцы, воздаст

За труд вожделеньем и за вожделенье забвеньем.
Один среди звезд, опоясан их млечной рекой,
Способен ли ты осознать и единым сужденьем,
Кто бы ты ни был, выразить, кто ты такой?

Путники снежной ночью

Дорога в снегу белеет,
Хвойные стены черны,
Над гладями цепенеет
Голый череп луны.

Поглядывает без вниманья,
Как облачками льда
Твое проплывает дыханье
На пути *оттуда — туда.*

Под иным небосклоном
Ты вышел, наверно, днем,
Мечтая об освещенном
Окошке, зовущем в дом.

И дом этот где-то рядом,
Он виден из-за угла,
И кто-то уперся взглядом
В морозный узор стекла,

И скоро в тепле, в покое...
За поворотом одна
Пустынная даль, над тобою
Бесчувственная луна.

И я, тебя обгоняя
В глумливой игре лучей,
Из ночи своей желаю
Удачи тебе в твоей.

Нам слышно скрипенье ели,
Нас благословляет сыч.
И каждый движется к цели,—
Он должен ее достичь.

■

СОНОМЫН ЛОЧИН

Исповедь двух героев

РОМАН

Перевод с монгольского Г. МАТВЕЕВОЙ

Пролог

Чем дальше отодвигалась защита кандидатской диссертации, тем чаще снился Хашчулуну один и тот же сон. Снился с теми мельчайшими подробностями, которые дают ощущение реальности. Но увы! Это был только сон.

Вот и нынешней ночью, едва сомкнув глаза, Хашчулун увидел, как собирается на заседание Ученый совет института. Председатель, он же директор, не спеша занял место за широким массивным столом. Рядом с ним, как птица на жердочке, примостился на стуле ученый секретарь, маленький, щуплый человечек с непослушным хохолком жестких волос на макушке. Он энергично шевелит губами, старательно проверяя списки членов Ученого совета.

Затем Хашчулун увидел себя там, где и положено сидеть соискателю — в первом ряду. Он украдкой поглядывал в зал — народу собралось мало. Одни сидели уткнувшись в газету, другие переговаривались. Хашчулун знал здесь всех, кроме небольшой группы студентов — старшекурсников университета и пединститута. Он, естественно, волновался, но это было бы почти незаметно, если бы не легкая бледность лица и напряженный взгляд темных, без блеска, глаз.

Наконец председатель открыл заседание. Секретарь монотонно зачитал краткую биографию диссертанта, служебную характеристику, отзывы научных организаций. Все облегченно вздохнули, когда он захлопнул папку, заключив таким образом нудную часть защиты, и предоставил слово соискателю. Стараясь унять дрожь в руках, Хашчулун прошел к небольшому столу, стоявшему на почтительном расстоянии от президиума. «Главное — не волноваться,— приказал он себе,— ведь противники попытаются навязать бой. Надо запомнить буквально все, чтобы опровергнуть их в заключительном слове».

Сначала собственный голос показался Хашчулуну чужим, и он слегка растерялся. Он перечислил названия глав и разделов, рассказал о цели исследования и перешел к результатам многолетних опытов. Тут он почувствовал себя увереннее и смело посмотрел в зал. Народу заметно прибавилось, но стояла глубокая тишина. Все взгляды были устремлены на Хашчулуна. Он отложил в сторону тщательно вычитанный текст своего выступления и принялся горячо, с убеж-

---

СОНОМЫН ЛОЧИН (род. в 1937 г.).

Монгольский писатель, переводчик, редактор. Автор романов «Крах» (1979), «Поиски судьбы» (1981), повестей, сценариев, рассказов и памфлетов. В русском переводе издан его роман «Свет души». На монгольский язык Сономын Лочин переводил сборники статей о В. И. Ленине, «Вешние воды» И. С. Тургенева и ряд других произведений.
Роман «Исповедь двух героев» вышел в Государственном издательстве в 1978 г. Печатается в журнальном варианте.

денностью, выработанной за долгие годы чередующихся неудач и успехов, рассказывать о своем смелом эксперименте и его неожиданных результатах. Кончив говорить, Хашчулун перевел дыхание и вытер платком лоб. Ему задали несколько незначительных вопросов — это была всего лишь разминка перед серьезной дискуссией,— и он вернулся на свое место.

Слово предоставили официальному оппоненту, приземистому и уже немолодому человеку, приятелю Хашчулуна с университетских времен и нынешнему его начальнику, заведующему сектором института — Мунхбату. Словно прячась от посторонних взглядов, Мунхбат водрузил на нос массивные темные очки и с важным видом откашлялся, строго покосившись на Хашчулуна: мол, дружба дружбой, а табачок врозь, так что на снисхождение не рассчитывай.

Что за дурацкая манера всегда напяливать на себя черные очки, злился Хашчулун, никогда не поймешь, что у него на уме. Смутное предчувствие надвигающейся опасности постепенно овладело Хашчулуном, но это не обессиливало, а напротив, заставило внутренне подобраться.

Переложив зачем-то лежавшие перед ним бумаги, Мунхбат вдруг решительно вздернул подбородок и ринулся в атаку.

— Я внимательнейшим образом ознакомился с работой уважаемого соискателя,— торжественно сообщил он с таким видом, словно это не входило в обязанности оппонента.— Повторяю: внимательнейшим образом! И с полной ответственностью заявляю: перед нами чрезвычайно интересный, оригинальный труд. Повторяю: чрезвычайно интересный, точнее, любопытный. Но, увы, друзья мои, значение его для науки и практики весьма невелико, более того, сомнительно...

Хашчулун старался не пропустить ни единого слова, все выступление Мунхбата было направлено на то, чтобы доказать несостоятельность основной концепции диссертации.

— Несколько лет соискатель изучал роль сорняков в отечественном земледелии, утверждая, что любому растению отводится в природе важнейшая роль. Результаты экспериментов диссертант опубликовал в ряде научных изданий. Однако...

«Многозначительная пауза! Мунхбат — прирожденный оратор!» — с иронией думал Хашчулун, глядя на невозмутимое лицо своего начальника. Его и без того желтая кожа казалась еще более желтой в сравнении с коричневой оправой очков. Странно, но Хашчулун не испытывал к Мунхбату ни малейшей неприязни, он лишь удивлялся, с какой легкостью тот берется судить о вещах, в которых мало что смыслит.

А Мунхбат, словно угадав мысли Хашчулуна, продолжал:

— ...С полной ответственностью заявляю: основная идея диссертации противоречит теории Дарвина... Краеугольный камень этой теории — учение о борьбе противоположных видов. И вот наш соискатель пытается опровергнуть бессмертную теорию, экспериментируя всего-навсего над посевами картофеля в специфических условиях. Что же это за эксперименты? На участке, где картофель был посажен с подсевом сорняков и где были обеспечены полив и подкормка, урожай оказался более высоким, чем там, где картофель был посажен без подсева сорняков. И на основании этих данных соискатель приходит к выводу, что сорняки не только не вступают в борьбу с противоположным видом, но и стимулируют рост других растений в своей среде...

Оппонент распалялся все больше и больше. Уверенность в собственной правоте всегда придает смелости.

— Известно, например, что волк — извечный враг животноводства,— громогласно вещал он,— подлежит массовому уничтожению. А сорняк — извечный враг культурных злаков, и его столь же решительно следует уничтожать.

«Извините, уважаемый коллега,— мысленно отпарировал Хашчулун.— Теперь волков не истребляют поголовно. Чтобы сохранить вид, во многих государствах волк давно взят под охрану. И вам это хорошо известно. Так что ваше образное сравнение несостоятельно и рассчитано на дешевый успех».

— Следовательно, не отказывая диссертанту в эрудиции, в похвальной целеустремленности и настойчивости, с присуждением ему степени кандидата наук разумнее повременить и вернуться к этому вопросу через некоторое время.

Вот оно, заключение первого оппонента: степени не присуждать...

Второй оппонент не бушевал и не суетился, не произносил громких фраз. Говорил тихо, без пафоса. Но все напряженно его слушали. Оппонент сказал, что столкновение разных точек зрения — дело самое обычное, без которого невозможен прогресс науки. Ибо и при разных точках зрения — цель одна: установление истины. Взять, к примеру, хотя бы спор в начале XIX века двух французских химиков Пруста и Бертолле о существе химии как науки... Выводы соискателя могут вызвать некоторые возражения, однако в работе несомненно есть рациональное зерно, соискатель совершенно справедливо утверждает, что силы природы еще не до конца исследованы и что некоторые отрицательные факторы, в частности, могут быть использованы — при определенных условиях — как положительные...

Второго оппонента, пожилого, сдержанного человека, Хашчулун знал и уважал как серьезного ученого-экспериментатора и, слушая его, постепенно успокаивался, понимая, что критика первого оппонента была воспринята большинством как несостоятельная. Разумеется, в работе остались нерешенными многие вопросы, но выводы диссертации, основанные на многолетних опытах, сомнений не вызывали. Словом, второй оппонент поддержал Хашчулуна. Но каковы бы ни были результаты голосования, жизнь не остановится. Хашчулун усмехнулся. Он столько лет отдал своим опытам, что отступать некуда. Завтра же он их продолжит. В этой области еще так много неясного, неразгаданного...

В заключительном слове Хашчулун не поскупился на резкие выражения и проявил, пожалуй, излишнюю горячность, которая говорила не в его пользу. Процедура голосования показалась Хашчулуну чересчур долгой. Но всему на свете приходит конец. Председатель счетной комиссии объявил, что большинством голосов товарищу Хашчулуну присуждена искомая степень кандидата наук. Кто-то уже энергично тряс его руку...

Хашчулун открыл глаза и увидел склонившуюся над ним жену.

— Вставай,— сказала она каким-то странным голосом,— тебе скоро на работу, а мне надо с тобой поговорить!

Глава первая

Пятница

I

Легкий ветерок влетел в полуоткрытое окно, и по тюлевым занавескам пробежали волны. Жавзма выглянула на улицу. Там внизу шумной веселой толпой шли люди, одетые ярко, нарядно. Пестрые косынки развевались на головах у девушек.

У каждого времени года свои краски. Но конец лета мало чем отличается от начала осени. По-прежнему зеленеют склоны величественной Богдо-Улы, аллеи городских парков и клумбы на площадях усеяны яркими цветами, только солнце не жжет так нещадно.

Жавзма вышла на балкон и долго смотрела вниз. Лиц прохожих ей не было видно, и все люди казались беспечными, словно вышли на

улицу с одной-единственной целью — насладиться отличной погодой. На самом же деле, и Жавзма это хорошо знала, народ спешил на работу — вторая смена начиналась в два. Ей самой надо было к четырем. Жавзма не любила вторую смену. То ли дело работать с утра. Выскочишь из дому прямо в густой морозный туман. Это зимой. А весною — над головой лазурное небо, пронзительный птичий гомон, и так радостно становится на душе, что хочется громко петь. Вливаешься в торопливый людской поток и бежишь на работу. Правда, и вторая смена имеет свои преимущества. Приятно после полуночи возвращаться домой. Просто великолепно! На улицах ни души, весь город спит, а тишина, тишина-то какая! Но не всем, конечно, по вкусу ночные прогулки.

Мысли молодой женщины перелетали с предмета на предмет, как мотыльки. Солнечные лучи мягко освещали ее смуглое скуластое лицо, с резкими чертами и грустными карими глазами. Густые черные волосы блестели. Жавзма постояла еще немного и, вздохнув, вернулась в комнату. Все в этот день валилось у нее из рук. Она так и не догладила белье на кухне и опустилась в мягкое кресло, стоявшее у окна в большой комнате. У них отличная, со вкусом обставленная трехкомнатная квартира. Сейчас здесь тихо, не слышно звонкого голоса сына. Он — в пионерлагере. Скоро вернется. От этой мысли на душе становится теплее. Над кроватью — его фотография, рядом — фотографии ее и мужа. Неужели это он, самый близкий и родной человек? А это она, бывшая студентка филфака, наивная, восторженная девушка? Лучше не вспоминать. Прошлого не вернешь, и нечего травить себе душу. Но трави не трави, а прошлое неумолимо стоит за спиной со всеми несбывшимися мечтами и надеждами. Если бы десять лет назад она увидела свое будущее в волшебном зеркале, повторила бы она свою ошибку? Кто знает, молодости свойственно надеяться на лучшее.

Кем она стала? Разочаровавшейся неудачницей, у которой впереди длинная вереница унылых и безрадостных дней, дней, не согретых ни нежностью, ни дружбой? Сумеет ли она зажить по-новому? Не хочется думать об этом — очень уж болезненна предстоящая ломка. Боже мой, о чем только не мечтала она десять лет назад! Перед ней тогда простиралась целая жизнь, безбрежная, как океан. А теперь?

Жавзма провела рукой по лицу. Оно было мокро от слез. Неужели она, волевая и сильная, жалеет себя, свое прошлое? Или это тоска по безвозвратно ушедшей молодости? Пожалуй, что так.

Как непохож теперешний Хашчулун на красивого улыбающегося юношу с крупными белыми зубами, который смотрит на нее с фотографии. В то время все у него ладилось, голова была набита самыми невероятными идеями. А сейчас его как будто подменили. Вот и сегодня. Выпил утром чай и, ни слова не сказав, отправился на работу. Обедать не явился, даже не предупредил, что не придет, а она его ждала. Да, люди меняются, а нам кажется, что они всегда будут такими, как в молодости. Когда между ними пробежала черная кошка? Что сделало жизнь их безрадостной? Они с мужем живут под одной крышей, но былой душевной близости нет и в помине. За целые сутки они едва обмениваются десятком слов. Вот итог десятилетнего супружества. Обидно, горько. Разрыв неизбежен. Но как объяснить сыну? Мальчик большой, многое сам замечает, о многом догадывается. Сын! Горячая волна прихлынула к сердцу. Вот кто ей дорог! Жавзма поднялась с кресла, сняла со стены давнишнюю детскую фотографию, коснулась ее губами и заплакала, горько, отчаянно, без слез. До чего же она одинока! Еще летом у нее произошел такой разговор с сыном:

— Мама,— сказал мальчик,— ты стала какая-то странная. Будто разлюбила и меня и папу.

Она ответила что-то неопределенное, сын чересчур мал, чтобы понимать такие серьезные вещи. А может, он почуял неладное? Может, именно она чего-то не понимает? Все десять лет она из кожи лезла вон, чтобы мужу и сыну было хорошо. И вот награда! Она стала им обоим чужой. Жавзмой снова овладело отчаяние. Она будто заблудившийся путник. Ноги вязнут в сугробах, а снег валит и валит, уже не видно ни дороги, ни горизонта — все поглотил густой туман.

Вдруг Жавзма спохватилась: скоро на работу. Надо взять себя в руки. Никто не должен видеть ее горя.

Жавзма быстро оделась, причесалась, но до ухода оставалось еще какое-то время, и она снова погрузилась в воспоминания...

Как начинается любовь? У всех по-разному. У меня она началась, как говорят, с первого взгляда. Может быть, это банально, но именно такую любовь я и считала настоящей. Любовь, которая обрушивается как первый весенний ливень и остается навсегда чистой, бескорыстной, светлой. Мне было девятнадцать или еще не было, когда однажды зимним днем в жизнь ворвалась любовь — как ураган, как удар грома, как вспышка молнии. Я не могла, да и не хотела ей противиться.

Это случилось в мою первую и единственную университетскую зиму. Всего год была я студенткой. Осуществила свою заветную мечту — поступила в университет, но филологом так и не стала. Стала работницей, швеей на фабрике детской одежды.

Каким славным был тогда новогодний праздник в университете. Посреди зала сверкала огнями нарядная елка, вся в пестрых змейках серпантина, длинных нитках «дождика», снежинках из ваты и конфетти. Зал был набит до отказа — преподаватели, студенты. Все нарядно одетые, веселые. Даже пожилые казались помолодевшими.

Замирая от восторга, я вошла в зал. В город я приехала из деревенской глуши, и все мне первое время казалось необыкновенным, исполненным особого смысла. Оркестр играл вальс «Взмыл в небо голубь, спустился мирный Новый год».

На меня никто не обращал внимания, а мне так хотелось танцевать... И вдруг, когда я уже потеряла всякую надежду, ко мне подошел паренек. «Потанцуем?» Я встрепенулась, шагнула ему навстречу, и мы закружились в вальсе. Осмелев, я подняла глаза. Да, это был он. Тот, о котором я мечтала, кого видела в девичьих снах — мужественный, красивый, благородный. Мне показалось, что в зале стало светлее, что ватные снежинки стали настоящими и источают прохладу. Но почему парень молчит? Как бы вызвать его на разговор? Я нарочно сбилась с такта, и парень невольно наступил мне на ногу.

— Извините,— пробормотал он и снова замолчал.

— Не стоит, сама виновата. И потом мне ничуть не больно.

— В самом деле? — с тревогой спросил он.— Я как медведь. А вы такая хрупкая, тоненькая.

Я обрадовалась: наконец-то парень заговорил, и еще больше осмелела.

— Я храбрая и медведей не боюсь.

— Вот как? — он улыбнулся и посмотрел на меня с любопытством. Улыбка у него была ласковая, как солнце ранней осенью.— Обычно девушки меня избегают, наверное из-за того, что я неуклюжий. Но говорят же, что в Новый год случаются чудеса: мне встретилась отважная наездница.

Я была на седьмом небе от счастья. Но тут кончился вальс. Кончилась сказка.

Парень отвел меня к тому месту, где я сидела, однако свободных стульев не оказалось. Мне очень хотелось, чтобы снова заиграла музыка, но тут начался концерт. На сцену вышел юноша, поклонился.

Это был сам Манибат, знаменитый Манибат, так мне сказали подруги. Хорошо поставленным тенором юноша запел незнакомую песню:

Эх, был бы конь вороной,
Ускакал бы я в край родной.
Ускакал бы я к милой своей,
Да пути-дорожки
Заказаны к ней...

— Нравится вам? — спросил парень.— Все девушки от него без ума.

— Нравится,— машинально ответила я. Парень как-то странно улыбнулся и покачал головой. Что я наделала? Зачем так сказала? Теперь он подумает, что я пустая девчонка, которая готова растаять при виде любого смазливого юноши. Надо исправить дело. И я сказала:

— Одна моя подруга без памяти влюблена в Манибата, а мне просто нравится, как он поет.

Настроение у парня сразу переменилось. И он спросил:

— Ты с какого факультета?

— А ты с какого? — небрежно бросила я в свою очередь. «Нет, не клеится у нас разговор»,— было написано у него на лице. Ему явно был не по душе мой тон.

— Ну, как знаешь,— произнес он, старательно поправляя галстук. И тут я почувствовала, что сейчас все будет кончено — он вежливо попрощается и уйдет. Я улыбнулась. Жалко, с мольбой. Я готова была возненавидеть себя за эту улыбку. Но Хашчулун потом признался, что эта улыбка покорила его своей нежностью. И все сразу обернулось в мою пользу. Огромную власть таит в себе женская улыбка — она может окрылить, может отнять надежду, распахнуть врата в рай или повергнуть в ад...

В его глазах вспыхнули огоньки.

— Я на биологическом. На третьем курсе,— коротко ответил он.

— Я на первом, на филфаке.

Теперь он может задаваться: я новенькая, а он уже третьекурсник.

— Позвольте узнать ваше имя? — с нарочитой церемонностью обратился он ко мне.

Мы мгновенно поменялись ролями. Он стал уверенным и болтливым, я — растерянной и смущенной, словно перед лицом строгого экзаменатора.

— Меня зовут Жавзма... редкое имя, правда? На нашем факультете больше нет Жавзмы, я одна.— Сказав это, я на себя рассердилась. К чему хвастаться? Словно угадав мои мысли, он строго сказал:

— Ничего особенного. У современных девушек каких только не бывает имен.

Сердце у меня упало — мое имя ему не понравилось. Я ведь тоже современная. Приехав в город, я перестала носить косы и соорудила из своих длинных густых волос модную высокую прическу. В тот вечер на мне была короткая черная юбка и сиреневая блузка с глубоким вырезом, приобретенная ценой определенных жертв. Лицо у меня смуглое — никакие кремы, никакие притирания не помогают. Шелковая косынка, которую я тщательно выгладила и надушила, вся измялась во влажной ладони. Ну и вид у меня! Я украдкой огляделась. В самом деле! Неподалеку от нас стояли парень с девушкой. Они оживленно беседовали, то и дело косясь на нас. Смеются надо мной, небось. Мне стало не по себе. Захотелось броситься прочь без оглядки. Умыться холодной водой, расчесать волосы и заплести косы. Но тут на сцене появилась певица и немного хриплым, словно пропитым голосом запела:

Что случилось у нас с тобой?
Отчего мы чужие друг другу?..

Она пела, аккомпанируя себе на гитаре. Я тогда впервые увидела гитару. Ее нежные звуки проникали в самую душу.

От долгого стояния на одном месте у меня затекли ноги, я едва сдерживала слезы. Потом наконец сердито спросила:

— Тебе не нравится мое имя? Но ведь я не сама его себе выбрала, верно? У меня есть родители.

— Некоторые просто не знают, что говорят,— очень мягко возразил он (некоторые — это я!).— Им говоришь: это верблюд, а они тебе, нет, коза. Жая (он назвал меня уменьшительным именем), ты неправильно меня поняла.

Жаей меня называли только родные и близкие, и это показалось мне добрым предзнаменованием.

Концерт кончился. Снова начались танцы. Теперь уже играли фокстрот. Вальс куда романтичнее. Фокстрот совсем другое. Тут только успевай поворачиваться. И мы танцевали молча. Вокруг была толчея. Многие демонстрировали «высокий класс», особенно старшекурсники.

Когда музыка смолкла, мы отправились бродить по университету. Настроение у меня поднялось. Почему-то родилась уверенность, что с этого вечера жизнь моя изменится, станет лучше, богаче. По длинному коридору мы подошли к круглому залу, приоткрыли тяжелую, массивную дверь с красивой резьбой. В зале горели люстры, а за сдвинутыми столами сидели люди. Не было ни одного свободного места. А я едва держалась на ногах от усталости.

— Сегодня хоть праздник, но ведь и в обычные дни не найдешь местечка, чтобы позаниматься. Послезавтра у меня первый экзамен. Боюсь, не успею подготовиться.

— Не бойся, девочка,— сказал он чуть-чуть покровительственно.— В такой вечер грех не повеселиться. Первая сессия — дело нешуточное, но я уверен, что ты справишься.

Я была тронута его словами. Вообще все, что происходило тогда, в ту новогоднюю ночь, казалось мне наполненным глубокого смысла.

Помедлив, мы вошли в зал. Стрелки часов приблизились к полуночи. Через несколько минут часы возвестили о наступлении Нового года. Мы встретили его вместе — это хорошая примета, подумала я.

С тех пор каждый раз накануне Нового года я вспоминаю ту новогоднюю ночь, вспоминаю со всеми подробностями. В ушах снова звучит вальс «Мирный Новый год», я словно вижу ту самую пушистую елку, вокруг которой мы с Хашчулуном кружились, ощущаю запах хвои, и нежность волной приливает к сердцу...

Как только часы пробили двенадцать, вновь грянула музыка, и мы вошли в круг танцующих. Это снова был вальс. До сих пор помню, какое сильное охватило меня волнение. Вдруг я остановилась: закружилась голова.

— Что с тобой, Жая?

— Ничего,— ответила я.— Просто забыла спросить у тебя об одной вещи.

— О чем же именно? — Он внимательно вглядывался в мое лицо.

— Забыла спросить, как тебя зовут.

Он громко рассмеялся, обратив на себя внимание танцующих. Потом тихонько сказал:

— Меня зовут Хашчулун. Давай отдохнем немного, ладно?

Я сейчас же согласилась — все плыло у меня перед глазами.

Пока он бережно выводил меня из круга, я твердила про себя его имя, как магическое заклинание. Но почему его прозвали Медведь? На медведя он ни капельки не походил. Я влюбилась, да, я влюбилась...

...Так я познакомилась со своим будущим мужем. Он казался мне верхом совершенства и вполне соответствовал своему имени

Хашчулун, что в переводе означает халцедон. Прекрасный, светлый камень, но ведь и в нем бывают примеси. Их-то я и не разглядела. Они обнаружились гораздо позднее...

II

Сын в пионерлагере. Жена, если ничего не случилось, на работе. Значит, дома никого нет. Впрочем, не мешает в этом убедиться. Надо позвонить домой.

Эта мысль настигла меня уже у выхода. Пришлось вернуться. Я набрал нужный номер, долго держал трубку. Никого нет, можно не торопиться. Но почему сегодня эта мысль не принесла мне облегчения? Почему с самого утра у меня на душе неспокойно? Что меня тревожит? Разобраться бы.

Утром, когда я уходил, Жавзма еще крепко спала после ночной смены. Как обычно в таких случаях, я не стал ее будить, позавтракал на скорую руку и вышел из дому, бесшумно закрыв дверь. Ровно в восемь я вошел в институт. Вахтер улыбнулся:

— Как это вы умудряетесь приходить минута в минуту?

— Это секрет,— ответил я, здороваясь, и прошел к себе в лабораторию. Не успел я повесить на плечики плащ, как в дверях в белоснежном халате появилась лаборантка Туяа. Она позвала меня к телефону. Мунхбат, заведующий сектором, считает телефонные разговоры, да еще с утра, непозволительной роскошью. Но на этот раз он, к моему удивлению, не встретил меня кислой улыбкой, а сказал дружелюбно:

— Привет, Хашчулун. Как работа? Есть сдвиги? Впрочем, об этом потом. А сейчас возьми трубку. Я здесь с половины седьмого, тебе несколько раз звонили. Вероятно, срочное дело.

Отношения у меня с Мунхбатом не простые. Типичный прагматик, он бывает невыносим, а к тому же еще на редкость самоуверен. Но иной раз он становится этаким парнем — душа нараспашку, и я невольно начинаю испытывать к нему нечто вроде симпатии. Сегодня он, кажется, в благодушном настроении, надо бы воспользоваться случаем и поговорить о своих опытах, с которыми я снова зашел в тупик.

Я взял, наконец, трубку.

— Это ты, Хашчулун? Говорит Дугар. Извини за назойливость, но ты мне очень нужен. Я только что вернулся из-за границы и приглашаю тебя с женой на маленькое торжество по случаю защиты моей диссертации.

— Защитил! Поздравляю.

— Спасибо! Так я вас жду.

— Очень жаль, но мы, наверное, не сможем прийти,—ответил я в замешательстве.

Мне становится как-то не по себе, когда кто-то из друзей защищает диссертацию. Главным образом из-за жены. Для нее это больное место.

— Никаких отговорок! — сказал Дугар.— Мы ведь давно не виделись. Хочешь, я позвоню Жавзме?

— Нет-нет, не надо. Мы постараемся прийти.— Я положил трубку.

— Можно полюбопытствовать, с чем это ты поздравлял Дугара? (С Дугаром мы вместе учились). Ему присвоили звание Героя Труда или наградили орденом? — с усмешкой спросил Мунхбат.

— Дугар защитил кандидатскую.

— Вы с ним дружите?

— Не то чтобы дружим, просто поддерживаем добрые отношения — как водится между земляками.

— Рад за него. Ему повезло. Говорят, диссертация слабенькая.

И Мунхбат снова склонился над письменным столом, превратившись из однокашника в строгого, вечно занятого начальника.

Я вышел из кабинета со смешанным чувством тревоги. Ведь говоря о Дугаре, Мунхбат несомненно имел в виду меня. Как же! Несколько лет работаю в научно-исследовательском институте, а диссертации так и не защитил, никаких творческих успехов, полная бесперспективность. Ладно. Сам Мунхбат давно защитил кандидатскую, уже о докторской подумывает. А в институте не он, а я подавал большие надежды. Что Мунхбат так ко мне относится — неудивительно. Но почему Жавзма не понимает моих трудностей, не понимает, что я неудовлетворен результатами моих полевых экспериментов? Ведь она самый близкий мне человек. И знает всю мою жизнь. После университета я два года учительствовал в средней школе прежде, чем перейти на научную работу. Избери я тему полегче, возможно, все сложилось бы лучше. Но мне хочется довести дело до конца. Тем более что не все опыты кончаются неудачно — некоторые посадки овощных культур в определенных комбинациях с сорными травами дают обнадеживающие результаты. Эксперименты отнимают уйму времени, но отказаться от них я не в силах — это означало бы изменить самому себе. Я должен довести дело до конца во что бы то ни стало. Мунхбат жалеет меня. К тому же мои опыты обходятся государству в кругленькую сумму. Может быть, прав Мунхбат, права жена, и остается только мне признать свое поражение?

Эту мысль я гоню от себя.

Скоро будет верстаться план института на будущий год, на днях, мою тему могут снять, как несостоятельную, придется ее отстаивать. Дома тоже все сложно. Мы с женой скоро станем совсем чужими друг другу. Словно два мощных потока несут нас в разные стороны. Куда девалась наша близость? Я не склонен к отчаянию, но приуныл в последнее время. Не я ли виноват в нашем отчуждении? На первый взгляд у нас как будто все хорошо. Сын растет замечательный. В чем же дело?

...Рабочий день давно кончился, все разошлись по домам. Пора и мне, но не хочется идти в пустую квартиру. Загляну-ка я по пути в ресторан. Надо встряхнуться. Кажется, у меня входит в привычку куда-то заглядывать после работы, а придя домой, сразу же заваливаться спать.

В ресторане «Улан-Батор» полно народу. Я пробираюсь между столиками, ищу свободное место и вдруг слышу:

— Хашчулун-гуай, присаживайтесь к нам.— Узнаю Батсайхана, самого молодого сотрудника, недавно принятого на работу в наш институт. Он предупредительно пододвигает мне стул, знакомит с приятелем по имени Даваг. Тот геолог, работает в худоне, в городе бывает наездами.

На столе целая батарея пустых бутылок из-под пива. Лица у приятелей раскраснелись. Мне тоже налили.

— За успехи! — произнес Батсайхан.

— За успехи! — откликнулся я и рассмеялся. Только утром мой начальник недвусмысленно высказался о моих «успехах». Батсайхан с приятелем удивленно переглянулись.

— Видите ли, друзья мои, в ваши годы успехи и счастье — все впереди, а мне...— В этот момент появилась официантка, и я не договорил.

Геолог, судя по всему, парень серьезный, строго сказал:

— Лучше сказать лишнее, чем недоговорить.

Притворившись, будто не слышу, я обратился к официантке:

— Порцию жареной баранины, два пива, получите с меня...

Девушка получила деньги и ушла.

Я откинулся на спинку стула. Музыканты настроили инструменты, грянула веселая музыка, начались танцы. Как давно я не танцевал! Когда-то мы с Жавзмой любили потанцевать, но теперь постарели, нам обоим за тридцать, да и времени нет. А может, причина в

другом? В тех переменах, которые произошли в нашей жизни? Я весь отдался работе. Мне в голову не приходило, что Жавзма не до конца откровенна со мной, затаила против меня что-то. Отказывается ходить со мной в гости или в кино. Говорит: «Ступай один, найдешь себе кого-нибудь помоложе». Я отмалчиваюсь. Был в нашей жизни один случай, давно, правда, но был же! Она до сих пор его помнит, да и я помнил бы на ее месте. Впрочем, это был сущий пустяк. Пустяк?

...В тот день настроение у меня было хуже некуда. Я был близок к отчаянью, опыт, занявший целый год, провалился. Надо было либо признать полное поражение, либо начинать все сначала. Это случилось летом, кажется в пятницу. Нет, в субботу. Я задержался, а мы собирались с вечера уехать на дачу. Жавзма едва взглянула на меня, когда я вернулся, и сердито бросила какие-то вещи в сумку. Я вдруг почувствовал страшную усталость, плюхнулся на диван и уставился в потолок.

— У меня неприятности, Жавзма.— Жена промолчала. Конечно, ее не интересует моя работа, мои дела. Мы перестали понимать друг друга. А ведь еще недавно вместе переживали и радости и горести. Гордились друг другом. Жавзма, наверно, разлюбила меня. А может, вообще не любила?

Я не знал, как тяжело переживала Жавзма перемену в наших отношениях. Как болезненно воспринимала она каждое мое слово, каждый поступок. Мы оба замкнулись в себе, исчезла теплота и доверчивость. «Почему ты все время молчишь?» — спросит она, бывало, а я либо отмахнусь, либо отделаюсь какой-нибудь незначащей фразой. Мне казалось, что жена притворяется, а притворства я не терплю. Во мне говорила обида. Нет чтобы спросить, чем я расстроен. Мечется, злится. Подумаешь — сборы на дачу!

Вдруг Жавзма остановилась прямо передо мной. Краешком глаза я видел красное в крапинку ситцевое платье, с которым она ни за что не хотела расстаться со времен своей юности; я стиснул зубы, чтобы не вырвался стон: я так нуждался сейчас в простом сочувствии. Но вместо этого услышал:

— Я жду, а он лежит и слова не скажет. Хватит валяться, бери вещи и пошли. А то к автобусу не успеем.

Я поднял на Жавзму глаза и впервые почувствовал к ней острую неприязнь: к ее лицу, давно утратившему румянец, погрубевшему голосу, к несвойственному ей прежде холодному выражению глаз.

— Где вещи? — спокойно спросил я и, увидев две сумки, туго набитый рюкзак и еще кучу свертков, пришел в замешательство. В нынешнем моем состоянии мне, пожалуй, трудно будет взять на себя роль верблюда.— Может, отложим поездку до следующей субботы? — миролюбиво спросил я — ссориться с женой не хотелось.— Я что-то очень устал.

— Устал? — с досадой произнесла Жавзма, зло уставившись на меня.— Так ведь ты на работе только и делаешь, что сидишь за столом да перебираешь бумажки.

Тут уж я не стерпел и, забыв про усталость, вскочил с дивана.

— У кого прикажешь искать сочувствия, если не у тебя, самого близкого мне человека?

— Сказать у кого? — все с той же злой холодностью спросила она.

— Сделай милость, и я тотчас же обращусь по адресу.

— У Оюунцэцэг! Твоей лаборантки! Говорят, всю весну ты вокруг нее здорово увивался.

Оюунцэцэг — мой товарищ по работе, милая, немного рассеянная молодая женщина. Она помогала мне ставить опыты в Борнурском госхозе. Вот и все. Мало ли милых женщин на свете. Мне нужна была только моя жена, и я примирительно сказал:

— Будет тебе.— Я уже готов был мчаться куда угодно, не только на дачу.

— Ты сам говорил, что опыт не удался. Значит, не тем вы с ней занимались,— все больше и больше распалялась Жавзма.

В голосе ее теперь звучала боль, только лицо оставалось по-прежнему неподвижным.

Я подошел к ней, взял за руку:

— Успокойся, дорогая. Ты глупости говоришь!

— Все из-за тебя,— быстро проговорила Жавзма, покраснев и вырывая руку.— Если бы я кончила университет, мы были бы с тобой на равных. А теперь куда мне до тебя! — Голос ее дрогнул, и я с ужасом увидел, что она плачет. Но вместо того, чтобы прижать ее к себе, я схватился за голову и бросился вон из дому.

Постоял немного в подъезде, надеясь, что меня позовут, а потом вышел и побрел по улице, тщетно пытаясь привести свои мысли в порядок. Что же в конце концов происходит? Я вспомнил нашу первую встречу на университетском балу. Как трепетала эта тонкая, как струна, хрупкая девушка, когда наши руки соприкасались. Как сияли ее глаза! Она сразу потянулась ко мне!

Воспоминания о нашей первой встрече всегда действуют на меня благотворно. Я больше не злился, глубокая грусть и тоска по прошлому одолели меня. Может, не все потеряно? Может, вернется в нашу семью согласие? Я всей душой желал этого.

В минуты душевного разлада мне очень помогает быстрая ходьба. Так было и на сей раз. Я шел, слившись с потоком прохожих, и уже не чувствовал себя таким одиноким. Незаметно наступил вечер, но домой не хотелось. Я решил пойти в кино, а потом взять такси и поехать на дачу. Жавзма уже, наверное, там. Не найду такси, пойду домой и завалюсь спать. Это пойдет мне на пользу. А когда Жавзма вернется, мы с ней поговорим. Она умница, все поймет. Нельзя же вечно ссориться.

Я купил билет на ближайший сеанс. Против ожидания народу было полно. Последние годы я всегда ходил в кино с женой и сейчас чувствовал себя немного неловко, мне даже показалось, что на меня с любопытством посматривают. Хоть бы скорее войти в зрительный зал и очутиться в темноте. Я оглянулся по сторонам. К счастью, никого знакомых не было, я вздохнул с облегчением и принялся рассматривать висевшие на стене фотографии киноактеров. Наконец раздался спасительный звонок. Я немедленно устремился в зал, сел на свое место и с удивлением обнаружил, что соседнее справа уже занято какой-то молоденькой девушкой. Народ валом валил. Каждый торопился занять свое место.

— Зачем так спешить? Ведь до начала еще есть время? — заметила девушка.

— Но мы с вами всех опередили,— ответил я, и мы оба рассмеялись.

— Как называется фильм? — осмелев, спросил я.— Представьте, не успел взглянуть на афишу.

— Так не бывает! — недоверчиво сказала девушка, покосившись на меня.

— Бывает,— возразил я.— Взял билет и вошел.

— Странно! — Она повернула ко мне лицо, еще не утратившее детской округлости, и неожиданно добавила: — Значит, на сердце у вас неспокойно. (Совсем еще девочка, а чутье как у взрослой.)

— С чего вы взяли? — прикинувшись равнодушным, спросил я.— У меня потерянный вид?

— Вовсе нет! Но я по собственному опыту знаю — когда на душе плохо, лучше всего быть на людях. Я тоже в подобных случаях отправляюсь в кино. А люди все похожи друг на друга. Верно?

— Вы угадали! Но позвольте заметить: вы мудры не по годам.

Девушка смущенно улыбнулась и покраснела.

— Уж не вообразили ли вы, что мне просто захотелось поболтать с незнакомым человеком? — сердито спросила она.

— Ну что вы!

Тут погас свет и начался фильм. Я с трудом следил за ходом событий на экране, мешала мысль о разладе в семье. У кого не бывает этих проклятых минут, когда все кажется черным, будто перед грозой. И вот именно в эти минуты так нуждаешься в ласке, в тепле, в прикосновении женских рук, которые могут утишить боль, вернуть веру в то, что жизнь прекрасна, несмотря на неудачи и поражения. Непременно надо прощать друг друга, об этом так хорошо сказал Лев Толстой. Главное — родство душ, потому что и вдвоем зачастую чувствуешь себя одиноким. Я стал понемножку успокаиваться. От соседки исходил едва уловимый аромат цветочных духов. Или просто от нее веяло молодостью? Не буду скрывать, мне хотелось, чтобы фильм никогда не кончался. Но фильм кончился, и в зале зажегся свет.

Зрители, которые так спешили занять места, теперь медленно брели к выходу. Мы шли позади всех, с наслаждением вдыхая свежий, прохладный воздух. Дул легкий северный ветерок, тихо шелестела листва, кроны деревьев покачивались будто живые. Из репродуктора на столбе лилась мягкая, задушевная мелодия.

Мы остановились. Надо было попрощаться и уйти, но что-то удерживало меня.

— Улучшилось у вас настроение? — спросила девушка.

— Да. А у вас?

— О, со мной все в порядке.

— Славный вечер, не правда ли? — Я рассердился на себя, до того фальшиво, мне казалось, прозвучал мой голос.

— О, просто великолепный.

— «О» — ваше любимое междометие? — Она рассмеялась. Девушка была хороша. Безупречный овал лица, брови вразлет. На какой-то миг ее красота покорила меня. Я почувствовал боль, которая тут же сменилась легкой грустью.

Мы стояли на углу сквера, возле перехода через площадь, и прохожие терпеливо обходили нас, высокого мужчину не первой молодости и молоденькую стройную девушку, затеявших разговор в столь неподходящем месте.

— Еще рано, посидим немного в кафе?

— Сегодня, пожалуй, можно.

— А завтра нельзя? — невольно вырвалось у меня.

— Что вы, конечно, нет! Сегодня у вас тяжело на душе, и вам нельзя отказать. А завтра все изменится.

Безыскусная мудрость девушки снова поразила меня. Ни слова не говоря, я легонько взял ее под руку и повел в кафе. Там было почти пусто, и мы заняли столик в углу, возле окна. Я потягивал пиво, она лимонад.

— Как вас зовут, аха [1]? — вдруг спросила она.

Какой стыд! Я мужчина и должен был первый спросить ее имя.

— Прежде ты, сестренка, скажи свое имя,— решил я исправить положение.

— Меня зовут Алтанзул. Я нормировщица на фабрике детской одежды.

С того дня прошло много времени, и теперь я уже не помню, что испытал в тот момент. Вероятнее всего, страх, ибо первым моим побуждением было исчезнуть. Я встал, но девушка удержала меня за руку:

— Сядьте же! Что случилось? На вас лица нет.

Я опустился на стул, стараясь не смотреть ей в лицо — стыд ду-

[1] Вежливое обращение к старшему *(монг.)*.

шил меня. Но призрак семейной бури неотступно витал над моей головой. Кляня себя за трусость, я пробормотал первое, что пришло в голову:

— Там, в дверях, кажется, появился мой старый приятель, которого я давно хотел видеть.

— Странно,— произнесла девушка, разгадав мою ложь.— Ну и куда же он делся, этот ваш приятель, сквозь землю провалился?

Сквозь землю провалиться хотелось мне. «Расскажите мне все, доверьтесь»,— говорили ясные девичьи глаза и ласковая улыбка. Но стоит ли искушать судьбу? Алтанзул работает вместе с моей женой, они, возможно, даже дружны. Нет, нет! Ну и денек выдался нынче. Я вспомнил Жавзму такой, какой оставил ее дома — плачущей, в красном выцветшем платье, под которым торчали лопатки. Вся ее фигурка выражала искреннее горе. Почему я сбежал, почему не утешил ее? Какой же я негодяй!

Впрочем, это из-за нее, из-за Жавзмы, оказался я в кино, чтобы успокоить нервы и немного отвлечься. Да и какое преступление я совершил, перебросившись несколькими фразами со случайной соседкой, из вежливости угостив ее лимонадом в кафе? Но внутренний голос говорил мне другое: «У выхода ты нарочно замешкался, чтобы подождать эту девушку, а порядочные мужья так не поступают. Надо было попрощаться и уйти. Вдобавок ты лжешь своей новой знакомой. Почему не сказал ей, что боишься жены, а стал врать про какого-то знакомого!»

Я через силу улыбнулся и, глядя на свою спутницу, сказал:

— Уж вы извините, скучный я собеседник.

Девушка покачала головой:

— Мое имя подействовало на вас, как красное на быка.

— Сейчас я все вам объясню, но позвольте прежде спросить: какую одежду шьет ваша бригада?

— Мы шьем для дошкольников,— ответила девушка.

Сердце у меня упало: значит, она с Жавзмой в одной бригаде.

— Меня зовут Хашчулун,— сказал я.— Моя жена работает вместе с вами.

Алтанзул слегка удивилась, переставила зачем-то бутылки и стаканы на столе и, взглянув на меня уже как-то совсем по-другому, спросила:

— Вы женаты на нашей Жавзме?

Моя откровенность не обрадовала девушку: ее хорошенькое личико подернулось грустью.

Я окликнул ее, она слабо отозвалась, словно ветер прошелестел.

— Спасибо вам, Алтанзул, вы очень мне помогли. Никогда не забуду нашей встречи. Жаль, что мы больше не увидимся.

— И вам спасибо,— тихо ответила девушка.— А сейчас мне пора, уже поздно.

— Я провожу вас.

— Не стоит. Разве что до автобусной остановки.

...Жавзма вскоре узнала о нашей встрече. Но об этом я расскажу позднее.

— О чем вы задумались, Хашчулун-гуай? Выпейте-ка еще стаканчик пивка,— прервал мои воспоминания Батсайхан. Я словно проснулся. Гремел оркестр. Молодежь отплясывала какой-то невообразимый танец. Как быстро летит время!

Батсайхан со скучающим выражением поинтересовался, как идут у меня опыты. Я сказал, что говорить об этом я могу до бесконечности, а мне пора домой, после чего быстро доел свой ужин, распрощался и ушел. Молодые люди проводили меня удивленными взглядами. Я, кажется, становлюсь странным, некоммуникабельным, как принято теперь говорить.

Дома было тихо и пусто. Жена вернется поздно, я уже буду в постели и сделаю вид, что сплю,— обойдется без лишних разговоров. А утром убегу на службу, пока Жавзма еще не проснется. Словом, каждый сам по себе. Сам по себе — горькие это слова!

Глава вторая

Суббота

I

Рабочий день в разгаре. Монотонно стрекочут швейные машинки, головы моих товарок старательно склонились над шитьем. Дел столько, что думать о постороннем не приходится. Сегодня наша бригада шьет легкие детские дэлы. До чего хороша ткань! Представьте себе: на синем или голубом поле яркие цветы. Шить из такой ткани — одно удовольствие. Приятно думать, что плоды твоего труда порадуют малышей. Какая-нибудь маленькая пухлая девчушка выскочит во двор в новом дэле и будет хвалиться перед подружками:

— Видите, какой красивый дэл купила мне мама!

Надо воспитывать в детях любовь к прекрасному. Они сами чисты и прекрасны, как цветы. Интересно, задумываются ли родители над тем, какую роль играет одежда в воспитании ребенка. Ведь за житейскими мелочами часто забываешь о главном. Даже мы, в погоне за планом, забываем подчас о том, что выпускаем продукцию для самых маленьких и что все эти платьица, курточки, рубашки и штанишки надо шить из веселых тканей, тщательно отделывая каждое изделие.

Что это со мной сегодня? Отчего так скверно на душе? Может, оттого, что сын мой вырос и ему больше не понадобится то, что шьют у нас в цеху, а второго ребенка я заводить не собираюсь. Обычно уйдешь с головой в работу и забудешь обо всем на свете. Особенно когда стараешься не для себя, а для других. Мне не раз приходилось слышать: «Тебе, Жавзма, больше всех надо. Везде суешь свой нос. Лучше бы о семье думала, у тебя муж, ребенок».

Что ж, в этом есть доля правды. Я сейчас не так отдаюсь семье, как несколько лет назад. И характер у меня испортился. Помню, какой я была сразу после замужества: нежной, ласковой, любящей. Муж звал меня просто Жаей. Любил ли он меня так же искренне, как я его? Хоть я тогда и уставала очень, но жизнь всегда казалась мне прекрасной, не то что сейчас. Почему же все изменилось? Конечно, я смотрю теперь на многие вещи совсем по-другому. И себя вижу со стороны. Понимаю, что мой уход из семьи достоин самого строгого осуждения. Но иначе поступить не могу...

Вечером, когда я вернулась с работы, Хашчулун сказал, что Дугар защитил диссертацию и по этому случаю приглашает нас в гости. Я наотрез отказалась идти, сославшись на то, что работаю во вторую смену.

— Можно взять отгул,— равнодушно заметил муж.— К тому же у тебя скользящий график. Ведь и у меня дел по горло.

— Какие там у тебя дела? Одна видимость. Сколько лет возишься со своими опытами, а толку никакого!

Я невольно ударила его по самому больному месту. Словно защищаясь, Хашчулун поднес руку к сердцу и побледнел. Но я не могла остановиться, в меня будто бес вселился!

— Так и проходишь до седых волос без степени? Не нужна она тебе — скажи об этом честно, прекрати свои опыты и иди преподавать в школу. Прямая польза и государству, и тебе, и твоей семье, для которой сейчас у тебя нет свободной минутки.

Я глянула на мужа, и сердце у меня смягчилось, таким он выглядел несчастным. Но тут он поднял на меня глаза, и я прочла в них хорошо знакомое мне выражение упрямства. Жалость мигом испарилась, и я решила высказать все до конца.

— Неужели ты думаешь, что другие глупее тебя? Сорняки под ногами растут, их выпалывать надо, а ты вздумал их выращивать! Уж лучше бы волочился за девушками, чем попусту время тратить. (Я вспомнила о его знакомстве с Алтанзул.)

С минуту Хашчулун смотрел на меня с удивлением, смешанным с жалостью, затем повернулся и молча вышел из комнаты. Сейчас я сижу на работе, а он пирует в гостях... Нет, не о такой жизни я мечтала, когда выходила замуж. Слезы застилают глаза, когда вспоминаю наши первые счастливые годы. Я ждала ребенка, но ни словом не обмолвилась об этом Хашчулуну — пусть сам догадается. Он не догадался. Близилась весенняя сессия, и его больше всего беспокоила моя учеба. Я только и слышала от него: лекции, семинары, коллоквиумы, учебники. А мне хотелось, чтобы он любил меня, жалел.

Часами просиживала я над учебниками и все-таки на всю жизнь запомнила великолепную, щедрую весну того года. Ее наверняка помнят все уланбаторцы. Небо над долиной, где раскинулся Улан-Батор, было синее-синее и только у самого горизонта золотистое. Со склонов цветущей Богдо-Улы ветер приносил волнующие запахи цветов и трав. На окраине, по берегам Толы, куда мы часто ходили готовиться к экзаменам, паслись белые кудрявые барашки, похожие на пушистые облачка, выплывавшие из-за гор. На ветках ивняка распускались почки.

Однажды мы с Хашчулуном пришли на берег, разложили учебники и конспекты и принялись повторять пройденное. Собственно, повторял один Хашчулун, а я смотрела в книгу и думала о своем. Солнце ласкало мои рассыпавшиеся по плечам волосы. На душе было тепло от близости дорогого мне человека. Из-за излучины реки появилась парочка турпанов.

— Посмотри, Хашчулун, до чего хороши!

— Как мы с тобой,— ласково ответил он.— Такие же дружные и неразлучные.

Я решила, что сейчас самый подходящий момент, и взволнованно прошептала:

— Хашчулун, я давно собиралась сказать тебе...

— Что, Жая? Что ты хотела мне сказать? — Он отложил в сторону учебник.

— Я жду ребенка! — выпалила я. Кровь громко застучала в висках.

— Когда? — спросил он, приподнявшись на локтях и заглядывая мне в лицо. Он слегка нахмурился. Известие не произвело на него того впечатления, на которое я рассчитывала.

— Точно не знаю,— ответила я упавшим голосом, избегая его взгляда.

— Как же это случилось? — спросил он, словно не знал, откуда берутся дети.

— Не знаю! — Голос у меня дрогнул, я была близка к обмороку. Он привлек меня к себе.

— А как же университет, сессия?..

— Хватит! — Я отстранилась от него. Обида заслонила все. Меня душили слезы.

— Сессия на носу, а ты рожать вздумала! Соображать надо! — сказал в сердцах Хашчулун.— Прости меня, родная, но я думаю сейчас прежде всего о тебе.

Я попыталась улыбнуться, но слезы неудержимо полились из глаз.

— Погоди, не плачь! Что-нибудь придумаем. Весеннюю сессию ты успеешь сдать, а потом возьмешь академический отпуск. Две девушки с нашего курса так поступили. В ближайшее время мы поженимся и подыщем себе жилье. В общежитии с ребенком измучаемся.

Рассудительность Хашчулуна меня несколько успокоила. До сих пор я жила только чувствами, а мой будущий муж оказался практичнее, чем я. Тут и я призадумалась. Что будет с моей учебой? Хватит ли денег на жилье? Согласятся ли нам с младенцем сдать комнату? Где взять денег на покупку белья, посуды, кроватки для малыша? Оказывается, в жизни есть вещи поважнее любви, вещи обыденные, житейские. Надо бы мне подумать о них, прежде чем обзаводиться ребенком. И все же я не могла отделаться от чувства обиды. Хашчулун ни словом не обмолвился о нашем будущем ребенке, он был чересчур рассудителен. Говорил лишь о том, смогу ли я продолжать учебу, где мы будем жить. Потом он умолк и лег на траву, закинув руки за голову. Надо быть благоразумной, твердила я себе. Все равно я не отступлюсь от своего. Хочу родить ребенка от любимого человека. И ничего плохого со мной не случится. Мой будущий муж заботится обо мне, думает о том, как нам жить дальше. У многих девушек такая судьба, не у меня одной.

Я посмотрела на Хашчулуна. Он устремил глаза в небо, и они были сейчас почему-то светлыми. Уж не слезы ли это? Перехватив мой взгляд, Хашчулун вскочил на ноги. Сел рядом, погладил меня по щеке. Я всхлипнула, но теперь уже от радости.

Мы долго сидели так, плечом к плечу.

— Жая, девочка моя, не сердись. У меня и в мыслях не было тебя обидеть. Просто мне жаль, что ты не сможешь учиться. Ты так мечтала стать филологом. Молоды мы, рано нам обзаводиться ребенком. Но раз так случилось, не будем унывать. Тебе нельзя волноваться. Думаешь, я не рад? Еще как рад.

Значит, он рад. Он хочет ребенка. Забыв про обиду, я прижалась мокрой щекой к его лицу, порывисто обняла за плечи. Он, как маленькую, погладил меня по голове и поцеловал в лоб.

Весеннюю сессию я благополучно сдала и перешла на второй курс. Настало лето, знойное, пыльное. Ходила я теперь как сонная муха, плохо переносила солнце, на лице появились пятна, не хотелось смотреть на себя в зеркало. За любовь надо расплачиваться — приходили на ум дурацкие мысли. Мы собирались поехать к моим родителям в худон, как только Хашчулун сдаст экзамены. Говоря откровенно, мне было боязно ехать туда. Вместо того чтобы учиться, я вышла замуж, да еще забеременела! Я поделилась своими опасениями с мужем. Он рассердился и был прав. Втайне я гордилась мужем и была не прочь показать его родным. Но по обычаю мне придется показать его и всем знакомым. Съезжу-ка я лучше одна. Тогда можно будет сидеть дома и не ходить по гостям.

Хашчулун долго не отпускал меня одну, потом наконец согласился. Обиды он не выказал, но когда провожал меня, чувствовалось, что ему не по себе. Он велел мне хорошенько отдохнуть, набраться сил, часто писать. К моему возвращению он обещал подыскать квартиру. До самого отъезда Хашчулун был со мной нежен и ласков. Уехала я с легким сердцем, но вскоре затосковала — захотелось назад к мужу. Родители уговаривали меня остаться рожать, но я об этом и слышать не хотела. Без любимого жизнь была не в жизнь. И я вернулась в Улан-Батор. Но какое ждало меня разочарование! За это время Хашчулун успел поступить на работу на стройку, чтобы подкопить немного денег, и у него не оставалось свободной минуты. Комнату он пока не снял, и мы по-прежнему жили врозь. Но хуже всего было то, что он ни капельки не обрадовался моему возвращению. Напротив, сказал, что надо было побыть в деревне подольше, подышать свежим воздухом, попить парного молока. В конце августа мои

сокурсницы поехали работать в госхоз, а я легла в больницу — беременность у меня протекала тяжело. На больничной койке меня одолевали самые мрачные мысли, и я часто украдкой плакала, отвернувшись к стене или натянув на голову колючее рыжее одеяло. Муж умудрялся забегать ко мне по нескольку раз в день, и тогда настроение у меня улучшалось, но стоило ему уйти, как я снова впадала в мрачное состояние духа.

Когда меня наконец выписали из больницы, до родов оставался месяц. Хашчулун снял двадцатиметровую комнату за сто тугриков в месяц, не считая оплаты за электричество. Это было очень дорого, но зато мы наконец могли жить под одной крышей.

Утром муж уходил в университет, а я оставалась одна. Через стену мне были слышны все разговоры хозяев, сводившиеся, как правило, к деньгам.

— Хурэлтумур, мальчик мой, опусти-ка эти пятьдесят мунгу в копилку! А знаешь, твой папка сегодня ухитрился проехать на автобусе «зайцем»,— хвастался хозяин.

— Только влезла я нынче в автобус, а кондукторша сразу пристала: «Берите, гражданка, билет». Вот настырная! — говорила его теща.

Под стать ей была и дочка, жена хозяина.

— В булочной такая противная кассирша! Плачу ей утром за хлеб и говорю: не хватает, мол, девушка, несколько мунгу, после занесу. А она мне в ответ: «У вас вечно не хватает, не стыдно вам!» Я ведь только два раза не доплатила и каждый раз в другом платье прихожу, так нет же, приметила.

Жители худона бережливы, знают цену деньгам, но таких алчных редко встретишь. Я готова была опрометью бежать из этого дома, говорила мужу, что хозяева дерут с нас двойную плату. Но муж вполне справедливо возражал, что зиму надо пережить, а там видно будет.

Позднее я поняла, что та первая наша зима с Хашчулуном была самым счастливым временем в нашем супружестве. Жили мы дружно, в сердечном согласии. Казалось, так будет вечно. И чем дальше, тем лучше.

Стояла середина ноября. Наступили холода, и я почти не выходила на улицу. Дома было тепло, спокойно, и я могла предаваться мечтам о нашем будущем младенце. Мне очень хотелось дочку, а мужу — сына, хотя он в этом не признавался.

И вот однажды ночью я проснулась от смутной тревоги. Было три часа ночи. Я почувствовала ноющую боль в животе. Разбудила мужа.

— Хашчулун, кажется, началось.

Хашчулун вскочил с постели, склонился надо мной.

— Погоди, я мигом вернусь.

Он быстро оделся и выбежал из дому, чтобы вызвать «скорую помощь».

Остальное я помню смутно, как в тумане. Муж вернулся, напоил меня горячим чаем, говоря, что так велел врач. Потом снаружи засигналила машина, и муж отвез меня в больницу. Рожала я долго, то и дело теряла сознание. Кто-то сказал властным голосом: наркоз, я погрузилась в небытие, а когда пришла в себя, все было позади — я стала матерью. Помню огромную радость, пронизавшую все мое существо. Позднее я поняла всю мудрость пословицы: человек без детей что дерево без корней...

Звонок оповестил об окончании рабочего дня. День прошел благополучно, план дали, брака не допустили. Можно уходить со спокойной совестью. Сегодня суббота, короткий день. На улице совсем светло, прогуляюсь не спеша, тем более что завтра выходной. Я шла медленно, наслаждаясь мягкой вечерней прохладой. Домой не хоте-

лось, нет теперь дома былого тепла, не с кем поговорить по душам. Вдруг я заметила на углу парочку — совсем молоденькие. Стоят и никак не могут расстаться. Завидно! Как быстро проходит молодость! Не успеешь оглянуться, все самое хорошее уже позади, а впереди целая вереница лет, не согретых любовью, участием. Грустно. Впрочем, в жизни все надо испытать: и радость и горе. Когда мне стукнет сорок, я буду думать, что мои тридцать — это молодость. В юности гонишься за радугой с ее удивительными красками, и наступает момент, когда кажется, что она уже у тебя в руках, но тут-то она ускользает и по-прежнему остается манящей и недоступной...

II

Вечеринка у Дугара длилась до четырех утра. Собрались там одни ученые мужи, у каждого — труды, монографии, книги. Некоторые даже учениками успели обзавестись.

Первыми в бой ринулись филологи. Спор разгорелся вокруг ударений в монгольских словах. Одни утверждали, что ударение в монгольском вообще не существует, другие — что ударение падает непременно на первый слог, третьи — что на последний.

Я слушал вполуха. Не все ли равно: есть ударение или нет. Мы как говорили, так и будем говорить.

Дугар спросил, почему я пришел без жены.

— Она работает во вторую смену.

— Ты разве не знал этого, когда мы договаривались?— удивился он.— Тем более сегодня суббота — короткий день.

Я сказал ему что-то невразумительное, и он, недоумевая, отошел от меня. Едва дождавшись момента, когда можно будет уйти, я поплелся домой.

Мрачный, разбитый, с трудом одолел я несколько лестничных маршей и остановился перед собственной квартирой. Тут меня подстерегала новая неприятность — я никак не мог открыть дверь, сколько ни поворачивал ключ. Жавзма, видимо, услышала, проснулась и впустила меня. Она не сказала ни слова, ни о чем не спросила, не выразила неудовольствия, а снова юркнула в постель и притворилась спящей. Это было дурным признаком. Я же как назло никак не мог уснуть. Лежал, уставившись в незашторенное окно. Призрачный лунный свет, проникавший в спальню, словно оживил все вещи, и они стали похожи на какие-то странные существа.

Глядя в окно, я вдруг вспомнил о своем последнем разговоре с Мунхбатом, заведующим сектором.

— Ты зачем надрываешь свои голосовые связки?— спросил он, дав мне выговориться.— Послушать тебя, так ты один прав, а ботаники всего мира — неучи.

— А ты их спрашивал? — кричал я, не в силах сдерживаться, ведь речь шла о судьбе моих дальнейших экспериментов.— Уверен, что мало кто из них отказал бы мне в поддержке.

— Может, и нашлись бы упрямцы вроде тебя.

— При чем здесь упрямство?— прервал я.— История науки знает много примеров, когда тот или иной ученый сделал ценное открытие, а этого долгие годы не признают, рутина мешает. Знаменитый физик Макс Планк писал: новые теории и взгляды побеждают не потому, что защитники старых изменяют свои взгляды, просто проходит их время.

Мунхбат с любопытством посмотрел на меня: изречение Планка он явно слышал впервые. Видимо, он хотел его записать, но постеснялся. Рука его, потянувшаяся было за карандашом, вернулась назад с полдороги.

— Уж не ждешь ли ты, чтобы кое-кто отошел в «мир иной»? — самодовольная усмешка скользнула по губам зава, он любил острить. Иногда я пользовался этим в своих интересах, но сейчас разозлился.

— С чего ты взял? Я имел в виду совсем другое: старые идеи отмирают, когда новые становятся очевидными. Мои опыты направлены на поиск эффективных путей защиты природы, а следовательно, имеют немаловажное значение для общества. Рано или поздно все поймут, что в природе нет ничего лишнего, надо только распознать назначение каждого существа, каждой травинки, в том числе и сорняка.

— Это подтасовка фактов,— хитро сощурившись, парировал Мунхбат.— Ты защищаешь не природу, а сорняки, которые ее портят!

Удар был ощутимый, но не так-то просто выбить меня из седла, и я сказал:

— Твое заявление несерьезно. Сам подумай: есть ли в природе что-либо, идущее вразрез с самой природой? В природе все органически связано. Нарушение одной из связей влечет за собой целую цепочку нарушений. Увы! Далеко не все связи на сегодняшний день изучены. Это понятно каждому школьнику.

— В таком случае,— заявил Мунхбат,— речь может идти о том, какие взаимосвязи полезны человеку, обществу. То, что неполезно, надо устранять. Вовсе незачем защищать все без разбора.— Мунхбат горячился, пересыпая свою речь колкостями, не давая мне слова сказать. Игра, как говорится, в основном шла у моих ворот: «Удар! Еще удар!» Пришлось снова прибегнуть к испытанному средству — напрячь голосовые связки, которые мой начальник рекомендовал мне беречь.

— Не собираюсь защищать все без разбора, ты хорошо это знаешь!— запальчиво крикнул я.— Чтобы взять от природы все лучшее и все полезное, необходимо досконально ее изучить.

— Но ваши слова расходятся с делом,— холодно объявил Мунхбат, перейдя со мной на «вы».— Подкармливая непрополотый картофель, вы ждете роста урожайности, а неудачи объясняете чем угодно, только не вредом сорняков, которые подавляют жизнедеятельность полезных растений.

— Один вид не может подавлять другой!

— Сорняки — это паразиты. Они отнимают у полезных растений воду, питательные вещества, углерод, солнечный свет. Сорняк как незваный гость, который съедает все, не оставляя ни крошки хозяину.

— Это неважно. Их польза в другом. А в чем именно — надо выявить экспериментальным путем.

— Сколько лет вы проводите опыты на участках с посевами картофеля и пшеницы! Не пора ли остановиться? Ваше упорство граничит с упрямством.

Я едва сдерживался, но понимал, что надо сохранять самообладание, и решил выложить последний свой козырь.

— В изучении данной проблемы,— сказал я,— требуется помощь других специалистов. Охрана окружающей среды — дело не только ботаников и биологов. Оно требует совместных усилий экономистов, врачей, социологов. Новые открытия рождаются, как правило, на стыке разных наук. Прошу разрешить продолжать опыты и надеюсь на вашу помощь в организации комплексного изучения проблемы.

— Снова включать в план вашу тему! Она у всех давно оскомину набила,— проворчал Мунхбат, но я почувствовал, что он вот-вот сдастся...

Лунный свет за окном уступил место предрассветным сумеркам. Шкаф у окна, столик с зеркалом в углу, стулья, на которых в беспорядке лежали вещи, утратив причудливость, обрели обыденность. На миг я вернулся от воспоминаний к действительности, но уснуть все равно не мог и мысленно продолжил свой разговор с начальником.

Итак, меня упрекнули в том, что мои опыты дорого обходятся государству, а пользы от них никакой, упрекнули в разбазаривании рабочего времени, а следовательно, в безответственности.

— Времени ушло много, но ведь работал я в одиночку. А главное,

опыты первоначально проводились по старинке. Понадобились годы, чтобы выработать и апробировать новую методику. И сейчас, когда появилась наконец надежда на успех, все прекратить?!

— Вы, я смотрю, готовы экспериментировать впустую до самой пенсии?

Кипя от возмущения, я вскочил с места, но мысль о том, что единым росчерком пера Мунхбат может загубить дело всей моей жизни, исключив мою тему из плана, охладила мой пыл.

— Жизнь так коротка!— вздохнул я, возвращаясь на место.— Подчас ее не хватает на то, чтобы завершить задуманное. Ярким тому примером служит семья Кюри. Почти все они погибли, так и не доведя до конца эксперимент. А какие были ученые! Что же говорить обо мне, скромном ботанике?

— В тебе, Хашчулун, сидит учитель, обыкновенный школьный наставник, привыкший ссылаться на исторические примеры и аналогии. Но я тоже могу привести пример. Во многих европейских странах уже давно забыли, что такое сорняки, и не считают, что с их уничтожением нарушены какие-то органические связи в природе.

— Это не аргумент! Скоро исчезнут не только многие виды растений, но и животных. Население земного шара растет, промышленность развивается. В итоге две трети лесов на планете уже уничтожены, и за каких-нибудь сорок — пятьдесят лет начисто исчезли по меньшей мере три сотни видов живых организмов. Эта тема, кстати, часто поднимается в прессе. Вы говорите, что во многих странах сорняки полностью уничтожены. Пожалуй, вы ошибаетесь. Сорняк живуч. Хорошо бы перенести это его свойство на зерновые или овощные культуры, как бы влить в них свежие соки. Сорняк может также сыграть свою роль в очищении воздуха. А проблемой очищения воздуха сейчас занимаются ученые всего мира. Словом, я считаю, что эксперимент следует продолжать.

— Я готов пойти тебе навстречу,— сказал Мунхбат,— только смотри не промахнись в погоне за модной темой. Мы друзья. А чего не сделаешь для друга... Но я должен тебя предупредить...

Сбросив с себя одеяло, я сел в постели. Раз не спится, надо вставать, да и утро вот-вот наступит, уже светает. Умоюсь, перекушу и уйду на работу, пока жена не проснулась. Пусть хорошенько выспится. С некоторых пор я предпочитаю завтракать в одиночестве, по крайней мере это избавляет меня от лишних упреков и бесконечных разговоров о моей защите.

Серый воздух за окном порозовел, словно яблоко налилось соком. Я выглянул на улицу. Люблю первые минуты рассвета. Город еще не проснулся, но уже готов к пробуждению...

На вечеринке у Дугара меня то и дело спрашивали, когда же наконец состоится моя защита. Я отшучивался, но было неприятно, хотя уверен, все желали мне только добра. Почему в памяти застревают всякие мелочи? Не заслоняют ли они главного? В детстве я знал старика, у которого на все случаи жизни была одна присказка: «На каждого пса не напасешься камней». Надо поберечь силы — неизвестно, чем кончатся мои последние опыты.

Я направился к двери. Жена повернулась во сне. Конечно, надо бы нам с ней поговорить откровенно, но как-то не получается. Вначале, когда мы только поженились, нам все завидовали, до того дружно мы жили, а теперь существуют рядом два озлобленных, недовольных друг другом существа. Не так просто удержать любовь. К этому оба должны стремиться — и муж, и жена. Мы с Жавзмой в равной степени виноваты в том, что произошло. Ну чем я плохой муж? Сразу после работы бегу домой. (Всегда ли?) Прежде жена ждала меня с нетерпением, радовалась моему возвращению, хлопотала на кухне, весело накрывала на стол. Провожая на службу, просила позвонить, если я задержусь. Я звонил. Теперь Жавзма часто работает в вечернюю смену. Почему же мне в голову не приходит ее встретить после

работы? Живем, как чужие, только что под одной крышей. Если жена разлюбила меня, надо дать ей свободу. Иногда я ловлю себя на мысли: не встреться мы с ней тогда, в новогоднюю ночь,— одной неблагополучной семьей было бы меньше. А так хочется порой нежности, ласки, как это бывало в юности. А то и сильнее.

Я умываюсь холодной водой. Прихожу немного в себя. Что ждет меня сегодня? Наверняка придется еще раз вести разговор по поводу темы, теперь уже в дирекции. Но Мунхбат обещал поддержать. Может быть, вечером попытаться вызвать жену на откровенность? А если она обозлится? Нет, удерживать ее я не смогу. Пусть сама решает, как ей поступить.

Глава третья

Воскресенье

I

Надеюсь, меня не упрекнут в банальности, если я скажу, что погода на меня действует. Когда на дворе ясно — рассеиваются все сомнения и становится легко. А вот сегодня день выдался пасмурный, небо покрылось тучами, часто вдали громыхал гром — собралась гроза. Дышалось трудно. И на душу легла тяжесть. Потом прояснилось, ветер улегся, как смирный пес, пригрело солнышко, и сразу стало веселее. Мы с сынишкой сидим на берегу и смотрим, как величаво несет свои воды осенняя Тола. Не зря говорят: большая река — спокойная, великий человек — скромный. Впрочем, скромность присуща не только великим, а и самым обыкновенным людям. Мой муж считает скромным того, кто постоянно молчит — и в гостях, и дома. Уж не себя ли он имеет в виду?

Налетел легкий ветер и умчался прочь, озорник. По реке пробежала рябь. Все мои думы — о сыне, с того самого дня, как он появился на свет. А сейчас больше, чем когда бы то ни было. Может быть, я старею? Или просто несчастлива и ничего в жизни у меня нет, кроме сына? Дети — наше будущее. И я делаю все возможное, чтобы моему мальчику было хорошо. Он о чем-то задумался, наморщив лоб. О чем же? Взгляд серьезный, как у взрослого. Едва поздоровался и сразу спросил:

— А где папа? Опять, наверно, сидит со своим микроскопом. А ему полезно было бы прогуляться.

Что я могла на это ответить? Что отец явился с вечеринки под утро изрядно выпивши и даже не мог сам отпереть дверь? Что вчера мы с ним и словом не перемолвились? Невнимательный, безразличный, неласковый. Но уверен в собственной правоте и во всем винит меня. Незаметно превратился в брюзгу, товарищи, видно, его избегают, к нам давно никто не заходит.

— Мама, ты очень бледная. Наверное, не высыпаешься,— говорит сын, касаясь моей руки.

Неужели все дети теперь такие наблюдательные?

— И глаза у тебя блестят. Ты плакала, да?— не унимается Сайнжаргал.

— С чего ты взял, сынок? Просто эту неделю я работала в вечернюю смену и немного устала.

Не знаю, поверил ли мне сын, но спрашивать ни о чем больше не стал. Подбросил в ладошке один за другим несколько камешков и умолк.

— Сайнжаргал!

— Да, мама? — не сразу откликается он.

— О чем ты задумался? Ты еще мал, чтобы забивать себе голову разной чепухой. Тебе надо побольше играть с товарищами, отдыхать, набираться сил перед новым учебным годом. Понял?

— Ага. Только мысли сами в голову лезут. Я так ждал вас сегодня! Думал, вы вместе приедете. Погуляли бы, сфотографировались. Знаешь, мама, к нам в лагерь часто приезжает один фотограф. На собственной машине. Нащелкает несколько пленок, ребята у нас любят сниматься, и на другой день прямо с утра снова тут как тут — получите карточки! Хорошо фотографирует. Однажды я слышал, как он поругался с другим приезжим фотографом и прогнал его. Наш промышляет, оказывается, не только у нас, а еще в дачном поселке на реке Сэльбе. Наверно, здорово зарабатывает. Тот, второй, когда они ссорились, крикнул: «Тебе, видно, мало одной машины, хочешь вторую купить? Детей обираешь!»

— Нехорошо подслушивать,— рассеянно ответила я.

— Я не нарочно,— обиделся сын.— Ты меня просто не слушаешь, мама. Вожатый сказал, что этого пройдоху скоро прогонят. Но сегодня он снова явился, и мы могли бы все вместе сфотографироваться.

— У нас дома висят фотографии, ты что, забыл?

— Ничего я не забыл,— снова обиделся сын.— На тех фотографиях я совсем маленький.

— Ладно, через неделю вернешься, и я свожу тебя в фотографию. Все втроем сходим.

Я солгала, никуда мы втроем не сходим. Я твердо решила уйти от мужа.

Мне стало страшно, и я зажмурилась. Права ли я? Что будет со мной и с сыном? Как сложится у нас жизнь? Это я представляла себе весьма смутно. От будущего веяло холодом неизвестности. Как отнесется к этому Хашчулун, может быть, равнодушно, а сын наверняка встретит мое решение в штыки. Да и мне самой придется несладко.

— Смотри не забудь про свое обещание, мама!— сказал Сайнжаргал.

— Не забуду! — неуверенно откликнулась я и внимательно посмотрела на сына. Глаза и брови у него отцовские, а вот улыбка моя. Вдруг он отцовским жестом пригладил колючий ежик волос, и сердце у меня болезненно сжалось. Я привлекла его к себе, долго гладила и целовала коротко остриженную круглую головенку, от которой пахло сухой травой. К горлу подкатил ком. Вспомнилось, как, бывало, склонившись над его колыбелью, я бережно касалась губами крохотного личика, вдыхала теплый молочный запах.

Хашчулун совсем не занимается сыном, у него, видите ли, времени не хватает. Всю тяжесть воспитания переложил на мои плечи. Помню, когда я вставала по ночам, чтобы перепеленать ребенка или дать ему грудь, муж спал крепким сном. Он не догадывался, как мне трудно? Ночью не спишь, а днем пытаешься сесть за учебники, за конспекты, а тут снова начинает плакать малыш, и я бросалась к нему. Хашчулун почти не бывал дома, после лекций отправлялся прямо в читальный зал или в лабораторию. К тому же он был старостой группы и выполнял еще много другой общественной работы. Ему предстояло в следующем году защищать диплом. У него находили способности к исследовательской работе, и он изо всех сил старался оправдать надежды. Лишь в редкие минуты он подходил к сыну, останавливался на некотором расстоянии от кроватки — боялся разбудить и, вытягивая шею, смотрел на малыша.

— Вот подрастет сын,— говорил он с важным видом,— начнет гореть, тогда папа будет с ним играть.

После этого, одарив меня улыбкой, он уходил. Это, разумеется, был эгоизм, но мне тогда в его словах слышалась ласка. Как-то я сказала ему, что он мало уделяет внимания сыну.

— Нянчиться с таким малышом — женское дело. Наступит и моя очередь, пусть подрастет.

Изредка он брал малыша на руки, но тут же отдавал мне.

— Жая, а Жая, возьми-ка его. А то еще уроню! — кричал он. А теперь говорит, что во всем помогал мне, когда сын был маленьким.

Жилось нам трудно, хотя Хашчулун и получал повышенную стипендию, как отличник. Мы рассчитывали на персональную, но персональной ему не присудили. Мы терпеливо переносили лишения, не жаловались. Вместо теплого желтого одеяльца с красивым рисунком, которое я давно облюбовала в универмаге, приходилось завертывать сына в тонкое байковое. Может, потому он и заболел в трехмесячном возрасте воспалением легких? Врачи настоятельно рекомендовали прогулки на свежем воздухе, вот и догулялись. Легла я с сыном в больницу. Собираясь туда, горько плакала, в то время как муж мой оставался спокойным, словно речь шла о ком-то постороннем, а не о самых близких ему людях.

— При нынешних методах лечения,— резонно говорил он,— мальчика быстро вылечат, хоть отдохнешь немного в больнице, уход там хороший.

Тогда я успокоилась, а теперь понимаю, что он просто хотел избавиться от нас хоть на время и с легким сердцем отправлял меня с сынишкой в больницу.

Вопреки обещаниям мужа я вовсе не отдыхала в больнице. Несколько дней жар у малыша не спадал, дыхание было прерывистым, и ночами, забывшись на короткое время тяжелым сном, я постоянно просыпалась от страха — мне казалось, что сын перестал дышать.

В одной палате со мной находились еще матери с детьми. Бывало, расхнычется чей-нибудь ребенок, а мамаша спит себе как ни в чем не бывало. Особенно удивляла меня самая молоденькая из них, моя ровесница Сарантуя. У нее была прелестная девочка, похожая на только что распустившийся цветок. Сарантуя сказала, что муж ее служит в армии, далеко на границе, но все сведущие санитарки утверждали, что у Сарантуи вообще мужа нет. Женщина попросила записать малышку на фамилию отца, однако свидетельства о рождении так никому и не показала. Мне было жаль эту женщину. Может, и в самом деле муж ее служит на далекой границе, а может, его вообще нет. Тоже ничего страшного. Сколько вырастает детей без отцов! Не у всех жизнь складывается ладно. И когда соседки по палате начинали осуждать Сарантую, я брала ее под защиту.

Однажды они даже на меня разозлились. Одна из них соскочила с койки и подбежала ко мне.

— Откуда ты выискалась, такая жалостливая? Может, раздобудешь папочку для ее дочки? Да она сама не знает, от кого родила. Пригляделась бы лучше к своей подружке, чем старших учить!

Волей-неволей я стала присматриваться к Сарантуе. И в самом деле, чуть ли не каждый день ее навещали парни, и все разные. Стоило кому-нибудь из них постучать в окно, как она бросала дочку и куда-то надолго исчезала. Малышка надрывалась от плача, и мне было стыдно смотреть в глаза соседкам.

Постепенно сын поправлялся, и я повеселела. Теперь я хорошо спала по ночам, стала нормально есть. Но вдруг у малыша что-то приключилось с желудком, и меня с ним перевели в другую палату. Тут уж и Хашчулуну досталось. Он буквально разрывался между университетом, больницей и домом.

Почти два месяца пробыли мы с сыном в больнице. И Хашчулун, придя в очередной раз в больницу, спросил меня:

— Нельзя ли ускорить выписку? Мне сейчас очень трудно. Скоро сессия. Хочешь, я поговорю с лечащим врачом?

Я сперва удивилась, а потом обиделась и сказала:

— Можешь не ходить сюда каждый день. Кормят хорошо, всего хватает.

Вернулись мы с сыном домой, когда уже настала весна. Малыш был еще очень слабеньким и нуждался в тщательном уходе. Хашчулун, как всегда, занимался своими делами, и до меня с сыном ему не

было дела. Я все надеялась, что, когда сын подрастет, отец станет больше им интересоваться. Но шло время, а все оставалось по-прежнему. Видно, не любит Хашчулун сына, с болью думала я. Ну и пусть. Пусть это будет мой сын, только мой. Я носила его под сердцем, кормила грудью. Да, он мой, и больше ничей! Жизни не пожалею, а выращу его хорошим человеком.

Эта мысль утешала меня, давала силы.

Между тем близилось лето. Я подолгу гуляла с сыном. Погода, словно по заказу, была ровная, безветренная. От той далекой весны осталось чувство горечи. И еще чувство какой-то окрыленности, легкости, рожденное свежим и сильным дыханием обновленной земли, горячим прикосновением солнечных лучей, покрывших золотистым загаром мое лицо и тело...

Ничто на свете не интересовало меня, только сын. Меня радовала его улыбка, огорчали его слезы. Все остальное оставалось за пределами моего маленького, мною же ограниченного мирка и совершенно меня не интересовало. Хашчулун, конечно, заметил во мне перемену, но виду не подал. Он и не подозревал, что творится у меня на душе. Да и кто может знать, что творится на душе у другого. Так что винить его в этом было нельзя.

Но как ни странно, я чувствовала себя в то время почти что счастливой. У меня есть сын! Мой сын! Я не думала возвращаться снова в университет. Теперь я понимаю, что была не права. Что спасовала перед трудностями. Вначале я собиралась отправить малыша к родителям, чтобы продолжить учебу, но после больницы даже мысли не допускала о разлуке с сыном. (Я и сейчас не могла бы долго прожить без него.) Кроме того, я считала, что надо дать мужу спокойно окончить университет, а потом уже и самой продолжать учиться. Хотя понимала, что это просто повод, чтобы бросить учебу. Посоветоваться мне было не с кем, у мужа, я знала, не найду поддержки. Словом, я предоставила событиям идти своим чередом.

Я собиралась летом к родителям, показать им внука, попоить его парным молоком. Думала, что Хашчулун тоже поедет, но он сказал, что сразу после сессии отправится на сельскохозяйственные работы, потому что в прошлом году не ездил.

Я была немного огорчена. Но ничего не поделаешь. Муж отвез меня с сыном в аэропорт и там завел со мной разговор о моей учебе, обещал пойти в ректорат и устроить так, чтобы мне разрешили возобновить занятия на втором курсе.

— Ладно,— бросила я равнодушно, а сама решила, что ни за что не вернусь в университет. На мое счастье, объявили посадку, и разговор сам собой прекратился.

— Дай-ка мне еще разок поцеловать на прощанье сына!

Не знаю почему, но сердце у меня сжалось, когда муж, склонившись над малышом, нежно поцеловал его.

— Мне будет вас очень недоставать,— произнес он, заглядывая мне в лицо. Глубокая нежность светилась в его глазах. Если бы хоть раз в месяц он бывал таким, как тогда! Счастливее меня не было бы на свете женщины.

Хашчулун, верно, не подозревал, что дома я следила за каждым его шагом, за каждым жестом. Увы, я хорошо знала, что сейчас он поцеловал сына второй раз после нашего возвращения из больницы.

Мне так хотелось уткнуться, как бывало, ему в плечо, такому большому и сильному, и выплакаться. Но я сдержалась. Все равно он не понял бы. Теперь мои слезы его раздражают.

И хорошо, что сдержалась. Хашчулун уже смотрел на меня испытующе. От нежности и следа не осталось. У него был вид человека, выполнившего свой долг, и мои эмоции были сейчас неуместны. Он вдруг показался мне совсем чужим человеком. Неожиданно он вытащил из кармана пачку сигарет, хотя прежде никогда не курил. Мне в голову не могло прийти, что таким образом он пытался скрыть волне-

ние, вызванное предстоящей разлукой. Словно угадав мои мысли, Хашчулун сказал:

— Я стал курить, еще когда отправил вас в больницу. От тоски, что вас нет рядом со мной.— Он вздохнул (нарочно, разумеется).— Для тебя никого не существует, кроме сына, Жая. Даже обидно.

Сейчас я думаю, что он говорил искренне. Но мы были в то время так молоды, так неопытны в своих чувствах. И я не сомневалась в том, что муж мой в свои двадцать лет лицемер и притворщик.

Хашчулун молча курил. «Посадка на рейс Улан-Батор — Гоби-Алтайский аймак заканчивается, пассажиров просят пройти на посадку»,— донесся из репродуктора скрипучий голос прямо у меня над головой. Муж хотел меня проводить до трапа, но его не пустили. Он снова поцеловал сына, неловко обнял меня за плечи и привлек к себе.

— Счастливого пути, родная. Возвращайся к началу учебного года. Я буду часто писать тебе. Привет и поклон родителям.

— До свиданья!

Мне хотелось поцеловать мужа, но я не смогла этого сделать, потому что держала на руках сына. Это воспоминание до сих пор причиняет мне боль...

Самолет поднялся в воздух, и Улан-Батор остался позади. Серебристая Тола вытянулась тонкой ниточкой. Вдалеке остался Хашчулун, наши разговоры, вся наша жизнь, и я почувствовала облегчение. Самолет набрал высоту, но я успела разглядеть горы Хайрхан и Сонгино. Сюда, в Сонгино, сын теперь ездит в пионерлагерь. Но тогда, улетая в далекий Гоби-Алтайский аймак, я думала, что никогда больше не попаду в эти края. Я была уверена, что уезжаю навсегда. Будущее вдруг обрело четкость. Будем жить с сыном в худоне, как жили мои деды и прадеды. За скотиной присматривать я привыкла с малолетства, значит, не останусь без дела. Не вышел из меня филолог, выйдет животновод. А сын, когда вырастет, станет мне хорошим помощником.

Вот с какими мыслями ехала я к родителям...

— Сайнжаргал,— говорю я притихшему сыну,— когда ты был маленьким, я возила тебя к дедушке и бабушке. Самолет как раз пролетал над тем местом, где мы с тобою сейчас сидим.

— А где был папа? — встрепенулся сын.

— Папа? При чем папа? Его с нами не было.

— Почему? Ты не взяла его с собой, как и сегодня?

Мне хотелось думать, что сын не догадывается о нашем разладе, мы ведь оба скрывали от мальчика растущую день ото дня холодность в наших отношениях, зачем было его так огорчать? Пусть подрастет, тогда я расскажу ему правду, а сейчас он еще слишком мал, хоть и смышлен не по возрасту. И все же, признаюсь, я приехала к сыну с тайной мыслью подготовить его к разлуке с отцом. Решения своего я не собиралась менять — мы с Хашчулуном должны расстаться.

— Да, отец сегодня не с нами,— проговорила я и испугалась собственных слов.

— Не понимаю, мамочка, о чем ты? Объясни.

Тут я почувствовала, что с детьми нельзя вести подобные разговоры. Я никогда не настраивала мальчика против отца, наоборот, учила его относиться к отцу с уважением. Развод — это наше с Хашчулуном дело, наступит время — и Сайнжаргал все поймет. И я решила солгать:

— И тогда и сейчас отец не смог приехать, у него дела.

Сын облегченно вздохнул и улыбнулся своей ясной детской улыбкой.

— На той неделе, в четверг, не забудьте встретить меня. Автобус,

как всегда, подойдет к памятнику Нацагдоржу [1]. Вы с папой что-то стали забывчивые. Сколько раз ты обещала привезти мне новые карандаши, а где они?

Я достала из сумки коробку с карандашами и протянула ему.

— А это что, сынок?

И вдруг у меня невольно вырвалось:

— Ты простишь меня?

— Что ты сказала, мама? — Он с недоумением посмотрел на меня своими светло-карими при солнечном свете, широко открытыми глазами.

— Сынок, мама твоя...

Тут у меня хлынули слезы, и, уткнув лицо в колени, я навзрыд заплакала, кляня и ненавидя себя...

II

Совсем забыл, что сегодня воскресенье. Что-то нервы сдают. Неудивительно. На работе плохо, да и дома не лучше. Раньше мог работать почти круглые сутки. Может, и сейчас смог бы, только желания нет. Жая поднялась чуть свет, следом за мной, покосилась на жалкий завтрак, который я себе приготовил, взяла сумку и, хлопнув дверью, ушла. Наверняка поехала к сыну в пионерлагерь, а мне — ни слова. Сын — главное в ее жизни, а я на втором плане. Невесело, но к этой мысли я уже привык. И все же мне всякий раз становится обидно, когда я это замечаю. Так хотелось сказать: «Поедем вместе к сыну», но слова застряли в горле. В следующее воскресенье сын, кажется, уже будет дома. Соскучился я по мальчугану, а скажи жене — не поверит. Считает меня бездушным. Это ей выгодно. На фоне сухаря-отца легче выглядеть доброй и великодушной. Нет, я несправедлив. Во мне говорит обида. Жавзма — прекрасная мать. Я же действительно мало занимаюсь сыном.

Всю ночь не спал, и теперь разболелась голова. Не надо было пить столько. Впереди целый воскресный день. Чем заняться? Пойти в лабораторию и продолжить анализы? Не хочется. Почитать? Сходить в гости? Хорошо сейчас, верно, у реки. От воды тянет прохладой, тихо плещут волны, обгоняя друг друга, постепенно отступают прочь невзгоды, успокаиваются нервы. А я так в этом нуждаюсь... Звонит телефон. Неохотно снимаю трубку. «Привет!»—«Привет!»—«К тебе можно заглянуть?» — «Что ж, пожалуйста!» — «Ты один?» — «Один».— «В таком случае я мигом!»

Звонил Мунхбат, мой начальник. В институте видимся каждый день, но домами не дружим. Я обрадовался, что он придет,— будет хоть с кем перекинуться словом. Жавзма вернется поздно, можно спокойно посидеть. Жена недолюбливает Мунхбата, ведь мы были с ним однокашники, а теперь я у него в подчинении. Интересно, что бы она сказала, если бы застала у нас гостя в этот ранний час? Впрочем, это мне безразлично, да и ей тоже — ходи я хоть на голове. Интересно, что нужно Мунхбату? Просто так он ничего не делает. Все с целью. Не соскучился же он по мне! Я у него в печенках сижу, опять сектор из-за меня в этом году не выполнит плана.

Продолжительный звонок в дверь. Бегу открывать, Мунхбат нетерпелив.

— Добро пожаловать! — Я пропускаю гостя в прихожую. Шагнув за порог, он вдруг останавливается и очень дружелюбно смотрит на меня в упор.

— Здравствуй, Хашчулун. Ну и брюхо же ты себе отрастил, настоящий барабан!

---

[1] Д. Нацагдорж (1906—1937) — основоположник современной монгольской литературы.

Я действительно располнел за последнее время, а в тонком трикотажном костюме, который я ношу дома, это особенно видно. Сам Мунхбат в хорошей форме. Вполне импозантный мужчина, все еще нравится девушкам.

— Да, стоит человеку расслабиться — и все его недостатки выходят наружу.

Усмехнувшись, он покровительственно хлопает меня по животу.

— Ты преувеличиваешь,— с досадой говорю я.— Регулярно занимаюсь гимнастикой. Раздевайся и проходи в комнату.

— У тебя, кажется, большая квартира?

— Три комнаты. (Уж не собирается ли он просить, чтобы я сдал кому-нибудь комнату?)

— Не слишком ли жирно для твоей маленькой семьи? (Кажется, мое подозрение сейчас подтвердится. Что тогда делать?)

— Что ты! — возражаю я.— Комнатки тесные, не развернешься.

— Брось, приятель! Живешь, как персидский шейх. Тесно! Побойся бога, дворец у тебя, а не квартира.

— Жена уехала к сыну в лагерь, а я вчера у Дугара перебрал малость, теперь голова трещит. Выпьешь со мной, товарищ начальник?— перевожу я разговор на другую тему.

— Ох, Хашчулун! Ну какой я тебе в воскресенье начальник? На службе — другое дело, а так — мы старые приятели. Заруби себе на носу.

— Ладно, тогда выпьем за дружбу.

Достаю из серванта рюмки, приношу вилки, тарелки. Беру в холодильнике полбутылки водки.

— За твои успехи!

Он явно насмехается надо мной — в мои успехи давно уже никто не верит — ни жена, ни друзья, ни коллеги.

— Благодарю, однако...

— Знаю, знаю,— Мунхбат жестом останавливает меня.— Но по обычаю хозяину дома всегда желают успеха. Сознайся, брат, ты сидишь сейчас и гадаешь: какой черт меня сюда принес?

Он словно прочел мои мысли, и я отвожу глаза в сторону.

— И зря гадаешь, неужели я не могу зайти к тебе просто так, без всякого повода? Заходил же прежде раз или два, точно не помню.

Ох и хитрая бестия, Мунхбат. Это ты-то не помнишь! Ты был у нас дважды. Первый раз на новоселье. Я тогда только что получил тему. Мы сидели за столом, но не в этой, а в большой комнате, и ты из кожи вон лез, чтобы всех убедить, какие мы с тобой друзья-приятели. Второй раз ты явился с официальным визитом, когда до партгруппы дошли слухи, будто я связался с Алтанзул и у меня в семье не все ладно.

— Хотя, постой, припоминаю, я был у вас два раза. Сегодня — третий. А зря. Мы с тобой однокашники, а вне института встречаемся редко. Можно бы дружить семьями. Дружба — великое дело.

— Конечно! — охотно поддержал я его, понимая, что вся эта болтовня — лишь ступенька, чтоб перейти к делу. Меня разбирало любопытство. Выложил бы все без обиняков, и дело с концом.

— Послушай, друг, недавно я видел твою статейку в «Известиях Академии наук». Материал ничего, интересный.

Куда это он клонит? Может, статью мою громили?

— Хочешь сюрприз?

— Выкладывай.

— Так вот — один очень солидный зарубежный журнал перепечатал твою статью с подробным комментарием. Я узнал об этом на днях, но нарочно молчал. Поздравляю. В ближайшее время я доведу это до сведения дирекции.

Мне стало совестно. Вечно я со своими подозрениями, пропади они пропадом. Человек радуется за меня, а я что? Я — просто скотина.

— Спасибо! — растроганно произнес я.— Большое тебе спасибо. У меня такое чувство, словно я сдал экзамен на «отлично». Жаль, что не знаю даже, чем отблагодарить тебя за такую весть. Еще по одной?

Мы выпили, и Мунхбат сказал:

— Знаешь, Хашчулун, что я больше всего в тебе ценю? Упорство. Ты умеешь преодолевать трудности.

Прежде мое упорство он называл бессмысленным упрямством.

— Раньше об этом говорили по-другому.

Мунхбат сделал вид, будто не понимает, что я имею в виду, и сказал:

— А ты не обращай внимания! Мало ли на свете завистников.

— Обращай не обращай, а выслушивать приходится все. Иногда даже зло берет, с трудом сдерживаешься, чтобы не нагрубить в ответ. Впрочем, критику мало кто любит,— подсластил я пилюлю.

Мунхбат резко вскинул голову, но тут же очень миролюбиво спросил, поддев вилкой ломтик колбасы:

— Это ты на меня намекаешь? Ладно, я не обидчив. Если хочешь знать, я тебе даже завидую. Завидую твоему упорству.

Это его заявление я выслушал с удовольствием. Мне не хотелось продолжать разговор, но я вынужден был играть роль гостеприимного хозяина и сказал:

— Тогда еще по одной. За будущего доктора наук. За тебя!

Мунхбат просиял.

— Спасибо, если это искренне.

— Я всегда был уверен, что ты далеко пойдешь,— продолжал я, закуривая сигарету. Непонятно, куда клонит Мунхбат. Он великий мастер на разного рода подвохи. Но вот уже начинается «представление», как бы прелюдия к просьбе, ради которой начальник осчастливил своим визитом в воскресное утро своего подчиненного.

— Послушай умный совет, оставь свою тему, и я гарантирую тебе через три года защиту. Я отдаю должное важности твоих исследований, иначе не отстаивал бы твою тему на дирекции. Скажу больше, она украшает институтский план, свидетельствуя о том, что мы не отстаем от времени. Действительно, в природе нет ничего лишнего, значит, и сорняки могут приносить пользу, но современный уровень науки таков, что пока рано об этом говорить. Эту загадку разгадают наши потомки. Образумься же наконец, перемени тему, и ты добьешься всего: ученой степени, повышения по службе, прочного места в науке.

Мунхбат едва не прослезился, уговаривая меня свернуть с неизведанной дороги на проторенную тропинку приспособленчества. Я молчал, подкладывая гостю еды в тарелку, положение хозяина обязывало быть вежливым. А вдруг Мунхбат искренне заботится о моей карьере? Я, конечно, могу не принять его предложения, но добрые намерения тоже ведь чего-нибудь стоят. И я говорю:

— Весьма признателен тебе, но от темы своей не отступлюсь. Боюсь, что до потомков мои сорнячки не доживут. Помнишь, какой подвиг совершили советские ученые во время блокады Ленинграда? Хранитель отборной семенной пшеницы Дмитрий Сергеевич Иванов умер от голода, но не прикоснулся ни к одному зерну. Александр Гаврилович Щукин тоже умер от голода, хоть и готовил к отправке редкие семена миндаля. Американский журналист Джордж Эйн Гейег в статье «900 дней страданий», приводя эти факты, не смог объяснить мотивы героизма ученых. А мотивы вполне понятные — все девятьсот дней ученые боролись за сохранение для человечества семян редких растений. Они отдали жизнь во имя торжества науки. Когда фронт почти подошел к Ленинграду, сотрудники Всесоюзного института растениеводства под орудийным огнем собирали семенной картофель редких сортов с опытного поля. Один из них, Абрам Яковлевич Камераз, был тяжело ранен. А Лехнович? Он сажал картофель весной сорок второго, сорок третьего и сорок четвертого года, потому что, если не

сажать, сорт погибнет! В ту трудную пору, когда картофель спасал людей от голода, ученые, чтобы картофель не погиб, жертвовали жизнью. Беспримерное мужество! А особенно если учесть, что никто не обвинил бы их, если бы они и употребили его в пищу.

Я остановился, чтобы перевести дух. Мунхбат порывался что-то сказать, но я жестом остановил его:

— Дослушай, пожалуйста! Так вот, ленинградские ученые не притронулись даже к тому картофелю, который уже не способен был плодоносить. По мнению советского ученого Николая Родионовича Иванова, семенной картофель не утрачивает жизнеспособности в течение пяти-шести лет. Отдельные экземпляры — до двадцати лет. На несколько десятков клубней один все-таки приходится жизнеспособный. Ленинградцы получали по 125 г хлеба в сутки, но не прикоснулись к семенному картофелю. Английский профессор Дарлингтон в журнале «Природа» в сорок пятом году утверждал: осажденные ленинградцы опустошили семенное хранилище редких растений. Но когда ученый побывал в Ленинграде и Николай Родионович показал ему знаменитую коллекцию семян в целости и сохранности, он не знал, куда глаза девать от стыда.

— Я все это знаю,— серьезно сказал Мунхбат.

— Значит, растения достойны того, чтобы за них сражаться! — воскликнул я.— История науки — моя слабость, в ней я часто черпаю мужество, чтобы продолжать свое дело.

Мунхбат махнул рукой.

— Поступай, как знаешь, не буду тебе мешать, но помяни мое слово: многого ты не добьешься.— И вдруг неожиданно выпалил: — Хашчулун, одолжи мне тысячу тугриков. Позарез нужно! Больше мне не к кому обратиться. Век буду тебе обязан.

Тысяча тугриков — сумма не малая. У меня ровно столько на книжке.

— Ладно, пошли в сберкассу, до обеда успеем. Касса по воскресеньям работает.

Мунхбат облегченно вздохнул. Видно, нелегко ему было просить у меня взаймы.

Я быстро переоделся. Мунхбат ждал в прихожей, накинув на плечи плащ. После дождей, которые лили несколько дней подряд, установилась прекрасная погода, солнечная и безветренная.

— Как славно было бы сейчас поваляться на травке,— заметил я, шагая по раскаленному асфальту.

— В Сонгино травы видимо-невидимо, и речка есть, вот и поехал бы с женой к сыну,— усмехнулся Мунхбат.

— Так-то оно так! Но я знал, что ты придешь, и остался дома,— вздумалось мне пошутить.

— Откуда ты знал? — всполошился Мунхбат.

— Да это я так, пошутил!

— Неправда. Тебе сказал Г.,— он назвал имя одного нашего общего знакомого, которого я давным-давно не видел.— Я имел неосторожность сказать ему, что хочу просить у тебя взаймы. И он, конечно, разболтал. Ну что за люди! Никому нельзя верить.

— Да ведь он, честное слово, ничего не говорил мне.

— А, брось! — возразил Мунхбат.— Я этого болтуна знаю как облупленного.

Дернуло же меня поддразнить его! Завтра он непременно устроит выволочку этому бедняге. Рычит Мунхбат, как лев, а труслив, как заяц. Всего боится.

Мне вдруг расхотелось доказывать ему, что я действительно пошутил. Я шагал, глядя прямо перед собой, и рассеянно слушал, как он продолжает костить своего приятеля. Наконец мы дошли до сберкассы. В воскресенье там бывает мало народу, и я быстро получил нуж-

ную сумму. Мунхбат тщательно пересчитал деньги, разделил их на три кучки и рассовал по карманам.

Мы распрощались. Я постоял с минуту, глядя ему вслед, пока он не исчез из виду. Как плохо я знаю людей! Никогда не думал, что Мунхбат может быть таким нерешительным. Никак не мог попросить у меня в долг. Для этого ему понадобилось целое вступление!

На улице было нестерпимо жарко, и я решил вернуться домой. Задернул на окнах шторы и снова лег. Над кроватью висит старая семейная фотография. Я, Жавзма и сын. Мы с женой молодые, счастливые, полные надежд. Но ведь ничего вечного не бывает на свете. Любовь ушла, ушло счастье. Мы стали чужими друг другу. Можно ли вернуть прошлое? Настоящее ведь неподвластно ему. Что ж, пусть все идет как идет!

Глава четвертая

Понедельник

I

Вчера я ездила в Сонгино. Чудесное место, и день выдался на редкость погожий. Вокруг все, озаренное солнцем, сияло, искрилось, а у меня мрак на душе. Прежде я встречала трудности, стиснув зубы. А вчера вдруг раскисла, расплакалась в присутствии сына. Но я не жалею об этом, слезы принесли мне облегчение. Плохо только, что я не сдержалась при сыне. Испугала его.

Сайнжаргал не сел рядом со мной, а так и остался стоять у воды. Сквозь слезы я смотрела на его ладно сбитую мальчишескую фигурку, залитую солнечным светом,— словно картинка, размытая водой. Вдруг я представила себе сына взрослым, таким, каким он будет через несколько лет — рослым и сильным, как в свое время его отец.

Сын покосился на меня через плечо, привычным жестом пригладил вихор на затылке. И мне опять показалось, что передо мной его отец в молодые годы...

Я вытерла слезы, позвала сына. Он подошел, хмурый, печальный. Сердце у меня сжалось от боли.

— Посиди рядом со мной.

Он сел чуть поодаль. Заглянул мне в глаза и вдруг выпалил:

— Мне очень хочется сестренку или братишку. У всех ребят есть, а у меня нет.

— Твой папа не очень любит детей. Когда ты был маленьким, он не обращал на тебя никакого внимания.

Господи, зачем я делюсь своим горем с сыном? Он ведь еще ребенок и вовсе не виноват, что я выбрала себе такого мужа. Хашчулун замкнутый, подозрительный, эгоист. Но я поняла это спустя много времени, а когда выходила за него замуж, была совсем девчонкой, ни в чем не разбиралась. А его не интересовали ни я, ни сын. Только работа. Ни времени для нас не находил, ни ласкового слова.

Нет, невозможно с ним жить. Единственный выход — развод. И я первая должна на него решиться.

После ясного солнечного воскресенья наступил сумрачный понедельник. Еще с ночи зарядил дождь. В густом тумане утонули склоны Богдо-Улы. Печально повисли на ветках мокрые листья. Так же сумрачно у меня на душе. Не знаю, права ли я, что развожусь с мужем, разлучаю сына с отцом? Может быть, это легкомыслие? Что я сделала, чтобы наладить наши отношения? Ничего. А как быть? Терпеть его равнодушие? Но ведь я в ответе не только за свою судьбу, но и за судьбу сына. А сыну нужен отец. Надо по-иному взглянуть на вещи, не сквозь призму мелких обид. Все эти мысли не раз приходили мне в голову еще тогда, когда я гостила у родителей. Сайнжаргал был

еще совсем крошечный. Незаметно пролетело лето, и наступила осень с сиреневыми закатами и прозрачными сумерками, с теплыми золотыми днями. Мне пора было возвращаться в Улан-Батор, но я все откладывала отъезд. И однажды мать, видимо почуяв своим материнским сердцем неладное, выпроводила отца под каким-то предлогом из юрты, долго мялась и, наконец решившись, спросила:

— Сдается мне, доченька, ты не собираешься возвращаться к мужу. Случилось что-нибудь?

— Ты права, мама, в город я больше не вернусь. Я хотела сказать тебе об этом, как только приехала, да все не решалась.

— С Хашчулуном поссорилась?

— Ничего подобного! — горячо возразила я.— Мы никогда не ссоримся.

Мать удивилась, подошла ко мне, села рядом.

— А муж знает, что ты не вернешься?

— Нет. Он ждет нас с сыном. Наказал не опаздывать к началу учебного года.

— Ты не хочешь учиться?

— Отчего же? Хочу,— ответила я неуверенно, ведь тогда я ни за что не призналась бы, что боялась возвращаться в университет, испугалась трудностей.

Мать пристально посмотрела мне в глаза, тихонько вздохнула и очень твердо произнесла:

— Не дело ты надумала, дочка. Муж ждет, надо ехать. Да и учебу нельзя бросать. Ты ведь у нас способная и первый курс хорошо закончила.

Я ничего не ответила, лишь пожала плечами. Мать не могла понять меня, она никогда не жила в городе, не знала, какая там напряженная жизнь, как трудно с жильем, как разрываешься между домом и университетом.

— Ты не училась год. Но причина-то уважительная, тебя примут обратно. Помнишь, когда ты еще в школе училась, целый год пропустила из-за болезни и сильно отстала. И все равно кончила десять классов, правда не в восемнадцать, а в девятнадцать лет. Так и сейчас — окончишь университет годом позже. Хочешь, оставь малыша у нас, мы только рады будем. Воздух здесь свежий, еда хорошая. А тебе облегчение.

— Ни за что! Не смогу я без сына!

— Ну, ладно, не расстраивайся. Вези его в город, может, в ясли устроишь.

Я до боли стиснула руки. Оказывается, не хотят родители, чтобы я осталась у них. Особенно мать. И все же я сказала:

— С места не двинусь, даже если гнать будете.

— Что же ты будешь здесь делать?

— Скотину пасти, как вы с отцом.

Казалось, мать вот-вот заплачет, но она только головой покачала.

— Эх, дочка! Здесь твой дом, живи сколько хочешь, никто тебя не гонит. Но подумай, что люди скажут? Мол, нагуляла в городе ребенка, а теперь на шею родителям села. Учебу бросила, ветер у нее в голове. Обидно! Да и мужу будет скучно без тебя и сынишки.— Мать говорила правду — ее слова задели меня за живое.

— Если вы боитесь худой молвы, дня больше у вас не останусь!

Мать махнула рукой.

— Нам-то что? Мы о тебе думаем. Не пойму я, чего ты хочешь, одно знаю: плохо ты жизнь свою начинаешь.

Мать говорила сурово, но я знала — ей жалко меня, сердце у нее доброе. И все же я решила не возвращаться к мужу, хоть и понимала, что мать права. Меньше всего меня волновало, что станут обо мне говорить. Поговорят и перестанут. А потом и вовсе забудут.

Мать заметила, что малыш сбросил с себя одеяло, и взяла его на руки.

— Плохо заботится о тебе твоя мать, только говорит, что заботится. Оставить без отца такого славного мальчонку!

Тут я не выдержала и, заткнув уши, выскочила из юрты. Немного поостыв, я вспомнила весь разговор с матерью и подумала, что мой поступок может быть истолкован совсем по-иному, не так, как я это себе представляла. Я привела в порядок растрепавшиеся волосы и побрела куда глаза глядят, уж очень хотелось побыть одной. Ноги сами привели меня в мое любимое укромное местечко, вдали от юрты, на берегу реки. Я села прямо на землю и, подтянув к подбородку колени, некоторое время прислушивалась к тихому журчанию реки и стрекоту цикад. У южного склона горы, озаренного синими сумерками, темнел табун лошадей — его уже выгнали в ночное. Табунщик с ургой в руках с громким гиканьем вдруг погнал лошадей к горному перевалу — видно, решил перевести их на более подходящее пастбище. Пройдут годы, и сын мой тоже будет пасти табуны. Это настоящее мужское занятие. Вырастет и обо мне позаботится, скажет: трудно было матери одной меня в люди выводить. В холод и в зной работала, себя не щадила, ждала, когда мои ноги начнут стремена доставать, а руки — тороки.

Хоть я в ту пору совсем еще девчонкой была, а все равно замечала, как быстро летит время. Не заметишь, как молодость пройдет, побелеют виски, по лицу побегут морщины. Уже тогда руки у меня погрубели, пальцы стали толще в суставах.

Я так увлеклась придуманной для себя ролью самоотверженной матери, что не могла трезво оценить последствия моего поступка.

Над рекой с шумом пролетала стая птиц. В жарких странах они переждут холода́. А мое сердце может оттаять только в родном краю. Но мать не хочет, чтобы я оставалась. Может быть, придется уехать? Куда? К Хашчулуну? Но его не интересует семья. Единственное, чего он добивается, это чтобы я училась. Мать тоже считает, что я должна вернуться к мужу и продолжить учебу. А я так надеялась на ее сочувствие, понимание! Помню, как я в первый раз уезжала в город. Родители ни за что не хотели меня отпускать. Но с тех пор все изменилось.

Домой я вернулась заплаканная, а мать, вместо того чтобы пожалеть меня, строго сказала: — Оставь сына у нас. Здесь ему хорошо будет. А ты сможешь спокойно учиться. Да и не нужна ребенку такая сумасбродная мать. Повзрослеешь, тогда и возьмешь.

Я оторопела. Неужели я в самом деле плохая мать?

— Не оставлю я сына! — крикнула я и бросилась за ситцевую занавеску, где малыш мирно спал.

— Опомнись, дочка! Ты разбудишь его.

Мне стало стыдно. Я вернулась к очагу, опустив голову, и тут как раз в юрту вошел отец.

— Папа, я не поеду в город, останусь в худоне! — тихо сказала я.

Он, видимо, не сразу понял. И мне пришлось повторить свои слова. Тогда он устало сел рядом со мной и спросил:

— А как же муж?

— У него на уме одна учеба. Мама меня уже отругала. Теперь твоя очередь, можешь начинать, я готова.

— Значит, вы разводитесь? Почему же ты до сих пор молчала?

Я закрыла глаза, как делаю это обычно, когда считаю дальнейший разговор бесполезным, но отец, поднявшись со своей низенькой табуретки, стоял передо мной, ожидая ответа.

— Когда ехала сюда, обещала вернуться — по слабости характера. Он велел мне не опаздывать к началу учебного года.

— Так не годится! Обещания надо выполнять. В нашей семье привыкли держать слово.

Никогда я не видела отца таким расстроенным. Он даже не стал пить чай, а принялся расспрашивать меня о нашей жизни с Хашчулуном. Я больше отмалчивалась, сказала только, что все объясню ему в письме.

Было уже поздно, и отец сказал:

— Ладно, поступай как знаешь. Только смотри не сгуби свою жизнь, дочка.— Тут снова в разговор вмешалась мать, стала меня уговаривать. Тогда я сослалась на то, что сыну будет лучше на свежем воздухе. В городе я только и делала, что бегала с ним по врачам да больницам, а здесь он ни разу не болел. Но жить без него я не могу, так что придется и мне остаться. Нельзя разлучать мать с сыном.

С того дня разговоры на эту тему прекратились. О Хашчулуне тоже старались не говорить, но это не всегда получалось. То заметят, что глаза у Сайнжаргала отцовские или улыбка. Мне хотелось его сфотографировать, тем более что братишка, который учился в школе в аймачном центре, в каждом письме просил прислать фотографию племянника. А я все тянула и тянула, почему-то не хотелось показываться на людях, ехать к фотографу в сомонный центр. Но не сидеть же вечно в юрте! Вскоре я начала вместе с родителями пасти скот. Нервное возбуждение, не проходившее все лето, сменилось жаждой деятельности. Я стала бодрее, веселее, не ощущала больше по утрам слабости. Просыпалась легко, с ясной головой, радуясь наступающему дню. Вот до чего благотворно повлияла на меня работа, сменившая безделье. Когда я пасла в степи отару, проезжавшие мимо верхом парни непременно заворачивали ко мне, заводили со мной разговоры. Один из них оказался очень настойчивым, и пришлось его осадить. Тут я вспомнила пословицу: «Не сложишь обона[1], сорока не сядет». Значит, с самого начала я не дала ему должного отпора, вот он и пристает. Так не долго и потерять к себе уважение.

Наступил октябрь. Грустно колыхались травы под резкими порывами холодного ветра. Зеленевшая бархатным ковром степь вдруг полиняла, порыжела. Но все равно была красивой, только изменила краски. Веселость моя постепенно угасала, и все чаще я страдала от одиночества. Но кому пожалуешься? Меня не понимали и потому сердились, хотя виду не показывали. Подруг у меня не было, прежние почти все разъехались, а новыми я не успела обзавестись. И я стала изливать свою тоску в песнях. Гоню, бывало, отару и пою. От песни становилось как-то легче на душе и дышалось привольнее. Вечерами, чаще всего субботними, я доставала из чемодана блузку, жакет, туфли на каблуках, все, что носила в городе, и, чувствуя, что сразу становлюсь изящнее, красивее, выходила на люди. В такие минуты мне казалось, будто я никогда не уезжала из дому и вся жизнь у меня впереди. О Хашчулуне старалась не вспоминать, даже фотографию его убрала подальше, но это не получалось. Однажды отец съездил на почту в сомон и привез мне три письма и телеграмму от мужа.

В сердцах я бросила их в ящик, где держат щепки на растопку, даже не распечатав.

Тут отец с матерью не выдержали, набросились на меня, называя черствой и легкомысленной. Я молчала. Наконец мать расплакалась. И на меня снова посыпались упреки, обвинения. Родители считали, что во всем виновата я, что я сделала Хашчулуна несчастным.

— Подумать только,— сквозь слезы говорила мать,— вздумала письма выбрасывать. А вдруг человек заболел и ему надо помочь...

— Нечего читать,— ответила я,— знаю, просит приехать.

— Вот и поезжай, хватит свой характер показывать.

Мне стало обидно. Я думала, все утряслось, а теперь начинай все сначала.

— Не даром говорят: от добра добра не ищут,— продолжала мать. Но что знала она о моей жизни?

[1] Жертвенная пирамида, сложенная из камней.

Я взяла сына на руки, вышла из юрты и заплакала. Потом вышла мать, села рядом и тоже принялась плакать, к нам присоединился сынишка. И я решила... вернуться. Нечего изводить родителей. Останусь в худоне — они всю жизнь будут считать меня неудачницей.

Но к началу учебного года я все равно опоздала, уже наступил ноябрь. Придется искать работу. Не сидеть же дома. Как засияли у матери глаза, когда я объявила, что на днях уезжаю.

— Вы не волнуйтесь. Я была не права. Мой муж — хороший человек, я сама во всем виновата. Теперь у сына будет отец.

— Образумилась! Наконец-то,— обрадовалась мать.— Отец давно овчины выделал, да и я кое-что для тебя припасла, можешь ехать хоть завтра.

— Нет, я еще немного побуду, мама.

— Живи сколько хочешь,— сказала мать,— а теперь пойдем в юрту.

Она взяла у меня малыша. Я поднялась, с трудом распрямляя закоченевшие ноги, и пошла в юрту, где в очаге пылал огонь. Зима нынче выдалась ранняя. В наших краях это часто бывает. Птицы давно улетели, а оставшихся ждет суровое испытание. Особенно водоплавающих. Может ли заледенеть и сердце? — подумала я. Я прижала руку к груди, она была горячей, упругой. Почему же так холодно на душе? Да, в тот год рано пришла зима. И душа моя медленно погружалась в зиму. Я видела перед собой бесконечную вереницу дней, серых, однообразных, не скрашенных семейным теплом. Уборка, хождение по магазинам, кастрюли. Кто скажет мне ласковое слово? Было от чего загрустить. Только мысль о сыне меня поддерживала. Надо правильно воспитать его, подготовить к жизни.

Итак, я возвратилась в город. За мной словно дверь захлопнулась — второй раз не уедешь от мужа. Зато родители мои рады были без памяти — теперь им не стыдно будет смотреть людям в глаза. Я не считала, что они ко мне справедливы, но на свою семейную жизнь больше не жаловалась...

Ладно, довольно воспоминаний. Да и в сон клонит. Не выспалась я сегодня. Муж наверняка давно спит. Любит поспать. Надо же ему отдохнуть. Как же, два дня и две ночи пьянствовал. То у него банкет, то приятель в гости пришел. Одной мыслью только и утешаюсь, что всему на свете приходит конец. Разведусь.

II

Чаще всего судьба преподносит плохие сюрпризы, но бывает, что она вдруг подарит неожиданную радость. Сегодня я неожиданно встретил Алтанзул.

Иду по улице и вдруг слышу — кто-то негромко окликает меня:

— Хашчулун-гуай!

Оглянулся. Передо мной молодая женщина. Ее нежное, белое лицо с мелкими чертами показалось мне знакомым. Но я никак не мог вспомнить, кто это? Женщина тоже смотрела на меня растерянно, будто не была уверена в том, что это я. Но вот она улыбнулась доброй застенчивой улыбкой, словно распустившийся поутру цветок, и я сразу узнал Алтанзул. Вспомнил наше недолгое знакомство, как она была одета, как смеялась, что говорила. Потом вспомнил, что у нее были из-за меня какие-то неприятности. Мы были знакомы всего несколько часов, но я понял, насколько чиста и бескорыстна эта девушка. А вот жену свою, хотя мы живем уже много лет вместе, я до сих пор не знаю. Она так и осталась для меня загадкой.

Я думал, что я забыл Алтанзул. Но оказалось, что это неправда. Я хранил память о ней в самом дальнем уголке своей души.

Все это вихрем пронеслось в голове, и я замешкался, прежде чем сказать:

— Здравствуй, Алтанзул! Как это я не заметил тебя? Ты уж извини. Со мной такое случается. Прохожу и не замечаю знакомых. (На самом деле со мной такое редко случалось.)

— Вы и сейчас шли, ни на кого не глядя,— ответила Алтанзул.— Я встречаю вас не впервые.

— Отчего же ты ни разу не окликнула меня? С некоторых пор я стал рассеян.

Она слегка покачала головой, так качается цветок на стебле.

— Куда ты идешь? — быстро спросил я, тут же решив увести ее подальше от посторонних глаз.

— Я еду к Центру обслуживания. Там неподалеку мои знакомые получили квартиру.

— Пройдемся немного. Погода хорошая, хоть и прохладно, скоро ведь осень.

Мы свернули в какую-то улочку. Алтанзул заглянула в две-три лавчонки, я вместе с ней. Народу там было мало, и Алтанзул быстро сделала нужные ей покупки. Мне ничего не было нужно, в выборе сувениров я советчик плохой, поэтому я не переставал перебирать в памяти все подробности нашей первой встречи и то, что произошло после. Жена не могла простить той встречи, а ведь она сама была виновата в том, что я искал сочувствия на стороне. Вернувшись в тот день домой, я застал Жаю злой и рассерженной.

— Я-то думала, ты заявишься утром,— сказала она,— но все же поесть тебе приготовила.

— Милая Жая! — виновато ответил я.— Я ходил в кино.

— Ах вот оно что! В кино! Ну конечно, вы человек ученый, перегруженный работой, и вам следует иногда поразвлечься, поискать на стороне чего-нибудь новенького, что успокоило бы ваши усталые нервы. И непременно одному, без жены, тем более, что она у вас простая работница. Жена ждет его на даче, а он выспался и пошел развлекаться. Что ж, прекрасно, очень за тебя рада!

— Жая, ты чересчур подозрительна.— Мне не хотелось ее обижать, напротив, я собирался объяснить ей свое настроение. В ее словах звучала боль, и я готов был сделать шаг к примирению.— Я в самом деле ходил в кино. Если не веришь, спроси у своей Алтанзул, она подтвердит.

— У кого? У Алтанзул? У этой девчонки? За кого ты меня принимаешь! Молодая девушка вскружила тебе голову!

— Жая, дорогая, поверь мне. Ее место случайно оказалось рядом с моим. Мы разговорились, и выяснилось, что Алтанзул работает на той же фабрике, что и ты. Не будем ссориться из-за пустяков.

На ресницах у Жаи дрожали слезы. Надо было успокоить ее, сказать что-нибудь ласковое, но я, как нарочно, не находил подходящих слов.

— Хочешь, чтобы я со всем мирилась? Не будет этого!

Я понял, что продолжать разговор бессмысленно, и сказал ей об этом. Мне стало страшно при мысли, что ничего, кроме неприязни, я не испытывал к этой красивой темноволосой женщине, которую любил когда-то без памяти. Она была сейчас очень хороша в светлом платье с лиловыми и серыми разводами. Она не любит меня. Никогда не любила.

— Зачем тебе со мной разговаривать? У тебя есть Алтанзул. Постыдился бы! Она лет на десять моложе тебя.

В это время обычно все возвращаются из-за города. Вернулись и наши соседи и слышали, как мы ссоримся. После этого поползли разные слухи, которые дошли и до моего начальства. Вот тогда-то Мунхбат и осчастливил меня своим посещением, чтобы во всем разобраться. Но мне что, я мужчина. А у Алтанзул были неприятности. Говорят, Жавзма при всех ее отчитала. И девушке пришлось перейти в другую бригаду.

Да, за все хорошее надо расплачиваться. Вот я и поплатился за свою невинную встречу с Алтанзул. И дорого поплатился. Жая совсем от меня отдалилась, стала чужой. Но я ничего не сделал, чтобы изменить положение, не сделал шага навстречу...

Я исподтишка посмотрел на Алтанзул, которая укладывала в сумку очередной сверток. Интересно, о чем она сейчас думает? И неожиданно для себя выпалил:

— Здесь неподалеку есть хорошая чайная, хочешь, зайдем, посидим немного?

Она заколебалась было, но сомнение тут же исчезло, и она смело взглянула на меня.

— Отчего же не посидеть?

Какая чудесная девушка! Муж ее будет счастливцем.

Когда мы с Жаей поженились, я тоже чувствовал себя на седьмом небе от счастья. Но прошли годы, и счастья как не бывало.

Гардеробщица в чайной спросила:

— Плащи на один номер повесить?

— Да-да,— улыбнулась Алтанзул, и я почему-то обрадовался. Легко взбежал вслед за девушкой по ступенькам, ведущим в небольшой зал. На душе стало легко, так бывает только в юности.

— Юность, она как рассвет! — вдруг вырвалось у меня.

— Что вы сказали?

— Один мудрец сравнил юность с рассветом.

— Но зрелость тоже неплохая пора. С ней вместе приходит жизненный опыт.

Мы заняли столик в углу. В понедельник народу бывает мало, я тут же поймал себя на мысли, что лучше бы затеряться в толпе, но отогнал эту мысль, как недостойную.

— При встрече с людьми постарше всегда хочется спросить: не знаете ли вы, отчего человека иной раз незаслуженно обижают?

Я невольно поднес руку к вискам — седых волос, кажется, еще нет.

— Алтанзул, милая! В детстве мне очень хотелось скорее стать взрослым. А когда становишься взрослым, охотно возвратился бы в детство. Но это, увы, невозможно.

— Вам грустно,— промолвила Алтанзул.— Как и тогда, при нашей первой встрече.

— Нет, сегодня не так. Сегодня у меня настроение гораздо лучше.

К нам сразу подошла официантка — подала меню.

— Что тебе заказать, Алтанзул?

— Лимонад.

— В такую погоду? Смотри, как льет дождь.

— Все равно.

Официантка с любопытством на нас поглядывала, видимо сразу заметила разницу в возрасте. Мне стало смешно. Я заказал мясную закуску, горячие блюда и три бутылки лимонада.

— А когда холодно, не следует пить лимонад? — тихонько спросила девушка, когда официантка ушла.

— Если бы не ты, я, пожалуй, выпил бы чего-нибудь покрепче. Хотя нет, сегодня понедельник, а по понедельникам у меня сухой закон.

Мы рассмеялись и сразу почувствовали себя легко и просто. Болтали, шутили. Наконец я сказал:

— Я виноват перед тобой, Алтанзул. Знаешь пословицу: человек мне добро сотворил, а я его в суд потащил. Так и я. Тебе из-за меня тогда здорово досталось..

— Стоит ли вспоминать прошлое, Хашчулун-гуай? К тому же вам не меньше досталось. Не знаю только за что. Ничего плохого мы не сделали. Поговорили и разошлись. Никому зла не причинили. Просто нам не поверили. А жена должна верить мужу. Ваша Жавзма меня

при всех отчитала. Даже к начальству вызывали. Подруги за спиной шептались. Но я рассказала все как было, и постепенно все наладилось. Я перевелась в другую бригаду, но до сих пор ваша жена словно не видит меня, когда мы случайно встречаемся. Строгая она женщина...

Официантка принесла заказ. За окнами по-прежнему накрапывал холодный дождь, но от лимонада я как-то сразу согрелся, не знаю почему.

— Очень рад, Алтанзул, что ты сегодня решила окликнуть меня.

— И я рада. Приятно поболтать с хорошим человеком, таким, которому веришь.

— Да, великая вещь — доверие,— говорю я.— Кстати, я часто рассуждаю о доверии, а сам не сумел завоевать доверие собственной жены. Не я ли в этом виноват?

— Но мы с вами, Хашчулун-гуай, доверием не пользуемся,— продолжает Алтанзул и смеется, указывая глазами на стайку официанток у буфетной стойки, которые подозрительно на нас поглядывали.— Бьюсь об заклад, что эти девушки сейчас судачат о нас, а за соседним столиком сидят люди и терпеливо ждут, когда их наконец обслужат.

Как большинство женщин, Алтанзул очень наблюдательна.

— Пусть болтают,— говорю я,— а мы займемся своим делом. Не обращай внимания.— Послушай, Алтанзул, ты случайно не вышла замуж?

— Вышла.

— В самом деле? Наверно, за достойного человека?

— Он славный. Я как-нибудь вас приглашу к нам, познакомлю. Он инженер, учился за границей.

Я внимательно посмотрел на Алтанзул. Да, это уже не та юная девушка, почти девочка, а взрослая женщина. Почему же я сразу этого не заметил? Видимо, потому, что душа у нее осталась прежняя.

— Значит, ты больше не бегаешь в кино от сердечной тоски?

— Теперь мы ходим в кино вдвоем с мужем.

Мы поднимаемся и идем к выходу, официантки, окинув нас деланно-равнодушным взглядом, поворачиваются к нам спиной — развлечение окончилось!

Я проводил Алтанзул до дома.

— До свиданья, Хашчулун-гуай,— говорит она.— В следующий раз непременно позову вас к нам.

— До свиданья, спасибо...

Погода, видимо, и завтра будет плохая. И все же на душе у меня посветлело. Приятно шагать по блестящему от дождя асфальту. Уже зажглись фонари. При их свете все близкие предметы видны очень отчетливо, а дальние — тонут во мгле, расплываются.

Полной грудью вдыхаю свежий, прохладный воздух. На мосту Мира останавливаюсь и долго стою, облокотившись о перила. Дождь почти перестал, ветер все еще бросает в лицо тяжелые капли, небо все в тучах. Пряно пахнет полынью. Из-под моста выплывает железнодорожный состав и, набирая скорость, устремляется вдаль. У меня сжимается сердце — уехать бы сейчас куда-нибудь. Люблю дальние дороги, случайных попутчиков. С одними заводишь дружбу, другие проходят мимо, но все равно оставляют по себе память. Два года назад я ездил на Шамарскую плодоовощную опытную станцию и в поезде познакомился с одним студентом. Сколько выложил он мне интересных идей, как восторженно говорил о своем стремлении трудиться на благо народа! Теперь он уже должен был кончить институт. Интересно, где он работает?

Неподалеку от меня остановились, тесно прижавшись друг к другу, парень и девушка.

Чтобы не мешать им, иду дальше.

Снова одолевают невеселые мысли. Может быть, это осень так действует на меня? Зима лучше. Она у нас, в Монголии, особенная. Грудь распирает от радости, когда взглянешь на снежное пушистое покрывало, которым оделась земля. Возьмешь горсть снега в руку, и он тут же превращается в воду, светлую, как глаза верблюжонка. Причудливыми островками кажутся в заснеженной степи редкие кустарники, каменистые отвалы, с которых сдуло снег. Перед первым снегом крепчает мороз, стынут лицо и руки, а потом вдруг неожиданно приходит тепло. Солнце припекает, словно хочет оживить траву, чтобы скот мог пастись. А на следующий день снова мороз до костей пробирает, зима опять вступает в свои права. В некоторые зимы скотина дохнет с голоду, не может раздобыть корм из-под толстого слоя снега и льда. Это белый дзуд, настоящее несчастье для скотоводов. Все тогда замерзает — и малые букашки, и матерый таежный медведь. С хрустом ломаются перемерзлые ветки деревьев. Озера и реки скованы неумолимой рукой зимы. И все же зима — удивительная, неповторимая пора. Клубится пар над полыньей, темной, таинственной. В горах, на лесных просеках, дерутся за самку яки, бьют копытами твердую, как железо, наледь, хрипло мычат, роняя белоснежную пену. В степи, если повнимательнее присмотреться, можно увидеть, как вдалеке мирно пасется стадо джейранов[1]. У некоторых людей душа как зима. Бела, словно снег, холодна, будто лед. Жавзма такая.

При этой мысли мне стало и грустно, и страшно. Много было у нас в жизни и хорошего, и плохого. Хорошего больше. И в нашем нынешнем отчуждении виноваты мы оба. Я первый должен сделать шаг к примирению, пока не поздно, пока жена не ушла от меня. Но ведь я знаю себя. Приеду домой, сяду за свой письменный стол и слова не произнесу.

А вот и мой дом, вернее, наш дом. Все окна приветливо светятся — Жая ждет моего возвращения. «Значит, не все потеряно. Объяснись с женой, чтобы потом не жалеть, не раскаиваться».

Глава пятая

Вторник

I

Не люблю я быть дома одна. Грустно становится. Знаешь, что до вечера никто не придет, а все равно прислушиваешься к каждому шороху за дверьми. Сын еще в лагере. Брат работает, видимся редко, у каждого свои заботы. Уже несколько месяцев не виделись, хотя живем в одном городе.

Я сильно простужена. Думала, обойдется. Не обошлось. Позвонила дежурному, сообщила, что на работу не выйду.

В квартире над нами носятся с шумом детишки. Падают, что-то роняют на пол. Дети — народ замечательный. Веселые, подвижные, ни минуты не усидят на месте. Я все это прекрасно понимаю, и тем не менее от шума разламывается голова и кажется, будто озноб сильнее.

С трудом поднимаюсь с постели, чтобы поискать градусник. Колени дрожат от слабости. Еще вчера вечером была совершенно здорова, а ночью вдруг подскочила температура. Неужели придется лечь в больницу? Досадно. Муж делает вид, что встревожен моей болезнью. Обещал привести врача.

Звонит телефон. Ой, как пронзительно! Даже ушам больно. Который час? Кажется, одиннадцать. Кто же это звонит? Может быть, что-то случилось? Вчера лил ливень, не вышла ли Тола из берегов?

[1] Степная антилопа.

Пионерлагерь недалеко от реки. Я снимаю трубку. Какой-то мужчина вежливо спрашивает:

— С кем имею честь?

— Я — мать Сайнжаргала, что случилось?

— Какого Сайнжаргала?

— Мальчик, который сейчас в пионерлагере в Сонгино.

— Простите, но я хотел бы переговорить с учителем Дашдоожем.

У меня отлегло от сердца. Я говорю, что это не школа, а частная квартира, бросаю трубку и возвращаюсь в постель. От волнения с меня градом катится пот. Хорошо бы умыться. Опять звонит телефон. Я затыкаю уши и натягиваю одеяло на голову. Потом выглядываю из своего убежища, все тихо вокруг. Снова принимаюсь искать градусник, нахожу и измеряю температуру. Тридцать восемь и шесть! Принимаю таблетку. Самое лучшее — это уснуть. Но почему-то не спится. В комнате холодно, за окном темно: кажется, опять пошел дождь. Так и есть. Забарабанили по стеклу первые тяжелые капли, сперва редкие, потом чаще и чаще, сливаясь в тугие струи холодного осеннего ливня.

Осенний ливень! Как не похож он на первые летние дожди, которые я так люблю. Лето — моя самая любимая пора года. Столько солнца, цветов, зелени! И молока. Когда после долгой зимы и затяжной весны, переменчивой и капризной, приходит наконец лето, такое чувство, будто ты заново родился на свет. А ведь и в жизни полоса летних дождей, теплых, ласковых, сменяется полосой осенних дождей, холодных, тоскливых. Сколько лет я уже живу под осенним дождем? Но вчера как будто чуть-чуть прояснилось. Муж вернулся с работы домой позже обычного. Не сказал, где был, а я и не спросила. Молча накрыла на стол, подала ужин. Он склонился над тарелкой, а потом вдруг посмотрел на меня, виновато улыбнулся и робко спросил:

— А сама-то ты ужинала? Ты, наверное, скучаешь одна, ведь я вечно торчу на работе. И сына нет дома.

Я рассердилась, потому что он сказал правду, и горячо возразила:

— Ничего подобного. Я люблю бывать дома одна, привыкла.

Мой холодный тон его обескуражил. Он понурился и стал нехотя, через силу, есть, очевидно где-то перекусил. Я сидела напротив и безучастным взглядом смотрела в темное окно, хотя ничего там не видела, кроме собственного отражения. До чего же обидно! Стараешься, готовишь, всю душу вкладываешь, а он даже не замечает, что лежит у него в тарелке.

— Как сын? Наверно, по дому соскучился? — спросил Хашчулун. Я рассмеялась каким-то нервным смехом. Если сын и в самом деле его интересует, мог бы съездить к нему в воскресенье вместе со мной, а не торчать дома. Или хотя бы спросить о нем, но не сегодня, а еще вчера, перед уходом на работу. Я бросила взгляд на Хашчулуна, и смех замер у меня на губах — такое невыразимо грустное выражение было у него на лице. И все же я осталась верна себе и со злостью выпалила:

— Сын по тебе скучает, ждет, все глаза проглядел, бедненький: почему папа не приезжает?

Хашчулун схватился за голову:

— Ну и дурак же я! Так долго не видеть сына! Истосковался ведь я по нему, сам не знаю, почему до сих пор не съездил в пионерлагерь.

Он выскочил из-за стола и принялся возбужденно шагать по кухне. Казалось, он готов прямо сейчас, среди ночи помчаться в Сонгино. Трудно передать, что творилось у меня на душе.

— Хашчулун, а Хашчулун! — тихонько окликнула я мужа.

— Что, дорогая? — ласково отозвался он. Такой нежности я давно не слышала в его голосе. Вдруг я заметила, как сильно изменился муж. Уголки губ были опущены, волосы на лбу поредели. Сердце дрогнуло от жалости. На мгновенье я закрыла глаза. Но в следующий момент мною снова овладела злость.

— Умеешь ты прикидываться,— сказала я едко.— Притворства в тебе много. Однажды ты даже сумел вскружить голову глупой девчонке, и она без памяти влюбилась в тебя. А когда стала твоей женой, поняла, что весь ты — сплошное притворство. Что ты холоден и бездушен.

— О чем ты, Жая? — растерянно прошептал Хашчулун.

— Весь мир для тебя замкнулся на опытах с сорняками. А люди, которые живут бок о бок с тобой, тебя не интересуют.

Я все больше и больше распалялась. Обида — плохая советчица.

— Я вижу, ты сильно раздражена,— сказал муж.— Но что происходит? И кто виноват в этом? (Конечно же не он.)

— Разумеется, я, я одна. Ты ни при чем,— бросила я.— Кто я? Недоучка! Проучилась один курс, и то с грехом пополам. А ты? Ты ученый. Пусть неудачник, но перспективный, для себя самого!

В пылу ссоры я не почувствовала всей несправедливости своих слов, а сегодня поняла: до чего была жестока!

— Жая, ты на меня в обиде,— спокойно ответил муж, но руки у него дрожали.

— При чем тут обида, когда речь идет о всей жизни!

— Я виноват перед тобой, но никогда не хотел тебя обидеть. Мне казалось, все у нас с тобой хорошо, и только последнее время стал замечать неладное. Шел я сегодня домой пешком и чего только не передумал по дороге! Взглянул на себя со стороны и понял, что оба мы с тобой упрямы, никто не хочет уступить, но главный виновник я... Прошу тебя — прости, если можешь.

— Что я слышу! Разве солнце может взойти на западе? Разве могут такие равнодушные, холодные люди, как ты, почувствовать свою вину?

— Жая, в тебе говорит обида. Прости меня. Забудем все наши размолвки и начнем все сначала. Ведь не все потеряно. Мы еще молоды.

— А что, если нам не удастся забыть этот страшный сон? Что тогда? — бросила я в сердцах и вышла из кухни. А перед глазами — бледный, бледный Хашчулун, он стоит у окна, прижав к груди свои большие руки.

Ох, как все плохо! Не могу перебороть себя, хоть плачь. Только тот способен меня понять, кто пережил нечто подобное...

Мне стало чуть легче дышать, видимо лекарство подействовало. Лежу вытянувшись, смотрю в потолок, а мысли мои далеко. Вдруг вспомнилось, как я возвращалась от родителей в Улан-Батор. Зима уже вступила в свои права. Хашчулун встретил меня в аэропорту и повез на новую квартиру, которую он снял у своих земляков. Меня ждал приятный сюрприз: комната была теплой, с печным отоплением, соседи хорошие, а хозяева просто замечательные. Муж заготовил на зиму уголь, заклеил окна, законопатил все щели. Теперь не страшны были самые жестокие морозы.

Хашчулун, видно, очень соскучился по мне и сыну и был гораздо внимательней к малышу.

— Я вас заждался,— поминутно повторял он,— и письма писал, и телеграмму отправил.

Мне стало стыдно, хотелось броситься к нему, выплакаться, все рассказать.

— Знаешь, Хашчулун, я чуть было не осталась у родителей навсегда. Думала, так будет лучше для нас обоих.

Он ни о чем не спросил, посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и ответил:

— Но ты же приехала, и это главное. Я рад.

Первое время все шло хорошо, как в самом начале, когда мы только стали встречаться. Но это длилось недолго. Хашчулун пере-

шел на последний курс, до выпуска оставались считанные месяцы, он был занят по горло, ни минуты свободной. Однажды я сказала:

— Сын растет не по дням, а по часам, правда?

Он ничего не ответил, будто не слышал. Мне стало не по себе.

— Послушай, Жая,— сказал как-то Хашчулун.— Не будем пока отдавать сына в ясли. К началу занятий ты все равно опоздала, посидишь зиму с сыном, а на следующий год возобновишь учебу.

И потекли дни, похожие как две капли воды один на другой. Утром сходишь по воду, потом принесешь дров на растопку, приготовишь еду. Днем — в магазин за продуктами, обед, гулянье с ребенком. Вот и весь день. Хашчулун уходил чуть свет, а возвращался поздно. Поест наскоро — даже не видит, что ест. А я неизвестно зачем стараюсь! И после еды снова садится за учебу и засиживается за полночь. Невольно закрадывалась мысль о том, что если я вернусь в университет, то и меня ждет на старших курсах такая же каторжная работа. И я стала подумывать о другой, более подходящей для меня профессии, которая соответствовала бы складу моего характера.

Хозяйка квартиры относилась ко мне по-матерински, но иногда невольно задевала меня за живое своими словами.

— У тебя хороший муж,— говорила она,— я видела, как он готовился к твоему приезду, с ног сбился. При таком муже грех не учиться. Мы, старики, завидуем тем, кто учится. У нас такой возможности не было.

Квартира нам ничего не стоила. «Какую совесть надо иметь,— говорили наши хозяева,— чтобы деньги брать со студентов». Как мы их ни уговаривали, они стояли на своем. Поскольку жилье было теплое, малыш теперь не простуживался и рос крепким, хорошо развитым ребенком. Ради ребенка многим можно пожертвовать, думала я. Всю свою нежность я отдавала сыну, но только сейчас поняла, что и муж нуждался в моей любви и ласке. Я никогда пальцем не тронула сына и, как всякая мать, считала его необыкновенным ребенком. Если упал и не заплакал, значит, вырастет храбрецом. Уткнулся в книжку с картинками — будет ученым! Вошел в комнату незнакомый, сын спрятался за материнскую спину, значит, будет скромным.

Весна в том году пришла как-то незаметно. Так хотелось тепла после затяжной зимы, которая показалась мне бесконечным сумрачным днем, несмотря на слепящий белизной снег и яркое, но холодное солнце.

Все прозрачнее становились туманы над городом, склоны Богдо-Улы почернели. Подернутые легкой дымкой, манили к себе голубые дали. Весело было наблюдать из окна, как поутру на улицу высыпают одетые по-весеннему ярко люди. Двор огласился звонкими детскими голосами. Переделав домашние дела, я одевала сына понарядней и без устали бродила с ним по городу, наслаждаясь теплом и солнечным светом. На моего малыша то и дело оглядывались. «Какой чудесный ребенок!» — раздавалось нам вслед. На себе я тоже ловила восхищенные взгляды и радовалась. Лицо у меня пылало, я чувствовала себя легкой, изящной, юной. Не зря, выходит, я долгие месяцы носила под своим сердцем дитя, не зря холила и лелеяла свое сокровище.

Однажды я рассказала о наших прогулках мужу. Он оторвался от книги и скучным голосом произнес:

— Зря ходишь с ребенком по людным улицам. Он может там чем-нибудь заразиться.

Меня словно холодной водой окатили. Радость померкла. Хашчулун как ни в чем не бывало наставительно добавил:

— Лучше гулять с малышом возле дома.

Я не смогла ему возразить. Человек дни и ночи за учебниками. Не для себя одного, для семьи старается. Каких трудов стоило мне уследить, чтобы сын не трогал отцовские книги и, боже сохрани, не порвал какую-нибудь из его тетрадей. Чаще всего я уводила малыша во двор,

чтобы он не мешал Хашчулуну заниматься. Так поступила я и на этот раз. Но в душе остался неприятный осадок. Вскоре совершенно неожиданно приехала моя мать. Она долго целовала меня и внука, удивлялась, как он вырос. Потом вернулся домой Хашчулун, и мы очень хорошо провели вечер вместе. По всему чувствовалось, что муж мой очень нравится матери.

Мать проснулась, когда Хашчулун уже умчался на занятия, и сказала с упреком:

— И такого мужа ты хотела бросить, дочка! Наверное, и учится хорошо?

— Старается,— коротко ответила я. Мне совсем не хотелось обсуждать с матерью наши семейные дела.— Ты к нам надолго, мама?

— Всей душой хотела бы, да не могу, сама знаешь, сколько дел в эту пору. Насилу уговорила отца меня отпустить.

Я понимала, что заставило мать бросить все и приехать. Ей хотелось самой убедиться, что жизнь у меня наладилась.

— Побудь с нами хоть месяц, мама,— попросила я.— Вечерами у нас, конечно, скучновато, не так, как вчера. Хашчулун в этом году кончает университет и света белого не видит. Дни и ночи занимается. Мешать ему нельзя.

Мать долго сидела молча, видимо размышляла над моими словами. Я хотела еще сказать, что порой такая жизнь становится просто невыносимой, да пожалела ее. Мать сильно сдала за это время: пока мы не виделись, у нее появилась седина, новые морщинки. Наверное, из-за меня переживала.

Вопреки ожиданиям, Хашчулун вернулся домой засветло, сидел с нами за столом, шутил, смеялся, расспрашивал маму, какой я была маленькой. Потом он все же сел заниматься, но мать то и дело отвлекала его вопросами, и с этого дня Хашчулун стал возвращаться позднее обычного. Я ни о чем его не спросила, но поняла, что мать мешает ему заниматься.

Бедная мама! Она с трудом прожила у нас две недели и уехала. До сих пор у меня сердце сжимается, когда вспоминаю об этом! На прощанье я сказала:

— Мама, теперь ты все сама видела. В общем мне живется неплохо. Скажи отцу, что у меня все в порядке.

После отъезда матери все пошло своим чередом. Казалось, этой тоскливой жизни не будет конца. Но вот Хашчулун окончил университет. У него словно выросли крылья. Его бурная радость передалась и мне: теперь-то мы наверняка заживем иначе. К великому моему удивлению, Хашчулун отказался остаться на кафедре и пошел работать учителем в школу, расположенную на самой окраине. Потом я узнала, что место на кафедре он уступил одной своей сокурснице, которая мечтала остаться в университете. Но тогда я не упрекнула мужа. Главное — наконец он будет свободен по вечерам. Я купила ему красивый галстук, и сын вручил подарок отцу. Подошел к нему, такой маленький и серьезный, и что-то пролепетал. От умиления я едва не заплакала, в душе у меня все пело и ликовало. Наконец-то у нас начнется новая, прекрасная жизнь! Тоскливые вечера, прогулки в одиночестве, лекции, семинары, лабораторные опыты — все это осталось позади. Увы, моим радужным надеждам не суждено было сбыться...

Тихонько скрипнула входная вдерь. Пришел муж, не один, еще с кем-то. Смотрю на часы. Уже два. Все понятно. Привел кого-то обедать.

— Как ты себя чувствуешь, Жая? Я привел доктора...

II

До чего любопытно устроена человеческая память! Какие-то маловажные факты и события далекого прошлого вспоминаются иной

раз столь отчетливо, словно произошли накануне. А то, что случилось буквально на днях, забывается начисто или кажется очень далеким. Мунхбат был у меня в прошлое воскресенье, но вот подробностей нашего разговора не помню. Остался лишь неприятный осадок после его замечания, касающегося моей внешности. Еще помню, как я рассердился на некоего Г., сующего нос куда не следует.

Мунхбат очень изменился с тех пор, как мы учились в университете. Там его все считали рубахой-парнем. Я тоже стал другим. Последние дни почему-то часто вспоминаю детство. Стараюсь понять, что осталось во мне нынешнем от того мальчишки, каким я был когда-то. Может быть, это поможет мне разобраться в себе самом и в нашей жизни с Жавзмой?

Детство неповторимо, как неповторимы его радости, неосознанное ощущение бытия, соприкосновение с окружающим миром, первые неудачи и первые успехи. Детство всегда свято, оно твое самое светлое, бесценное достояние. Мое детство было далеко не безоблачным, и все же я охотно снова пережил бы его.

Детство мое прошло в Гоби. Острый запах дикого лука, смешанный с ароматом цветущего вереска, маленькие проворные ящерицы — вот первые мои воспоминания.

Мне казалось, что отца я люблю больше, чем мать. Он служил в нашем баге[1] торговым агентом и дома бывал редко. В его обязанности входило принимать шерсть, волос и шкуры домашних животных, сдаваемых аратами государству, и доставлять все это на своих лошадях и верблюдах в сомонный кооператив, а потом развозить по аилам муку, пиленый и кусковой сахар, прочную и дешевую далембу[2], из которой шьют дэлы, всего не перечесть.

От нашего бага до сомонного центра было не меньше двух уртонов[3], а сомонный кооператив (теперь он называется торгово-заготовительное отделение) ни лошадей, ни верблюдов не давал, и отцу круглый год приходилось гонять собственных. Из-за этого между родителями часто вспыхивали ссоры.

Помню, как мы со старшей сестрой целыми днями играли и бегали. Сестра казалась мне тогда совсем взрослой — сестре было девять лет, а мне — шесть. Игрушек у нас не было, их заменяли разноцветные камешки. Особенно я любил камешек с двумя выпуклостями, похожими на верблюжьи горбы, я так и прозвал его — верблюжонком и очень им гордился. Он был предметом зависти соседских мальчишек.

И вот в то лето мой верблюжонок куда-то пропал. Жалея меня, отец закормил леденцами всех ребятишек, надеясь у них что-то выведать, но из этого ничего не вышло. Кстати, леденцы в то время были совсем не такие, как теперь. Они напоминали сосульку длиной с палец и были очень вкусные.

Я так горевал, что забросил все игры и целыми днями просиживал в юрте. На улицу выходил только по вечерам и тайком швырял камешки в соседские юрты.

Но недаром говорят, что беда не ходит одна.

В соседнем сомоне жил некто по прозвищу Бородач. Слыл он заядлым спекулянтом.

И вот однажды Бородач заявился к нам, точнее, к отцу, но отца не застал и решил его дождаться. Он прожил у нас три дня, по утрам долго спал, потом заставлял мать гнать молочную водку и, опрокинув стаканчик-другой, уходил, возвращаясь лишь к вечеру.

— Почему он не уезжает? — спросил я у матери.

— Ждет отца, он ему позарез нужен. А тебе что, гость не нравится? Зря, он хороший.

---

[1] Прежняя административная единица МНР.
[2] Прочная хлопчатобумажная ткань.
[3] Расстояние в 30—40 км.

— Нет, противный. И борода как у нашего козла-неряхи.— В наших краях борода и усы были редкостью.

— Не смей говорить так о взрослых! Убирайся с глаз долой! — крикнула мать и вытолкала меня за дверь. На другой день, едва завидев отца, который во весь опор скакал на лошади, я побежал к нему навстречу с новостью.

— Папа, целых три дня у нас жил грязный козел, все тебя дожидался, только недавно уехал.

— Что ты болтаешь, сынок? — целуя меня в лоб, рассеянно спросил отец.

— Я говорю, что Бородач тебя дожидался, спекулянт из соседнего сомона.

Отец погладил меня по голове.

— Не надо говорить «Бородач», у него имя есть.— Отец тяжело вздохнул, подогнал к юрте верблюдов. Но мать почему-то не вышла помочь отцу снять поклажу. Он один сгрузил все тюки и принялся накрывать их брезентом.

— Мама, ты разве не слышишь, отец вернулся! — крикнул я, просунув голову в дверь.

Мать ничего не ответила, а я был еще слишком мал, чтобы заподозрить неладное.

Когда, наигравшись с козлятами, я вернулся домой, то понял, что родители снова поссорились. Я опять убежал и вернулся поздно, надеясь, что они к тому времени помирятся. Так бывало всегда, они не могли долго дуться друг на друга. Но на сей раз они так и не помирились.

Выпив молока, отец прихватил тюфяк и, буркнув что-то насчет духоты, отправился ночевать на двор.

— И я с тобой!

— Айда, если не трусишь.

Чего мне было бояться, когда отец рядом? Провести ночь под открытым небом всегда заманчиво.

Я закутался в одеяло и стал смотреть на небо, подстерегая падающую звезду. Говорят, когда звезда падает, значит, кто-то умер. Пока я смотрел, упало несколько звезд, и я подумал: «Как часто умирают люди».

Но вскоре мне наскучило считать звезды, и, заметив, что отец не спит, я сказал:

— Папа, в другой раз, как поедешь по аилам, возьми меня с собой.

— Нет, сынок, мал ты еще.

— А мне скучно, верблюжонок пропал,— заныл я, надеясь разжалобить отца.

— В жизни, сынок, иногда теряешь самое дорогое,— задумчиво произнес отец.

— Почему ты сегодня такой невеселый, папа?

— Вырастешь, тогда сам узнаешь,— ответил отец.— А сейчас спи, хватит болтать.

Он поднялся до зари, нагрузил верблюдов и вместе с ними ушел. Куда — не сказал, сказал только, что уезжает надолго.

Вскоре после его отъезда к нам снова заявился Бородач. Я встал на пороге и крикнул:

— Не пущу!

— Весь в отца,— сказала мать Бородачу, легонько отстранив меня.

— Это юрта моего папы! — продолжал я кричать.— А Бородач пусть убирается!

Бородач расхохотался, одной рукой подбоченился, другую положил матери на плечо и заявил:

— Теперь это моя юрта.

Я бросился на него с кулаками, но он отшвырнул меня, словно щенка.

— Вот чертенок! Молокосос, а вздумал папашу защищать! Будь он постарше, я бы ему показал.

Прошло несколько дней, а отец все не возвращался. Бородач целыми днями валялся на постели, сытый, хмельной. Как я его ненавидел! И вот я украдкой взял нож и отрезал передние тороки у седла, которое Бородач положил возле юрты. Но когда я принялся за задние тороки, Бородач поймал меня на месте преступления. Не помню, как я очутился лежащим на спине. Небо поплыло перед глазами, казалось, оно вот-вот на меня обрушится. Потом небо исчезло, а на его месте появилось злобное лицо Бородача. Я плюнул в это ненавистное лицо, но, кажется, не попал. Бородач громко расхохотался. Потом небо встало на свое место, ненавистное лицо исчезло, а сам я оказался на ногах.

— Все расскажу отцу! — крикнул я. Бородач дал мне пинка и вернулся в юрту. Я бросился за ним, но дверь оказалась запертой.

Тогда я отправился бродить, ушел далеко от дома упал на песок и долго плакал. Я уже потерял всякую надежду увидеть отца, когда наконец он вернулся. Бородач тотчас же оседлал коня и уехал.

События этого злосчастного года многому меня научили. Во всяком случае я твердо усвоил одно — для блага нашей семьи лучше всего держать язык за зубами. Я ни слова не сказал отцу, не стал жаловаться на Бородача. Но отец сам обо всем догадался. Он ласково взъерошил мои волосы и спросил, почему я такой невеселый. Попробуйте, когда вам шесть лет, долго скрывать свою обиду! И я произнес:

— Бородач бил меня, папа.

Отец как-то странно посмотрел на меня, словно не понимая, о чем идет речь, и решительно зашагал к юрте. Вскоре оттуда донеслись громкие голоса и плач матери. Замерев от страха, я стоял под дверью, не смея войти.

— На помощь! — кричала мать. Сбежались соседи. Домой не хотелось идти, и я дотемна болтался на улице.

Ночь отец провел дома, а утром снова собрался в дорогу. Прежде он нет-нет да и пробудет дома несколько дней, а последнее время только ночевал. Теперь я знал: не успеет отец уехать, как снова явится Бородач, и мне было страшно оставаться. Я спросил отца, когда он вернется.

— Скоро, сынок. Вот только съезжу в сомонный центр, к начальникам.

После его отъезда мать снова принялась плакать. Мне стало жаль ее, и я тоже заревел. Она привлекла меня к себе, дрожащими губами поцеловала в лоб.

— Любишь маму?

— Люблю.

— А кого больше, меня или папу?

— Не знаю... Одинаково.— Я почему-то не решился сказать, что отца люблю больше.

Она погладила меня по лицу и спросила:

— Уедешь со мной далеко-далеко?

— Поедем все вместе: ты, я и папа. А сестра пусть здесь остается, будет коров пасти. Ладно?

— Отец не может, у него много работы. Сестренка поможет ему по дому, а мой мальчик поедет со мной. Я буду скучать без него.

— Без папы я не поеду. И ты оставайся.

Она снова заплакала.

— Завтра я уезжаю. Навсегда. Плохо вам будет без матери. Кто вам починит одежонку, валяные сапожки?

Был у меня дружок, сын нашего соседа Ганжура, у него умерла мать, и моя мама часто шила ему то одно, то другое, приговаривая:

«Бедный сиротка». Глаза у него всегда были на мокром месте — он очень тосковал по матери.

Однажды я встретил его в степи, где собирал арагал для очага, и предложил побороться. Проиграю — с меня леденец. Он заколебался.

— Боишься, что ли? — спросил я.

— Да нет, не боюсь,— грустно улыбнулся он.— Но что, если порвется тэрлик? У меня ведь нет мамы, кто сошьет мне другой?

Вспомнив это, я подумал: «Нет, ни за что не отпущу маму».

Тем временем мать, избегая встречаться со мной взглядом, открыла сундучок и принялась перебирать вещи. Вечером они с сестрой поссорились. Я и не подозревал, что девчонка может быть такой храброй. Сколько горьких слов она наговорила матери! Уже вечером, когда мы собрались спать, приехал Бородач. В отчаянье я решил разбить ему голову и припас камень. Но Бородач, словно угадав мои мысли, всю ночь просидел с матерью у очага, покуривая трубку. Они вполголоса говорили о чем-то своем, не касающемся нас, детей, так, будто нас и вовсе не существовало. Я не заметил, как уснул.

— Вставай, сынок, уже утро,— разбудила меня мама.— А это что? — удивилась она, обнаружив у меня под подушкой увесистый камень.

— Для меня приготовлен,— заорал Бородач.— Неужели не понимаешь? — Я схватил камень и убежал. Убедившись, что никто за мною не гонится, я стал ходить вокруг юрты. И тут увидел у привязи красивых, ладных коней. Я их сразу возненавидел и, не долго думая, запустил в одного из них камнем. Камень со стуком ударился о седло.

На шум выскочил Бородач, осмотрел седло и разразился бранью.

Из двери выглянула мать, но ничего не сказала Бородачу и обратилась ко мне:

— Ступай, сынок, домой, попей хярама.

Я с радостью побежал.

— Пей, родимый, последний раз мама поит тебя хярамом. Сестру слушайся. Она тебе и постирает, и починит что надо.— Я глотал кипяток, забеленный молоком, и плакал. Ко мне подбежала сестра.

— Не плачьте, дети, мы еще увидимся. Поддерживайте чистоту в доме.

Мы не слышали, как скрипнула дверь. Но вот раздался знакомый, родной голос.

— Что здесь происходит?

Я бросился к отцу, повис у него на шее. Страх мгновенно пропал — рядом стоял отец. Не помню, как мать с Бородачом выскочили из юрты, как уехали. Помню только, что в то далекое лето в жизнь мою ворвалась беда. Вначале пропал верблюжонок, потом уехала мать. Жизнь пошла совсем по-другому. Правду говорят: без матери дитя сирота. Только теперь я понял, как любил мать, хотя держала она нас, детей, в строгости, не позволяла шалить. Сестра при всем желании не могла заменить мне мать. Если бы не Бородач, я бросил бы все и убежал к матери.

Сестра тоже тосковала и вечно ходила заплаканная. Осенью ее увезли в школу, и теперь отец брал меня с собой во все поездки. Когда мы возвращались, нас встречала настуженная нежилая юрта. Я часто вспоминал последнюю чашку хярама, затертого мукой, которым напоила меня мама перед тем, как навсегда уехать. Такого вкусного хярама я больше никогда не пил.

В конце весны сестра приехала на каникулы. Она очень выросла за зиму, мне даже показалось, что она стала ростом с маму. Она быстро прибрала юрту, вытерла пыль, выколотила одеяла и коврики. Потом развела огонь в очаге и приготовила чай. Юрта наполнилась звоном ложек, кастрюль и ведер. Из тоно шел дым, и от одного этого на

душе становилось веселее. Я больше не ездил с отцом, помогал сестре по хозяйству.

Мы очень сдружились с сыном Ганжура и чаще всего играли вдвоем, сторонились других мальчишек. Вместе ходили в степь за лошадьми, собирали арагал. Вместе плакали: он вспоминал свою мать, я — свою.

В этом году я должен был поступить в школу. Учиться мне не хотелось, да и отца было жаль: он оставался один. К нам приезжал учитель, который переписывал детей школьного возраста, но как ни уговаривали меня отец и сестра поступить в школу, я наотрез отказался, и меня оставили в покое. Сестре и самой не хотелось покидать дом, но надо было учиться. Вскоре мы снова остались вдвоем. И снова отец брал меня с собой в поездки, а когда мы возвращались, нас ждала холодная, пустая юрта. Видя, как тяжело отцу, я старался развеселить его, чем-то помочь. Он так похудел, что больно было смотреть на него. Лицо покрылось морщинами, кожа загрубела от ветра. А ведь ему было тогда не больше сорока. Я ни разу не сказал отцу, как скучаю по матери,— приучился скрывать свои чувства. Эта привычка осталась у меня на всю жизнь.

Снова наступила осень, и мне пришлось поступить в школу. Но на этот раз я только для вида артачился, а сам с удовольствием стал готовиться к отъезду. Отец отвез нас с сестрой в сомонный центр. На прощанье мы оглянулись на опустевшую юрту — она выглядела такой одинокой, заброшенной! В трубе, выведенной через тоно, свистел ветер. Казалось, юрта жалобно плачет, расставаясь с нами.

— Учись, сынок, хорошенько,— говорил отец по дороге.— Знания красят человека, помогают ему по-другому взглянуть на мир. Человек ученый не бывает одиноким, стремление к знаниям роднит его с другими людьми.

На всю жизнь врезались мне в память слова отца. Он желал сыну счастья. Все внутри у меня ликовало и пело. А судьба между тем готовила нам с сестрой еще одно жестокое испытание.

На прощанье отец сказал:

— Учитесь прилежно, не щадите сил своих, как не щадил их ваш отец в борьбе с теми, кто мешал строить новую жизнь.

Он пообещал в скором времени навестить нас и уехал. Нам стало грустно. Теперь отец остался совсем один. Придется ему теперь самому топить, самому готовить еду или обращаться к соседям за помощью.

Но не пришлось ему долго жить в одиночестве. Вскоре он заболел и умер. Думаю, он был болен давно, просто не обращал на себя внимания. С горя я захворал, пришлось даже меня отправить в больницу. С тех пор я разучился плакать. Горе иссушает даже детское сердце.

На летние каникулы нас забрала к себе мать, с которой мы, казалось, были разлучены навсегда. Бедная мама! Она совсем не знала людей, не знала жизни.

Мы стали часто бывать у матери. Бородач ненавидел нас. А меня даже бил. Но я все терпел. Ради матери.

Мать умерла, когда я учился уже в десятом классе. Сестра вышла замуж, обзавелась детьми, с мужем они жили душа в душу. Ну, а как сложилась моя жизнь, вы уже знаете...

— Хашчулун!— позвал меня врач.— Вот вам рецепт, сходите в аптеку. Ваша жена несколько дней должна полежать в постели.

Среда

I

В среду утром я почувствовала себя гораздо лучше и решила пойти на работу. Но очень скоро мне пришлось отправиться в медпункт. Врач дал мне бюллетень и выписал лекарство...

Погода была прекрасная. Ласково пригревало осеннее солнце, но меня знобило. По дороге я зашла в гастроном, купила продуктов, но приготовить обед не смогла и легла в постель.

Как мне тоскливо! И некому излить душу...

Итак, муж окончил университет и стал работать в школе. Хлопот у него было по горло. В школе шел ремонт, помещение готовили к новому учебному году. Но дома все же стало веселее. Сын бросался к отцу, когда тот возвращался с работы, и они начинали возиться, боролись, затевали всякие игры. По окончании университета Хашчулун получил небольшое денежное пособие, а вскоре подоспела первая зарплата. Так что мы вдруг разбогатели. Я просто не знала, что делать с целой тысячей тугриков. Накупила разных вещиц для сынишки и даже приобрела коляску, дав повод моим соседкам-старушкам посудачить всласть. И в самом деле, было смешно возить такого большого парня в коляске. Но я подумала: появятся еще дети, их буду возить. Увы, не пришлось, детей у меня больше нет, и коляска по сей день пылится в кладовой.

Муж теперь не только играл с сыном, но и помогал мне по хозяйству, домой приходил сразу после работы, и я чувствовала себя счастливой. Мы подолгу беседовали с Хашчулуном, и между нами возникла та сердечная близость, которая обычно связывает любящих супругов. И вот как-то я сказала Хашчулуну, что хотела бы поступить на работу. Сын подрос, его можно определить в ясли, пора мне подумать о какой-то профессии.

Что тут было! Поднялась настоящая буря. Хашчулун, оказывается, был уверен, что я вернусь в университет. А у меня не было ни малейшего желания возвращаться на филфак. За это время я успела все перезабыть, и пришлось бы снова поступать на первый курс. Скрепя сердце, Хашчулун согласился с моими доводами, и я пошла работать на швейную фабрику.

После моего затворничества оказаться на людях было для меня счастьем.

Вставала я рано, готовила завтрак на скорую руку, одевала сына, вела его в ясли, а после работы забирала домой. В обеденный перерыв, как и остальные работницы, бегала за мясом, за хлебом.

Но о сыне ни на минуту не забывала. Как он там? Не ходит ли в мокрых штанишках, не отстал ли от группы во время прогулки?

Все осложнилось, когда на следующую неделю меня назначили во вторую смену.

Я попросила мужа сходить в ясли за сыном, покормить его и уложить спать. Но когда за полночь вернулась домой, то увидела, что Хашчулун сидит за столом и читает, а сын лежит одетый на застланной постели. В кастрюле оставалось немного лапши, чайник давно остыл. Но есть мне расхотелось.

— Почему так поздно? Нашла себе провожатого?— спросил Хашчулун.

Я почувствовала себя оскорбленной, но не сказала ни слова.

Проснулся и захныкал Сайнжаргал. Я взяла его на руки, он затих, чмокая губами. Неужели Хашчулун его не накормил? Хорош папочка, нечего сказать!

Я подогрела молоко, напоила сына, сама выпила две чашки пустого чая и легла в постель, отвернувшись к стене.

Встала чуть свет, разбудила сына. Умыла его, одела.

— Можешь еще поспать, я отведу Сайнжаргала в ясли,— предложил Хашчулун.

Я ничего не ответила, даже не взглянула на мужа. А выйдя с сыном на улицу, стала думать: что же мне делать? Муж ничем не хочет помочь мне. По-прежнему все заботы лежат на мне. Но не уходить же с фабрики!

Когда после смены я вернулась домой, то застала там одного Хашчулуна. Он спал. Неужели он забыл взять ребенка из яслей? Я так испугалась, что почувствовала слабость в коленях и в изнеможении опустилась на стул. Но в это время Хашчулун сиплым голосом произнес:

— Сходи к старикам. Сын у них.

Сайнжаргал сладко спал на руках у нашей хозяйки.

— Не волнуйся,— сказала она мне.— Малышу у нас хорошо. Отец привел его из яслей и не знал, что с ним делать. Вот мы и взяли его к себе.

— Большое вам спасибо,— ответила я, все еще не придя в себя от страха.

— Твой муж не научился нянчить ребенка. Ведь ты не работала, дома сидела.

— Да, к сожалению, это так,— сказала я.

Хашчулун окончательно проснулся и молча наблюдал, как я раздевала и укладывала ребенка.

— Жая,— сказал он.— Ты прости меня за вчерашнее. Я такая скотина!

— Ладно, забудем! — вздохнула я. Но не забыла.

— Я не мог ни накормить его, ни спать уложить. Он раскапризничался, а мне надо план уроков составить, скоро начнется учебный год и нагрузка будет большая. Часов много, да еще проверка домашних заданий. Я ведь начинающий учитель и должен хорошо зарекомендовать себя в глазах учеников и коллег. Ты слушаешь меня, Жая? — Он виновато посмотрел на меня, вздохнул и сказал: — Оставь работу. Мы втроем ухитрялись жить на одну мою стипендию, так неужели нам не хватит зарплаты?

Ах, вот куда он клонит, подумала я. Конечно, можно прожить и на одну зарплату, но «ухитряться» я больше не хочу. Да и не в деньгах дело. Я наконец-то почувствовала себя человеком и с работы ни за что не уйду.

— Значит, ты хочешь, чтобы я по-прежнему одна воспитывала ребенка, а ты будешь в стороне? Нет, я еще молодая и не желаю больше сидеть в четырех стенах. Да и ты, я думаю, на моем месте не захотел бы.

— Жая,— мягко сказал Хашчулун.— Я все понимаю, но другого выхода нет. По крайней мере сейчас, пока сын еще маленький. Не мне же уходить с работы!

— Это несправедливо,— возразила я.— Понимаешь? Несправедливо! — Я едва сдерживала слезы.

— Ты можешь временно оставить работу,— сказал он уже более твердо.— А я не могу. Меня государство учило, и я обязан отработать.

— Я тоже для государства работаю. И вовсе не говорю, что ты должен сидеть дома. Просто прошу помочь мне хотя бы немного. Взять ребенка из яслей, уложить спать. Это не так уж сложно. После этого можно заниматься своими делами. А теперь давай спать, поздно уже.

На другой день, перед тем как уйти на работу, я попросила хозяйку присмотреть за сыном. Она согласилась, и на душе у меня стало спокойнее.

С того дня мы с мужем охладели друг к другу. Днем Хашчулун

пропадал в школе, по вечерам сидел за составлением планов, проверял тетради, готовил учебные пособия. А сын подрастал, становился все более живым и любознательным. Мне снова пришлось следить за тем, чтобы он не хватал бумаги с отцовского стола, как это было в то время, когда Хашчулун учился.

Мы никогда не ссорились с Хашчулуном, и все считали нас прекрасной парой, только никто не знал, что творится у меня на душе, сколько таится в ней невысказанных обид.

В то время к нам часто заходили коллеги моего мужа, мои подруги по работе. Мы принимали их очень гостеприимно, и они, разумеется, тоже ни о чем не догадывались.

Теперь главной радостью в моей жизни стали работа, сознание, что я приношу людям пользу.

Прошел год. Сын научился хорошо говорить и беспрерывно болтал. За ним по-прежнему присматривала наша хозяйка, которая очень привязалась к малышу. О моем уходе с работы муж больше не заговаривал, то ли понял мое состояние, то ли просто махнул на меня рукой.

Время шло, но отношения наши не улучшались. Мы оба замкнулись в себе.

Еще через год Хашчулуну предложили место в научно-исследовательском институте. Он очень обрадовался представившейся возможности заняться научной работой. Я разделяла его радость. А вскоре нам дали квартиру, ту самую, где мы теперь живем.

И мы устроили шумное новоселье. Пришла вся моя бригада, товарищи Хашчулуна по старой и новой работе, а также наши хозяева, земляки Хашчулуна. Их усадили на почетное место, а они смущались и робели в нашей молодежной компании.

Переход Хашчулуна на новую работу ничего не изменил в нашей семейной жизни. Впрочем, я на это и не надеялась, чтобы вновь не разочароваться. И оказалась права. Хашчулун теперь еще меньше проводил времени дома, чем прежде. Он часто ездил в командировки. На опытное поле. Сперва ему дали тему, связанную с заболеваниями овощных культур, а потом, к моему удивлению и досаде, он занялся изучением сорняков.

С каждым днем мы все больше и больше отдалялись друг от друга. Мне казалось, что Хашчулун меня никогда не любил, а женился лишь потому, что я полюбила его без памяти. Сына я вырастила сама. Теперь он стал большим и разумным, но Хашчулун по-прежнему не проявляет к нему особого интереса.

В квартире из трех комнат он фактически занимает две. Вначале у него был только кабинет, а потом мало-помалу он занял и гостиную, поставил там микроскоп, поместил образцы растений, разные травы, в основном сорняки. Нам с сыном в эти комнаты хода нет, а Хашчулун в них проводит почти все свободное время. Прежде мне очень хотелось, чтобы муж делился со мной своими сокровенными мыслями, а теперь стало как-то безразлично. И я ни о чем его не спрашиваю. Да и какой смысл? Все равно увильнет от ответа. Вечером мы молча ужинаем, а после ужина он уходит к себе и больше не появляется. Утром я ухожу на работу, а он еще спит.

Прихожу как-то с работы, а у сына совсем больной вид.

— Ты заболел, маленький? — спрашиваю.

— Мне очень холодно, мама, я весь дрожу.

— Папа дома?

— Нет.

На лбу у него выступил холодный пот.

С тех пор как я провела с ним чуть ли не три месяца в больнице, он больше не болел, даже не простудился ни разу.

Я хотела вызвать врача, бросилась к телефону, но в это время он зазвонил. Как я обрадовалась, услышав голос Хашчулуна!

— Приезжай скорее, сын заболел, не знаю, что с ним.

— Жая,— виновато ответил Хашчулун.— Я должен ехать в худон с одним иностранным специалистом. Через два дня вернусь. Потерпи, очень тебя прошу!

Кровь бросилась мне в голову, в висках застучало. Я так и осталась стоять с трубкой в руке, не в силах и слова вымолвить.

— Алло, алло! — кричал Хашчулун.— Я не виноват, слышишь? Я не знал, что он заболеет. А командировку нельзя отложить.

С трудом овладев собой, я ответила:

— Ладно, поезжай. Я вызову «скорую». Может, хоть на минутку заскочишь домой?

— Не успею.

Я положила трубку, набрала номер «скорой». Занято, все время занято. Потом наконец прорвалась. Но оказалось, что звонить надо в детскую «скорую». От волнения не расслышала две последние цифры номера. Их подсказала мне какая-то добрая женщина, к которой я попала в квартиру, набрав вызов «скорой» наугад. Я даже поблагодарить не успела.

Врач приехал буквально через несколько минут после вызова. Совсем молодой, наверное недавно окончил институт. «Неопытный еще, пожилой был бы лучше»,— подумала я, но ошиблась. По тому, как он обращался с ребенком, было ясно, что дело свое он хорошо знает и любит...

С того памятного дня прошло шесть лет.

II

Я вдруг заметил, как изменился, как повзрослел сын. Нет, не повзрослел. Он совсем еще ребенок, только не по-детски задумчив, сосредоточен. До чего же он обрадовался, когда я приехал! Бросился мне на шею, ошарашил вопросами, один другого не легче. Глядя на его сияющее лицо, я почувствовал себя виноватым. Все силы, все время я отдаю работе, а рядом сын, родная душа. Каким он вырастет, зависит во многом от меня.

— Почему ты так долго не приезжал, папа? — спросил он, заглядывая мне в глаза.

Ответ я приготовил заранее:

— Времени не было, сыночек, ты же знаешь, как я занят, особенно летом.

— Неправда. Вы с мамой поссорились.— Сын презрительно оттопырил губу.

Я с трудом сдержал гнев. Жая, Жая! Вот для чего ты зачастила к сыну — жаловаться на меня! Стыдно и недостойно порочить отца перед сыном.

— Это мама тебе сказала? Что еще она говорила?

Сайнжаргал на мгновенье замялся, потом покраснел и сердито выпалил:

— Ничего не говорила! Только заплакала почему-то.

— Заплакала?

— Да. Может, ты обидел ее чем-нибудь? Попросил бы прощенья. Не станет же человек просто так плакать.

Вместо ответа я спросил:

— Хочешь домой, сынок?

— Хочу, по тебе и по маме я соскучился. А так здесь хорошо. Со многими ребятами подружился.

Мне стало вдруг стыдно перед сыном, и я сказал:

— Я могу попросить у мамы прощенья, только она меня не простит.

— Не бойся, простит. Я попрошу и простит. Вечерами будем втроем гулять, в воскресенье — в кино или в парк ходить и кататься там на колесе...

На обратном пути я все время думал о сыне. Смена в пионерлагере заканчивалась через два дня, но Сайнжаргал готов был уехать сразу же, чтобы поскорее приступить к осуществлению своего плана.

В открытое окно машины врывался свежий ветерок, приятно холодил разгоряченное лицо. Вершина Богдо-Улы все еще зеленела, хотя два дня подряд шел проливной дождь. Да, осень на носу. Хорошо было бы подняться в ясный день на гору и окинуть взглядом распростертый в котловине огромный город. Если все обойдется, мы с Жаей как-нибудь сходим в горы. И Сайнжаргала с собой возьмем. Обрадуется.

Машина миновала огромные белые ворота Промкомбината и взлетела на мост Мира. Успеваю заметить, что у перил, как всегда, стоят парочки. Жизнь кажется им прекрасной, как когда-то казалась нам с Жаей.

Дома никого нет. Значит, жена ушла на работу. А зря. Врач не велел ей выходить, могут быть осложнения...

Пока меня не было, в институте ничего особенного не случилось. На своем столе я нашел письмо из худона от племянницы, дочери сестры. Она переходит в десятый класс и мечтает стать врачом. Сестра собирается приехать зимой и уже сушит сладкий арул, чтобы привезти нам в подарок. «Мама очень скучает по вас, столько лет вы не виделись». Чувствую укоры совести. За все эти годы я единственный раз удосужился съездить к сестре. «У нас новость: старший брат ушел служить в армию, он в Хужир-Булане, совсем близко от вас. Мама и папа тоскуют без него, особенно папа. Но он, как обычно, молчит, только вздыхает да посасывает свою трубку. Лето было замечательное, наши соседи перекочевали...» Письмо как письмо, но оно так разбередило душу! Как же это я за столько лет не повидался с сестрой! Ведь, кроме меня, у нее никого нет из родственников. Моего Сайнжаргала сестра вообще ни разу не видела. Знает о нем только по письмам, и то очень редким. Я же понятия не имею о своих племянниках, даже имен их не знаю.

Помню, когда после смерти отца мы поехали к матери, сестра вскоре взбунтовалась. «Чем быть служанкой у Бородача, лучше жить в своей юрте, пусть плохонькой, а все же своей,— говорила сестра.— Если матери нравится, пусть батрачит на своего Бородача, а я не желаю». Сестра уговаривала меня уехать вместе с ней, но я пожалел мать. И сестра уехала. Одна, без меня...

Стараясь отогнать невеселые мысли, я принялся разбирать бумаги. Скопилось много ненужных. Прочитанные журналы, старые и новые сводки о ходе экспериментов, черновики статей, которые давно пора выбросить.

Неожиданно в дверях появился Мунхбат.

— Где ты пропадал с утра?

— К сыну в пионерлагерь ездил, с разрешения директора.

— Понимаю, понимаю! — Он подвинул себе стул и уселся напротив меня.

Какое-то время мы оба молчали, затем Мунхбат многозначительно улыбнулся и сказал:

— Давай лапу, дружище, прими мои поздравления.

Не понимая, в чем дело, я машинально протянул руку — он крепко пожал ее.

— Сказать или сам догадаешься?

Я ничего не ответил и ждал, что будет дальше.

— Тебе утвердили научную командировку,— торжественно, словно с трибуны, сообщил он.— И представь куда? Ну же, пошевели мозгами!

— Вероятно, на Булганскую опытную станцию,— сказал я.

— Не угадал! Ты едешь за границу. На два месяца. Только что принято решение. Времени до отъезда мало, так что надо поторопиться и уладить все формальности.

Уж не шутит ли Мунхбат? Ведь мою тему хотели исключить из плана, а теперь предлагают заграничную командировку. Выходит, еще доверяют? Не станет же государство бросать деньги на ветер ради того, чтобы малоперспективный младший научный сотрудник прогулялся за рубеж.

Я улыбнулся и покачал головой, давая понять Мунхбату, что еще не разучился понимать шутки.

— Не веришь? Даю тебе честное слово!

Я больше не чувствовал себя неудачником. Весь мир сразу озарился розовым светом. И передо мной сейчас сидел не грозный начальник, вечно покушавшийся на мою тему, а очень хороший, доброжелательный человек, бывший мой однокашник, близко принимающий к сердцу мою судьбу.

— Почему выбор пал именно на меня?

— Просто так, тебе повезло.

Я пожимаю плечами. Мне никогда не везло.

— У тебя комплекс неполноценности,— говорит Мунхбат.— Заинтересованные организации, которым мы в свое время сообщили о твоих экспериментах и полученных результатах, поддержали твою кандидатуру. Чем черт не шутит, а вдруг ты достигнешь цели, тогда не забудь своего старого друга Мунхбата. Надеюсь, слава не вскружит тебе голову?

— Значит, есть организации, которые интересуются моими опытами?!

— Да, есть. Я же сказал тебе.

— Благодарю за добрую весть, Мунхбат!

Комнату осветило предзакатное солнце. Мунхбат взглянул на часы.

— Однако мы с тобой засиделись, приятель. Рабочий день кончился, а за сверхурочные нам не платят. Это я, разумеется, пошутил. Просто сегодня у меня важная встреча, а так, ты же знаешь, я очень люблю работать по вечерам, когда институт пустеет.

Я киваю головой, хотя ни разу не видел, чтобы Мунхбат после работы задерживался.

Вскоре я тоже стал собираться домой. Удивительный нынче день! Навестил сына, получил письмо от племянницы. И наконец, новость о загранкомандировке. Какой же еще меня ждет сюрприз? День ведь не кончился!

Я обычно возвращаюсь домой пешком, хотя не так уж это и близко. Сегодня тоже отправился пешком. Далеко, у самого горизонта, сгущаются тучи, но город по-прежнему был освещен солнцем. Тихо, безветренно. По пути покупаю сигареты, закуриваю. Вдруг прямо возле меня останавливается «москвич». Из него выскакивает молодой человек.

— Здравствуйте, учитель!

Видимо, он принял меня за кого-то другого. На всякий случай отвечаю на приветствие.

— Неужели не узнаете! Я — Чинбат. Вы у нас в школе преподавали ботанику. Помните, сколько я вам доставил хлопот?

— Да тебя не узнать,— говорю я.

Разве можно забыть свой первый урок? Я помню все, до мельчайших подробностей. И как пришел в класс, и как меня встретили, и кто был дежурным... Еще студентом университета я проходил практику в средней школе, и мне пришлось провести несколько уроков в восьмом классе. Тогда я очень робел, потому что помимо учеников на занятия приходили учителя и студенты. Правда, это имело и свои преимущества. При любом затруднении мне была бы оказана помощь. Совсем иначе я почувствовал себя, когда стал учителем и впервые вошел в свой класс. Там я очутился один на один с тридцатью парами устремленных на меня глаз — задумчивых, веселых, насмешливых. Мне по-

казалось, что с дисциплиной здесь все в порядке. Увы! Посреди урока один ученик вдруг закричал и свалился на пол. Я подбежал к нему, а он уж посинел, хрипит. Я велел немедленно открыть окна, послал за врачом, а сам стал расстегивать ему курточку и вдруг обнаружил ремень. Одним концом ремень перепоясывал грудь, другим был привязан к парте. Все стало ясно. Немного притворства— и полная иллюзия обморока.

Я отстегнул ремень и положил его к себе в портфель.

— Отдайте ремень! — потребовал мальчик, вскочив на ноги.

В это время в класс вбежал врач.

— Что случилось?

— У этого парня обморок.

— А, опять, голубчик, за старое? В прошлом году вспрыснул себе воду в мышцу, устроил переполох, а сейчас у тебя приступ падучей? Ну погоди у меня!

Едва успокоив расходившегося доктора, я спросил парня, как его зовут.

— Чинбат.

— С кем живешь?

— С отцом и с теткой. Есть еще маленькие брат и сестра.

— Тебе что, энергию девать некуда? Лучше бы отцу помогал младших воспитывать. Ладно, после вернемся к этому разговору.

Я взял журнал и пошел в учительскую. Чинбат — за мной.

— А ты куда?

— Известное дело, в учительскую.

— Зачем?

— Меня должны проработать.

— Тебе велели прийти?

— Нет...

— Значит, ты доброволец?

— Нет. Но в таких случаях меня всегда ведут в учительскую, чтобы проработать.

Мальчишка переминался с ноги на ногу, почесывал в затылке. Казалось, ему на все наплевать. Только узкие с прищуром глаза смотрели зорко и настороженно.

— Так вот, Чинбат, сегодня проработки не будет. Ступай в класс.

Так мы познакомились с Чинбатом. Рос он без матери. В школе на него давно махнули рукой, учителя относились к нему с опаской: неизвестно, что он еще выкинет. Его вечно ругали, и теперь, казалось, он уже не может без этого обойтись. Мне он тоже отравлял жизнь. Но я набрался терпения и не обращал внимания на его выходки. Моя тактика возымела действие, и вскоре мы подружились. Я рассказывал Чинбату о том, как интересно быть исследователем, сколько загадок таит в себе природа. Мне и в голову не могло прийти, что наши беседы изменят Чинбата, что он станет серьезней. Некоторое время после ухода из школы я следил за его судьбой, а потом как-то потерял его из виду...

— Кем же ты стал, где работаешь? — спросил я Чинбата.

— В последних классах я стал хорошо учиться, и после окончания школы меня послали в строительный институт за рубеж. Окончил с отличием. Сейчас работаю главным инженером проекта в одной организации. Я многим вам обязан, учитель. Мне так хотелось с вами встретиться! Я читал ваши статьи, в которых вы касаетесь важных проблем охраны окружающей среды, возможности применения в растениеводстве сорняков. Я мало что смыслю в этом, но, по-моему, здорово! Пойдемте сейчас ко мне, учитель! Очень вас прошу.

— С удовольствием, только в другой раз, у меня жена болеет. Запиши мой домашний телефон и позвони.

— Тогда обещайте побывать у меня всем семейством.

Я обещал. Чинбат подвез меня до дома, и мы тепло распрощались.

Итак, еще один сюрприз, да какой приятный! Когда такой озорник становится серьезным человеком, не самая ли это большая радость для его учителей?

В общем, можно считать, что день выдался сегодня удачным. Но для полного счастья я еще должен помириться с Жаей.

И я сделаю первый шаг к сближению, как и подобает мужчине.

Глава седьмая

Четверг

I

С трудом поднимаюсь с постели, все еще чувствую ужасную слабость, кое-как умываюсь и иду на кухню готовить мужу завтрак. В последний раз. Сегодня объявлю ему о своем решении. Думаю, оно не будет для него неожиданным. Отношения у нас с каждым днем все хуже и хуже. А вдруг сын захочет остаться с отцом? При этой мысли я холодею. Первое время ему все равно придется жить с отцом — мне некуда взять его. Сама я поживу у подруги или у брата. Со временем сниму комнату и возьму к себе сына. Он один мне и нужен. Жаль, что жизнь с Хашчулуном у нас не заладилась. Как я любила его. А сейчас? Люблю ли я его сейчас? Об этом лучше не думать.

— Я решила с тобой развестись,— сказала я Хашчулуну, когда он садился к столу.

Он едва не выронил чашку из рук.

— Жая, милая, что такое ты говоришь?

— Развожусь с тобой, вот что!

— Опомнись, у нас сын растет!

— Наконец-то ты вспомнил о сыне!

— Я всегда о нем помнил, я его очень люблю, только не умею проявлять своих чувств. И тебя люблю. О каком же разводе может идти речь!

— Ты все забыл, Хашчулун. Ты не хотел ребенка, и, когда он родился, ты ничем мне не помогал. Постирал ты хоть раз пеленки? Ты даже на руки не хотел его брать. Или был ты когда-нибудь на родительском собрании в школе? Ребенок только мешал тебе, а ты говоришь: люблю сына. Нет, Хашчулун, не хочу я больше так жить! Не могу!

— Ты права, Жая. Теперь все будет по-другому.

— Для этого мне надо уйти. Не волнуйся, претендовать на квартиру я не собираюсь. Живи здесь с кем хочешь.

В глазах у Хашчулуна боль и отчаяние. Губы дрожат.

Только бы не раскиснуть, не пожалеть его.

— Я думала, ты обрадуешься освобождению. Что тебя расстраивает? Боишься неприятностей? Не волнуйся, я все возьму на себя, ты нисколько не пострадаешь.

— Жая, я не узнаю тебя. Не горячись, поверь мне, не все еще потеряно.

— Цену твоим обещаниям я знаю. Бывает, что и близкие люди становятся чужими. Так и получилось у нас с тобой. Вся душа изболелась. Разве о такой жизни я мечтала? Я не слепая, вижу, как другие живут. Иногда даже завидно становится, а иногда больно — не сумела я свою жизнь устроить. Вспомни, когда приезжала мама, ты так сторонился ее, что теперь ее к нам никакими силами не заманишь.

У меня кружится голова, и я в изнеможении опускаюсь на стул, колени дрожат от слабости. Никак не приду в себя после болезни.

— Тебе надо сперва поправиться,— говорит Хашчулун,— давай отложим наш разговор.

— Нет-нет! Я совершенно здорова.— Я знаю, что вторично заводить этот разговор будет еще труднее.

— Тогда давай помиримся, я виноват! Теперь будет все по-другому.

— Чудесные превращения бывают только в сказке,— говорю я.— Ты не можешь так вдруг перемениться. И я вовсе не горячусь. Я все продумала, все решила.

Еще минута, думаю, и все старания мои пойдут прахом. Я вдруг почувствовала себя маленькой, беззащитной. А Хашчулун между тем продолжал:

— Я столько всего передумал, Жая! И многое понял.

Какой до боли родной голос.

— Ты и сын — самое дорогое, что есть у меня в жизни.

— О сыне я и думаю,— говорю я.

— А обо мне? — тихо спрашивает муж и вдруг говорит: — Сайнжаргал мне велел помириться с тобой.

А может быть, Хашчулун в самом деле не хочет расставаться со мной? Может быть, он искренне раскаялся?

— Скажи, Хашчулун, с тех пор, как ты стал взрослым, случалось ли тебе хоть раз заплакать? Сжималось ли когда-нибудь твое сердце при виде чужого горя?

— Ты думаешь, я бездушный, Жая? Нет. Но у меня было тяжелое детство, и я привык замыкаться в себе.

— Тяжелое детство! Но ты об этом мне ничего не рассказывал. Я только и слышала от тебя: работа, работа...

— А ты спрашивала? Так с какой же стати я буду жаловаться и ныть?

— Прости, Хашчулун, но я не верю тебе. При чем тут твое детство? Ты просто ищешь себе оправдание.

— А ты верь, Жая, верь! И тогда все можно будет исправить.

— Один раз я уже поверила тебе. Это было давно.

— А ты, оказывается, злая! Жестокая!

Наверное, я и в самом деле жестокая. До боли сжимаю пальцы. Почему бы нам не расстаться по-хорошему? И я говорю:

— Прости, я погорячилась.

— Если ты настаиваешь, мы, конечно, можем расстаться. Насильно мил не будешь. Хотя в нашем разладе есть и доля твоей вины. Ты ведь тоже замкнулась в себе. Всегда раздраженная, недовольная.

— Тебе пора на работу,— говорю я, чтобы закончить этот мучительный разговор. Иду в комнату и начинаю складывать вещи.

Как будто взяла немного, а чемодан не поднять. Хашчулун попрежнему неподвижно сидит на кухне. Припоминаю, каким автобусом мне надо ехать, подхожу к дверям, поворачиваю ключ в замке. Вдруг звонок. Резкий, тревожный.

Я сажусь на чемодан, затыкаю уши. Но звонок не умолкает. А, будь что будет, распахиваю дверь... и, о ужас! Передо мной Сайнжаргал, бледный, с бусинками пота на верхней губе.

— Что случилось? Я ждала тебя только завтра.

Сын молчит. Я хватаю его за руку, тащу в прихожую и захлопываю дверь.

— Почему ты приехал один, не со всеми? Поссорился с товарищами?

— Нет, просто почувствовал, что мне надо домой. Едва дождался утра. Встал пораньше, сказал вожатым, что уезжаю, и бегом на птицефабрику. А оттуда автобус ходит.

— Ты был у меня на работе?

— Да. Сказали, что ты болеешь, тогда я помчался домой. Звоню, звоню — никто не открывает. Знаешь, как я испугался! Думал, тебе плохо, ты встать с постели не можешь.

— Хорошо отдохнул?

— Отлично,— рассеянно отвечает сын и смотрит мне прямо в глаза.— Но после твоего приезда, а потом после папиного...— Сайнжаргал перевел дух, а потом выпалил: — Папа обещал попросить у тебя прощенья...

Тут Сайнжаргал заметил чемодан и спросил:

— Куда ты собралась, мама? Почему мне ничего не сказала?

— Я хотела отсюда уйти. Навсегда.

— Никуда я тебя не пущу! — кричит сын и ведет меня в комнату.— Тебе плохо, мама? — совсем как взрослый спрашивает он, кладя мне ладошку на лоб.— Не сердись на папу, прости его!

— И вы оба простите меня,— едва слышно говорю я сквозь слезы.

II

По дороге на работу я перебираю в памяти события сегодняшнего утра. Когда Жая разбудила меня и сказала, что нам надо поговорить, я сразу догадался, в чем дело. Одеваясь, посмотрел в окно. Дождь лил как из ведра. Над моей головой тоже сгустились черные тучи, и сейчас разразится гроза.

Какое темное небо! Крупные капли забарабанили по стеклу, по балконной двери. Осенний дождь не то что летний. От летнего дождя оживают травы, цветы, на душе становится веселее. Вдруг в памяти всплыла картина: начало лета, цветущая, напоенная пряными ароматами степь. Только что прошел дождь, он омыл все вокруг и принес свежесть. Вдалеке, в легкой дымке синеет полоска гор. Сайнжаргал с ярким сачком в руках гоняется за пестрой бабочкой. Вдруг бабочка исчезает. На лице у сынишки недоумение. Куда же делась бабочка? А она села на цветок и слилась с ним. Сын бросает сачок в траву и заливается звонким смехом.

Над нами небо, высокое, прозрачное. Солнце словно волшебный глаз с длинными ресницами — лучами. Оно позолотило землю, цветы, травы, смуглые щечки сына. Я смотрю в это бездонное небо и ощущаю себя частицей вселенной. В вышине появилась черная точка, она растет, увеличивается, вот уже видны крылья. Это сокол. Он гордо парит над степью, взмахивает крыльями, а Сайнжаргал в ответ машет ручонкой.

Мы с Жаей сидим на траве, на разостланном дэле, и с вершины невысокой сопки наблюдаем за сыном. Неподалеку пасутся наши кони одинаковой масти, два рыжих красавца. Голова жены покоится у меня на груди. Я ласково провожу рукой по ее волосам. До сих пор во мне живо то прекрасное чувство, которое я тогда испытал. Густые волосы Жаи заплетены в тяжелую косу. На спокойном, счастливом лице играет легкий румянец.

Так и осталось в памяти на всю жизнь: степь в цвету, далекие горы с заснеженными вершинами, бездонное небо над головой, парящий в вышине сокол. Не помню, о чем мы тогда говорили, наверное, больше молчали, сохранилось лишь ощущение полноты жизни, той неповторимой минуты, которая стоит многих лет...

— Билет собираетесь брать? — передо мной кондукторша. Совсем молоденькая, но строгая. Голос сердитый, брови нахмурены. Я извиняюсь за свою забывчивость и беру билет.

В институт явился с большим опозданием.

— Вас ищет директор,— сурово сообщил мне вахтер. В его голосе осуждение — ведь я опоздал.

Не снимая плаща, направляюсь к кабинету директора.

— Все утро тебя ищу,— говорит директор.

— У меня жена заболела,— пытаюсь я оправдаться, но вид у меня, вероятно, такой счастливый, что трудно в это поверить.

— Давно ты знаком с доктором Б.? — Он называет фамилию известного европейского ученого.

— Два года мы с ним ведем переписку. Он присылает мне статьи и монографии, касающиеся моей темы. Я тоже отправил ему несколько статей.

— Об этом я знаю из его писем. Поедешь за границу, познакомишься с ним. Постарайся извлечь из этого знакомства максимальную пользу, досконально изучи метод его исследования. Это тебе пригодится в работе. А сейчас займись оформлением выездных документов.

Впервые за долгое время я с нетерпением ждал конца рабочего дня и то и дело поглядывал на часы. Скорее бы домой. Но вот и пять часов. Я запер лабораторию и уже стал надевать плащ, как вдруг услышал за спиной голос Мунхбата.

— Погоди, у меня есть к тебе одна просьба.

— Какая именно?

— А ты догадайся, о чем можно попросить человека, отбывающего за рубеж?

— Говори, я очень спешу, Мунхбат.

— Неужели? Ты ведь, кажется, любишь допоздна засиживаться на работе.

— Но сегодня я тороплюсь. Завтра поговорим.

Вырвавшись от Мунхбата, сбегаю по лестнице вниз. Домой иду, как обычно, пешком. На душе радостно и легко. Такое чувство, будто я сбросил добрый десяток лет.

Теплый ветер ласкает лицо, треплет легонько волосы. А утром было промозгло, лил холодный дождь. Вот и мой дом. Мне кажется, будто окна светятся ярче обычного. Знакомые занавески. Сейчас мы все вместе сядем за обеденный стол, будем беседовать. Это и есть счастье. Потому что счастье — внутри каждого из нас. Почему же я только теперь это понял?

Стрелой влетаю на четвертый этаж. Навстречу мне бросается сын.

— А где мама?

— Она у Гомбосурэнов, тетушка Цэвэлма просила помочь ей скроить дэл.

Кухня чисто прибрана. Сажусь за стол, сын ставит передо мной чашку, термос с горячим чаем, тарелку с едой, садится рядом и говорит:

— Смотри, не обижай больше маму.

— Не буду сынок, обещаю тебе.— Я привлек к себе Сайнжаргала, поцеловал его в колючий затылок, спросил:— У тебя все учебники есть?

— Двух не хватает.

— Завтра пойдем с тобой вместе и купим. Знаешь, сынок, я за границу еду, в командировку. Что тебе привезти?

— Значки привези. В пионерлагере многие ребята значками обменивались. У меня два значка есть. Один ребята подарили, другой — вожатый дал.

— Считай, что основа коллекции уже есть. Что же, дело это полезное.

Хлопнула входная дверь — это вернулась Жая.

— Ты, я смотрю, стала знаменитой портнихой! — говорю я, поднимаясь ей навстречу.

Жавзма отвечает едва заметной улыбкой.

— Попросили, как не помочь! Чай пил?

— Как же! Сын меня напоил и накормил.

Мне многое хочется ей сказать. Но я растерян. И Жавзма тоже. Я это вижу.

— Завтра мы с Сайнжаргалом пойдем за учебниками.

— В субботу с ним надо сходить в школу, перерегистрироваться.

— А форма и все необходимое для занятий у него есть?

Жена смеется.

— Прошлогодняя форма еще цела, но маловата стала. Я новую давно купила.

Ужин готовим все втроем. Сайнжаргал чистит овощи, Жая готовит мясной фарш с луком, а я замешиваю тесто.

Наконец все готово, и мы садимся за стол. Я вовсю налегаю на бозы[1].

— Наш классный руководитель говорит: кто не работает, тот не ест. Папа потрудился, вот и уплетает за обе щеки.

Весь вечер мы смеемся и шутим. Давно в нашем доме не звучал смех.

— Хаш, ты что-то утром говорил о своей сестре,— обращается ко мне Жая.

— Она собирается навестить нас этой зимой. Мы с детства не виделись, и она на меня в обиде. Кстати, сын ее служит здесь, в Хужир-Булане.

— Давай съездим к нему в ближайшее воскресенье. А летом можно всем вместе отправиться в Гоби, твою сестру навестить.

— Хочу в Гоби, хочу в Гоби! — кричит Сайнжаргал.— Там непременно поймаю ящерицу, ту, что называют овечьей. А какие еще бывают ящерицы, папа?

— Змеиные, очень похожие на змею.

— Значит, овечья ящерица на овцу похожа?

— Угу.

— А вот и неправда. У нас в школе есть чучело овечьей ящерицы — ничуть на овцу не похоже. А змеиной ящерицы у нас нет. Они редко встречаются?

— В Гоби их сколько угодно. Будущим летом поедем к твоей тетке и привезем оттуда чучело змеиной ящерицы. Ты отнесешь его в школу.

— Я не умею набивать чучела.

— Я тебя научу.

— Папа, я видел в музее скелет огромного ящера. Где они водились?

— Они вымерли несколько миллионов лет назад.

— Почему?

— Есть немало различных теорий и догадок, о них ты узнаешь в старших классах.

— А отчего гигантские ящерицы вымерли, а мелкие сохранились?

Пришлось объяснить.

— Ну, мой куланенок, пора спать,— вмешалась Жая.

— А кто это куланенок?

— Птица есть такая, весь день щебечет без умолку. Ступай спать, мой милый.

Сайнжаргал лег и сразу уснул, а мы с Жаей еще долго сидели. Я рассказал ей про свое детство, про мать, про отчима. Жая слушала затаив дыхание. Потом спросила:

— Почему ты раньше мне об этом ничего не рассказывал?

— Не хотел, чтобы ты знала об этой печальной поре моей жизни. Я виноват в том, что не увел мать от Бородача, он ее сгубил, и теперь до самой смерти меня будет преследовать сознание собственной вины. Жизнь мы с тобой начинали самостоятельно, не было рядом старших, которые могли бы дать нам полезный совет, все приходилось постигать самим. Вот и получилось, что один из нас ушел с головой в работу, а другой молча копил обиды.

— Да, сын преподал нам хороший урок,— сказала Жая.— А теперь давай спать, а то завтра опять опоздаешь на работу.

Я постоял у кровати сына. Он улыбался во сне. Потом вдруг нахмурился.

---

[1] Монгольские пельмени, варенные на пару.

Подошла Жая. Я обнял ее за плечи. И тут с новой силой вспыхнула в моей душе любовь к ней, как это было много лет назад... Жая словно помолодела и смотрела на меня с неизбывной нежностью...

Эпилог

Был ясный весенний день. Солнце щедро освещало вестибюль родильного дома. Вскоре оттуда вышла Жавзма, а следом за ней — няня с младенцем на руках.

В вестибюле Жавзму с самого утра дожидались муж и сын. Увидев мать, Сайнжаргал бросился ей навстречу с большим букетом цветов. Хашчулун бережно взял на руки младенца, и они втроем отправились домой на такси. Жавзма смотрела в окно на светлые, обновленные к лету здания, на темные стволы деревьев и пронизанную светом легкую кружевную листву, на пестрые толпы народа на улицах и чувствовала себя удивительно счастливой.

И уже дома все с тем же не покидавшим ее чувством счастья Жавзма спросила:

— А как мы назовем девочку?

— Алтанзул! — закричал Сайнжаргал.— Мы назовем ее Алтанзул. Алтанзул — значит тюльпан.

— Хорошо,— согласилась Жавзма.— У меня есть одна знакомая, которую зовут Алтанзул. Одно время я была к ней очень несправедлива.

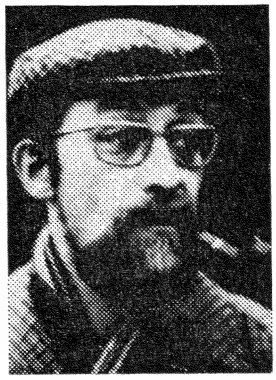
Хашчулун ответил жене благодарной улыбкой.

...В шесть утра зазвонил будильник. Жавзма сразу проснулась, а Хашчулун продолжал спать сном праведника. Лицо у него во сне было спокойным и светлым, наверное, ему снилось что-то очень хорошее. Что же, на рассвете сны вещие, пусть сбываются. Спи, Хашчулун, у тебя есть еще немного времени. А нам пора поставить точку на исповеди двух героев.

■

МАТВЕЕВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА.

Советский востоковед, кандидат экономических наук, доцент, переводчик с монгольского. Автор исторической повести о Сунь Ятсене «Отец республики» (1975), ряда научных трудов. В ее переводе опубликованы романы Л. Гудэва, Н. Банзрагча, Ж. Пурэва, С. Лочина, Д. Гармы, повести и рассказы Ц. Дамдинсурэна, С. Удвал, Д. Цэдэва, С. Эрдэнэ, С. Пурэва и др.



ЛАРС ГУСТАФСОН

С шведского

В некоторых стихах Ларса Густафсона мы попадаем в атмосферу, которую, пожалуй, лучше всего воспроизвести, вызвав в памяти сцену разговора Марианны и Эвальда из фильма Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». Между супругами идет разговор: как жить — в холоде и стерильной пустоте одиночества или отдаваясь на волю человеческих страстей, когда трудно, но так необходимо понять друг друга. Герои фильма спорят по поводу, казалось бы, вполне житейскому — иметь или не иметь детей,— но за этим спором встают кардинальные вопросы бытия.

Перелистните страницу и прочтите стихотворение «Теплые комнаты и холодные». Попробуем разобрать, что прячет по-нордически сдержанный поэт за словами, которые почти всегда у него отшелушены от бытовой, житейской оболочки.

Мы ходим из теплых комнат в холодные,
а потом из холодных в теплые снова,—

констатирует Густафсон, как бы исследуя тему разговора супругов из «Земляничной поляны». Там Эвальд, в судороге вырывающегося наружу отчаянья, говорит: «Моя потребность — быть мертвым. Абсолютно, совершенно мертвым». В тон ему поэт пишет:

Иногда мы — сухие кристаллики снега...

Человек, грустно признающийся в этом, еще совсем недавно — если пользоваться «терминологией» стихотворения — был в «теплой комнате»: там он вряд ли вспоминал бы с такой горечью о «глянцевых льдах» одиночества. Исчезла теплота, только что согревавшая существование, и вот поэт делает вид, что эта ледяная безысходность — норма, естественное человеческое состояние. Воспоминание о теплоте мешает покою, надо ее забыть, вновь осознать себя «абсолютно замкнутым шаром» (стихотворение «Об отношении к музыке»). Волна теплого воздуха наплывает, и плотные стенки «абсолютно замкнутого шара» не могут ее остановить. Простота двух строчек, следующих за «глянцевыми льдами», так явно и недвусмысленно напоминает бесхитростную народную балладу:

Долгий теплый летний день под раскидистой кроной
манит ланей королевских в тихий лес зеленый.

Эта простота неостановимо растапливает льды одиночества. Мы чувствуем, что за время, прожитое в стихотворении, рухнула жесткая схема «ледяной ясности» и живое, «теплое» в конце концов взяло верх.

В симфонической ткани стихотворения «Жужжание земли» сталкиваются несколько мотивов — полет и паденье как вечные символы свершения и краха, противостояние жизни мертвящей стуже. Поэт выстраивает образ «края вселенной», мира без индивидуальных лиц и чувств, залитого белесым светом негреющего солнца,— и даже тут в глубине земли хранится тепло и слышен «бурый звук глухой». Обра-

---

ЛАРС ГУСТАФСОН — LARS GUSTAFSSON (род. в 1936 г.).

Шведский поэт, романист, эссеист. Автор многих романов, сборников стихов, литературоведческих работ. В русском переводе стихи Л. Густафсона печатались в книге «Современная шведская поэзия» (М., «Прогресс», 1979).

Публикуемые стихотворения взяты из сборников «Путешественники на воздушном шаре» («Ballongfararna», 1962), «Утро в Швеции» («En förmiddag i Sverige», 1963), «Путешествие к центру земли и другие стихи» («En resa till jordens medelpunkt och andra dikter», 1966), «Братья Райт ищут Китти Хоук и другие стихи» («Bröderna Wright uppsöker Kitty Hawk och andra dikter», 1968), «Теплые комнаты и холодные» («Varma rum och kalla»,1972), «Сонеты» («Sonetter». Stockholm, P. A. Norstedt & Söners Förlag, 1977).

зы Густафсона противятся прямым отождествлениям, но строки о взлетевшем и рухнувшем наземь человеке, простор и разомкнутость пейзажного пространства, упоминание органных труб вплетают в симфоническую ткань стихотворения мелодию высокого гуманизма, хранимого в недрах живых сердец.

Понятно, что в нашем разборе мы коснулись лишь одной темы в творчестве поэта. Густафсон не только лирик, он маститый романист, тяготеющий в последнее время к прозе социально-критической. Яркое вхождение Густафсона в шведскую литературу в конце пятидесятых—начале шестидесятых годов сразу же поставило его на видное место. В течение десяти лет он был главным редактором наиболее влиятельного в Швеции «Боньерс литерера магазин».

Объемное, многогранное восприятие внешнего мира и собственного «я» — отличительная черта Густафсона. Важными, можно сказать равно важными, составными чертами входят в его поэтический мир социальные и психологические явления, научные наблюдения и творения многовековой человеческой культуры. Сиюминутные, самые пронзительные чувства неотделимы от духовной, «культурологической» сферы. Не случайно столь органично возникают в его стихах строчки Гете, высказывания Стриндберга. Не случайно один из последних сборников носит название «Сонеты», такое непривычное и чуть-чуть эпатирующее для современной западной поэзии, почти полностью захваченной верлибром.

Темой сонета «Мне в глотку метил зверь...» становится борьба с темными, неясными побуждениями в себе самом и выражается метафорой — в данном случае резкой и темпераментной:

И не поймешь, кто жертва, кто палач

на полотне художника. Ждут
разве слов раскаянья от нас? Смятенье
при виде черного на белом — спрячь.

Живое, правдивое, высокое — мертвое, ложное, низкое. Ту тонкую границу, которая порой отделяет одно от другого и лишь на первый взгляд кажется столь уж четкой, и старается увидеть, сделать видимой острое поэтическое зрение Густафсона.

В сонете «Приходит это позже...» на первый план выступает человеческая незащищенность, бессилие перед бездушным злом, горечь смирения.

Кулак твой — пальцев нежная корзина —
живет биеньем жилки голубой,—

эти слова, сказанные идущим по безлюдной огромной площади человеком, трогают, лишают покоя.

Спокойная интонация его стихов может показаться холодноватой, но следует подумать о том, что в самой природе творчества Густафсона — не романтически пылкое «излияние», прямо воздействующее на наши чувства, но углубленное, медлительное растворение в самих словах, в образах, в стиховой ткани. «Стихотворение, как математическое доказательство, может получиться или не получиться; но если уж оно получится, на свет словно рождается истина»,— справедливо пишет Густафсон.

Не прямо, не в лоб говорит Густафсон обо всем том, из-за чего «зябко», трудно жить,— о бездуховной сытости, о наглом самодовольстве внешнего преуспевания, о затхлом мирке обывательства. Он только вздохнет как бы мимоходом, гуляя по пустыне современного города:

Вполне естественно, почти разумно
тщеславный этот и нечистый город ненавидеть

и притязанье наглое его — вселенной быть...

Вздохнет и добавит о собственном бремени — о страстном желании поэта выразить свою картину мира, напряженную жизнь человеческого духа:

Нет, нет, не Власть меня заботит так и давит.
Нет, там, где Власть, его в помине нет...

И, казалось бы, лишенные пафоса стихи все-таки выдают пафос творчества поэта: утверждение духовного начала среди холодной, равнодушной сытости общества потребления.

АЛЕКСЕЙ ПАРИН

Теплые комнаты и холодные

Мы ходим из теплых комнат в холодные,
а потом из холодных в теплые снова.

Кто-то кричит, внезапно тянется к свету.
Он-то знал всегда, что оползень ухнет.

Сколько загадочных городов под землей
построено тем, что называем сердцем.
Соединенье тел есть скорее средство запомнить,
чем средство забыть.

Иногда мы — сухие кристаллики снега,
в водовороте ледяным гонимые ветром
над необозримыми глянцевыми льдами. И нет нам пощады.

Долгий теплый летний день под раскидистою кроной
манит ланей королевских в тихий лес зеленый.

И мягкий ветерок сквозит в пейзаже.

И жалобам я подвожу черту.

Об отношении к музыке

Я осознаю себя абсолютно замкнутым шаром.

В замкнутом шаре нечто заключено.

Сильное магнитное поле организует железные опилки
в узор.

Проникая сквозь плотные стенки.

Так я использую музыку —
хоть ни я, ни музыка знать не смеем,
с чем, собственно, дело имеем.

Жужжание земли

Там стылый воздух, стылые озера,
озера светлые, большие и тихие, как ртуть.

Собаки спящие все чаще дышат.
Басовый подголосок глух, как вой.

Он прячется в органных трубах — тех, огромных,
в шестнадцать футов высотой, и ждет своей поры.

И вырывается из узких ходов в почве.

С падением воздушного давленья
шум дальних тростников смолкает,
но вглубь растет и движется бесшумно меж следов

Крылатый человек, живущий в самой чаще,
упал крылами вниз, уснул под ливнем.

Нет, это не конец и не начало.
Да, это материк, обширный край

в средине карты, в глубине времен.
Лес лет обстал нас и защитой служит.

И жаворонков лёт как облачков причуда,
но вдруг на землю — камнем и исчезнут.

И чересчур тепло, чтоб замерзать, и чересчур
мне зябко, чтобы жить,— так мир давно устроен.

Зима навыворот, обратный ход годов, обратный год.
Там стылый воздух, стылые озера.

В низинах, от земли едва ль на палец,
температура выше, чем вверху. На два градуса

теплее и какой-то бурый звук глухой.
Естествознанье все о теплоте трактует —

и меркнущее облако зажглось.

Перевод АЛЕКСЕЯ ПАРИНА

После дождя

Грозовое небо после дождя — как рентгеновский снимок,
свет и тени густые мелькают.
Лес пуст, ни одной птицы не видно.
Твой собственный глаз — как первая капля из тучи,
он — зеркало мира: свет и призраки теней.
Ты ясно видишь теперь, кто ты есть:
затерявшийся чужестранец меж тучами и душой,
обнаженная оболочка хрупкого символа,
вмещающая глубины вселенной в сумрак, пугающий глаз.

Песня любви

Быстрый по струнам удар —
и музыка звучит, слушай музыку!
Звуки торжественного марша и сарабанды
спадают, как ломкое эхо...
Они проходили мимо, они были здесь.

Оставленный город тих и торжествен.
Он врастает в меня колдовскими шпилями башен,
идет из пустоты по ночам,
ясно возникает из матовой белизны
четким изображением в проявителе,
отзывается знакомой аркой.
Но воспоминания исчезают и оставляют меня жить.

Они уходят с дудками и барабанчиками —
и птицы сплетничают в листве,
но ты-то не видишь этого, потому что ты не я,
вот почему сегодня наш праздничный день,
смех наш похож на порыв легкого ветра,

и дитя утешается смехом,
быстрою птицей улыбка летит над водой!

Они уходят, и музыка
из дудок и маленьких барабанчиков сопровождает их.
Ты прикасаешься ко мне — я отзываюсь
улыбкой, внутренней дрожью.
Быстрый удар по струнам — как сжатие сердца.
Музыка звучит, слушай музыку...
Прижмемся друг к другу и рассмеемся с тобой в темноте.

Перевод НАТАЛИИ БУЛГАКОВОЙ

После одинокой прогулки по Стокгольму странным неприветливым летним вечером

«Руины и колонны»,— молвил Гёте,
в виду имея Рим, давно умерший.

Вот в сумерках парадный банк и супермаркет
бросают длинные косые тени, стоят, как монументы

событиям, которые на монумент не тянут.
Затишье полное. Почти безмолвье.

Вполне естественно, почти разумно
тщеславный этот и нечистый город ненавидеть

и притязанье наглое его — вселенной быть.

На краткий миг мне померещилось другое что-то,
ну, вроде скорбь не скорбь, что некий шанс упущен.

Мелькнула жизнь, начавшаяся сусальной сказкой
и кончившаяся сальным анекдотом,

провал мелькнул, мелькнул провал...

Нет, нет, не Власть меня заботит так и давит.
Нет, там, где Власть, *его* в помине нет...

И вот опять: руины и колонны.

Перевод АЛЕКСЕЯ ПАРИНА

*Сонеты**

Мне в глотку метил зверь вцепиться, но снова
промахнулся! Слепо сапоги
гремят подковами. С собой веду торги,
и под ногами зыблется основа,

* © Lars Gustafsson, 1977.

когда зверь в ожидании улова
промолвит: «Вечером!» — я с робостью слуги
тащусь. И привкус металлической фольги
во рту, когда от нас ждут слова.

Двойниками жестокое и нежное живут.
Внезапно это горькое прозренье.
И не поймешь, кто жертва, кто палач

на полотне художника. Ждут
разве слов раскаянья от нас? Смятенье
при виде черного на белом — спрячь!

■ ■ ■

Приходит это позже. В срок свой.
Зовется скорбью чувств неясных глина.
Кулак твой — пальцев нежная корзина —
живет биеньем жилки голубой.

Как трудно справиться с самим собой.
В смиренье видеть новых гор вершины —
удел немногих. Вот, до середины
площадь Густава Адольфа пройдя, ты видишь — ни одной

души кругом. Такую площадь трудно перейти.
Пуста открытая рука. Эта клетка птичья,
где не жила синица никогда,

внушает замешательство. В чем правота
слов, что, в сущности, свободу презирают? Природа чья
в том состоит, чтоб все оковы смести?

Перевод НАТАЛИИ БУЛГАКОВОЙ

■

ЭММА СМИТ

Только раз в жизни

РОМАН

Перевод с английского Л. ОГУЛЬЧАНСКОЙ

1

Две недели назад я получила письмо от Беатрисы. Она не слишком часто напоминает о себе — раза два в год, да ей особенно и не о чем писать. Беатриса с давних пор привязана к нашей семье и поэтому не забывает меня. Я всегда радуюсь при виде конверта со штемпелем Хьюэлла, надписанного ее аккуратным, бисерным почерком. И всякий раз удивляюсь поднимающемуся во мне теплому чувству.

Беатриса не забывает меня, потому что для нее я все еще Скоби, несмотря на недолгое замужество. И она, конечно, совершенно права: я всегда была и останусь Скоби.

Я снимаю комнату на самом верху и живу там одна. У меня на камине нет ни безделушек, ни фотографий. Книги я беру в библиотеке и вовремя их возвращаю. Электрический камин, которым я пользуюсь, не принадлежит мне, как и вся обстановка. Окна моей комнаты выходят в чужой сад. У меня ничего нет, но я и не хочу завести кошку или хотя бы купить стул. Мне принадлежит лишь одежда да несколько горшков с цветочными луковицами. И это — все мое достояние, ничего больше. Тем не менее я — Скоби, хотя и не совсем похожа на свою родню, отмершая ветвь семейного древа Скоби. Я так и не сумела стать иной.

«Дорогая миссис Трэнт,— писала Беатриса,— я подумала, что Вам, наверно, будет любопытно прочитать вырезку из газеты, которую я посылаю. Помните Сэма Уиллиса, в ту пору совсем мальчишку? Даже подумать было смешно, что он посмеет тягаться с мистером Миллером, но времена изменились! Говорят, он поднял такой шум, может быть, и добьется своего. Ходят даже слухи, что он хочет попасть в парламент на будущих выборах. Кто бы мог подумать, какая самоуверенность. Что это он возомнил о себе?»

Беатриса тоже снимает комнату, но условия там другие. Она живет над булочной в старой скученной части Хьюэлла, неподалеку от порта, в квартале, который, как она писала, собираются сносить. Всякий раз, когда в булочной не хватает рабочих рук, Беатриса встает за прилавок — мне кажется, не столько ради приработка к пенсии, сколько из-за потребности в общении. Ей нравится болтать с постоянными покупателя-

© Emma Smith, 1978.

ЭММА СМИТ — EMMA SMITH (род. в 1923 г.).

Английская писательница. Начала писать в шестнадцать лет, но ее первое крупное произведение «Путешествие девушки» («Maiden's Trip») появилось в 1948 г. Затем вышли книги «Крик издалека» («The Far Cry», 1949), «Эмилия» («Emily», 1959), «Не задумываясь» («Out of Hand», 1963), «Путешествие Эмилии» («Emily's Voyage», 1966), «И не расскажешь» («No Way of Telling», 1972). Перу Эммы Смит принадлежит также множество рассказов, публицистических работ, книг для детей и юношества. Ее книги неоднократно отмечались литературными премиями.

Мы знакомим читателей с творчеством Эммы Смит, публикуя роман «Только раз в жизни» («The Opportunity of a Lifetime». London, Hamish Hamilton, 1978).

ми. Ее дни, наверно, наполнены шумом голосов, а ночи пропитаны ароматом свежевыпеченного хлеба. В шторм до нее, должно быть, доносится рокот моря, довольно близкий и сильный.

А я не слышу голоса моря. Я живу в сотне миль от него, в одном из самых удаленных от побережья мест. Я случайно оказалась в этом городе. Просто Рой работал здесь, когда мы расстались. Потом он попросил страховую компанию, в которой служил агентом, о переводе в другое место. Не знаю, где Рой в конце концов поселился с новой женой. Я же осталась в Нортгемптоне. Мне было безразлично, где жить.

Время для меня — это стрелки часов, непрерывно бегущие по кругу: сплошная бесконечность. Я отсчитываю его по временам года, смене одежды в зависимости от сезона да обновлению витрин в магазинах. Когда приходят поздние рассветы, становятся короче дни и рано зажигаются огни, я покупаю мешочки с перегноем, луковицы крокусов и гиацинтов; магазины в эту пору украшены мишурой, и чувствуется приближение рождества. Потом дни увеличиваются за счет долгих тусклых вечеров, на деревьях появляются почки — это снова пришла весна. Летом я хожу на работу через парк, зимой добираюсь автобусом. Как и все Скоби, я веду размеренную жизнь, хотя в отличие от них это не очень меня радует. Почему я ко всему равнодушна? Может, оттого, что знаю слишком много, но не во всем могу разобраться? Где найти ответ, который так необходим? Кого спросить? Было бы бесполезно искать ответа у Роя. Бедный Рой: как жаль, что я так и не смогла признаться этому человеку, одолеваемому чувством вины и раскаяния, насколько мне было безразлично, что он бросил меня и ушел к другой. С его уходом в моей жизни ничего не изменилось; впрочем, останься он, было бы то же самое.

Заметка, которую прислала мне Беатриса две недели назад, была напечатана в хьюэллской «Газетт». «ЧЛЕН МУНИЦИПАЛИТЕТА РЕШИТЕЛЬНО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ПЛАНА ЗАСТРОЙКИ» — гласил заголовок во всю полосу. И ниже: «Хорошо известный всем местный житель заявляет: «Пенгеддон-Пойнт принадлежит нам».

Когда я читала эти строки, у меня вдруг сжалось сердце и закружилась голова, будто кто-то незаметно подошел сзади и коснулся плеча, нарушив мое уединение. Я прочитала последний абзац дважды, отложила заметку, потом просмотрела снова. Заметка как заметка — ничего особенного. Если мне не изменяет память, я не раз встречала в газетах сообщения о подобных стычках. Статьи появлялись столь часто, что их почти перестали замечать. Но эта статейка, написанная постным корявым языком провинциального журналиста, глубоко взволновала меня. Я прочитала:

«В среду вечером в ратуше Хьюэлла состоялось бурное открытое заседание, на котором мистер Сэм Уиллис, избранный народом в муниципальный совет и добровольно возложивший на себя обязанности защитника прав корнуоллцев, резко выступил против решения, принятого советом две недели назад,— мы уже сообщали о нем читателям. Напомним, что по решению совета, принятому на закрытом заседании, Пенгеддон-Пойнт, расположенный в четырех милях к западу от Хьюэлла, переходит во владение «Миллениум энтерпрайзес лимитед» — процветающей компании Питера Миллера по освоению морских курортов.

Перед многочисленной и шумной аудиторией мистер Сэм Уиллис заявил: «Пенгеддон-Пойнт принадлежит нам. Это наш берег! На что нам еще одна роскошная гостиница?»

Несмотря на бурные споры, член муниципалитета Уиллис твердо стоял на своем, он бросил со сцены грозное предостережение:

«Мы сами выроем себе могилу, если будем потворствовать спекулянтам и позволим отнять нашу землю. Не хватает еще, чтобы здесь нашли нефть»,— добавил он.

После заседания наш корреспондент спросил у члена муниципалитета Уиллиса, намерен ли он продолжать борьбу, на что тот ответил:

«Можете не сомневаться, что да; к тому же я не собираюсь сражаться в одиночку, будьте уверены. И эту битву мы выиграем».

Уроженец Хьюэлла, мистер Уиллис, личность яркая и противоречивая, в молодые годы много путешествовал, провел несколько лет в Америке и в Австралии. О нем заговорили, когда по возвращении домой он создал в родном городе компанию «Хьюэлл бразерс транспорт», которая столь часто подвергалась различным нападкам. Эта компания по перевозке грузов, известная как ХБТ, основана на кооперативных началах и владеет сегодня крупнейшим в округе парком грузовых ма-

шин. Член муниципалитета Уиллис до сих пор сам регулярно водит одну из них. Он часто повторяет: «Прежде всего я водитель грузовика, а потом уже член муниципалитета».

Слова местного корреспондента о грозном предостережении вызвали у меня улыбку. Хотелось бы мне находиться в ратуше Хьюэлла, когда они были сказаны. «Если будем потворствовать...» Казалось, я слышу голос Уиллиса-старшего.

«Спасибо тебе за письмо и статью из газеты,— ответила я Беатрисе.— Я и вправду помню Сэма Уиллиса, и даже очень хорошо помню. Кажется, тогда ему было лет двенадцать. По-моему, «Газетт» с гордостью пишет о своем необыкновенном члене муниципалитета; я заметила, что его называют уроженцем Хьюэлла, а не Триса. Интересно, что сталось со всеми его братьями и сестрами? Кто же в их семье родился последним — мальчик или девочка?»

Да, я помню Сэма Уиллиса. Помню, однажды вечером я лежала спрятавшись в зарослях можжевельника и наблюдала, как он шел за отцом по примятой высохшей траве Трисского мыса; дул ветер, надо мной раскинулось голубое небо, близилось время прилива, ласковые лучи сентябрьского солнца касались моей шеи и ног. Я не вспоминала об этом... сколько? Лет тридцать пять? Во всяком случае, двадцать пять-то уж точно — целую вечность.

Помню, как маленький Сэм не сводил глаз с отца, сидя на полу в углу темной и тесной кухни, втиснутой в крутой склон горы на окраине Триса; с потолка свешивался детский стульчик, приспособленный под люльку, где лежала малютка Белла, а миссис Уиллис стояла у плиты и вязала, поставив ногу на край духовки.

«Мы никому не уступим,— заявил член муниципалитета Сэм Уиллис.— Это — наш берег. Пенгеддон-Пойнт принадлежит нам». Его отец тоже, бывало, говорил «мы», «нам», «наш». Я никогда не знала, к кому относилось это «мы», лишь догадывалась с завистью, что он говорил о каком-то непостижимом, таинственном сообществе, но отнюдь не о своей семье. Кого же он имел в виду? У Скоби не принято говорить «мы» — во всяком случае они употребляют это слово, лишь когда крайне необходимо. Не в этом ли все Скоби? Не это ли прежде всего отличает их? И не моя ли судьба — яркий пример того, чем оборачивается порой житейская мудрость Скоби? Ведь меня учили жить замкнуто, делать все на свой страх и риск, не помогать ближнему своему, обходиться без друзей, ибо в каждом из них таится враг, и в конце концов не доверять никому. Да, я — Скоби. Однако и Синтия была Скоби, но любила повторять «мы». Возможно, она имела в виду свою семью.

«Как ты думаешь, Нора, к чему все это? — равнодушно сказала Синтия при нашей последней встрече.— Иногда я спрашиваю себя, почему мы мечемся, почему бы нам не махнуть на все рукой? Зачем все это?»

Миссис Уиллис тоже говорила «зачем?». Но только о бесконечных уборках в доме миссис Петтигру, вылизанном до зеркального блеска, а Синтия имела в виду свою жизнь. Зачем?

Этот вопрос возникал то и дело, слетая с чьих-либо уст, в юности он все время тревожил и преследовал меня, но, как мне ни хотелось, я никогда не задавала его Уиллису. Думаю, он сумел бы ответить.

Я — Скоби, и для меня эта фамилия стала такой же нарицательной, как Уиллис для моей матери, которая связывала с Уиллисами все мерзкое и подлое; для нее они были скопищем грязных свиней.

Как загадочна память! Непостижимо, почему вдруг всплыла из прошлого эта фраза! Я хорошо помню, с каким вызовом бросал ее сам Уиллис. «Мы скопище грязных свиней»,— резко подавшись вперед, говорил он Беатрисе, сидевшей напротив за кухонным столом. Теперь я догадываюсь, хотя тогда мне не приходило в голову, что он вычитал эту фразу в одной из книг, выстроившихся на зеленой полке, которая висела высоко над кухонной плитой. Неважно, откуда было взято это высказывание, но оно странно волновало меня в ту пору, как нередко бывало и с другими замечаниями Уиллиса, в которых ощущались свойственные ему смелость и прямота, будто он вкладывал в них всю силу, недостающую его больному телу. Скопище грязных свиней — это выражение словно нарочно было создано для моей матери, чтобы называть так всех, к кому она относилась с нескрываемым отвращением.

Беатриса обрадовалась, что ее письмо заинтересовало меня, и тут же прислала ответ. Теперь он лежит передо мной. Беатриса знает все о семье Уиллисов и судьбе каждого из них. Элен, которую звали так же, как и мою мать, хотя последняя упорно

не желала этому верить, вышла замуж за школьного учителя и живет в Шотландии; Беатриса не знает точно, сколько у нее детей — пятеро или четверо. Белла стала учительницей; у нее, единственной из Уиллисов, нет семьи. Энни уехала в Австралию и вышла замуж за фермера-овцевода, а Дональд работает в Лондоне. Здесь поток новостей Беатрисы прерывается. Она точно не знает, что делает Дональд, но думает, что он занимает какой-то важный пост в профсоюзах, один раз у него даже брали интервью для телевидения. Об этом писали в «Газетт», Беатриса вырезала заметку и обещала прислать ее, если найдет. Мальчик, который при мне еще не родился, унаследовал имя и профессию отца. Этот Альфред-младший перебрался на юг в Девоншир, он капитан бриксемского траулера. Мать, миссис Уиллис, еще жива и переехала к Элен в Шотландию.

Уиллисы неплохо преуспели, если учесть, с чего они начинали. Как это им удалось? Я представляю себе, как стремительно растущее семейство Уиллисов разлетается, словно искры, во все стороны — только в отличие от этих затухающих огненных точек Уиллисы продолжают жить, осев в разных концах страны. Такими я их вижу. Что бы сказал об этом мистер Вэллери? Он бы с серьезным видом покачал головой. Откуда у них такая цепкость, необходимая, чтобы выжить, откуда берется энергия, чтобы избежать гибели?

Я читала письмо Беатрисы и думала о цепкости Уиллисов, о том, где они черпают силы. Потом я вспомнила Терри. Я думала о нем все последние дни.

2

Я вспомнила времена, которые, казалось, давно похоронила память. Многие годы впечатления о событиях минувших лет таились где-то в ее глубинах, и теперь с необыкновенной ясностью передо мной прошли десять дней детства, словно внезапный порыв ветра развеял песок забвения, доселе скрывавший их. Казалось, всего лишь неделю назад я была в Трисской бухте. На самом деле минуло тридцать пять лет. Мне было тогда пятнадцать.

Почему все вокруг казались в ту пору такими несчастными? Все мы были несчастными: я, родители, чета Уиллисов, Терри, Синтия, даже бедные Мейбл и Корди,— мы все были несчастными, одинокими, чуждыми друг другу, словно люди, попавшие в западню. Почему? Какие путы связывали нас? Мы все страдали от безнадежности. Только терпеливая Беатриса да Питер Миллер, преодолевший муки отчаяния задолго до встречи с нами, не поддавались этому чувству. Не могу представить себе, чтобы житейские невзгоды могли взять верх над тем Питером Миллером, которого я знала. Он словно был создан для того, чтобы побеждать.

С самого раннего детства я подчинялась инстинкту самосохранения, избегая всего, что пугало меня. Во время семейных ссор я делала вид, будто не замечаю их. Я была послушной дочерью, ибо знала, что, только повинуясь во всем родителям, смогу избежать их гнева и участия в раздорах. Я постоянно убеждалась, к чему приводит непослушание, на примере своей старшей сестры Синтии, которая словно родилась для борьбы. Ей было предназначено свыше разжигать пламя страстей, и я благодарю судьбу за это: у меня бы не хватило ни сил, ни стойкости, чтобы выдержать испытания, которые выпали на долю сестры. Родители считали меня примерной дочерью. Боясь насмешек, я никогда не поверяла им своих тайн — разве что случайно. В целях самозащиты я делала вид, что мне нечего скрывать, хотя на самом деле никого не допускала в свой внутренний мир.

Однажды — это было в 1937 году — родители пошли на необычный шаг. Они сняли в Трисе кафе «Роза», пустовавшее все лето, и решили провести там первую половину сентября — очередной отпуск отца. Только крайняя необходимость могла толкнуть их на столь неожиданный поступок; положение и в самом деле складывалось безвыходное. Приближался отпуск, который нужно было использовать, а родители не знали, где его провести: родственники, обещавшие принять нас этим летом, в последний момент отказали. Мы не могли даже поселиться в пансионе «Лакомый чеддер», как поступили однажды в подобном случае, и тем самым найти выход из столь трудного положения.

Почти всегда мы останавливались у родственников, хотя они не очень этого жаждали. Одни из них жили в центральных графствах, другие — в пригородах Лондона. Все они, кроме тети Эдит и ее добродушного мужа дяди Реджи, стерлись в моей

памяти. Тетя Эдит — единственная сестра отца — была старше его на несколько лет и весьма скептически, если не сказать осуждающе, относилась к своему брату Бернарду. Удивительно, но я не припомню, чтобы когда-либо слышала, как она ссорится с моей матерью. Однако я помню, как тетя Эдит, бывало, плотно сжав губы, не удостаивала золовку ни словом и, часто помаргивая, сурово смотрела на нее своими ясными глазами, точно такими же, как у отца. По-моему, тетя Эдит настолько ненавидела мою мать, что даже не опускалась до ссор с нею.

Но в тот памятный год нас подвели другие родственники. Даже не знаю кто. Я плохо помню эту родню, наверное, потому, что после встреч с ними оставался горький осадок. Родственники никогда нам не радовались, уж в этом-то я уверена, но я их не осуждаю. Вероятно, тем, кто вынужден был приглашать нас в гости, мы казались на редкость неприятным семейством: полная, чопорная мамаша, сухонький и желчный отец семейства, вздорная старшая дочь и я — вечная молчальница. Тем не менее мать верила, что мы осчастливливали родственников, у которых останавливались, и удостаивали их великой милости, будто мы были членами королевской семьи, и когда в конце концов какая-то дальняя родня захлопнула перед нами двери, родители сочли это не оскорблением, а полным отсутствием воспитанности.

Мать с отцом пришли в негодование. Начался обмен письмами. Их с возмущением обсуждали с утра до вечера. Правда, при Беатрисе родители несколько умеряли свой пыл, ибо, следуя условностям своего круга, полагали, что прислуга не должна знать о хозяйских раздорах. Однако Беатриса все равно была в курсе событий. Родители не делились с ней своими заботами и разговаривали в ее присутствии вполголоса, но понимали, что Беатриса и так все знает о Скоби, и надеялись на ее твердую молчаливую поддержку, столь необходимую им. Возмущение, охватившее родителей, не было чем-то новым. Оно служило для отца с матерью духовной пищей и было самой прочной основой их неустойчивого союза. Неудовлетворенность жизнью — вот что объединяло их.

Однако не только это чувство создавало в тот август гнетущую обстановку в семье. Были и другие, более серьезные причины. Я просто не хотела их видеть, чтобы не омрачать летнего отдыха. Каждый год от пасхи до рождества, в весеннюю и зимнюю пору, я задыхалась от постоянных скандалов. В июле заканчивались школьные занятия, и приходил долгожданный август — пора полной свободы вплоть до начала отпуска отца. Меня не интересовали планы родителей на сентябрь. Они были равно унылыми. Я не сомневалась, что черная завеса, неизменно опускавшаяся на нашу жизнь в середине сентября, означая конец лета, опустится и в нынешнем году. Однако я ошибалась. На этот раз все получилось по-другому.

Я едва могла поверить в такое чудо, когда мне сообщили, что мы проведем отпуск в Трисской бухте и остановимся в кафе «Роза». Да, я хорошо помню, что ощутила тогда: на меня вдруг нахлынула радость — словно лучи солнца внезапно пробились сквозь тучи. В конце концов жизнь приносила не только огорчения, но и радости. Она уже не казалась мне, как раньше, неумолимо враждебной силой, у которой можно вырвать желаемое лишь путем ухищрений и постоянного обмана. По-моему, в ту пору я вновь обрела надежду.

На всех остальных новость не произвела особого впечатления. Синтия была слишком поглощена собой, чтобы беспокоиться о том, где ей придется сражаться с родителями, а сами они, растревоженные собственным необычным шагом, ломали голову над тем, как достойно преподнести его окружающим. Не покажется ли странным, что они проводят отпуск почти дома? В это время полагалось уезжать, и как можно дальше, по крайней мере исчезать из поля зрения друзей и знакомых, а Трисская бухта находилась всего в нескольких милях от Хьюэлла.

Моя мать ловко вышла из положения. Не прибегая ко лжи, ей удалось создать впечатление, будто мы вынуждены поселиться по соседству из-за болезни одного очень старого, богатого и уважаемого родственника, которому в любое время может понадобиться помощь. Несколько труднее было объяснить, почему выбор пал на кафе «Роза», но мать дала понять, что мы заботимся о его владелицах, бедных пожилых сестрах Тиллс-Митсон, а над этим уже никто не посмел насмехаться.

На самом же деле у родителей просто не было денег. Недавно мать получила небольшое наследство. Она с нетерпением ожидала его, но оно оказалось столь незначительным, что это ошеломило родителей, ибо в ожидании наследства мы переехали в дом попросторнее, с большими комнатами, за который нужно было платить дороже,

а сменить жилище на лучшее и подняться по социальной лестнице вверх гораздо легче, чем снова очутиться внизу.

Вероятно, из-за того, что все слышали о наследстве, но не знали о его мизерных размерах, отец, к своему ужасу, столкнулся с необходимостью купить машину. Он всегда говорил о ней как о своей и, мне кажется, свыкся с этой мыслью, хотя на самом деле машина не принадлежала ему.

Ее владельцем был мистер Вэллери, деспотичный старый холостяк, живший с экономкой и слугой в роскошном, но мрачном уединении на тихой окраине Хьюэлла. Он владел кое-каким недвижимым имуществом, и когда надо было уладить связанные с ним дела, обращался к услугам компании по купле-продаже недвижимости, где отец работал бухгалтером; благодаря своему положению и авторитету в округе, а также слухам о его припрятанном богатстве, мистер Вэллери считался в компании «Тозер, Квинн и Тозер» самым уважаемым клиентом.

Несколько лет тому назад он попросил отца зайти после работы для консультации по каким-то финансовым вопросам и вместо гонорара одолжил ему на уик-энд свою машину. Этот обмен, который вначале происходил от случая к случаю, в дальнейшем вошел в привычку. По пятницам вечером, если только не было дождя, отец отправлялся пешком за «хамбером» к мистеру Вэллери. Я помню, как отец в такие минуты весело насвистывал и бодро помахивал тросточкой. В погожие субботние дни машина торжественно ждала нас у дверей, а по воскресеньям наше шумливое семейство отправлялось за город — как правило, в Трисскую бухту; эти прогулки скрашивал бесплатный чай со сливками, который мы снисходительно соглашались отведать в кафе «Роза». Не думаю, чтобы мистер Вэллери часто пользовался машиной. Он держал ее на случай необходимости, а может быть, просто не желал признаться себе в том, что старые добрые времена давно миновали.

И вот однажды летом 1937 года он поразил родителей весьма неприятной новостью, заявив отцу, что решил продать машину, которая все-таки принадлежит ему, мистеру Вэллери. Отцу ничего не оставалось делать, как купить ее. Он находился в плену условностей, заставивших родителей переехать из нашего маленького неприметного домика, похожего как две капли воды на соседние, в более просторное жилище: разве мог он ездить на «форде», если его уже видели за рулем «хамбера».

Из игры, которую с большим рвением, но без успеха вели родители, не полагалось выходить. Необходимо было ее продолжать и выигрывать. Родители всегда стремились к преуспеянию, этакому земному раю, до него было рукой подать и туда надо было пробиться любой ценой, чтобы получить признание, заслужить всеобщее восхищение и одобрение, которыми они были обделены до сих пор. Но когда, наконец, родителям действительно удавалось продвинуться, вновь обретенная почва ускользала из-под ног: не хватало денег.

Нам всегда не хватало денег — ни для жизни, к которой стремились родители, ни даже для сносного существования в том кругу, откуда им так хотелось вырваться. Во время войны отец служил офицером, дедушка матери по женской линии имел сан епископа, но нам постоянно не хватало денег, чтобы вести жизнь, достойную такой родословной; и это было постыдно! Стыд и стремление скрыть недостаток средств без конца преследовали меня в детстве. Беднякам полагалось быть бедными. Они могли нуждаться гораздо больше, чем мы, но это не считалось зазорным. А вот для людей нашего круга бедность, когда семья не голодает, но постоянно нуждается, живет на скудное жалованье и не имеет побочных доходов,— такая бедность считалась сама по себе постыдной, и ее надлежало скрывать. В то же время безденежье было несправедливостью, которой следовало возмущаться открыто. Чтобы выполнить эти два противоречивых требования, не ударив лицом в грязь, родителям приходилось пускаться на всевозможные хитрости.

О нехватках можно было обмолвиться вскользь, между прочим, но ни в облике, ни в поступках не должно быть и намека на бедность — вот чем, пожалуй, определялось поведение нашей семьи. Надо было показать всем, что у нас есть, например, первоклассные теннисные ракетки и мы постоянные члены гольф-клуба, но из-за этой необходимости пускать пыль в глаза приходилось лишать себя других удовольствий, отсутствие которых не было столь заметно: не посещать кино, обходиться без горячей воды. Конечно, мы вынуждены были держать прислугу, но, по-моему, Беатриса стоила нам всего несколько шиллингов в неделю. Ей внушили, что одно пребывание в нашей семье для нее — великая честь, заменяющая денежное вознаграждение, и она служила нам

верой и правдой. Эта очень спокойная женщина никогда не обижалась и не сердилась. У нее всегда было хорошее настроение. А мы просто не замечали ее. Мать без конца жаловалась, что Беатриса ленива, медлительна, толста и неаккуратна, что она чересчур много ест и от нее дурно пахнет. Единственным достоинством Беатрисы, объяснявшим, почему ее держали в нашем доме, была абсолютная честность.

Словом, в тот август мы попали в затруднительное положение и к тому же должны были это скрывать, ибо каждый, кто приобрел в глазах общества репутацию человека состоятельного или добропорядочного, может быстро ее лишиться. И все-таки матери, столь нуждавшейся в поддержке, пришлось поделиться своими горестями с нашими недавними соседками, двумя старыми девами — сестрами Тиллс-Митсон, Мейбл и Корди. Незадолго до глупой затеи с переездом мы жили рядом на одной улице, и теперь старушки Тиллс-Митсон пришли к нам на помощь, позабыв о собственных бедах.

Каждый бродяга в округе знал, что сестры, так и не устроившие свою личную жизнь, всегда были готовы поделиться последним. Такими уж они родились на свет. В конце концов они предложили нам воспользоваться своим единственным сокровищем — кафе «Роза», которое стояло в восьми милях от города, у самого берега моря, чуть ли не на песке Трисской бухты; в ту нору оно пустовало.

Зимой сестры Тиллс-Митсон, подобно своим любимым черепахам, впадали в спячку в сером каменном доме, стоявшем в ряду других таких же домов в Хьюэлле; весной они сдавали его, а сами переезжали в Трис, открывали, невзирая на погоду, кафе в начале апреля и работали до самого конца октября, угощая посетителей чаем со сливками и прохладительными напитками. В этом две пожилые дамы находили смысл жизни, этим зарабатывали на хлеб.

Так продолжалось много лет. Но на сей раз, через три недели после пасхи, заболела Корди Тиллс-Митсон. Врач настаивал на том, чтобы сестры вернулись в Хьюэлл, хотя погода стояла хорошая и дом в городе был уже сдан,— жильцам пришлось отказать, а контракт расторгнуть на неопределенный срок.

Кафе в Трисе пустовало все лето. Ворота были заперты на замок, окна закрыты ставнями, никто не делал пирожных, и кафе не приносило дохода. Однако если судить не по прочности стен и крыши, а по тому, как старушки дорожили своим кафе, оно стало для них вторым или даже главным домом, там было все необходимое для жизни, и мы могли смело ехать туда. Нужно было только за несколько дней до приезда предупредить Уиллиса, который присматривал за домом, чтобы он открыл ставни, подключил газовые баллоны и вообще привел в порядок кафе после того, как оно несколько месяцев пустовало. Сестры уверяли, что мы вчетвером спокойно там разместимся: девочки могут ночевать в самом кафе — в комнате для прислуги, а Элен и Бернард — в вагончике с удобным туалетом, стоявшем в поле через дорогу. Старушки не хотели брать с нас никакой платы: «Упаси бог, нет, нет!» Какой может быть разговор о деньгах со старыми друзьями Элен и Бернардом Скоби? Они и слышать не хотели об этом.

Но родители, которых, как правило, оскорбляли такие благодеяния, особенно со стороны людей более скромного достатка, довольно раздраженно настаивали на том, чтобы мы сняли кафе, а не пользовались им бесплатно. Между нами должно быть заключено соглашение — родители хотели, чтобы об этом знали все. Мы обязаны были выплатить за аренду какую-то так и не оговоренную сумму в какие-то так и не оговоренные сроки. Старушки Мейбл и Корди Тиллс-Митсон покивали в знак согласия головой, хотя у них был весьма растерянный вид. Будущее интересовало их, разве только когда они гадали на картах или чае; настоящая жизнь вторгалась к ним лишь раз в год — в летний сезон. Дела и деньги казались сестрам чем-то чрезвычайно трудно постижимым.

3

По существу Трисскую бухту нельзя считать настоящей морской бухтой. Этот глубоко вдающийся в сушу залив образовался на месте мелководного широкого устья, прорезанного несколько веков назад двумя крупными реками на пути к морю. Реки, вероятно, были большими, потому что в самой своей глубине Трисская бухта достигала ширины более полумили. Теперь же они почти исчезли. О них напоминали лишь две небольшие речушки, впадавшие в бухту с двух противоположных сторон,— мелководная Трис-брук и более широкая Крэнч с извилистым руслом и песчаным дном, которая вытекала из огромного болота, заросшего тростником и кресс-салатом. Тем не

менее эти две обмелевшие речки во время морских приливов и отливов создавали кое-где опасные подводные течения и водовороты. Поэтому надписи на берегу предупреждали о том, что купаться опасно; но отдыхающие не обращали на них внимания, и время от времени кто-нибудь там тонул.

В глубине бухты, в одном из ее укромных уголков, приютился Трис, затерявшийся среди скал. Его обычно называли поселком, но он, как и залив, мало оправдывал свое название. Подобно почти высохшим рекам, поселок уменьшался до тех пор, пока от него не осталось лишь несколько домиков, стоявших друг за другом в ряд, магазин, телефонная будка да старинный каменный крест. По иронии судьбы самым солидным зданием в Трисе был эллинг, близ которого прежде в зимнюю непогоду стояли рыболовные суда, но к 1937 году их уже не было в Трисе.

Поселок находился в унылом месте, он спрятался на дне расщелины и был словно отгорожен от всего мира; создавалось впечатление, будто туда никогда не проникал ни солнечный свет, ни дыхание свежего ветра. Казалось, солнце никак не могло заглянуть в этот забытый уголок; я удивлялась, как местным жителям не надоест все время жить в потемках. По-моему, с таким же успехом они могли поселиться в пещере. Поселок стоял на берегу речушки Трис-брук и выглядел на удивление пустынным; возможно, это происходило потому, что почти все взрослые — а их было немного — по утрам отправлялись с первым автобусом на работу в Хьюэлл.

В отличие от спрятавшегося Триса кафе «Роза» было со всех сторон открыто солнцу, ветру и морским волнам во время приливов и бурь. Оно одиноко стояло в конце бухты на квадратном бетонном причале, который выделялся на морском берегу, напоминая неприступный бастион; в разгар сезона над зданием развевался флаг, привлекая посетителей. Это одинокое сооружение на бетонном основании с гордо реющим флагом было похоже на непобедимую старую крепость, которая не раз подвергалась осаде.

В субботу утром, когда начался отпуск отца, он, как обычно, принялся за дела. Весь день прошел в предотъездных хлопотах. Было решено, что мы незаметно уедем после обильной трапезы, которая заменила скромный ужин. Беатриса оставалась на ночь в Хьюэлле, чтобы прибрать в доме, и должна была приехать в Трис на следующий день. С приближением отъезда родители, которых стали одолевать сомнения, правильно ли они поступают, принимали все более серьезный и таинственный вид; обстановка накалялась.

За ужином Синтия сказала, что не поедет с нами. Она работала секретаршей в адвокатской конторе и теперь вдруг объявила, что главный компаньон мистер Медликотт попросил ее отложить отпуск до конца года, так как именно в эту пору у них было полно срочной работы. Родителей возмутило и встревожило это сообщение, сделанное как бы невзначай. Почему Синтия не сказала об этом раньше? Почему скрывала до последней минуты? Вот так она всегда и поступает, несносная девчонка, причиняет одни неприятности и думает только о себе.

— В общем, пусть не надеется, что ее оставят в доме одну,— заявил отец. Если она думала, что так будет, пусть сразу выкинет это из головы. Неужели она и впрямь вообразила, что он оставит ее в доме хотя бы на ночь, не говоря уже о целой неделе!

— А почему бы и нет? — спросила Синтия.

Родители испуганно переглянулись.

— Так не принято,— примирительно сказала мать.

— Но почему? — повторила Синтия.

— Не смей разговаривать с матерью таким тоном.

— Я просто спрашиваю. Почему мне нельзя остаться?

— Потому что порядочные девушки так себя не ведут, вот почему,— ответила мать.— Что скажут наши знакомые, если ты останешься здесь без нас. И вообще опасно оставлять девушку в доме одну, когда кругом столько хулиганов. Даже *подумать* страшно. Бродяги! Всякий сброд! Один бог знает, что они могут натворить!

Сестра рассмеялась с издевкой. Если дело только в этом, заявила Синтия, то она вполне может остаться со старушками Тиллс-Митсон. Мать с отцом, еще более встревоженные, не знали, что и ответить. Синтия догадывалась, что на самом деле родителям не давали покоя тревожные слухи о ее связи с доктором Брэдли, которые недавно дошли до них. Была ли в этих сплетнях хоть доля истины? Родители решили не верить слухам: они не желали свыкнуться с мыслью, что такое могло произойти с их дочерью, но все-таки у них появились сомнения. Отец и мать были очень огорчены. Теперь они хотели, чтобы Синтия по крайней мере все время была у них на глазах.

— Из-за болезни бедняжки Корди у тети Мэйбл и так достаточно неприятностей,— сказала мать.— Мне бы никогда не пришло в голову навязать ей еще и тебя.

— Она только обрадуется,— невозмутимо ответила Синтия.— Ты ведь знаешь, со мной не будет хлопот. Я помогу Мэйбл. Ей будет с кем коротать время.

Синтия была совершенно права. Правда стала ее оружием. Маленькой дерзкой девчонкой, еще не зная, как себя защитить, она прикрывалась ею словно щитом: уже тогда Синтия догадывалась, что родители не любят правду и боятся ее. Когда же Синтия повзрослела и ей исполнилось девятнадцать, она все равно не отказалась от своего испытанного средства, но теперь чаще пользовалась им спортивного интереса ради, желая отомстить отцу с матерью. Она преследовала родителей своей правдой, загоняла в угол. Свое смятение они объясняли необычайной строптивостью старшей дочери. И все же в глубине души родители сознавали, что Синтия так больно ранит их, потому что права, и с годами уверовали в непогрешимую честность дочери; им было невдомек, что она могла и обманывать. Теперь Синтия говорила неправду. Я была уверена в этом и, случайно встретившись с ней глазами, поняла, что сестра прочла мои мысли. Но Синтии было все равно.

«Мне все равно!» — бывало, говорила малышка Синтия. Она любила повторять: «Все равно! Все равно!»

В тот субботний вечер Синтия к концу ужина добилась своего, хотя на первый взгляд можно было подумать, что победу одержали родители. Я хорошо знаю, как это ей удалось — нужно было лишь направить мать с отцом по ложному следу. Сестра нарочно заводила какой-нибудь посторонний разговор, стремясь вывести родителей из себя, при этом они не догадывались о том, чего она добивалась на самом деле. В конце концов решили, что Синтия отправится с нами в Трис, как и было задумано вначале, и каждый день будет ездить на работу автобусом. Ведь Трис находится всего в восьми милях от Хьюэлла и между ними регулярно ходят автобусы. Родители думали, что проявили необычайную находчивость, подавив последнюю вспышку сопротивления дочери. Я видела, как мать, строго поджав губы, одобрительно кивнула отцу. Синтия это заметила, и мимолетная, едва заметная улыбка промелькнула у нее на лице. Она посмотрела на меня, словно приглашая разделить с нею радость, но я отвела глаза.

Синтия была на четыре года старше меня. Я восхищалась сестрой, побаивалась ее и старалась как можно меньше попадаться ей на глаза. Синтии часто говорили, что она очень похожа на отца, и это было правдой. Если бы не разница в возрасте, их можно было бы принять за близнецов; однако во внешности и поведении нашего рыжеватого отца проскальзывало что-то лисье, тогда как Синтию эти же черты делали удивительно привлекательной. Сестра была такой же маленькой, как отец, и унаследовала его голубые глаза, заостренные подбородок и нос. Но рыжие волосы у отца заметно поблекли и поредели, а у Синтии они были густыми и отливали золотом, завиваясь мелкими кольцами. Сестра казалась хрупкой, хотя меньше всего нуждалась в поддержке, и в то же время страстной, какой и была на самом деле; она всегда ходила с гордо откинутой головой и держалась напряженно, словно натянутая тетива. Но не только правильные черты лица, а и необычная, броская красота Синтии заставляла людей на улице смотреть ей вслед. Голова Синтии была похожа на горящий факел. Голубые глаза сияли, волосы пламенели, и людей поражал вид этого бледного, резко очерченного лица, дышавшего ненавистью ко всему миру, который начинался и кончался для нее нашими родителями.

Когда в субботу вечером мы приехали в Трисскую бухту, день уже угасал. Стояла тишина. Был прилив, вдали виднелось кафе «Роза», которое ожидало нас на другой стороне бухты, похожей на озеро. В такой тихий вечер кафе уже не казалось крепостью. Оно скорее напоминало причудливо усеченный маяк, выделяясь белым пятном на квадратном бетонном основании, о которое лениво плескались морские волны. Дом смотрел на нас пустыми глазницами окон. Не было никаких признаков того, что нас здесь ожидают,— лишь название, написанное огромными буквами на побеленных дощатых стенах, довольно неразборчивое в эту сумеречную пору, казалось, предостерегало или приветствовало нас. Не говоря ни слова, мы смотрели из машины на окна кафе; что-то тревожное угадывалось в общем молчании. Я боялась, что у родителей сдадут нервы, отец развернется и поедет обратно в Хьюэлл.

Конструкция причала, где стояло кафе, была предельно проста: фундамент, сложенный из прибрежных камней, залили бетоном, который грубо расчертили на квадраты; так все и оставили. Это неказистое сооружение служило хорошим волноломом, и, надо сказать, его использовали как причал в те дни, когда два-три рыболовных судна,

принадлежавших трисским рыбакам, пришвартовывались к нему и выгружали улов. Об этих временах напоминало несколько массивных железных колец в бетонных плитах. Дом, в котором размещалось кафе «Роза», служил тогда складом, где держали рыболовные снасти и одежду рыбаков. Рыбацкий промысел изрядно пострадал от войны, и не в одном только Трисе.

Говорили, что война многое изменила к худшему, многое исчезло после нее. Мне без конца твердили об этой войне, отец участвовал в ней офицером. Она была геройской, мы разбили немцев и победили. Но война оказалась к тому же и катастрофой, явно перевернувшей мир и его прежние устои. Почти все сваливали на войну: все несправедливости, неудачи, все дурное. Война мешала нам расплатиться за «хамбер», и, вероятно, из-за нее немногие из оставшихся рыбаков, которые занимались теперь в гавани Хьюэлла ловлей омаров, были стары, угрюмы и неприветливы.

4

Отец осторожно повел «хамбер» по встречной полосе дороги, чтобы свернуть на причал, где находилось кафе «Роза», но на массивных двойных воротах, которые обычно были широко и гостеприимно распахнуты, висел замок.

— Разве сторож не знал, что мы приедем сегодня вечером? — спросила мать.

— Конечно, знал, я сообщил ему. Я сказал, что в субботу в первой половине дня мы закончим сборы. Не мог же я назвать ему точное время приезда: ведь я не знал, когда мы тронемся в путь.

— Наверное, ты думал, что он сам догадается хотя бы из приличия прийти сюда, открыть нам дом и помочь перенести вещи. Мне никогда не нравился этот человек,— проговорила мать.— Не понимаю, как Мейбл и Корди терпят его. Он просто вызывающе ведет себя.

Они говорили об Уиллисе, который жил в Трисе с женой и кучей детишек. Это был очень замкнутый человек. Он серьезно пострадал на войне во время газовой атаки.

Наконец, тяжело вздохнув, отец передал через плечо связку ключей Синтии.

— Если не ошибаюсь, ты хочешь, чтобы я соизволила открыть ворота.

— А что же еще? Хватит твоих дурацких выходок, моя девочка, у меня и без тебя забот выше головы.

Синтия выбралась из машины, захлопнула дверцу и не спеша перешла дорогу. Она открыла замок, оставив в нем болтаться связку ключей. Мы видели, как она толкнула массивную створку из рифленого железа, протиснулась в образовавшуюся щель и исчезла.

— Черт бы ее побрал!— выругался отец.

— Бернард! Я тебя умоляю!

— Выдрать бы как следует эту девчонку,— процедил он сквозь зубы.

Всякий раз, когда отец произносил эти слова,— а он повторял их довольно часто,— мать говорила, что Синтия уже достаточно взрослая и нельзя с ней так поступать. Мать велела мне сделать то, что было поручено Синтии: подпереть чем-нибудь тяжелые створки ворот, чтобы они не захлопнулись. Я повиновалась. Машина въехала на причал и остановилась; мы свалили багаж у крыльца кафе. Не желая слушать перебранку родителей, я отошла подальше и остановилась на краю причала. Здесь не было барьера, перил или других заграждений, и это постоянно тревожило сестер Тиллс-Митсон, которые боялись за детей. В конце причала я видела прямую неподвижную фигуру Синтии. Она стояла спиной ко мне. Внизу постепенно начинался отлив. В такую тишь волн, естественно, не было. Море просто отступало, набегало и отступало вновь. Подул легкий ветерок — это был даже не ветерок, а всего лишь слабое движение воздуха. На меня повеяло резким запахом тамариска, кусты которого росли на холме за кафе и нависали над соседней бухточкой.

Мать окликнула меня, чтобы я пришла ей помочь. Отца она отправила на машине в Хьюэлл за остальными вещами. Поскольку мимо кафе вот-вот должен был пройти автобус из Сент-Отиса, мать попросила меня закрыть ворота, но тут же, вспомнив, что вскоре вернется отец, она передумала, велела мне оставить ворота открытыми и перенести вещи в кафе, чтобы они не привлекали внимания посторонних. Так я и сделала, с шумом протащив чемоданы по двум ступенькам, ведущим ко входу, ибо старый склад был как бы вдавлен в бетон и пол в кафе находился ниже поверхности причала.

— Подними чемоданы,— сказала мать.— Да не тащи их по полу, Нора. И задерни занавески: нехорошо, когда заглядывают в окна.

Она сидела с надменным видом за одним из незатейливых столиков кафе, слегка откинув голову, скрестив ноги и свысока взирая на все вокруг, словно очутилась на грязном захолустном полустанке, где ее поезд потерпел аварию: она была здесь лишь случайно, проездом.

Мне казалось загадочным это большое помещение, где были свалены столы и стулья. Прежде я видела кафе только днем, когда там кипела жизнь. Сейчас же здесь не сновали взад и вперед официантки в розовых бумажных платьях, не хныкали усталые дети, никто громко не просил еще клубничного джема или чаю. Я задернула ситцевые занавески на окнах, которые выходили на дорогу, и в помещении стало еще темнее. Вскоре прошел автобус. Он не остановился. Я слышала, как мать раздраженно вздохнула.

— Зажги газ, Нора.

По стенам располагалось восемь газовых рожков, но я не могла найти спички.

— И спичек нет! — возмутилась мать, неожиданно выходя из себя.— Ну, что за человек! *Что за человек!* Неужели не оставили даже спичек, чтобы мы могли зажечь газ?

Было непонятно, кого она имела в виду — сторожа, сестер Тиллс-Митсон или отца.

Я вытащила свой электрический фонарик, но перспектива сидеть при его тусклом свете в ожидании отца не вязалась с представлениями матери о приличиях.

— Пока совсем не стемнело, давай-ка лучше осмотрим этот захудалый вагончик на другой стороне дороги,— сказала мать.—Едва ли там будет хуже, чем здесь. Прихвати чемодан отца, Нора.

Она взяла свой чемодан и платок, и я пошла за ней через дорогу к владениям сестер Тиллс-Митсон. Фонарик был не нужен: на улице пока еще было довольно светло.

Корди и Мейбл Тиллс-Митсон родились в Индии, где их отец, инженер-строитель, служил правительственным чиновником. Будучи инженером, мистер Тиллс-Митсон, несомненно, отличался практичностью, и незримая тень практичного отца, а также дух колониальной Индии времен королевы Виктории, казалось, присутствовали почти во всех начинаниях его старательных дочерей. Сестры питали слабость ко всякого рода затеям и стремились всему найти применение. Одному богу известно, как им пришло в голову купить этот отслуживший свое железнодорожный вагончик. Его поставили на пригорке в глубине участка, который в основном находился в низине, где почти всегда было сыро и иногда стояла вода, так как река Крэнч часто выходила из берегов и морские волны, разбиваясь о мол, перекатывались через дорогу. Пригорок был совсем маленький, и поэтому вагончик предусмотрительно поставили на сваи.

Белый невысокий забор окружал вагончик. К нему вела приподнятая асфальтовая дорожка, по краям которой лежали большие белые камни, принесенные с берега. Для удобства, а также для того, чтобы придать вагончику элегантный вид, к нему пристроили веранду, которая была вся увита розами.

Этот пышный розовый куст был предметом гордости старушек Тиллс-Митсон и летом радовал глаз своими восхитительными цветами. Но еще больше гордились сестры туалетом, который изобрели или, лучше сказать, придумали сами; их привязанность к этому сооружению могла удивить лишь тех, кто не знал, как безмерно восхищались две пожилые леди своим покойным отцом. Они верили, что в строительном искусстве, как и во всем остальном, ему не было равных, и никогда не забывали, сколь почетно и ответственно называться его дочерьми. Они старались быть достойными своего родителя, отдавали ему должное и осмеливались считать, что туалет, как ничто другое, удался им на славу. Его соорудил по плану сестер Уиллис.

Мы поднялись по деревянной лестнице на веранду; там мать поставила свой чемодан и открыла вторую дверь — всего их было четыре. Потом она взяла у меня фонарик и осветила внутренность вагончика. Некогда здесь было два купе, между которыми сломали перегородку. Комод Мейбл хранил следы поспешного отъезда, состоявшегося несколько месяцев назад. На кучке рассыпанной розовой пудры лежала большая пуховка из лебяжьего пуха. Пудреница была открыта. Должно быть, она простояла так целое лето. Спертый воздух в помещении, которое давно не проветривалось, был насыщен удушливым запахом пудры, показавшимся мне восхитительным, хотя мать, вдохнув его, пришла в негодование.

Обстановка вагончика совсем не подходила для него. Бóльшую часть небольшого помещения занимала просторная медная кровать, накрытая кружевным покрывалом; обои с широкими атласными полосками, когда-то кремовые, а теперь в пятнах от сырости и плесени, скорее были бы на месте в большой гостиной. К атласным полоскам были пришпилены старые открытки, посылаемые ко дню святого Валентина, букетик искусственных цветов и три коричневых фотографии: на одной была изображена лошадь, которую держал под уздцы мужчина в чалме, на другой — терьер с умной породистой мордой и настороженно поднятыми ушами; была и еще одна сильно потускневшая фотография белого дома с аркадами на фоне видневшихся вдали бурых холмов, почти совсем стертых временем. Рядом с кроватью приютился столик, сделанный из тростника и бамбука, и на нем стоял фарфоровый подсвечник и лежала коробка спичек. Помню, что подсвечник был расписан прелестными маленькими голубыми незабудками.

Мать зажгла свечу. Она высоко подняла ее и долго молчаливо рассматривала крошечную летнюю спальню Мейбл. Потом слегка наклонилась и пристально посмотрела на себя в зеркало; я видела, что в ее глазах застыл вопрос: «Чего ради я, Элен Скоби, приехала сюда?» Мне запомнилось странное выражение лица матери. У нее был растерянный вид. Я слышала, как она тихо пробормотала: «Как все это нелепо».

Я оставила мать в вагончике, а сама спустилась по асфальтированной дорожке вниз на причал. Мысленно я уже считала кафе своим, остальные презирали его, поэтому оно и впрямь принадлежало только мне. Вскоре я заметила в начале бухты огни приближавшегося автомобиля и безошибочно определила, что это свет фар «хамбера», который возвращался из города, битком набитый одеялами, шезлонгами, кастрюлями и другими вещами. Отца совсем не радовало то, что его драгоценную машину пришлось гонять, как обшарпанный мебельный фургон, к тому же он боялся поцарапать кожаную обивку. По его мнению, большинство вещей, которые мать велела ему привезти, было здесь совсем ни к чему. Отец вообще отличался крайней раздражительностью. Он поинтересовался, куда девалась Синтия. Я ответила, что не знаю.

— А мать?

— В вагончике.

Отец поморщился, словно от боли. До чего же они дошли, если согласились жить в вагончике. Отец спросил, почему мы не зажгли газ. *И куда пропала Синтия?* Ему не давало покоя подозрение, что она возвратилась с последним автобусом в Хьюэлл. Мы стояли на причале, окутанные неярким мерцающим светом, и я чувствовала, что отец растерян. Он не знал, что делать. Он вообще не знал, как поступить, и матери не было рядом, чтобы ему подсказать.

Он споткнулся, спускаясь в кафе.

— Черт бы побрал эти ступеньки!

Я осталась на причале.

— Нора!

Отец зажег газовый рожок. Я видела его бледное, тонкое, страдальческое лицо; прищурясь и вытянув шею, он окинул взглядом темное, словно пещера, помещение, забитое столами и стульями.

— Ну и местечко! Не приведи господи!

Я увидела по его лицу, что ему страстно хочется очутиться подальше отсюда, где-нибудь на другом конце земного шара, одному, без жены, без детей, совсем в иной обстановке, полностью развязать себе руки, чтобы добиться успеха. Он мечтал об этом всегда.

— Тебе уже следовало быть в кровати,— сказал он мне.— Иди спать; ради бога, отправляйся в постель, Нора! *Где твоя сестра?*

Мы прошли через кухню и поднялись по единственной ступеньке в пристройку. Отец, ворча и чертыхаясь, чиркал спичками. Я включила свой фонарик.

Пристройка была разделена пополам дощатой перегородкой. Первая комната служила сестрам Тиллс-Митсон гостиной: когда в кафе было мало работы, они уходили сюда, чтобы дать отдых усталым ногам. В другой части пристройки ночевали официантки, которые жили в Хьюэлле; они оставались здесь, если опаздывали на последний автобус или по каким-то причинам не хотели уезжать на ночь. Эта комната имела отдельный выход на причал, чтобы официантки могли им пользоваться и не беспокоить старых хозяек в гостиной. На одной из двух узких железных кроватей мы увидели

Синтию. Она лежала совершенно неподвижно, вытянув ноги и положив руки под голову.

Отец выхватил у меня фонарик и грубо поднес его к лицу Синтии. Он готов был ее убить. Синтия, словно дразня его, равнодушно отвернулась от света, ничуть не изменив позы. «Ну,— казалось, говорила она всем своим видом,— убей, убей меня! Может быть, тебе станет легче!»

Дверь на причал была приоткрыта. Я слегка толкнула ее и выскользнула наружу. Почему я-то должна страдать, если они ненавидят друг друга? Пусть делают что хотят, только оставят меня в покое. На пристани я глубоко вдохнула ночной воздух. На меня повеяло сентябрем. Лето прошло, приближалась зима, и сентябрь был как бы мостиком между ними: в осеннем голубом небе, теплых днях с холодными рассветами и закатами было что-то и от зимы и от лета; да, сентябрь — пора изменчивая, волнующая и печальная, и я остро ощутила его дыхание в пряном аромате вечернего воздуха.

Я слышала, как отец развернул машину и погнал ее к вагончику на другой стороне дороги. Измученный борьбой с Синтией, подавленный жизнью, которую он не мог подчинить своей воле, отец закричал, словно призывая жену на помощь:

— Элен! Элен! Элен!

5

У меня не было своих часов. Дома по утрам меня будила в школу Беатриса — она стучалась в дверь. А сейчас я лежала на кровати и раздумывала, сколько же теперь времени. Этого я не могла сказать точно. Светило солнце. До меня доносились пронзительные крики чаек. Наверное, уже поздно и я понапрасну теряю время в постели. Я посмотрела на другую кровать, стоявшую напротив. Синтия, как и вчера вечером, лежала на спине, вытянув ноги и положив руки под голову. Глаза ее были открыты.

— Синтия, сколько времени?

Она взглянула на часы.

— Пять минут восьмого.

— Сегодня воскресенье,— сказала я, думая о том, что на этот раз Синтии не удастся сделать вид, будто ее ждут на работе.

— Знаю, что воскресенье. Не дурочка.

Обычно воскресные дни были унылыми. По крайней мере во время каникул нас не заставят ходить в церковь. Дома же по воскресеньям мы постоянно спорили о том, кто должен на сей раз посетить храм божий. Отец считал, что нам необходимо время от времени появляться в церкви, показывая тем самым, что мы верим в бога, в которого и следовало верить, ибо он в конце концов создал все сущее, в том числе и миропорядок. Мать, у которой отец был викарием, а дед епископом, считала, что она и так родилась в лоне церкви и получила поэтому особое разрешение туда не ходить; а так как отец готов был скорее умереть, чем выдержать службу в одиночестве, то представлять семейство в церкви обязаны были дети. Мы не любили ходить в церковь. Синтия никогда этого не скрывала, а недавно просто вывела родителей из себя, решительно заявив, что ноги ее больше не будет на нудных богослужениях. Отказ Синтии не означал, что она не верит в бога,— ее раздражали церковные службы, скучные проповеди, обильно пересыпанные архаичными оборотами, и дурацкий обычай просиживать службу до конца; Синтия сидела на ней, упрямо сжав губы, ибо ничто на свете не могло заставить сестру повторять за священником слова проповеди или распевать псалмы, которые она терпеть не могла. «Это крайне нелепо и глупо»,— заявила Синтия, а когда ее обвинили в ереси, вместо того чтобы покаяться, высказалась еще более резко: «Это — сплошной обман!»

После одной из таких ссор я задала сестре вопрос, который поверг бы в ужас моих родителей, так как они сочли бы его недостойным людей порядочных:

— Ты что, не веришь в бога, Син?

Не могла же она и впрямь не верить.

— Не знаю,— безразлично ответила сестра.

Трудно сказать, о чем думала Синтия, когда мы молча лежали на кроватях, размышляя каждая о своем; а меня ожидал день, который принадлежал только мне, день, наполненный солнцем, морем, песком, скалами, бездонным небом и ярко-зеленой травой. В нем не было места людям. Они бы только мешали — мое представление о счастье не вязалось с людьми. Когда прямо у окна раздался пронзительный, тоскливый крик чайки, я приняла его за сигнал к подъему и выскочила из постели.

— Я хочу спуститься на берег, Син, ты скажи родителям, ладно?

— Скажи сама,— ответила сестра.

Я бросилась к выходу, но застыла на пороге бывшего зала кафе. Передо мной во всей своей отталкивающей наготе возникла картина нашего приезда; повсюду валялись вещи, поспешно брошенные вчера вечером, на всем лежал отпечаток усталости, неудовлетворенности, раздражения. Синтия прошла бы мимо этого чудовищного беспорядка, а я не могла. Однако я тут же с благодарностью вспомнила, что скоро приедет Беатриса: ей было велено сесть на первый автобус, идущий из Хьюэлла. Беатриса все приведет в порядок: ведь она обязана сделать это, не я. Значит, я могла уйти. Оставалось только черкнуть записку родителям, достать купальный костюм и полотенце, запастись едой, и я свободна.

Свободна! Весело резвясь, бросаясь то в одну, то в другую сторону, я пробежала по большому пустынному пляжу. Воздух был на удивление чистым, словно его, как и берег, за ночь омыло водой. Я чувствовала, что сегодня будет жарко — наступал один из последних в этом году по-настоящему летних дней. Подпрыгивая на одной ноге, я вывела большим пальцем другой свое имя — Нора, затем еще раз обвела буквы пальцем руки; волны, покрытые белым кружевом пены, снова и снова набегали на пологий берег и смывали буквы, оставляя за собой гладкий песок, будто на нем ничего и не было. Вскоре я нашла небольшую бухточку и выкупалась. Все шло по заранее намеченному плану. Я съела три имбирных печенья, которые взяла с собой из дома, а потом направилась к острову Блейзи-Хед посмотреть на тюленей.

Остров напоминал собой полумесяц, по краям которого стояли две остроконечные скалы; в бухте между ними и обитало стадо тюленей. Цепочка береговых рифоз защищала бухту от волн. Две скалы по краям острова были совсем не похожи одна на другую: одна смотрела на север и поднималась высоко из воды отвесным утесом, другая, пониже, спускалась гигантскими ступенями к морю и была обращена к Трису. Если соблюдать осторожность — а я всегда была очень осторожна,— можно было легко и без риска вскарабкаться наверх по ее гигантским ступеням, кое-где поросшим травой; я проделывала это уже не раз и повторила сегодня. Когда я добралась до того места, где всегда отдыхала, я доела печенье, оставив яблоко про запас, а потом принялась наблюдать за тюленями, целиком отдавшись этому серьезному занятию. Прямо подо мной в темно-зеленой воде лениво плавали два тюленя. Не знаю, сколько времени я внимательно следила за ними; думаю, что недолго. Мне не приходило в голову, что кто-то может наблюдать и за мной. Помню, неожиданно для себя я вдруг обернулась. К своему изумлению, я увидела мальчика.

Он был примерно моего возраста, в темно-бордовом шерстяном свитере, того же оттенка, что и наш «хамбер». Каштановые волосы его — не слишком темные и не очень светлые — цветом напоминали тюлений мех. Я перебралась на выступ, расположенный позади мальчика, и потому не могла как следует рассмотреть его лицо — мне была видна лишь часть щеки. Я подумала, что он, право же, устроился не в самом удачном месте. Мальчик сидел неподвижно на небольшом выступе, свесив ноги с обрыва. Время от времени он ударял пяткой по скале, не думая о том, что может сорваться вниз. Когда-то в своих самых дерзновенных мечтах я уносилась в такое же место — высоко-высоко над морем, в тень таинственной темной скалы, под которой плескалась синяя вода.

Почувствовав, что за ним наблюдают, мальчик неожиданно обернулся, и наши взгляды встретились. Мы застыли на месте, внимательно и без особой враждебности изучая друг друга. Внезапно смутившись, я вскочила на ноги и, не думая об опасности, стала быстро карабкаться вверх по склону скалы, обдирая колени и руки; добравшись до вершины, я бросилась вниз, будто за мной кто-то гнался, промчалась через весь остров, пробежала по мостику и остановилась лишь в бухточке, откуда начала свой путь; здесь наконец я почувствовала себя в безопасности.

«Кто этот мальчик? — спрашивала я себя.— Откуда он взялся здесь в такой ранний час?» Конечно, он не приехал издалека — в Трисе никто не останавливался. Там трудно было найти жилье. Туристы появляются в этих краях попозже, они приезжают на машинах, в рейсовых или туристских автобусах. Конечно, мальчик мог жить и в Трисе, но в это плохо верилось. Жители Триса не любили уходить далеко от своего вечно сырого, маленького поселка.

У мыса на зеленых волнах покачивались четыре-пять тюленей, но на прибрежных скалах никого не было. Мальчик исчез. Может быть, он сорвался с выступа и утонул,

но я не допускала такой мысли,— нет, в это я не верила. Не мог же он провалиться сквозь землю — его исчезновение не давало мне покоя.

Окончательно расстроившись, опасаясь неприятностей, я направилась в кафе по песчаному дну реки Крэнч; даже без часов я знала, что опоздала к обеду. А ведь это был наш первый день в Трисе. Меня неминуемо ждали неприятности.

6

Я была рада, что родители не обратили на меня внимания — по крайней мере сначала. Вместе с Синтией они молчаливо сидели под палящим солнцем на причале. Я сразу поняла, что они опять поссорились. Мать с отцом сидели неестественно прямо в своих шезлонгах. Напряженность их поз объяснялась тем, что поверхность причала была неровной и обычно устойчивые шезлонги шатались при малейшем движении. Мать держала над головой японский зонтик. Всем своим видом она показывала, что заслуживает и более яркого солнца, и более надежной защиты от его лучей.

Недалеко от родителей, прислонившись спиной к дощатой стене кафе, покрытой облупившейся белой краской, на диванной подушке сидела настороженная Синтия. На ее коленях, поднятых кверху, лежала раскрытая книга; Синтия делала вид, что читает, но по сосредоточенному выражению ее лица я догадалась, что она думает о другом.

Продолжая прерванный разговор, мать строго сказала, старательно подчеркивая каждое слово:

— Ведь я просила тебя, Бернард, привезти *их*.

— Знаю. Знаю. Как и целую кучу всего остального.

— Мне и в голову не могло прийти, что тебе будет так трудно взять с собой очки. Где ты пропадала, Нора? — строго спросила мать, меняя тему разговора, чтобы не выслушивать возражений отца.— Почему ты пришла так поздно?

— Я купалась.

— Весь день? Уже третий час.

Мать сердито посмотрела на меня. Мне был хорошо знаком этот взгляд. Она часто смотрела так на меня — на свою рослую угловатую дочь.— Мы давным-давно пообедали. Сходи на кухню, поешь там чего-нибудь.

— А Беатриса приехала? — спросила я.

— Да,— коротко обронила мать.— Явилась.

И по тому, как это было сказано, я догадалась, что скандал так или иначе связан с Беатрисой.

Мать оставила дома очки для чтения — из-за чего и вспыхнула ссора. Вчера вечером она велела отцу привезти их, когда он снова отправился за вещами, но отец вспомнил о поручении только в машине, уже включив мотор. Ему не захотелось возвращаться.

— Беатриса принесла бы их тебе через пять минут. Уж пять минут ты мог подождать, Бернард!

Но отец не стал ждать. Вместо этого он велел Беатрисе захватить очки, когда она поедет утренним автобусом в Трис, а Беатриса, обычно надежная, как гранитный утес, на этот раз подвела.

Теперь же отец отказался ехать назад. Неудобно было возвращаться в Хьюэлл на другой же день, и мать не настаивала, ибо тут их мнения совпадали. Оба не хотели показываться в Хьюэлле до самого конца нашего отдыха. На это время состоятельным людям надлежало покидать город. Отпуск, казалось, был ковром-самолетом, который поднимал вас в небо и уносил прочь от дома — кого всего лишь в Лафборо, кого в Монте-Карло или Венецию. Неважно куда. Но если на другой день после отъезда вашу машину увидят на улицах Хьюэлла, откроется унизительная правда: вы не уехали в Монте-Карло или хотя бы в Лафборо, а просто остались в городе; и вам поэтому никто не будет завидовать.

Я сидела на краю причала, ела холодного цыпленка, закусывая его вялыми листьями салата-латука, и с интересом смотрела на ручейки, рассекающие песок, они были крошечными притоками реки Крэнч; равнодушно, не вникая в суть дела, я слушала перебранку родителей за моей спиной; их ссора была как всегда пустой, нудной и бесконечной.

Внезапно вмешалась Синтия, проговорив звонким язвительным голосом:

— Я же вам сказала, что привезу очки. Дайте мне ключи от дома, и завтра после

работы я привезу их, мама. Все так просто. Зачем поднимать по пустякам столько шума.

— Не разговаривай с матерью таким тоном!

Но сама мать молчала, и это красноречивее слов говорило о том, что она терпеть не может, когда Синтия лазает по ее ящикам, и не доверяет дочери еще больше, чем Беатрисе.

— Может быть, лучше Нора привезет очки,— напрямик заявила Синтия.

Снова последовало молчание, но Синтия знала, что это предложение гораздо больше устраивает мать. Особое достоинство Норы состояло в том, что она казалась совсем безликой, и хотя порой неприятно было иметь такую бесцветную дочь, однако Нора раздражала мать гораздо меньше, чем непокорная Синтия. Все же в последнее время мать стала тревожиться из-за меня. Я подрастала, и мой недостаток, который казался в детстве божьим даром, в будущем не сулил ничего хорошего, грозя превратить меня в весьма заурядное создание. В последние месяцы я часто ловила на себе неприязненный взгляд матери; я догадывалась, о чем она думает: «Как использовать этот явно неходовой товар на благо семьи?..»

— Если уж ты не можешь обойтись без очков,— сказал отец,— пошли Нору: все равно лучше ничего не придумаешь, так ведь? Пусть едет завтра утром. Она, конечно, попусту потратит на автобус честно заработанные деньги, но это уж твое дело. Поступай как знаешь. Только не проси у меня денег.

Деньги, *честно заработанные деньги*, были основой, на которой держалась наша жизнь. С ними связывались все надежды, все неприятности происходили из-за их постоянной нехватки. В кругу нашей семьи о деньгах — фунтах или пенсах — говорили все время, к этому возвращались снова и снова, откровенно, грубо, зло, сурово, болезненно, навязчиво. Однако при посторонних о деньгах вспоминали редко: это следовало делать с показной беспечностью, иронической отрешенностью; нужно было слегка улыбнуться, усмехнуться или пожать плечами.

Когда родители решили, кто же из нас привезет очки, настало время сообщить об этом и мне, но у меня были свои планы. Я облизнула пальцы после еды и сказала, что хочу пойти по берегу в Трис к Беатрисе.

— Повидаться с Беатрисой? Это что еще за дурацкие выдумки? Ты только вчера попрощалась с ней.

Но я настаивала на своем. Прогулка в Трис была так заманчива. Поселок казался унылым, но в этом была и своя прелесть, а после того как там обосновалась Беатриса, его холодные неясные очертания уже не так отпугивали меня. Присутствие Беатрисы ставило меня совсем в иное положение; теперь я могла смело прийти туда, будто Беатриса завоевала Трис для Скоби, и я, как торговый корабль, получила право постоянно курсировать между кафе и поселком, приближаясь и удаляясь, когда мне заблагорассудится. Я сказала родителям, что найду чем заняться в Трисе.

— Что ж, очень хорошо, только захвати с собой сумку со штопкой,— сказала мать,— нечего Беатрисе сидеть вечерами сложа руки. Она вполне может и потрудиться, если учесть, во что она обойдется нам в этот отпуск.

— А как ты решила насчет очков — хочешь, чтобы Беатриса их привезла? Что мне ей передать?

— Ничего не надо. Завтра ты их привезешь или Синтия — там посмотрим. Скажи Беатрисе, что сегодня я приготовлю ужин сама. Побуду-ка лучше для разнообразия без нее; но завтра пусть приходит готовить завтрак. Когда ей лучше прийти, Бернард? В конце концов ведь мы отдыхаем. В девять? Скажи Беатрисе, Нора, что завтра мы будем завтракать в девять. И не забудь захватить кретоновую сумку. С этими чулками и носками ей хватит работы не меньше чем на неделю, но мы же платим за ее стол и жилье, причем гораздо больше, чем следует; спасибо твоему папочке — это он позволил мерзавцу Уиллису так себя провести. И передай Беатрисе: шерстяные нитки для штопки лежат внизу, под носками.

Я принесла из бывшего зала кафе сумку, крепко зажала ее в руке и спрыгнула с причала на берег. Высота была порядочной, и я постаралась приземлиться подальше от стены, чтобы не угодить на шероховатую бетонную полосу у ее основания. Я знала, что прыжок у меня получится: я умела хорошо прыгать и проделывала это уже не раз, только раньше на причале никого не было. Родителям моя смелая выходка показалась необычайной дерзостью.

— Это что еще за дурацкие штучки,— крикнул отец мне вдогонку.— Глупая девчонка, ты что, захотела свернуть себе шею?

Мать, раздраженная не меньше, чем отец, возмущенно воскликнула:

— Сумасшедшая! Почему ты, как все, не спускаешься по ступеням? Тебе пора научиться вести себя прилично. В твоем возрасте так уже не скачут — это просто смешно!

Я не ответила. Свое отношение к ним я выразила, спрыгнув с причала и таким образом избавившись на время от их общества. Я обрызгалась с ног до головы, попав прямо в один из многочисленных ручейков, протекавших возле кафе. Я замочила ноги, забрызгала лицо, платье, вся промокла. И пошла прочь от родителей, продвигаясь наискосок от кафе к той оконечности бухты, где притаился Трис.

7

В этом году Беатриса впервые проводила отпуск вместе с нами. Прежде, когда мы уезжали к родственникам в Лафборо или Лондон, она отдыхала у своих родителей, которые жили в сельской местности приблизительно в двенадцати милях от моря. Беатриса дважды брала меня с собой. Я никогда не забуду этих поездок, хотя и была тогда совсем маленькой.

Родители Беатрисы были сгорбленными, низенькими старичками. Отец ходил дома в кепке, и меня поражали его руки — прежде я никогда не видела ничего подобного. Они казались огромными на фоне его маленькой сухонькой фигурки, пальцы были так скрючены, что он с трудом удерживал чашку с чаем. Всю жизнь отец Беатрисы проработал на ферме. Как-то раз вскоре после этой поездки моя мать говорила с приятельницей о Беатрисе; я вступила в беседу, заявив, что отец нашей служанки фермер. Помню, как я удивилась, когда мать резко оборвала меня:

— Какая чепуха, Нора, старый Яннон никогда не был фермером, он — сельскохозяйственный рабочий.

Я долго не понимала, в чем тогда ошиблась и что имела в виду моя мать.

У Беатрисы было три брата, которые работали на той же ферме, что и старик отец, а также сестра Ви — она присматривала за домом и заботилась о братьях и стариках. Помню, в тот первый приезд я была еще очень маленькой — не более пяти-шести лет,— и все Янноны окружили меня, ласково улыбаясь. Я никогда не видела столько улыбающихся лиц сразу. Припоминаю, меня еще удивило, что Беатриса чем-то отличалась от своих родных, но она не была и такой, какой я привыкла видеть ее в Хьюэлле. Однако я не могла с точностью сказать, что же нового появилось в Беатрисе и чем она была не похожа на остальных членов своей семьи.

Все это происходило весной, и дорожка за домиком Яннонов утопала в цветущих примулах. Старая миссис Яннон разрешила мне нарвать их столько, сколько я пожелаю; цветов набралось очень много, я изо всех сил сжимала потными руками букет, и примулы из-за этого вяли; автобус, который вез нас домой, был усыпан желтыми лепестками; мама отругала меня за то, что я привезла так много цветов, а Беатрису за то, что она позволила мне это сделать. У нас не хватало банок, чтобы расставить примулы, и я не знала, куда их деть.

Несколько лет спустя я опять приехала летом к родным Беатрисы; на этот раз меня больше всего поразил их сад, в котором был использован каждый клочок земли. Одна его половина была разбита на аккуратные ровные грядки — там росли овощи; другая утопала в ослепительно ярких цветах, посаженных в полнейшем беспорядке. Я жила в городе, привыкла к морю, песку, тротуарам. Запах всех этих цветов, собранных вместе, великолепие их красок опьянили меня.

— Мама так любит цветы,— сказала мне Беатриса, как бы извиняясь за их обилие.

А в тот памятный сентябрь 1937 года мы взяли Беатрису с собой, ибо просто не могли прожить без нее две недели в столь трудных условиях. Сначала родители долго решали, где поселить служанку. Мне с Синтией отвели комнату при кафе, но даже если бы там поместилась еще одна кровать, Беатриса, простая служанка, конечно, никак не могла спать вместе со Скоби. Я предложила отдать эту комнату Синтии и Беатрисе, а самой устроиться в гостиной на старом плюшевом диване с продавленными пружинами; я исходила отнюдь не из благих побуждений — просто мне это куда больше нравилось. Однако от меня отмахнулись, как от надоедливой мухи. Целая рота

Беатрис могла жить в просторном зале для посетителей, но и это не устраивало родителей, как как мать отказывалась есть там, где будет спать прислуга. Она не хотела и слышать об этом. Даже представить себе такое ей было противно. Держи потом открытыми окна и двери хоть целый день — все равно не избавишься от дурного запаха; на мать не подействовало даже замечание отца о том, что ей не помешало бы поторчать в окопах.

Родители никак не могли решить эту проблему. Но вдруг отец вспомнил об Уиллисе, стороже сестер Тиллс-Митсон, который жил в Трисе. У него и в лучшие-то времена не было за душой ни гроша, а теперь, как считали родители, дела пошли еще хуже, потому что кафе закрылось. Наверное, он с радостью согласится поселить у себя Беатрису за несколько шиллингов. «Мы выручим его, беднягу»,— сказала мать. Пожалуй, она больше никогда не говорила о нем с таким участием.

Родители считали себя благодетелями. Они чуть ли не спасли родных Беатрисы, которым не придется кормить ее две недели, да и самой служанке была дарована неслыханная милость — провести отпуск вместе с хозяевами. Это как бы уравнивало ее с нами. Будем вместе делить все тяготы и неудобства. Как все чудесно складывалось! Родители постоянно подчеркивали, что для Беатрисы это тоже отдых, хотя ей и придется готовить завтраки и обеды, мыть посуду и выполнять обычную домашнюю работу. Конечно же, на время «отпуска» жалованье Беатрисе не положено.

Часами родители обсуждали, сколько надо платить Уиллису. Какую бы сумму они ни называли, она казалась слишком большой; родители все уменьшали и уменьшали ее. В конце концов, рассуждали они, Уиллис должен будет кормить Беатрису лишь легким ужином — ведь эти люди едят как следует за обедом в полдень. Они в общем-то и не ужинают по-настоящему. Только пьют чай, едят вареные яйца да хлеб с маргарином — вот и все. «Они выпивают океаны чая с сахаром,— с отвращением говорила мать,— этой темно-коричневой бурды с горой сахара и *консервированным молоком,*— какая ужасная гадость! Мы по крайней мере отучили Беатрису от этой привычки, хотя картошку она любит по-прежнему». Мать уверяла, что Беатриса объедается картошкой и из-за этого так толстеет. Эти люди живут на одной картошке! Так что Уиллисам, у которых к тому же собственные куры, будет не трудно раз в день накормить Беатрису, а все, что они получат сверх стоимости ужина, пойдет им в карман. Так, беспрестанно обсуждая этот вопрос, родители наконец установили сумму, показавшуюся им подходящей платой за стол и жилье служанки. Теперь я не помню этой цифры, а может быть, никогда и не знала ее, но думаю, что она была поистине мизерной. К ней родители решили прибавить кое-какую одежду, из которой я выросла.

В субботу, за неделю до отпуска, родители отправились на машине в Трис, чтобы сообщить Уиллису о нежданном благодеянии, которое должно было свалиться на его голову, словно манна небесная. Я любила бывать в Трисе и поэтому попросила родителей взять меня с собой; они согласились. Стоял чудесный августовский вечер, пропитанный всеми ароматами лета. Мы вышли из машины на небольшой лужайке у эллинга и направились по посыпанной песком дорожке к жилищу Уиллиса. Однако его, к полнейшему разочарованию родителей, не оказалось дома. Жена Уиллиса стояла, прислонившись к дверному косяку, и смотрела на нас сверху; она выслушала предложение без единого слова. Женщина держала на руках малыша, другой ребенок выглядывал из-за ее спины. По дороге домой мать заметила, что ей не очень-то понравилась миссис Уиллис — настоящая цыганка. Отец сказал, что жена сторожа — просто неряха. Родители были разочарованы. Миссис Уиллис не поблагодарила их, не обрадовалась новости и вообще не проявила особого интереса. Она даже не улыбнулась. Разве эти люди умеют себя вести!

На следующий день Уиллис неожиданно пришел сам, постучавшись у черного хода. Он сказал Беатрисе, что хочет поговорить с мистером Скоби. Беатриса с растерянным видом вошла в гостиную и позвала отца; он не спеша отложил газету и, готовясь выслушать слова благодарности, направился в кухню. Вскоре я услышала сердитый голос отца — он вообще был очень раздражительным человеком. Ему возражал Уиллис— глуховато, словно рычал разъяренный пес. Голос сторожа пугал и завораживал меня. Отец вернулся в гостиную и долго шуршал газетой. Он был очень расстроен. Более того, отец был напуган, да-да, я не сомневалась в этом. Он нагрубил матери. Даже не позволил ей ринуться на кухню и самой побеседовать с Уиллисом, как она хотела; он воспротивился этому с такой еле сдерживаемой яростью, что мать не осмелилась ослушаться. К тому же он не захотел подробно рассказать, что произошло на кухне.

Последствия разговора были слишком неприятными, чтобы их еще и обсуждать: отец согласился платить за содержание Беатрисы чуть ли не вдвое больше, чем намечали родители.

— Какой нахал! Как он посмел! — воскликнула мать, в негодовании вскакивая со стула, хотя Уиллис уже ушел.— Почему мы должны столько платить, хотелось бы знать?

— Неважно почему,— ответил отец,— но я уже согласился.— И чтобы не продолжать разговора, он с еще большим раздражением зашуршал газетой.

— Это грабеж среди бела дня! Я не понимаю, Бернард! Как ты мог допустить, чтобы этот человек навязал тебе свою волю? Что за наглость! Ты должен был твердо стоять на своем. Почему ты не дал мне поговорить с ним?

— Потому что это бессмысленно,— сердито ответил отец.— У нас нет другого выхода. Ведь Беатрисе нужно где-то жить, верно? Уиллис сказал, что он сдаст комнату только за свою цену и не уступит ни гроша. Я мог согласиться или отказаться, да или нет.

Они сердились друг на друга и на Уиллиса. Какой прохвост! К тому же Уиллис, наверное, нарочно отказался от одежды и сделал это довольно грубо, чтобы досадить родителям. Одним словом, худшего начала и быть не могло. И все-таки, несмотря на возмущение родителей, сделка состоялась. Как сказал отец, другого выхода у нас не было.

8

Семья Уиллисов жила в одном из выстроившихся в ряд небольших домиков, сложенных из серого камня и крытых шифером; они были слишком высоки для дачных коттеджей. К входной двери каждого домика вела лестница с железными перилами. Дорога здесь довольно круто поднималась вверх, поэтому лестница, идущая к дому Уиллиса, первому в ряду, была самой длинной.

На верхней ступеньке сидела маленькая худенькая девочка лет пяти с куклой в руках. Я спросила у нее, где Беатриса; вместо ответа девочка медленно поднялась, не спеша спустилась вниз, держась за железные перила, и прошла мимо, внезапно стрельнув на меня черными, как уголь, глазами. Мать говорила, что миссис Уиллис похожа на цыганку, а эта девочка легко могла сойти за маленькую цыганочку. У главы семьи тоже были темные волосы; все в этой семье были смуглыми и темноволосыми. По случайному совпадению и моя мать была брюнеткой, но в отличие от Уиллисов — белокожей; поэтому, вероятно, ей никогда не приходило в голову сравнивать себя с цыганкой.

Девчонка побежала за дом по узкой дорожке, обсаженной деревьями. Я слышала, как она кричала: «Мама! Мама! Кто-то пришел!» Я терпеливо ждала, однако вскоре появилась не миссис Уиллис, а Беатриса.

Наша служанка выглядела необычно. Я не сразу догадалась, что она надела свой выходной наряд. Она была в фетровой шляпке и своем лучшем летнем платье из бледно-голубого бумажного крепа, напоминавшем жоржетовое платье моей матери. Это сходство было, конечно, не случайным. Беатриса изо всех сил старалась, чтобы ее немногочисленные выходные платья были похожи на туалеты миссис Скоби, хотя это вовсе не нравилось матери, а скорее раздражало ее: мать считала, что служанка поступает бесцеремонно. Но цвета они любили разные: Беатрисе нравились пастельные тона, которые матери казались безвкусными, она предпочитала броские, яркие краски: бордо, темно-фиолетовый и электрик, выгодно оттенявшие ее бледную кожу и вьющиеся волосы,— густые и темные, коротко подстриженные сзади, они низко спадали на лоб, придавая матери удивительное сходство с портретами дам времен Эдуарда VII.

— Я так и подумала, что это вы,— не очень обрадованно сказала Беатриса.— Что ж, пойдемте в дом?

Я согласно кивнула и прошла вместе с ней за угол. Домики стояли на площадке, разбитой на крутом склоне холма, позади них был узкий проход, на который выходило шесть дверей. В самом начале прохода стояла общая уборная, на другом конце — колонка.

За окном кухни вздымался обрывистый склон холма, поэтому в комнату проникало мало света; на кухне было не только жарко, но и душно — просто нечем дышать. Задняя дверь, ведущая прямо на кухню, была широко распахнута, но свежий воздух почти не проникал сюда. Конечно, кухню никогда не нагревали солнечные

лучи, поэтому в плите слабо горел огонь, на котором стоял чайник, и я слышала, как миссис Уиллис однажды говорила Беатрисе, что огонь поддерживается постоянно — зимой и летом. Плиту топили плавником — море с избытком выбрасывало его на корнуоллский берег. Я и не подозревала, что обломки дерева и всякий мусор, валяющиеся повсюду на берегу после шторма, служат даровым топливом для местных жителей.

Миссис Уиллис, женщина высокая, стояла возле плиты, поставив ногу на край духовки. По-моему, только эта часть ее тела порой отдыхала. В дальнейшем я видела, как жена сторожа стирала, мыла посуду, гладила, готовила или вязала и при этом всегда была на ногах. Возможно, миссис Уиллис и присаживалась, чтобы поесть, однако я не припомню такого случая. Я и сейчас вижу, как эта высокая, худая, темноволосая женщина стоит у плиты и, лишь очень устав, прислоняется плечом к стене; у нее мрачный, сосредоточенный взгляд — возможно, из-за бесконечных домашних дел или смутного опасения, что когда-нибудь они и впрямь будут завершены. Когда я вошла в кухню вслед за Беатрисой, миссис Уиллис держала в руках чашку чая; она посмотрела на мужа, и тот, не вставая со стула, потянулся назад и достал еще одну чашку из кухонного шкафа. Миссис Уиллис взяла ее, наполнила и протянула мне. Никто из них даже не улыбнулся. Совершенно растерявшись от такого приема, я обернулась, ища поддержки у Беатрисы, а та в ответ пододвинула ко мне сахарницу.

Кухня была тесной и казалась еще меньше от того, что в ней собралось столько народу, а также из-за множества выглаженных простыней, висевших, словно флаги, над головой, и массивного выскобленного стола из сосновых досок, который стоял посередине. Кроме этого стола, нескольких стульев со сплошными деревянными спинками, шкафа да разной утвари, в кухне ничего не было. Высоко над очагом висела зеленая полка, на ней расположилось рядком несколько потрепанных книг. Раковина находилась под окном.

Уиллис сидел за столом в единственном кресле с подлокотниками — к сиденью и спинке его были привязаны подушки, дабы было заметно, что это — кресло главы семьи. Мне подумалось, что у хозяина какой-то странный вид; он сидел в своем кресле без пиджака, в подтяжках и грустно о чем-то раздумывал; Уиллис был крупным, но изможденным мужчиной со впалыми щеками и большими вислыми усами; он дышал так хрипло и тяжело, что было слышно в соседней комнате. Прежде я никогда не находилась столь близко от Уиллиса, и мне стало страшно, будто я отважилась войти в клетку к дикому зверю. У меня заколотилось сердце, когда я вспомнила, как громкий голос этого человека, теперь такой спокойный и ровный, долетал до меня дома в Хьюэлле через закрытые двери кухни, пугая своей озлобленностью. Каким же он был на самом деле, этот Уиллис? Я, конечно, часто видела его, но знала о нем только по слухам, а они были разными: сестры Тиллс-Митсон уверяли, будто не представляют себе, как бы они управлялись в кафе без Уиллиса, а моя мать называла его не иначе как «этот тип» и говорила, что не понимает, как Мейбл и Корди терпят его. Один раз, завидев отца, Уиллис даже не поднял головы и не потрудился дотронуться до кепки в знак приветствия, а продолжал чинить забор; отец сказал тогда, что этого парня следовало бы слегка погонять — заставить помаршировать с полной выкладкой.

Я тихонько устроилась возле Беатрисы и незаметно разглядывала Уиллиса из-за ее плеча, а дети разглядывали меня. Их было четверо, включая малышку. Один мальчик терся о колени отца. Другой, постарше, сидел на полу в углу, уставившись во все глаза на меня. Малышка слегка раскачивалась из стороны в сторону в своей необычной люльке, похожей на пресс для теннисных ракеток, подвешенный к потолку. Девочка, с которой я разговаривала на улице, предусмотрительно вцепившись одной рукой в передник матери, сунула большой палец в рот и посматривала на меня.

Беатриса не сняла шляпки — этого требовали, по ее мнению, правила хорошего тона; прерванная моим приходом беседа возобновилась, вежливая и учтивая, под стать этой шляпке. Уиллис подробно расписывал свои поездки в деревню Беатрисы, где побывал дважды, а наша служанка подсказывала имена односельчан и говорила в основном о родственниках, а также о болезнях людей, которых упоминал Уиллис. Разговор доставлял Беатрисе огромное удовольствие, она очень оживилась.

Хозяин дома, расположив таким образом к себе Беатрису и найдя с ней общий язык, заметил, что сама она не похожа на уроженку Корнуолла; Беатриса сразу согласилась, что у нее и впрямь не корнуоллская внешность: все в ее семье, как и она, были светловолосыми и белокожими. На это Уиллис возразил, что внешность бывает

обманчива. Его жена, к примеру, на вид корнуоллка до мозга костей, а между тем ее прапрадед, отличный каменщик, осевший в этих местах, приехал с севера.

— Он и выстроил этот дом, мисс Яннон. И шесть остальных, всю улицу, камень к камню, своими руками; по-моему, он поработал на славу — они стоят так же прочно, как и в тот день, когда прапрадед жены покрыл их крышей.

Я чуть не прыснула, когда услышала, что Беатрису назвали «мисс Яннон». Я подумала, что ей, наверное, тоже смешно, и искоса взглянула на нее, но лицо Беатрисы было совершенно непроницаемо и серьезно, будто только такого обхождения она и заслуживала. Я удивилась: неужели в нашей служанке и впрямь таилась мисс Яннон?

А Беатриса с Уиллисом все продолжали делиться воспоминаниями. Отец миссис Уиллис не захотел строить дома, как это искони делали все мужчины в ее семье, а стал корабелом. Он приобрел специальность на Нэнкэрронской верфи в Хьюэлле.

— Он не учел, этот парень, что время для такого дела выбрал неподходящее,— продолжал Уиллис.— Никому это не нужно было — все равно что считать галок в небе. Ни тогда, ни потом, в последние, скажем, тридцать пять лет у нас не было особого спроса на корабелов, как и на строителей на севере Англии, откуда приехал прадед моего тестя. Корабли кораблями, а со временем тесть стал отличным плотником. Он понимал кое-что в жизни кроме ремесла, старый Сэмюел Ходж, но у него не было сына, поэтому он передал свои знания мне вместе с книгами — вот они, его книги,— сказал Уиллис, кивая головой в сторону полки над очагом.— Все они до единой принадлежали ему, пока не перешли ко мне. В молодости у меня не было своих книг, да я и не знал, что они есть на свете и зачем нужны,— ведь я был простым рыбаком, вот так-то. Если б не тесть — хотя, между прочим, я не был женат в ту пору, когда жил на другом конце улицы в шестом доме,— так вот, если б не тесть, не думаю, чтобы я разобрался когда-нибудь, что к чему. Только он научил меня думать. Что ж, кто-то должен научить уму-разуму, верно? Взять да крутануть тебя так, чтобы ты держал нос по ветру, разобъяснить, что к чему,— это, по-моему, просто необходимо, когда ты молод да еще и зелен, как трава, вроде меня в ту пору. Вот я вернулся с войны, он и растолковал мне, старый Сэмюел Ходж, за что я дрался, все это было непохоже на то, чем нам забивали голову в армии. Между прочим, я не поверил ему, по крайней мере вначале, но его слова глубоко засели у меня в мозгах. Я не смог их забыть. Человек может все увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами, мисс Яннон, но от этого он не всегда становится умнее. А старый Сэмюел Ходж научил меня думать обо всем, что я видел и слышал, пробовать жизнь собственными кишками и брюхом — вот за что я благодарен своему тестю, мисс Яннон. Что ж тут хорошего, когда у тебя больное сердце, перелом позвоночника и одышка, правда? Ведь должен же ты знать, почему заработал все это?

Беатриса с беспокойством посмотрела по сторонам. Кишки и брюхо — это было сказано резко и грубо; конечно, не стоило произносить при мне эти слова. Я видела, что Беатриса смущена разговором, который как-то ушел от знакомой и потому милой ее сердцу темы. Я тоже удивилась этому. Но не была смущена, как Беатриса, а скорее разволновалась. Мне хотелось, чтобы Уиллис продолжал говорить, и я сердилась на Беатрису, так как боялась, что ее замешательство остановит его; но Уиллис не обратил на это внимания.

— Дело в том, мисс Яннон,— не спеша продолжал он, как бы взвешивая каждое слово,— дело в том, что человек должен сам докопаться до правды. Он не может и не обязан доверять каждому. Ведь твой отец не хотел, чтобы ты нанималась к Карлайлам, верно, Джессика? Но ты твердо вбила это себе в голову и считала тогда, что знаешь лучше других, как тебе поступить. «Если хочешь работать у Карлайлов, девочка, ступай,— сказал тесть. Я до сих пор помню его слова.— Ты уже достаточно взрослая»,— вот что говорил тебе отец.

— Вы работали у самого полковника? — спросила Беатриса с уважением и вместе с тем удивленно.

Миссис Уиллис вязала крючком, стоя у плиты. Она кивнула в ответ. Мне показалось, что она несколько насмешливо посмотрела на Беатрису. Тогда я не поняла почему.

Маленький Сэм Уиллис сидел на полу в углу кухни и жадно впитывал рассказы отца. Став взрослым, он, как писалось в хьюэллской «Газетт», побывал в Австралии, Америке и, возможно, в других местах и, безусловно, не полагался лишь на советы отца, а наверняка сам доискивался до сути вещей. Мне хотелось бы знать, что заставило

его тридцать пять лет спустя произнести речь в ратуше Хьюэлла и призвать своих слушателей не ступать на путь, ведущий к их собственной гибели.

Беатриса робко заметила, что никогда не видела такой удивительной люльки.

— Да, такой нигде не сыщешь,— ответила миссис Уиллис.— Ее смастерил мой отец. Еще для меня. Можно сказать, изобрел.

— И как он додумался,— с невольным восхищением проговорила Беатриса.

— Додумался? Уж он-то был горазд на разные штуки,— ответила миссис Уиллис.— Отец сделал люльку, чтобы освободить место для стола, без которого прямо-таки не мог жить. Этот стол всегда был завален разными бумагами отца. Там лежали всякие рисунки, чертежи камбузов и рубок придуманных им кораблей. Труднее всего было достать бумагу; стоила она слишком дорого, да и не всегда продавалась, поэтому отец пускал в ход все, что попадалось под руку,— газеты, бумажные пакеты из-под продуктов.— Миссис Уиллис с матерью старались сохранить каждый клочок, и если видели какой-нибудь обрывок, валявшийся на песке или подгоняемый ветром по дороге, они подбирали его для отца. Но он делал не только чертежи судов.

— Отец без конца что-нибудь изобретал. Его голова была полна всяких выдумок. Часто он их забрасывал; что тут поделаешь? У отца не было материала и денег, чтобы его купить. Какая жалость, скажи, Альфред?

— У тестя были золотые руки,— отозвался Уиллис; он говорил медленно, как бы взвешивая каждое слово.— Взять хоть эту кухню, мисс Яннон,— здесь все напоминает о нем. Тесть сколотил стул, на котором вы сидите, кухонный шкаф позади меня, все, что здесь из дерева,— его работа. Но Сэмюел Ходж был не только хорошим мастером. Он еще и шевелил мозгами. Как говорит жена, его голова была битком набита всякими выдумками, этого у него не отымешь. Сызмальства его не больно-то пичкали знаниями, да и где ему было их набраться в те времена. Правда, по-моему, ребят и теперь не больно-то учат, а? Этих учителей только на то и хватает, чтобы потолковать понемногу о том о сем, а потом вон из школы и барахтайся сам как знаешь. Что, я не так говорю?

Неужели поверхностные знания — это все, что давали в школе? Неужели учителей действительно хватало только на это? О чем он говорит?

— Да, тесть мог сделать все что угодно, все, что задумал и к чему хотел приложить руку, но школа тут ни при чем. Как вспомню Сэмюела Ходжа,— продолжал Уиллис, подавшись через стол к Беатрисе и неотрывно глядя своими огромными горящими глазами в ее голубые глаза, которые, казалось, робко упрашивали его замолчать,— так и думаю, мисс Яннон, что зазря он талант свой угробил. Все прахом пошло! Здесь, в Трисе, он жил, здесь умер, и все, что в нем было от бога, пошло прахом — закончил Уиллис; он откинулся назад, не сводя глаз с Беатрисы, которая, не сказав ни слова, только сочувственно покачала в ответ головой.

Сэм угрюмо смотрел в одну точку из своего угла, другой мальчик прижался к коленям отца, Энни ухватилась за передник матери, малышка спокойно раскачивалась в своей люльке из стороны в сторону; все молчали. *Прахом пошло!* Как жутко звучали эти слова в воскресный день в темной и душной кухне. Я больше не могла этого вынести. Я залпом выпила чашку чая с довольно приятным привкусом сгущенного молока, а потом быстро и неуклюже вскочила, сказав, что мне пора идти.

— Беатриса, мама велела передать тебе штопку. Мама сказала, что сегодня вечером ты можешь отдохнуть, она сделает ужин сама, но завтра ты обязательно приготовь к девяти завтрак. Синтия уедет восьмичасовым автобусом, так что она, наверно, поест раньше. Обо мне тоже не беспокойся, я не буду торчать дома до девяти — убегу на море.

— Вы пойдете мимо домика миссис Петтигру, так что, может, занесете ей белье,— сказала миссис Уиллис.— Выручите нашу Элен, чтоб ей не пришлось сразу же идти обратно, когда она, наконец, доберется домой.

Дернув за веревку, миссис Уиллис опустила сушилку для белья, подвешенную под потолком, как и люлька, и стала снимать простыни и наволочки и аккуратно складывать их на столе. Я привыкла выполнять разные поручения, но бедняки вроде миссис Уиллис никогда не разговаривали со мной таким тоном. Может быть, она забыла, что я Скоби? А миссис Уиллис все складывала и расправляла белье, как всегда полностью уйдя в себя. Быть может, она забыла обо мне? Я не знала, как поступить, и посмотрела на Беатрису, ища поддержки, но та отвела глаза. Беатриса не захотела прийти мне на помощь. В этом доме мы с ней были чужими друг другу.

— А кто это — Элен? — спросила я. Меня неприятно поразило, как обыденно про-

звучало в устах похожей на цыганку миссис Уиллис это христианское имя, священное для меня имя моей матери.

— Это наша старшая девочка, ей только десять. Да, она еще маленькая,— проговорила миссис Уиллис, обращаясь к Беатрисе,— но что поделаешь; я ей разрешила помогать по дому миссис Петтигру, когда нет уроков. Сегодня там не так уж много работы — мытье посуды да всякие мелочи, которыми грешно заниматься жене священника в день, отведенный богом для отдыха. Но наш создатель милостив к детям,— сухо добавила миссис Уиллис,— Элен говорит, что в будни в доме только и делают, что все чистят — вылизывают мебель, трут полы. Дочка рассказывала — столы у них блестят, как зеркало. Часто удивляюсь, зачем это? Ну ладно там драить плиту или медную посуду, чтоб она сияла, но то и дело тереть столы и стулья? Зачем? Ведь блеском сыт не будешь, правда? — сказала миссис Уиллис и замолчала, прижимая ладонями стопку белья, лежащего перед ней.

— Я смотрю, белья получается многовато,— сказала Беатриса, переводя разговор на другую тему.

Миссис Уиллис положила простыни на скатерть и завязала ее. Я с трудом подняла узел.

— Ничего, Беатриса, донесу.

— Она вроде крепкая девочка,— проговорила миссис Уиллис, впервые за весь день обратив на меня внимание. Мне показалось, что жена сторожа посмотрела в мою сторону с одобрением, и это было приятно. Я бы расстроилась, если б миссис Уиллис невзлюбила меня. К тому же я обрадовалась возможности заглянуть в домик миссис Петтигру.

9

Босиком, с тяжелым узлом в руках, я еле вскарабкалась вверх по крутому склону. Там, на ровной площадке, я присела отдохнуть. Спешить было некуда. Отсюда открывался вид на всю бухту, лежавшую под огромным безбрежным небом; неровная полоса мокрого песка поблескивала под лучами солнца, вдали искрились набегающие на берег волны. Я заметила четырехчасовой автобус, направлявшийся в Хьюэлл; он с шумом промчался мимо, унося с собой расплывчатые очертания незнакомых лиц; я поднялась и пошла дальше.

У обоих домиков были одинаковые входные двери, к ним вели короткие, круто поднимающиеся вверх дорожки, посыпанные гравием. Перед домиками были разбиты маленькие, совершенно непохожие друг на друга сады. Мистер и миссис Петтигру — удалившийся от дел баптистский священник и его жена — любили коротко подстриженную траву, розы, герань, львиный зев и лобелию, посаженные аккуратными рядами; соседний сад, который принадлежал инженеру в отставке, вдовцу или холостяку — этого точно никто не знал,— хозяин украсил лабиринтом декоративных гротов. Оба садика были ухожены — ни одной сорной травинки. Я страстно хотела заглянуть в окно к миссис Петтигру, когда проходила мимо, но удержалась; это сочли бы невежливым. Я позвонила и не успела еще отнять палец от кнопки, как миссис Петтигру открыла дверь.

— Обойди, пожалуйста, вокруг дома и передай белье со двора, милочка,— сказала она.

Я постучалась с заднего хода, мне открыла маленькая худенькая черноволосая девочка, очень похожая на Энни, только чуть постарше.

— Твоя мама просила передать этот узел, потому что я все равно шла мимо,— тут белье миссис Петтигру.— Я успела увидеть натертый до блеска пол.— Ты Элен Уиллис?

Девочка утвердительно кивнула. Нигде не было видно следов мальчика в бордовом свитере — книги или одеяла, оставленного на траве. Почему-то мне пришла в голову нелепая мысль, что он живет здесь или в соседнем домике. Я медлила, не зная, спросить о нем или нет и как это сделать. Элен все еще стояла у открытой двери, ожидая, пока я уйду. Я решилась наконец спросить Элен, но произнесла слова так невнятно, что она не расслышала, и тут из кухни показалась миссис Петтигру. Должно быть, она подслушивала.

— Что такое, Элен? Что ей надо? Ты кто такая?

— Я принесла вам белье от миссис Уиллис, вот и все.— Я угрюмо смотрела на

нее, стесняясь своих грязных босых ног.— Я не обязана была это делать. Я — Нора Скоби.

— Ах, вот как. Что-то я тебя не знаю.

— Мы живем в кафе «Роза».

— Но оно пустовало все лето. Оно закрыто.

— Мы сняли его на время отпуска,— мрачно ответила я.— Мы дружим с сестрами Тиллс-Митсон.

— Ах, вот как,— снова проговорила она.— Все ясно.— Миссис Петтигру даже не сказала «спасибо». Вместо этого она окинула меня с головы до ног подозрительным взглядом, словно окончательно убедившись, что я замышляю недоброе.

В кафе я застала мать одну. Она полулежала в неудобной позе на плюшевом диване с продавленными пружинами, стоявшем в гостиной сестер Тиллс-Митсон; у нее болела голова, поэтому она была очень раздражена. Очевидно, отец уехал на машине полюбоваться окрестностями.

— Полюбоваться захотел! — недовольно воскликнула мать.— Не понимаю, что он надеется увидеть в этой дыре. Почему тебя долго не было, Нора? Ты, как всегда, на редкость медлительна. Я просто умирала — так хотелось выпить чашку чая, и ни души рядом, чтобы приготовить его для меня.

— А где Синтия?

— Синтия? Откуда я знаю? Когда, скажи, пожалуйста, твоя сестра считалась с кем-нибудь, кроме себя?

Я вспомнила о четырехчасовом автобусе, который проскочил мимо меня. Не ее ли голубой платок в белый горошек мелькнул в окне, когда его обладательница быстро отвернулась?

Я тут же поспешила сказать первое, что пришло в голову:

— Одну из дочерей Уиллиса, старшую, зовут Элен.

Мать с трудом приподнялась и села.

— Не Элен, а Эли, глупышка. Это только звучит похоже. Они не назовут свою дочь Элен.

Я ничего не стала рассказывать матери... Просто вежливо ее слушала, пока она не пришла в себя и ей не надоело мое молчаливое общество. Она отпустила меня и сказала, что вернется в вагончик и будет писать письма на веранде.

Она обожала это занятие. Оно было чуть ли не самым важным для нее делом. Мы жили почти без друзей, поэтому мне неизвестно, кому предназначалось множество страниц, исписанных ее ровным четким почерком; возможно, она и сама не знала, выдумывая адресатов, как и многое другое в жизни. Нужно же было кому-то излить душу. На самом деле она писала себе и для себя, ни слова не говоря о неприятностях и убожестве окружающего, уходя от нашей унылой жизни; она приукрашивала ее, делала такой, какой хотела видеть в мечтах. В письмах, написанных сегодня на убогой, как ей казалось, веранде старого вагончика, покинутого сестрами Тиллс-Митсон, несомненно будут содержаться описания здешних красот, не имеющие ничего общего с подлинным мнением матери о том, что ее окружает. Нужно же было ей в чем-то найти утешение

А я всем сердцем желала подольше остаться в Трисе, в кафе «Роза», хотя еще и не подозревала об этом, когда в конце воскресного дня забрела на остров Блейзи-Хед.

Только прошлое открыто вашему взору. Оно стелется ясной дорогой позади вас, тогда как будущее смутно вырисовывается впереди, словно туннель, во мраке которого вы вынуждены непрерывно плутать, если только из трусости или малодушия не остановитесь у входа и не повернете назад Таким по крайней мере мне всегда представлялось будущее. Однако теперь я сомневаюсь — так ли это на самом деле? Может быть, другие ясно видят, куда им идти? Знал ли Сэм Уиллис, к чему стремился? Или и для него будущее было темным туннелем? А если нет, то почему? Во всяком случае он-то не мешкал у входа и не бежал назад.

10

Я облокотилась на перила пешеходного мостика, испещренные надписями, потом наклонилась над водой и долго смотрела на неугомонный поток, стиснутый берегом бухты и островком Блейзи-Хед. Говорят, что когда-то один из кораблей Непобедимой Армады разбился у северной оконечности острова о высокий крутой утес, прозванный Испанской скалой. Так это или нет, но море здесь бурлило больше всего, волны били

в утес с неистовой силой, вздымая высоко вверх целые тучи брызг, которые порой обрушивались на мостик. Море бросало все новые волны в узкий проход, они то с шумом сталкивались, то тесно бежали вместе или рвались вперед, набегая друг на друга, чтобы потом разойтись по морской глади белой бурлящей пеной, нарушая безмятежный покой Трисской бухты. Трудно было поверить, да я в глубине души и не верила, что этой клокочущей стихией управляют законы инерции, а не таинственные силы, одержимые нетерпением или злобой, безысходностью или отчаянием.

Во время отлива, когда отступало море, из-под воды появлялась цепочка камней, по ним можно было добраться с берега до Испанской скалы; но был туда и другой путь — по скользкому неровному выступу, который опоясывал каменистый остров, поднимаясь на несколько футов над песчаным дном. Большинство приезжих не решалось пробираться к скале — даже те, кто отваживался спуститься под мостик, тут же поворачивали обратно, не желая рисковать понапрасну. Но я всегда доходила до скалы: меня увлекала возможность первой оставить свои следы на гладком песчаном берегу, доступном лишь во время отлива; я шла, не отрывая настороженного взгляда от моря, ибо здесь легко можно было упасть и разбиться. Волны, торопливо обгоняя друг друга, устремлялись к Испанской скале; порой, кружась в водовороте под мостиком, они обрушивались на выступ, поэтому приходилось смотреть в оба.

В это время дня берег обрывистой громадой нависал над мостиком, совсем закрывая его своей тенью и преграждая доступ лучам заходящего солнца; здесь свободно гулял ветер, он подхлестывал волны, бурлившие внизу. Вода, беспрестанно вскипая пузырьками пены, завораживала меня; я никак не могла оторваться от этого зрелища. Вдруг кто-то меня окликнул. Я оглянулась и увидела мальчика, который утром смотрел на тюленей. Он стоял в той же позе, что и я, скрестив босые ноги, облокотившись на перила, и был похож на мое отражение в зеркале. Не знаю, когда он пришел сюда.

— Ты чего? — крикнула я в ответ.

— Я сказал: как хорошо, что мы не там, в этом водовороте.

— А... Конечно, хорошо — здесь иногда такое творится... В сто раз хуже, чем сейчас.

Он не поддержал беседы. Шум волн мешал разговаривать.

Мы немного постояли молча в нескольких шагах друг от друга, потом он крикнул:

— Не могу больше стоять — тут очень холодно. Я ухожу. Пойдем со мной?

Я пошла за ним, и мы, ни слова не говоря, добрались до самой высокой точки острова. Там была поросшая травой впадина, похожая на чайное блюдце; сюда приходили, чтобы полюбоваться окрестностями, поэтому везде валялись бумажки от ирисок, коробки из-под сигарет. Но сейчас на Блейзи-Хед, кроме нас, не было никого, даже кроликов. Внизу дышал Атлантический океан, высоко в бескрайнем небе вновь показалось солнце.

— Я видел тебя,— сказал мальчик,— вон там, внизу, на скалах.

— Да. Я тоже заметила тебя: ты был наверху.

— Ага.

— А ты не боялся сорваться?— немного помолчав, спросила я.

Сидя вот так, рядом с мальчиком, я почувствовала запоздалый страх за него — даже дрожь прошла по телу. На тот выступ, куда он забрался утром, залетали лишь птицы, но трудно было представить себе, как там мог очутиться мальчик — у него ведь нет крыльев. И как он отважился спуститься вниз?

— Если б сорвался,— проговорил мальчик, покусывая кончик травинки и оценивающе глядя на обрывистый выступ,— ясное дело, разбился б в лепешку.

У меня сжалось сердце от этих слов. Он говорил так равнодушно. Не упал, но это могло случиться! Он болтал ногами над страшным обрывом, совершенно не думая об опасности. А может, все-таки думал? Я украдкой посмотрела на мальчика, но ничего не смогла заметить. Он не отрывал глаз от утеса, потом, когда это ему надоело, стал смотреть на океан. У него было замкнутое выражение лица — точно дверь за семью замками. В конце концов зачем он окликнул меня на мосту, если не хотел со мной знакомиться.

— Какие они смешные, а?— сказал наконец мальчик.

Мимо нас, с достоинством неся свои усатые головы, проплыла пара тюленей, они не торопились, словно совершали вечернюю прогулку, хорошо потрудившись за день.

— Да, смешные. Можно подумать, что это люди, верно?

— Угу, сперва я так и подумал. А ты сама-то знаешь, кто они?

Я ответила:

— Конечно — тюлени.

И очень удивилась. Просто не верилось, что этот мальчик ничего не знал про тюленей. Он был каким-то странным. Не имел понятия о многом, но мог спуститься с утеса, к которому и подойти страшно. Я заметила, что вблизи мой новый знакомый был не таким привлекательным, как показалось сначала. Весь день перед моими глазами стоял его темно-бордовый свитер. Я думала, что мальчик, одетый в такой яркий свитер, должен быть непременно красивым, но ошибалась. Когда мы шли по острову, я заметила, что он совсем невысокий, на три — пять сантиметров ниже меня, хотя мы были, по-видимому, ровесниками. Лицо мальчика, как и сам он, было очень худое; неожиданно я открыла, что мой новый знакомый чем-то похож на Синтию. Нечто общее угадывалось в чертах лица, не столь правильных, как у моей сестры, но таких же резких — в линии подбородка, рисунке губ, всегда крепко сжатых, будто они выражали какую-то непонятную решимость. Но вот мальчик повернулся ко мне, и сходство исчезло. Глаза у них с Синтией были разные. Голубые глаза сестры — холодные, как сталь, пронзительные, решительные и беспощадные — напоминали ружейные дула. А глаза мальчика были совсем другими. Они скорее походили на почти незащищенные наблюдательные посты, откуда он с тревогой смотрел на мир. По-моему, его взгляд долго ни на чем не задерживался, будто отыскивал притаившуюся опасность. Я заметила, что левая рука мальчика, которой он опирался о землю, была так крепко сжата в кулак, что на нем резко выступили побелевшие суставы.

— Ты долго будешь жить в кафе?— внезапно спросил мальчик.

Оказывается, он видел, как мы приехали. И знал всех нас в лицо.

— Рыжая девчонка — твоя сестра?

— Да,— ответила я,— ее зовут Синтия.

Я сказала, что мы приехали на две недели,— как повезло! По крайней мере мне, хотя другие думали иначе. Конечно, жаль, что старушка Корди Тиллс-Митсон заболела. Сначала сбивчиво потом увлекаясь все сильней и сильней, я принялась рассказывать о том, как мы обычно проводили отпуск отца — ездили в Лафборо или в другой такой же скверный городишко — и как я изнывала целых две недели вдали от моря. Все, что я говорила, требовало дополнительных пояснений, и чем больше узнавал мой новый друг, тем больше мне хотелось ему рассказывать, тем живее становилась беседа.

Сначала мы сидели, потом легли на землю, подперев голову ладонями и почти касаясь друг друга лбами, мы и не заметили, как зашло солнце. Я все говорила, а мальчик слушал. Он был внимательным собеседником и всем своим существом впитывал каждое слово. Теперь мне интересно, что чувствовал он тогда? Какая путаная картина жизни, совершенно незнакомой ему, возникала перед ним из сбивчивого рассказа, который я не могла прервать, обрадовавшись чудесной возможности излить душу. Я говорила о событиях, происшедших давным-давно, о пережитых обидах и страхах, доселе тщательно скрываемых от всех. Я беззаботно делилась с ним своими секретами, и он принимал это как нечто само собой разумеющееся. Он слушал меня затаив дыхание, словно я читала вслух увлекательный приключенческий рассказ, а когда я замолкала начинал задавать вопросы, как бы предлагая продолжить разговор. Он все спрашивал и спрашивал:

— Где работает твой отец? А братья у тебя есть? Какие учителя в школе? Они вас бьют палками? А как же тогда наказывают?

Вопросы были короткими: он говорил мало, видимо потому, что вообще плохо выражал свои мысли, а также из-за простого житейского правила, которое хорошо усвоил: меньше говоришь — целее будешь. Я тоже знала об этом, но меня словно прорвало в тот вечер Я подробно отвечала на вопросы. Болтала, отбросив обычную стеснительность. Никогда за свои пятнадцать лет я не была такой разговорчивой и многословной.

Мальчик наклонился ко мне, улыбаясь, его лицо преобразилось. Улыбка раскрыла его душу, она превратила его в такого же ребенка, как и я, в друга, которого я, казалось, уже давным-давно знала.

— Тсс... Не шевелись,— прошептал он.— За тобой сидит кролик. Он что-то ест.

По вечерам кролики приходили на мыс в поисках пищи. Я почувствовала холодок в воздухе: было уже поздно. Солнце, наверное, давно село. Море поблекло и потускнело, но розовый закат еще освещал бледное, окрашенное в лимонный цвет небо.

— Смотри, смотри! — показала я на небо.— Луна. А вчера было новолуние.

Мое платье смялось, рука, на которую я так долго опиралась, была иссечена травинками, словно шрамами, к ней прилипли комочки земли, сухие стебельки и кусочки кроличьего помета. Я смахнула их и испуганно одернула юбку.

— Надо бежать. Я ужасно опаздываю на ужин. Совсем забыла про время.

«Опять опаздываю! И уже во второй раз за день!»

Мальчик крикнул вдогонку:

— Приходи завтра!

«Завтра мы снова увидимся»,— думала я.

Стремительно, словно олень, промчалась я через остров вниз к пешеходному мостику и выбежала на берег Трисской бухты. Я неслась без остановки, наслаждаясь скоростью, с восторгом ощущая удивительную невесомость и гибкость своего тела, пока не достигла кафе «Роза»; здесь я уже не походила на быстроногого оленя и, чуть было не растянувшись на ступеньках, тяжело дыша, ввалилась в зал. Пот ручьями стекал с меня.

11

— А, вот и ты, Нора,— сказала мать.— Боже мой, где ты пропадала? Ты что, не знаешь, который час?

По ее голосу я сразу догадалась, что никто за это время даже не вспомнил обо мне.

Родители сидели в конце зала, положив руки на стол, с которого еще не были убраны остатки ужина. Мать с отцом так увлеклись разговором, что даже не унесли грязную посуду, а лишь сдвинули ее на край стола. Только одна газовая лампа горела над их головой — мягкий зеленоватый свет ее обволакивал родителей, выхватывал их из темноты, увеличивая длину зала, казалось, я нахожусь в театре. Мать с отцом были словно два актера, сидевшие на сцене, а все помещение напоминало пустой зрительный зал.

— Прости, я просто не подумала...

— Но *надо* думать о времени, Нора. Ты вечно опаздываешь. Разве так себя ведут?

Однако мать ошибалась: я почти никогда не опаздывала и, как правило, на редкость точно угадывала время; поэтому мне удавалось избегать промахов, которые я допустила сегодня дважды. Родители смотрели, как я неловко пробиралась к ним между столиками.

— Простите,— промямлила я, потом, уже подойдя к родителям, снова извинилась:— Я больше не буду.

Люди, как правило, не любят много раз извиняться. Но чем чаще вы это делаете, тем лучше. Мои родители обожали выслушивать извинения. Растягивая удовольствие, они наконец милостиво даровали прощение, и это успокаивало их, как аспирин — головную боль. А вот Синтия никогда не извинялась. Я не слышала, чтобы хоть слово сожаления слетело с ее гордых, мятежных уст. По-моему, она скорее бы умерла.

— Не будешь?— повторил за мной отец.— А что толку, раз ты все равно опоздала? Время-то не вернешь, верно? Ты должна знать, доченька, что точность — ценный дар и, больше того, качество, без которого ничего не достигнешь в жизни. Как ты думаешь, разве мы выиграли бы войну, если б наши офицеры опаздывали и вели себя, как им заблагорассудится? С нас, офицеров, брали пример,— сказал отец, оседлав своего конька,— в ту пору, позволь напомнить тебе, наши часы шли секунда в секунду. Вот так! Это было необходимо. А иначе, знаешь, что случилось бы? Сорвалось бы наступление — вот что. Исчезла б внезапность.

Спиртное стоило дорого, поэтому отец редко позволял себе выпить. Иначе, я думаю, он при каждом удобном случае прикладывался бы к бутылке. Этим вечером ему удалось угоститься за чужой счет, и он выпил не слишком много, но достаточно. Мать на сей раз не стала ругаться, ибо отец привез ей нежданную радостную весть.

— У меня же нет часов,— опрометчиво вырвалось у меня.

Это вывело отца из себя.

— Ах вот как! А где они, хотелось бы знать? Ведь они были у тебя, были или нет? Когда тебе исполнилось десять лет, тебе подарили прекрасные часы. И они стоили недешево, эти часики. Но ты оставила их на скале. Пошла купаться и бросила, а их унесло отливом. И все из-за преступной небрежности. Следующие часы ты купишь себе сама.

Понятно? Ухлопать столько денег на часы, которые ты бросишь потом на скале,— ну нет! Я не такой дурак!

При первой же паузе в этой обличительной речи, которую я знала уже наизусть, я улизнула на кухню, чтобы приняться за остывший бекон и колбасу. Потом, жадно глотая ужин, я слышала, как отец, без конца повторяясь, рассказывал о происшествии, которое нежданно случилось с ним.

Возвращаясь с не очень приятной прогулки, отец заехал в отель «Рулен-бей», чтобы, по его словам, просто удовлетворить праздное любопытство. Именно оно заставило отца заскочить туда — впрочем, это могло быть и обыкновенным желанием мазохиста разбередить старую рану.

Отель «Рулен-бей» принадлежал полковнику Карлайлу, который владел также домом в Трисе, а сейчас жил за границей. В отсутствие Карлайла все дела вели его поверенный — старый мистер Медликотт, принявший на работу Синтию,— и мистер Квинн из фирмы по торговле недвижимостью, где служил отец. Мистер Квинн фактически был судебным исполнителем на жалованье у полковника. Он взимал деньги с Тревисика, арендатора фермы Пинни, расположенной неподалеку от Триса, принимал другие платежи, а также решал всевозможные вопросы, касающиеся интересов Карлайла. Отель «Рулен-бей», приобретенный полковником около десяти лет назад, меньше всего беспокоил владельца. За отелем все это время следил мистер Квинн, который поддерживал его в таком состоянии, чтобы он приносил кое-какую прибыль, но и только.

Находясь на службе у полковника, мистер Квинн переписывался с полковником, посылал отчеты, а Карлайл благодарил его за оказанные услуги. Каждое рождество мистер и миссис Квинн получали корзину с шампанским в знак доброго отношения полковника. Мистер Квинн в случае необходимости советовался с поверенным полковника, стариком Медликоттом, и совершал иногда ради собственного удовольствия поездки в трисский дом Карлайлов и в отель «Рулен-бей». А мой отец трудился в поте лица, выполняя скучную, однообразную работу; он не получал писем с юга Франции и не добился ни признания, ни благодарности; о его существовании полковник Карлайл, потягивавший коктейли среди аромата мимоз на своей вилле, даже не подозревал. И это угнетало отца. Семнадцать лет назад он приехал по объявлению с женой и ребенком на этот продуваемый ветрами корнуоллский берег не затем, чтобы провести всю жизнь, составляя отчеты для мистера Квинна. Конечно нет! Он полагал, что в будущем заменит самого мистера Квинна. Однако за семнадцать лет после этого смелого шага отец так ни в чем и не преуспел.

Отель «Рулен-бей» выглядел довольно уныло. Он был сложен из крупных кусков гранита и покрыт темно-лиловым шифером; здание не радовало глаз, как и вытянувшаяся на север бухта, над которой возвышался отель и куда не проникало солнце. Самое близкое селение находилось в двух милях от моря, а в шести милях по побережью расположился маленький городок Сент-Отис. Не считая моря, весьма опасного для купания, отель мог предложить своим посетителям—кучке богатых пенсионеров— лишь бильярд для отставных подполковников, вид на море для их жен и разбитую на голых холмах маленькую, поросшую кое-где можжевельником площадку для игры в гольф, которой не пользовался никто.

Шли годы, но в отеле все оставалось без перемен и свято сохранялись традиции, о которых напоминало чопорное великолепие старомодных турецких ковров. Но в этом году многое изменилось. Отец знал, что в отеле появился новый управляющий, взятый на значительно более высокое жалованье, но поскольку мистер Квинн ревностно скрывал все, что касалось дел полковника Карлайла, отец решил в конце концов сам заехать в «Рулен-бей», чтобы, как он сказал матери... пропустить стаканчик хереса. Здесь никого не обслуживали, кроме постояльцев, но отец решил воспользоваться тем, что служил в фирме у мистера Квинна.

Подъехав ближе, он сразу же увидел следы нововведений: такие же, как в кафе, белые столики под пестрыми зонтиками, расставленные на террасе, полосатые полотняные навесы над окнами с жалюзи, выделявшимися ослепительно белыми пятнами на фоне массивных гранитных блоков, из которых было сложено серое, похожее на тюрьму здание. Все было сделано на европейский лад, отметил отец. По вечерам, когда сумрачный фасад отеля расцвечивался гирляндами манящих огней, он, наверное, выглядел еще более впечатляюще.

Повернув «хамбер» на дорожку, усыпанную гравием, отец заметил бронзового от загара молодого человека в белых шортах, который отдыхал на низкой балюстраде террасы и наблюдал за ним. На молодом человеке была рубашка с открытым воротом, на шее — полосатый шелковый платок; приветственно взмахнув полотенцем — очевидно, он только что вернулся с послеобеденного купания,— молодой человек спрыгнул вниз и поздоровался. Он был одет и держался очень просто — трудно было поверить, что это и есть Питер Миллер, новый управляющий отелем.

— Мы быстро нашли общий язык. Питер сразу сказал, что я ему понравился. А ведь сам он из верхов, да-да!

Отец, возбужденный и обрадованный легкостью, с какою он завязал знакомство с молодым, энергичным управляющим,— боже мой, как жаль, что там не было Квинна,— снова и снова пересказывал подробности приятной встречи, будто заново наслаждался недавно пережитым, а мать ловила каждое его слово, даже не напоминая о том, что все это уже слышала от него.

— Управляющий очень точно отозвался о Квинне — назвал его напыщенным ослом. Правильно, так оно и есть. Я кое-что рассказал о нем Питеру,— захихикал отец.— Питер был в восторге! Конечно, ему до смерти надоело торчать в этой забытой богом дыре, даже поболтать не с кем — не со старыми же солдафонами, как сказал Питер, которые живут в отеле. Не больно все это весело для молодого парня. К тому же он, по-моему, очень толковый малый. Я понял это сразу, как только он открыл рот. Мы, конечно, говорили не только о Квинне. К будущему сезону Питер собирается полностью перестроить гостиницу, чтобы поставить все на широкую ногу. Придется потратиться, но дело, ей-богу, этого стоит — потом сиди себе спокойно и снимай сливки. Конечно, полковник Карлайл должен дать ему «зеленый свет». И я намекнул Питеру, что мог бы помочь ему,— с достоинством сказал отец, упиваясь мыслью о своем могуществе, которого не было и в помине.— А Квинну и старику Медликотту я скажу, что Питеру стоит помочь. Он добьется своего, этот парень. И знаешь почему, Элен? Он очень энергичен. Питер не из слабонервных юнцов. Уж если что задумал, пойдет до конца. О, Питер далеко не дурак. Знаешь, у него отличное здоровье,— доверительно проговорил отец, слегка прищурив глаз, будто сообщал важную новость: он всегда восхищался здоровыми людьми.— Питер играет в гольф, теннис, сохраняет прекрасную форму. И он повидал мир, попутешествовал, а это немало значит в наши дни. Позволяет трезво смотреть на вещи. Понимаешь, он только что вернулся из Кении — пробыл там три или четыре года. Рассказал много интересного об этой стране. Как жаль, Элен, что тебя там не было. У него хватает опыта, у этого молодого человека. Можешь мне поверить, он так много знает о Кении. Я не сомневаюсь, Питер понравится тебе — этот парень в твоем вкусе. Да он и сам хочет с тобой познакомиться,— великодушно сказал отец, забыв о недавней размолвке и все еще находясь под впечатлением оказанного ему приема.

Трудно сказать, чего ожидали в тот вечер отец с матерью от знакомства с Питером Миллером, но, судя по тому, как блестели глаза родителей, склонившихся друг к другу над маленьким столиком, у них родилась надежда на то, что мистер Квинн перестанет совать нос в дела отеля,— надежда на лучшие времена, и они радовались, как дети, которые вот-вот получат долгожданный подарок.

Мать с отцом совсем забыли о Синтии. Всецело уйдя в мысли о грядущих переменах, они вспомнили о ней, лишь когда собрались уходить к себе в вагончик. Так где же она? Когда ушла? Родители недовольно посмотрели вокруг, словно Синтия скрывалась в каком-нибудь темном уголке зала. Не желая омрачать свою нежданную радость поисками дочери, они повернулись ко мне.

— Где твоя сестра?— спросил отец.

— Не знаю.

— Разве она ничего не сказала тебе?

— Вроде нет.

— Что значит «вроде»?

— Я просто подумала — может, она на мысе. Синтия ведь любит гулять одна.

Я не умела врать, чтобы выгородить сестру. У меня это плохо выходило даже в лучшие времена, я слишком боялась разоблачения, а лжец, чтобы ему верили, должен быть смелым. Только отвечая неопределенно, я могла встать на зыбкую почву лжи. Родители охотно поверили моим словам.

— Ты должен поговорить с ней, Бернард. Ночные прогулки в одиночестве небезопасны для девушек.

12

Оставшись одна, я вышла на улицу и уселась на краю причала лицом к бухте. В небе стояла бледная луна. Прилив был высоким, но на удивление спокойным. На море не гуляли волны, его поверхность лишь подрагивала мелкой рябью; вода ударялась о причал с тихим плеском, словно чей-то вздох облегчения раздавался в ночной темноте; такая же тишина и радостное спокойствие охватили меня. Наш летний отдых вошел в свою обычную колею. Теперь мы наверняка никуда не уедем — впереди так много чудесных дней.

Что-то с громким всплеском упало в воду у моих ног. А может, мне это почудилось?

— Эй!

Кто-то еле слышно окликнул меня из ближайших кустов тамариска, которые нависали над бухточкой справа от кафе. Она была отделена от причала неприступной скалой, гладкой и отвесной, как дымовая труба.

— Кто это? — ответила я. Но сколько ни стояла, вглядываясь в ночную темноту, так никого и не увидела.

— Ты одна?

— Да.

Молчание.

— А твоя сестра?

— Не знаю. Где-то гуляет. Я не вижу тебя.

Темные кусты тамариска вдруг зашевелились. Но мальчика еще не было видно. По крайней мере, я ничего не могла разобрать в темноте. Трудно было сказать, что передо мной — рука, нога или сук. Я позавидовала своему другу: мне так захотелось укрыться за спутанными ветвями колючего тамариска и слушать, как плещется внизу вода. Кусты росли совсем низко, и добраться туда было просто, на такие скалы — не выше речного берега — без труда могли вскарабкаться даже дети.

— Что случилось?— так же шепотом спросила я.— Хочешь, чтоб я к тебе пришла? Мне подняться?

— Ты правда одна?

— Да, честное слово; здесь больше никого нет. А что?

— Тогда сиди на месте. Лучше я сползу вниз.

Я снова устроилась на краю причала, свесив ноги,— подо мной тихо плескались волны; немного спустя мы уже сидели рядом; мальчик появился неслышно, как тень.

— Твои старики ночуют там, в поле, да?— спросил он, тряхнув головой. Казалось, мы сидим здесь очень давно и знаем друг друга целую вечность.

— Да, они спят в вагончике. Он не очень-то красивый на вид, но ты не представляешь, как там уютно: маленькие комнатки с кроватями, ковры на полу, фотографии, всякие фигурки.

— Я видел, как они шли туда.

— Правда?

— Ну да. Я уже давно кидаюсь в тебя всякой ерундой. А ты все не замечала.

— Ты мог и крикнуть.

— Я ведь не знал, где твоя сестра, может, с тобой.

— А... верно. Я и сама не знаю, куда она девалась. Может, уехала в Хьюэлл четырехчасовым автобусом.

— А она вернется сегодня?

— Конечно,— ответила я, но тут же засомневалась. До сих пор мне и в голову не приходило, что Синтия может остаться в городе. У нее есть ключи от дома, она прекрасно выспалась бы у себя в спальне, к тому же об этом, кроме меня, никто бы и не узнал.

— Можно здесь заночевать?— внезапно спросил мальчик.— Понимаешь, я не могу вернуться домой. Смотри только никому не проболтайся. Я удеру чуть свет.

Так вот что ему нужно — крыша над головой. А почему бы и нет? В ненастье даже бродягам дают приют,— правда, родители их никогда не пускали. Мальчика можно положить на плюшевом диване с продавленными пружинами. Мне казалось, что наша

тайная дружба станет еще крепче, если я пущу его переночевать. Интересно, где он живет? Думаю, что не в Хьюэлле. Наверное, приехал издалека. Он говорил с каким-то непонятным акцентом. То ли он убежал сам после семейной ссоры, то ли разгневанный отец выгнал его из дома. Я ничего не знала о мальчике, даже не спросила, как его зовут. До сих пор больше говорила я — и все о себе. Я повернулась, напряженно всматриваясь в настороженное лицо мальчика, пытаясь при бледном свете луны прочесть в его глазах ответы на вопросы, которые волновали меня. Но он не смотрел в мою сторону, все тонуло в таинственном полумраке.

— Ладно, оставайся,— неуверенно проговорила я наконец.— Комнат в кафе много. Я только боюсь Синтии. Она, конечно, может заночевать в городе, но вдруг приедет и тогда наверняка услышит, что ты здесь. Знаешь, стены тут деревянные, а диван в гостиной, как раз рядом со спальней. Обязательно услышит.

— Ничего она не услышит, твоя сестренка. Я не лягу у стенки. Забьюсь в дальний угол вашего задрипанного кафе — она и не допрет, что я здесь. Не услышит ни звука. Я даже не пискну.

— Но в зале только столы и стулья, на чем же ты будешь спать? Господи! Неужели ты ляжешь на полу, когда есть диван...

— Нужен мне твой диван,— перебил он довольно грубо.— Пусти меня в дом — вот и все. Не дергайся, ничего мне не надо, ничего! Не запирай только дверь на улицу. Я удеру рано. Никто обо мне и не догадается,— тихо и настойчиво шептал мальчик.

Теперь уже он пристально вглядывался в темноту, стремясь заручиться согласием, и мне стало стыдно, что он так долго просит о пустяке.

— Ладно, я не закрою дверь. Ночуй у нас, если хочешь. Ой, ты можешь лечь на подушках, в доме их целая куча...

Он сказал, что ему все равно — на подушках или без них, лишь бы крыша над головой.

— А поесть у тебя не найдется?— спросил он.

— Ты ничего не ел? Не ужинал? Господи, какой ужас! Наверное, умираешь с голоду. Хочешь, принесу тебе колбасы? Может, остался и бекон. Слава богу, я не все съела. Никуда не уходи. Сейчас все устрою. Я мигом.

Но ему пришлось долго ждать. Пока я возилась с бутербродами — нарезала толстые ломти хлеба, густо смазывала их маслом, укладывала между ними куски бекона и колбасы,— на дороге остановилась машина и тут же хлопнула дверца. Послышался шум шагов — Синтия стремительно прошла через зал своей легкой походкой. Конечно, она не споткнулась при входе и не налетела на стол. Кто же подвез ее в этот поздний час? Неужели и впрямь доктор Брэдли? Смелости ей не занимать! Как она не боится — ведь родители могут обо всем догадаться, заслышав шум машины, остановившейся возле дома, и стук двери?

Но Синтию это не беспокоило. Она стояла на кухне, высоко подняв голову, глаза у нее возбужденно блестели; она тянула за концы голубой платок в белый горошек, словно хотела сделать из него удавку,— ей было все равно, что о ней подумают или скажут.

— Ты похожа на воришку, которого застали на месте преступления,— сказала Синтия.

— Ну да... Ведь это твой ужин... Но ты же не вернулась вовремя.

— Пустяки, ешь ради бога!— ответила сестра. Ее глаза сияли. Какая-то невидимая волна возбуждения подхватила ее и закачала на своем гребне.— Фу! Какая гадость! Хорошо, что я опоздала. А почему ты еще не спишь, Нора? Я думала, ты давно уже в постели.

Чтобы перевести разговор на другую тему, я сказала, что родители спрашивали о ней.

— Я ответила им, что ты пошла прогуляться на мыс.

— Так и сказала? Пошла прогуляться? Как мило с твоей стороны, Нора,— усмехнулась она,— выгораживать сестру. Не нужно ради меня обманывать. Честно говоря, я была в городе. Знаешь, мать все-таки решилась дать ключи от дома, хотя мне и нет двадцати одного. Я привезла очки. Не забудь сказать матери, Нора, что они лежали внизу, в бюро. Да, кто меня привез? Ты наверняка умираешь от любопытства — так почему не спрашиваешь? Ну спроси! И скажи, пожалуйста, почему ты не ешь этот противный бутерброд — стоишь и держишь его, как школьную награду за хорошее поведение?

Я положила бутерброд на сушилку, задыхаясь от негодования.

— Я уже сыта. И мне безразлично, с кем ты приехала. Можешь не говорить — я ничего не хочу знать.

— Милая деточка, да ты с характером! Как это непохоже на тебя, Нора. Мы, оказывается, расстроены. Интересно, что тут произошло без меня? Впрочем, мне все равно. Я пошла спать, а ты оставайся. Желаю тебе как следует насладиться этим прекрасным полуночным пиршеством. Только не забудь потом выключить газ. Знаешь, как это сделать?

Я не решилась выйти на улицу: Синтия могла последовать за мной или, заслышав наши голоса, открыть дверь спальни, выходившую на причал. Я бесшумно и быстро собрала все подушки в гостиной. Потом свалила их у двери, а бутерброд положила рядом на столике.

Родители, которые привыкли считать каждый грош, оставили гореть в зале лишь один из восьми газовых рожков. Его фарфоровый плафон, напоминавший цветок колокольчика, словно вырастал из стены на изогнутом металлическом стебле. Я дернула цепочку, и зеленоватый огонь потух; на мгновение ярким пятном заалел камин и померк. Кухня и маленькая гостиная погрузились в темноту; я пробралась на ощупь в спальню — там на комоде горела свеча. Я разделась. Затем постояла, покусывая губу от охватившей меня тревоги. Что я наделала? Зачем разрешила ему заночевать? Родители просто взбесятся, если узнают.

13

Когда я проснулась, Синтия уже ушла. Ее постель стояла неубранной, хотя это не бросалось в глаза,— только простыни были слегка примяты да на подушке осталась ямка от головы. Я не слышала ни звука. Синтия исчезла неслышно, как кошка. А я-то думала, что проснусь раньше ее. Я выскочила из перевернутой вверх дном постели и побежала в зал, охваченная тревогой. Подушки лежали в углу, накрытые старым ковриком; рядом в обычном беспорядке валялся всякий хлам, обломки столов и стульев — вряд ли Синтия что-то могла заподозрить. Если она и заметила кучу подушек, то едва ли догадалась, что на них, как на матраце, ночью спали. Теперь мой друг, наверное, уже где-то поджидает меня. Я побежала обратно в спальню и стала лихорадочно одеваться, пытаясь одновременно привести в порядок взлохмаченные волосы, но тут услышала в зале чьи-то шаги.

— Это ты, Беатриса?

— Ну да, кому ж тут быть?

Я вышла на кухню.

— А Синтия уже ушла.

— Знаю. Я видела ее в автобусе.

— Вот как?

У меня все валилось из рук, я никак не могла справиться с непослушной лентой, пуговицами и завязками; кофта, которую я зажала под мышкой, упала на пол; нагнувшись за ней, я выронила заколку.

— Куда это вы торопитесь?— спросила Беатриса, заметив мое волнение.

— Никуда. Просто не хочется терять время, сегодня опять чудный день — настоящее лето.

— Лето? Так ведь сейчас и в самом деле лето. Что же еще, по-вашему? Осень-то едва началась. Смотрите не накликайте зиму до срока. Она и так не за горами.

— Какой все-таки чудный день,— повторила я, не находя других слов, чтобы выразить свое восхищение голубым небом и ярким солнцем, которые ожидали меня.

— Вот заладили: чудный, чудный,— не выдержала Беатриса,— уж я-то наглядела на него вдосталь, пока дошла к вам из Триса.

— Ах да, я забыла Послушай, Беатриса, тебе нравится у Уиллисов?

— Нравится?—переспросила она.—Да что же... они люди неплохие. Может, чересчур гордые.

— Гордые?

Но Беатриса не захотела продолжать разговор. Она приготовила завтрак, хотя я объявила, что не буду его ждать, а также бутерброды, чтобы я перекусила на берегу.

— Дай побольше, Беатриса,— еще столько же. После моря хочется есть за двоих.

— Ах вы, обжора. Знаете, что говорит ваша матушка? Вредно так много есть.

— Она и тебе говорит то же самое,— поддела я Беатрису. Та ничего не ответила. Я и сама прекрасно понимала, что мне и ей это говорилось по-разному.

Беатриса протянула мне бутерброды, аккуратно уложенные в большой бумажный пакет.

— Смотрите не проглотите все сразу и не вздумайте купаться после еды. От этого бывают колики в животе. Так люди и тонут.

— Ой, Беатриса, какая же ты надоедливая! Конечно, я не стану купаться после еды. Мне уже миллион раз твердили об этом. Честное слово! Что ж я, по-твоему, ничего не понимаю?

— Вы — маленькая мисс Всезнайка, мисс Всезнайка и Молчунья, вот кто,— ответила Беатриса с необычной для нее резкостью. Казалось, общение с Уиллисами пробудило в ней доселе дремавший характер; меня это несколько смутило. По-моему, Беатриса сама была не рада вспышке и расстроилась. Я это чувствовала по тому, как она гремела чайником и сковородой.

Перед тем как уйти, я принесла ей из спальни футляр с очками и попросила передать его матери. Забытые дома очки не давали Беатрисе покоя.

— Как это Синтия сумела вернуться, если по воскресеньям автобус из города приходит только утром?

— Уж очень ты любопытна, Беатриса. Понятия не имею. Я ее не спрашивала, спроси сама, если тебе не терпится узнать. Я пошла. Вернусь, наверное, только к чаю.

— К чаю-то уж конечно придете,— проворчала она вслед.

Я надеялась сразу найти своего друга, но он как сквозь землю провалился. Прилив почти достиг «пика», поэтому я сначала осмотрела верхнюю площадку островка Блейзи-Хед — там мальчика не оказалось. Карабкаясь по выступам скал, я облазила бухточки, к которым сверху тянулись тропинки. Кругом ни души, только чайки настороженно смотрели на меня своими колючими глазками; стоило к ним приблизиться, как они тут же взлетали, потом плавно опускались неподалеку и с прежним любопытством принимались меня изучать.

Мальчик, наверное, вернулся домой, и я никогда не узнаю, как его зовут, откуда он,— ничего не узнаю. Меня удручало то, что из-за мальчика, который внезапно вошел в мою жизнь и так же быстро исчез, почему-то весь отдых пошел кувырком. Ну, да ладно, не буду расстраиваться. Все равно ничего не изменишь. И я вернулась в кафе за книгой, которую взяла из библиотеки.

Беатриса была на причале — она отдыхала в шезлонге, положив руки на колени, в той самой позе, которая приводила в ярость мою мать. Я думаю, что Беатриса изо всех сил старалась походить на свою хозяйку — не хватало только японского зонтика. Беатриса невозмутимо смотрела на меня, ничуть не изменив своей позы.

— Не вздумайте говорить, что вы все съели. Сколько бутербродов я вам дала — хватило бы на целую армию в походе.

Я тут же ответила, что пришла за книгой, а еды у меня полно. Потом спросила, где родители.

— Их пригласил пообедать Питер Миллер, управляющий отелем «Рулен-бей». Ваш отец взял клюшки для гольфа. Они сами не знают, когда вернутся. Я сказала, что приготовлю к ужину отличный пирог с телятиной, ну, а если их там задержат — что ж, на здоровье, с пирогом ничего не сделается, его же едят холодным.

Так вот куда девался японский зонтик — украшает сейчас террасу отеля «Рулен-бей»! Беатриса была искренне довольна тем, что дела у хозяев пошли на лад, ей хотелось, чтобы и я разделила ее маленькую радость. Но у меня было тоскливо на душе, хотелось кусаться, царапаться... Какое мне дело до того, где сейчас родители и чем они заняты?

— А ты, я смотрю, обрадовалась, Беатриса. Наконец-то можешь посидеть сложа руки, верно?

Я нарочно поддразнила Беатрису, и она не выдержала:

— Знаете, мисс Нора, у меня в духовке пирог и булочки к чаю, они вот-вот дойдут — я и жду. А тогда уж пойду в вагончик, приберусь в спальне вашей матушки.

— Что ты, Беатриса, я же пошутила,— сказала я, устыдившись своей выходки.— Конечно, почему бы тебе не отдохнуть, если хочется. Разве ты обязана все время готовить, убирать, штопать носки и чинить одежду; в конце концов ты тоже в отпуске, ты совсем не отдохнешь, если будешь торчать у плиты и вылизывать все до бесконечности.

— Да нет, я ведь не против,— поспешно возразила Беатриса.— Пустяки. Работа для меня — дело привычное, сами знаете. Без нее мне как-то не по себе. Говорят, перемена места — тоже отдых. Правда? А здесь все иначе, чем в Хьюэлле. Нет, отпуска мне не надо. Ну, что я с ним буду делать?

— Мы ходили бы вместе на море, Беатриса. Жаль, что ты не купаешься.

Беатриса только рассмеялась в ответ. Она никогда не купалась. Даже ни разу не замочила ног в прохладной морской воде.

Я взяла книгу. До сих пор помню, как она называлась — «Повесть о двух городах». Так и не удалось дочитать ее. Пока я разговаривала с Беатрисой, прилив спал и можно было пролезть под мостиком.

К северо-востоку от Триса высились темные скалы, кое-где они нависали над морем, подточенные неустанной работой волн; изредка огромная глыба срывалась вниз — упорно сопротивлявшаяся твердь терпела еще одно поражение. Одна из таких глыб, упавшая давным-давно, образовала площадку, поросшую травой, морской гвоздикой и лавандой; на ее краю, прижавшись к маленькому островку зелени, приютилась крошечная коричневая палатка.

14

Я стояла на берегу, не сводя глаз с палатки. Так вот он где! Значит, он не уехал домой. Никуда не уехал. Ожидая, пока отступит прилив, он все время был здесь, отрезанный от всего мира, как Робинзон Крузо, которого море выбросило на необитаемый остров.

Я стала бросать камешки в палатку, но они не долетали до цели, ударяясь о прибрежные скалы с глухим шумом, который заставил мальчика выбраться из своего убежища; я крикнула, чтобы он спускался.

— Смотри! — взмахнув рукой, показала я на воду.— Море отступило!

Когда он наконец спустился ко мне, я протянула ему бутерброды, приготовленные Беатрисой, или, вернее, то, что от них осталось; бутерброды немного помялись и засохли за долгое жаркое утро, но он, не обращая на это внимания, мигом их проглотил, точно чайка, набросившаяся на хлебные корки. На обратном пути, пробираясь под мостиком к Трисской бухте, над которой ярко светило солнце, я спросила у моего друга, как его зовут, он ответил: «Терри». Я назвала свое имя.

Мне стало жаль, когда Терри сказал, что собирается перенести палатку в другое место, но потом я согласилась с ним, так как этот романтичный уголок терял свою прелесть из-за бесконечных приливов и отливов, к которым трудно было приспособиться.

Обрывистый склон холма между реками Крэнч и Трис-брук, на котором стояли два одинаковых новых домика, служил для окрестных жителей местом отдыха — здесь разрешалось гулять, устраивать пикники, разбивать палатки. Однако приезжие туристы редко сюда заглядывали: обрывистый холм был усеян колючками, но я решила, что, наверно, именно там, среди кустов можжевельника, Терри решил поставить палатку.

— Что ты,— сказал он насмешливо.— Тут меня сразу застукают. А застукают — так уж непременно схватят.

— Схватят? — переспросила я.— Кто, полиция? За что?

— Я стащил мотоцикл.

— *Мотоцикл?*

Ну да, не то чтобы украл, просто взял покататься — и все. Терри проделывал это не раз. Он обожал мотоциклы. Когда-нибудь у него будет свой и начнется настоящая жизнь. На собственном мотоцикле ему никто не запретит кататься. За кражу Терри отправили в колонию для малолетних преступников, но он убежал. Вернулся домой.

Я спросила Терри, где он живет, и удивилась, узнав, что он из Пэддингтона. Я вспомнила, что так называется большой вокзал в Лондоне. Там же не живут люди. Но Терри настаивал на своем: Пэддингтон — не только вокзал, это — целый район с узкими улицами, лавчонками, закусочными и старым грязным каналом с баржами, которые тащат лошади.

Когда Терри вернулся домой, он застал на кухне мать и кое-кого из ребят. Старик был на работе. Терри, конечно, дал маху, придя к матери. Она не очень-то обрадовалась, увидев сына, обругала за то, что он сбежал, и посоветовала побыстрее вернуться в колонию, пока его не хватились и не примчались сюда; к тому же старик мог появиться в любую минуту и задать Терри трепку.

— Он мне не родной,— сказал мальчик.

Терри приехал лондонским поездом в Хьюэлл и первую ночь провел на морском берегу. Стоял август, но было прохладно, поэтому Терри не удалось выспаться. Я представила себе, как он, в своем бордовом свитере, съежившись, сидел среди скал, ожидая конца ночи. На другой день Терри раздобыл палатку. Он взял ее в поле, где стояло много таких же маленьких коричневых домиков из брезента, и проспал две ночи в укрытии, уже не так страдая от холода. Три дня он брел по берегу среди скал. Шел куда глаза глядят, продвигаясь шаг за шагом вперед, пока не очутился в Трисе. Там Терри наткнулся на кафе «Роза», которое словно было создано для него,— пустой дом со всеми удобствами

Десять ночей до нашего приезда он провел на желтом диване в гостиной, забирался в кафе вечером, а покидал его на рассвете через слуховое окно Лишь Уиллис нарушал безмятежную жизнь Терри Из-за сторожа, как Терри называл Уиллиса, приходилось все время быть начеку: в этом нет ничего особенного, сказал мальчик, за пустыми домами всегда кто-то приглядывает. Опасаясь того же Уиллиса, Терри не пользовался плитой, хотя в баллоне еще оставался газ, потому что, если бы сторож почувствовал запах, мальчику пришлось бы худо Боясь выдать себя, Терри даже не кипятил воду, хотя ему до смерти хотелось чаю. Однажды, когда меняли газовый баллон, Уиллис чуть было не обнаружил Терри.

— Сторожу стоило только перешагнуть порог комнаты, и я бы попался.

Когда на другой день Уиллис стал снимать ставни, возиться в туалете, потом носить воду, Терри, наблюдавший за сторожем издали, понял, что в кафе кто-то поселится и ему больше нельзя будет там ночевать.

— Вот когда я обрадовался, что у меня есть своя палатка,— сказал мальчик.

— А мы здесь не живем, Терри,— поправила я его,— только приехали отдохнуть на две недели.

Терри украл палатку, а воровство, как учили меня,— куда бóльший порок, чем ложь или обман. Оно считалось тягчайшим мирским грехом. Само существование воровства возмущало меня. И тем не менее, как это ни странно, я не могла осуждать Терри: он казался обыкновенным мальчиком, совсем не похожим на воришку.

Терри собирался перенести палатку на Трисский мыс: туда легче было добираться, а укрыть ее можно было так же хорошо, как и прежде. Мне не хотелось огорчать Терри, но я должна была предупредить его:

— На Трисском мысе нельзя разбивать палатки, запрещено Это — владения полковника Карлайла. Частная собственность.

Но мои слова не произвели никакого впечатления, а я-то думала, что Терри расстроится. Если на Трисский мыс не пускают — тем лучше, решил он: значит, туда никто не ходит, и ему там будет спокойнее.

Я думала, что дом полковника Карлайла, стоящий на мысе, заколочен, но оказывается, там жила какая-то пожилая пара.

Терри сказал, что они такие же сторожа, как Уиллис. У них была собака; я сразу представила себе огромную восточноевропейскую овчарку. Я боялась собак, и меня совсем не радовало, что в доме полковника держат большую овчарку, хотя она, успокаивал меня Терри, никогда не выбегает за ограду. Наверное, ее не выпускали на мыс, опасаясь, что она может спрыгнуть с обрыва; по словам Терри, овчарка была прыткой, не то что ее хозяева. Итак, никто: ни сторожа, ни их собака — не выходил за красную кирпичную ограду, возле которой под ветвями сосны подолгу сидел Терри, наблюдая за обитателями дома Карлайлов; эта сосна мне хорошо запомнилась, потом я сама часто пряталась под ней. Старики никогда не покидают хозяйских владений, рассказывал Терри; но от дома к дороге тянется телефонный провод, а из Хьюэлла приезжают фургоны с продуктами.

Мы шли по петлявшей дороге и совсем не заметили, как очутились возле кафе,— наверное, нас подгонял голод. Я пошла вперед посмотреть, нет ли кого на берегу,— там было тихо и пустынно. Беатриса заперла дверь, а ключ оставила, как обычно, под камнем. В кухне дышалось легко и свободно; чувствовалось, что здесь недавно навели порядок. На столе красовались пирог и булочки, разложенные рядами на проволочной сетке. Я тут же представила себе Беатрису, сидящую с Уиллисами за чашкой чая после хлопотного дня.

Мы так долго торчали в кафе, лакомясь булочками и пирогом, обсуждая, стоит ли перебираться на Трисский мыс, болтая о том о сем, что чуть было не лишились палат-

ки. Когда мы спустились под мостик, вода уже начала прибывать, заполняя мелкие впадины и обтекая валуны. Я быстро шла за Терри по неровному скользкому выступу. Под конец нам пришлось прыгнуть в кипящий водоворот крутых невысоких волн. Мы прошлепали по воде до острова и, обгоняя друг друга, побежали по песчаному берегу к заросшей зеленью площадке, возле которой уже плескались волны. Терри добрался до нее первым. Он ловко вскарабкался по скалам наверх, как матрос по снастям, и бросился к палатке, торопливо выдергивая колышки, будто снимал все самое ценное с тонущего корабля.

Коричневый брезентовый тюк, перевязанный веревками, упал к моим ногам. Потом спустился Терри с кастрюлей на голове и свернутым одеялом на шее. В карманах штанов лежали нож, вилка, ложка, открывалка, три коробка спичек и с полдюжины свечных огарков. Это да еще несколько бутылок и жестянок, с которыми он неохотно расстался, составляло все его достояние; бóльшую часть вещей Терри, не мучаясь угрызениями совести, позаимствовал у других.

15

Вот что произошло позже в тот же вечер. Терри остался в палатке, разбитой в укромном уголке Трисского мыса. А я сидела за столом на кухне Уиллисов с Беатрисой, хозяином дома и Сэмом, его старшим сыном.

Я одна ничего не делала. Беатриса штопала носки. Миссис Уиллис стояла у плиты, она то помешивала в кастрюле, то принималась вязать кружева, которые узкой лентой свисали из кармана ее передника. Не знаю точно, что мастерил Уиллис,— я только видела, как он возился с проволокой и бечевкой, а Сэм помогал ему, облокотившись о стол.

Мы сидели при свете керосиновой лампы, горевшей вместо газовых рожков, она стояла в центре стола под круглым белым абажуром; электричество, недавно проведенное в эти края, стоило слишком дорого, без него пока обходились в Трисе, хотя вдоль шоссе уже стояли столбы и провода тянулись к Трисскому дому полковника Карлайла и даже к новым домикам Большой выскобленный стол был накрыт красной плюшевой скатертью, вместе с лампой она создавала в кухне уют, что так не вязалось с моими прежними впечатлениями. В прошлый раз мне было здесь тоскливо и одиноко, теперь же все изменилось, я почувствовала себя почти как дома. Меня окружали приветливые лица. На плите посвистывал чайник, из которого при желании всегда можно было подлить чаю.

— Беатриса,— спросила я,— ты не слышала, что произошло у Карлайлов?

— У Карлайлов? Когда?

— Не знаю. Говорят, у них случилось несчастье. Никак не могу вспомнить какое.

— Наверно, вы спрашиваете о погибшем сыне Карлайлов — это ужасный случай. Интересно, почему вы о нем вспомнили, с тех пор ведь прошло лет десять. Он летел на самолете, так, кажется? — сказала Беатриса, вопросительно посмотрев на Уиллиса.— У мальчика был свой двухместный самолет, который недолго ему послужил. В тот день он летел один, а то убились бы двое. Все большие газеты — о наших и говорить нечего — только о том и писали. Корнуоллская трагедия! Как сейчас вижу эти названия. Говорят, полковник с женой до сих пор не оправились от удара. Миссис Карлайл, бедняжка, была совсем сломлена горем. Она души не чаяла в мальчике.

— Если б так оно и было, как вы рассказываете,— заметил Уиллис,— и вместе с ним никто не погиб, особой беды бы не случилось.— Он произнес это спокойно и неторопливо. И смысл его резких слов дошел не сразу — вот так же звук волн, бьющих в обрывистый берег, доносится в погожий день лишь после появления разводов пены.— Но этому шалопаю еще надо было угробить заодно старуху с ребенком, которого она нянчила Кажется, о них газеты не больно-то шумели. Сопляк не научился даже управлять самолетом — не смог отвернуть от дома. Он толком ничему не научился. Считал себя слишком умным С пупка все знал, как господь бог.

Беатриса отложила штопку, стремясь насладиться услышанным. Она очень любила такие воспоминания. По-моему, Беатрисе было немного не по себе от резких слов Уиллиса, но она слушала его невнимательно, целиком уйдя в свои мысли.

— У молодого Карлайла была спортивная машина,— продолжала Беатриса,— я не ошиблась? Помню, он носился в своем ярком, как мак, автомобиле по улицам Хьюэлла. Мальчик был горазд на всякие проделки, потому и попадал в газеты. Вот только забыла его имя. Джонни?

— Бобби,— отрывисто бросила миссис Уиллис, стоявшая у плиты.— Бобби Карлайл. Терпеть не могла этого наглеца. Он был уверен, что солнце светит только для него. Ох, и надоел же мне этот Бобби, когда я работала у Карлайлов. Он считал, что все вокруг принадлежит ему. Я доказала Бобби, что это не так, ему не больно-то пришлась по вкусу моя наука. Альфред в то время тоже работал у Карлайлов. Мы как раз стали встречаться, помнишь, Альфред? Вообще-то мы знали друг друга с детства — выросли вместе.

— Вы тоже работали у полковника? — обратилась Беатриса к Уиллису с возросшим уважением в голосе.— Когда?

— Сразу после войны, когда вернулся домой. Из-за болезни легких я не мог уже ходить в море. Да и будь я целехонек, навряд ли что-нибудь вышло с прежней работой. До войны мы промышляли рыбу втроем, вернулся один я. Разве можно было рыбачить без помощников, да еще с моими слабыми легкими. Пришлось искать другую работу. Ведь у меня на попечении находилась мать — она была в ту пору жива. У Карлайла я следил за газоном и подрезал кусты по краям дорожек. Уйму времени отнимал теннисный корт. Это было мое основное занятие — утрамбовывать его, размечать, выдергивать маргаритки, смачивать в жару водой, чтобы земля не потрескалась, а в дождь накрывать клеенкой. Смешно даже подумать,— растягивая слова, проговорил Уиллис,— я никогда не держал ракетки в руках, хотя после службы у Карлайла мог написать книгу о том, как ухаживать за кортом. Поначалу я был рад этой работе. Казалось, нашел то, что надо. Я гордился кортом как своим собственным — да, глупость, она предела не знает! Какой дурак! Наверно, у меня мозги совсем раскисли. По субботам, а летом и два-три раза в неделю, к Карлайлам приезжали гости — поиграть в теннис. Машина, на которой ездит теперь мистер Скоби, тоже частенько стояла у дома полковника. Вся местная знать — в белых туфлях и фланелевых брюках — постоянно съезжалась к Карлайлам, пока этот сопляк Бобби наконец не угробил себя вместе с самолетом. После этого у полковника никого не принимали. Больше уже не бегали по лужайке лакеи с шампанским — все кончилось. Помню, машины, проезжая, разбрасывали гравий с дорожек, а я должен был аккуратно подравнивать его граблями. Мне эта работа надоела задолго до смерти Бобби.

— Да, его родители тяжело перенесли эту утрату,— проговорила Беатриса; захваченная нахлынувшими воспоминаниями, она даже не заметила, что Уиллис совсем по-другому относится к смерти Бобби.— Я знаю, они души в нем не чаяли. Он ведь был один у них, сын и наследник. Конечно, поговаривали, будто он повеса, но все в его возрасте погулять любят, разве не так? Во всяком случае, в такие годы молодым людям силы девать некуда, что же вы от него хотите?

— Я б сказал, что его можно назвать повесой,— неторопливо ответил Уиллис, взвешивая каждое слово,— а то и похуже, все зависит от того, как к нему относиться. Этот шалопай родился с серебряной ложкой во рту. Знаете, мисс Яннон, я не нахожу ничего ужасного в его смерти. Меня-то она совсем не огорчила. Если бы из-за него не погибли другие, я был бы даже рад. Поубавилось всякой гнили, и только.

— Боже мой, мистер Уиллис, что вы такое говорите? — воскликнула Беатриса, до которой наконец дошел смысл его слов, настолько возмутивших нашу служанку, что она решила возразить.— Неужели вы действительно так думаете?

— Конечно! Именно так я и думаю! Когда я вспоминаю войну, размышляю о тысячах настоящих парней, погибших только ради того, чтобы Бобби Карлайл мог получить самолет — дорогую игрушку, с которой ему втемяшилось в голову поразвлечься, самолет, унесший его жизнь и две других жизни,— так вот, когда я об этом думаю, я нисколько не жалею, что он умер. Еще чего! Было бы легче, если бы он вообще не появлялся на свет божий — ни он, ни ему подобные. Кто мы для них? Скопище грязных свиней — вот кто. Это ясно как белый день. По-моему, все они источают яд, такой же губительный, как тот газ, которого набрались мои легкие. Как вы думаете, мисс Яннон, откуда у полковника столько денег? Ведь вы знаете, что он очень богат. Деньги достались ему от жены, вернее, от ее семьи. Как же они сколотили такое богатство? Я отвечу, и то, что вы услышите,— правда. Родственники жены Карлайла работали на войну все эти годы, когда кровь лилась рекой, они делали оружие — вот откуда у них деньги.

Тут Уиллис, взволновавшись, хотя речь его и текла спокойно, неторопливо, разразился мучительным кашлем, перемежавшимся страшными приступами удушья: он хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Миссис Уиллис продолжала по-

мешивать в кастрюле и вязать, мрачно поглядывая в сторону мужа. Беатриса же совсем расстроилась. Уиллис не переставал кашлять; испугавшись, что разговор о Карлайлах иссякнет и мне больше ничего не удастся узнать, я быстро спросила у миссис Уиллис:

— Они живут сейчас в своем доме? Я говорю о старике со старушкой, у них еще есть собака,— разве это не полковник с женой?

Она взглянула на меня, продолжая вязать. Потом ответила:

— Это — Беннеты. Они присматривают за домом и ухаживают за садом, пока нет полковника.

— Ах вот как. А полковник уехал надолго?

— Не знаю. Они с миссис Карлайл почти все время живут во Франции, во всяком случае до сих пор было так. Понятия не имею, что они теперь намерены делать.

Уиллис справился наконец с кашлем и наклонился над столом в мою сторону.

— Зачем это вам, хотел бы я знать? Какое вам дело, кто живет в доме Карлайлов?

— Так, интересно,— смущенно пробормотала я.— Просто... просто я их видела как-то, вот и все.

— Они никогда не выходят за ограду, эти Беннеты. Как вы сумели их увидеть? Наверное, заглянули через ограду?

Слова застряли у меня в горле. Я кивнула.

— Значит, поднялись на Трисский мыс. Но вам нельзя туда ходить, никому нельзя. Ведь вы, конечно, умеете читать? Вы видели надписи — о чем в них говорится? Нечего вам там делать. Держитесь подальше от мыса, понятно? Иначе когда-нибудь попадете в беду.

— Ну конечно, мистер Уиллис прав. Разве можно заходить в чужие владения! — Голос Беатрисы дрожал от волнения.— На вас, мисс Нора, могут подать в суд, вы не смели ступать на землю полковника Карлайла. Мистер Уиллис правильно говорит: это — частная собственность, вы сами отлично знаете.

— Какая ему разница, полковнику Карлайлу, если он все время живет во Франции,— угрюмо пробормотала я.

— Это запрещено законом, вот какая. А если все станут говорить, как вы?

— Ну и что? Ну и пусть!

— О господи, что это на вас нашло? Так вот, слушайте: если еще раз полезете на мыс, придется пожаловаться вашему отцу, предупреждаю, мисс Нора. Поэтому извольте делать так, как говорит мистер Уиллис: помните его слова и держитесь подальше от мыса.

— Ну, это мое дело, Беатриса.— Меня возмутило, что она отчитала меня при Уиллисах, будто я какой-то непослушный ребенок: мне все-таки было пятнадцать, а не пять. Я еле сдерживалась, но мне не хотелось спорить с Беатрисой при чужих людях, поэтому я тут же сказала, понизив голос: — Нечего командовать, Беатриса, ты мне не хозяйка. И не нянька...

Длинный гудок автомобиля прервал наш спор.

— Это машина мистера Скоби, мисс Нора,— воскликнула Беатриса, бросив штопку и вскакивая в необычайном волнении.— Родители, наверное, вернулись из отеля и теперь приехали за вами.

Мы вопросительно взглянули друг на друга, забыв про ссору: опасность объединила нас. Гудок звучал угрожающе.

Беатриса вышла со мной на дорогу, и я была рада, что могу спрятаться под ее крылышко. Отец сидел, барабаня пальцами по рулю «хамбера». Он весь ушел в себя.

— Садись, садись, Нора,— сказал он, завидев меня.

Под его внешней раздражительностью угадывалось радостное возбуждение. Я давно научилась определять настроение отца и была почти уверена, что поездка в отель удалась. Мы тронулись с места так резко, что чуть не угодили в ручей, а когда отец поспешно дал задний ход, то едва не врезались в гранитный крест — каждый раз во всем была виновата я одна. И в Трис я не должна была ходить. И что за блажь вбила я себе в голову — водить дружбу с этими оборванцами Уиллисами? Если там живет Беатриса, это совсем не значит, что и я должна путаться с ними. Чем меньше мы имеем дело с такими людьми, тем лучше. Они не моего круга, и я, урожденная Скоби, в моем возрасте должна уже сама понимать это. Там не только неприлично бывать, но еще и можно набраться блох или заразиться стригущим лишаем, если я играла с малышкой. Отец посоветовал мне как следует вымыться перед сном. Он разглагольствовал всю дорогу, а у самого дома коротко приказал, чтобы на следующий день я никуда не уходила.

— Мать не хочет, чтобы ты исчезала и шлялась без дела, как сегодня утром,— сказал отец.

Я робко возразила, что нигде я не шлялась, и он снова накинулся на меня. Завтра родители отыграются за то, что упустили сегодня, уныло подумала я.

Мы молча расстались. Отец оставил «хамбер» на дороге и пошел к вагончику. В гостиной я увидела Синтию. Поджав под себя ноги, она удобно расположилась в большом кресле и смотрела журнал мод в глянцевой обложке. Синтии нравилось листать журналы, и она часто их покупала. Но читать сестра не любила. Она держала в руках книгу, чтобы ей не мешали думать о чем-то своем. А я проглатывала все без разбора, стараясь уйти от нашей скучной жизни.

— Ну, как? — довольно приветливо сказала она.— Получила за свои странствия? Я так и думала, что они зададут тебе жару. Им совсем не понравилось, что тебя нет. А кто этот мальчик, с которым ты была на берегу сегодня вечером?

— Какой мальчик?

— С которым ты гуляла на берегу.

Она сошла с автобуса у кафе и с причала смотрела, как мы бродили у моря. Нам стоило только обернуться, чтобы заметить ее, но мы были слишком увлечены беседой. Я сказала Синтии, что не знаю, кто он,— так, встретились на берегу и случайно разговорились.

— Это не он ночевал вчера в зале? — спросила Синтия, перелистывая журнал.

Сестра все давно знала. Невозможно было ее провести. Она заметила фонарик и груду подушек.

— Ну... в общем — да...— Синтия загнала меня в угол, и теперь я была в ее руках.— Мальчик попросился переночевать, и я подумала, что в этом не будет ничего плохого. Он... он не мог вернуться домой.

Когда сестре хотелось что-то узнать, она не стеснялась спрашивать. Меня больше тревожило ее молчание. Я с трудом выдавливала из себя слова, но молчать было вовсе невыносимо, и я не удержалась:

— Ты не скажешь родителям, ладно? Он ведь просто хотел где-нибудь переночевать, и все.

— С какой стати я буду им говорить?

16

К обеду ждали мистера Миллера, поэтому мне было велено причесаться и надеть новое платье. Отец ни на минуту не присел с самого утра. Каждый раз, когда, казалось, все уже было готово, он выбегал на причал переставить шезлонги, стараясь расположить их поуютнее и покрасивее. Меня раздражала не эта суматошная беготня, а бесконечный осмотр кафе в редкие минуты отдыха. Трудно было сказать, что он еще выкинет. Зачем так внимательно ощупывает взглядом каждый угол, запрокинув голову и оценивающе прищурив глаза. Отец даже спустился на влажный песок, чтобы посмотреть на кафе с берега, не пожалев своих летних светло-коричневых ботинок, купленных неделю назад. Я слышала, как он постукивал пальцами по стенам; сама не знаю почему, но меня охватило смутное беспокойство.

Отец делал таблички с надписями: «Кафе закрыто, частное владение», «Не входить — частная собственность», «ЧАЯ НЕТ, КАФЕ ЗАКРЫТО», «Частная собственность» — и прибивал их всюду, где только можно. Напрасно он так старался: кафе стояло на открытом месте, и огромные буквы на фасаде еще издали бросались в глаза, а маленькие таблички оставались незамеченными, но отец упрямо продолжал стучать молотком, и когда какой-нибудь прохожий пристально смотрел на кафе с берега или забредал к нам, надеясь подкрепиться, отец воспринимал это как личное оскорбление.

В то утро на кухне все были веселы и приветливы. Разве мы не отдыхаем? Мы с равным усердием готовились к приезду Питера Миллера. Беатриса подмела пол, протерла окна, вымыла столы, начистила картошки, испекла большой пирог с яйцами и беконом на случай, если не хватит мясных закусок, которые обещал привезти мистер Миллер. Меня заставили лущить фасоль. Мать отбирала свежие и консервированные фрукты для салата.

Беатриса рассказывала ей об Уиллисах, радуясь благосклонному вниманию хозяйки. Понизив голос, служанка сообщила, что миссис Уиллис ждет *еще одного ребенка. Еще одного?* При мне на такие темы старались не говорить, но на этот раз мать поджа-

ла губы и укоризненно покачала головой. Боже мой, какой ужас! Прискорбно, что нищие Уиллисы, не задумываясь, дают жизнь шестому ребенку, не удержавшись, заявила мать.

— Они не голодают только благодаря миссис Уиллис,— убежденно сказала Беатриса. Миссис Уиллис, пояснила служанка, вяжет длинные узкие кружева для мадам Кларк — владелицы маленького, но дорогого магазина; они идут на отделку тонкого крепдешинового белья ручной работы.

Мать удивилась и сначала никак не могла поверить Беатрисе. Мадам Кларк, как нравилось ей себя называть, была заметной фигурой в Хьюэлле; в городе ее не любили, о ней ходило много сплетен, но все отдавали дань уважения ее деловой хватке. Мадам было далеко за пятьдесят, но она выщипывала и подводила брови, делала завивку и красила волосы в яркий золотой цвет. Клиентами мадам были в основном щеголи и модницы из больших отелей. В магазинчик заглядывали лишь очень богатые люди. Мать никогда не переступала его порога, но, проходя мимо, часто останавливалась перед витриной. Конечно, трудно вообразить, что была какая-то связь между мадам Кларк, ее шикарным магазином и миссис Уиллис из Триса, очень похожей на простую цыганку. Но Беатриса уверяла, что так оно и есть. Вязать кружева миссис Уиллис научилась у матери, и теперь она обучала этому двух своих дочерей.

— Миссис Уиллис — не только кружевница, мэм. Она чудесно шьет — ей все удается. Когда-то миссис Уиллис вышивала, она показывала мне кое-что — правда, пяльцы ей пришлось забросить. От уборки и стирки, говорит миссис Уиллис, руки так огрубели, что рвут и портят шелковую нить. Да, она вяжет для мадам Кларк не только кружева. Мадам дает ей шерсть для работы. Вы бы поразились, мэм, если бы увидели, какие у миссис Уиллис проворные пальцы,— словно извиняясь, сказала Беатриса.

Мать перестала удивляться, ее увлек рассказ служанки. Мать обожала дорогие вещи и мучительно страдала из-за того, что не могла их себе позволить. Модные платья попадали к ней из вторых рук, их присылала кузина из Шотландии. Стоило матери заговорить о кузине Уинифрид — что она, впрочем, делала весьма редко,— как лицо ее преображалось, его обычно надменное выражение становилось враждебным и злобным. По-моему, мать люто ненавидела свою двоюродную сестру, питая к ней зависть, не утихавшую вот уже двадцать лет. Они родились чуть ли не в один день и росли вместе, но все, о чем с детских лет мечтала Элен, по чудовищной ошибке провидения выпало на долю недостойной Уинифрид. Это она, Уинифрид, тихая, робкая, как мышь, совершенно бесцветная, глупая, почти дурнушка, в один прекрасный день вышла замуж за богача, коварно похитив счастье Элен, которая осталась ни с чем.

Моя мать была единственной дочерью и последним ребенком в семье; она родилась слишком поздно, и, я думаю, родители не особенно ей обрадовались. Ее мать обожала четырех статных сыновей, а старик отец предпочитал книги обществу маленькой дочки. Девочка росла под присмотром няньки и гувернантки; к ее воспитанию приложили руку кухарка, горничная и садовник, не скупившиеся на советы и нравоучения; дома в ту пору, должно быть, так и кишели слугами. По сравнению с нами родители матери жили на широкую ногу, но бабушке, выросшей в епископских хоромах, которые пришлось оставить после замужества, казалось, что они живут бедно и почти без челяди,— наверно, от бабушки мать унаследовала презрительный взгляд на свое положение.

Нельзя сказать, чтобы родители не любили маленькую Элен — они просто не замечали ее. Недостаток родительской ласки восполняло необычное внимание к девочке со стороны четверых взрослых братьев и их друзей, приходивших поиграть в теннис; Элен стала для этих юношей в спортивных тужурках чем-то вроде игрушки и талисмана. Я помню смеющиеся лица молодых людей, смотревших на меня с коричневатых фотографий; они небрежно валялись на лужайке, низко надвинув на глаза соломенные шляпы, а в центре, словно дивный цветок или драгоценный камень, неизменно сидела пухленькая, серьезная девочка в белом платье с оборочками, кудрявая и темноволосая. По фотографиям и воспоминаниям матери я знала, что юноши готовы были подарить весь мир своей любимице: и золотое, чудесное, как сказка, будущее, и прекрасного принца, который возьмет ее в жены, и роскошные одежды, и драгоценности, и великолепные приемы, и дворец, и долгую, счастливую, беззаботную жизнь — все для Элен. Но молодые люди исчезли словно дым, унесенный ветром, а будущее... где оно, прекрасное будущее? По какой-то роковой ошибке оно досталось Уинифрид. Это было и оставалось ужасной несправедливостью.

Когда мать узнала от Беатрисы, что миссис Уиллис — искусная швея да еще вяжет кружева и другие вещи для мадам Кларк, чтобы свести концы с концами,— глаза матери заблестели, она даже перестала отбирать виноград для фруктового салата.

— Интересно, сколько мадам Кларк платит ей за работу? Не думаю, что слишком много, хотя кто знает, мадам все продает втридорога: работа ведь ручная. А не будет ли лучше для миссис Уиллис, не намного, конечно, но все же выгодней, если она заведет своих заказчиков? Я бы согласилась сшить у нее что-нибудь для начала. Это помогло бы ей встать на ноги. Узнай у нее, Беатриса! Хотя нет, подожди! Я, пожалуй, сама с ней поговорю. Не сомневаюсь, что мы быстро найдем общий язык. Я все-таки не понимаю почему у них так плохо с деньгами. Я слышала, Уиллис отравился на войне газом, он наверное, получает пенсию по инвалидности.

Беатриса сказала, что с пенсией все не так просто. В детстве Уиллис перенес плеврит, поэтому в медицинском свидетельстве указывалось, что у него слабые легкие; ему дали мизерную пенсию, заявив, будто он заболел не только из-за отравления газом.

— Но сам мистер Уиллис считает, что это подлость, его нарочно обманули, отказав в пенсии, которую он заслужил; до войны Уиллис был совершенно здоров. А сейчас задыхается из-за газа, при чем тут плеврит?

— Да он-то откуда знает? Он что, доктор? Нельзя верить ему, Беатриса. Он — обыкновенный неудачник. К сожалению, есть люди, которые на всех углах кричат о своих болезнях, Уиллис из их числа,— продолжала мать.— Только посмотри на него — настоящий смутьян, сразу видно по лицу. Такие всегда винят кого угодно, только не себя.

17

Питера Миллера все не было. Молодой управляющий сильно запаздывал, и родители уже не надеялись, что он приедет; вконец расстроившись, они ссорились и ссорились и осыпали друг друга упреками. Но вот послышался пронзительный, точно фанфары, сигнал автомобиля, и мимо нас красным огненным вихрем пронеслась машина Питера; он резко затормозил, потом развернулся у выхода в поле и медленно поехал по причалу назад, вдоль шезлонгов. Спортивный автомобиль Питера был алого цвета. Я вдруг вспомнила, как Беатриса рассказывала, что Бобби Карлайл около десяти лет назад тоже ездил на алой спортивной машине.

Я бы не назвала Питера красивым — во всяком случае он ничем особенно не выделялся; в нем все было в меру: он выглядел в меру симпатичным, в меру высоким, в меру голубоглазым. Трудно было сразу понять, как ему удавалось производить впечатление. Он привез джин для коктейлей в фирменной хромированной фляге. Питер захватил все что нужно — ведерко с кубиками льда, вишни, соломинки для коктейлей, бокалы. Ничего не забыл, даже томатный сок для меня. Он привез с собой не только соломинки, но и какое-то новое настроение, пьянившее сильнее коктейлей,— радостное возбуждение.

Питер умел завоевывать сердца и, где бы он ни появлялся, сразу завладевал всеобщим вниманием. За несколько секунд обшарпанный причал кафе «Роза» неузнаваемо изменился. К нашему удивлению, Питер доставал из багажника все новые и новые вещи: один за другим появились низкий складной столик с такими же стульчиками, которые были гораздо современнее наших старомодных шезлонгов, надувной матрац, полосатая ширма для защиты от ветра на удобных выдвижных ножках — все это возникало у него в руках неизвестно откуда, как у фокусника на замечательном детском празднике.

Питер сразу же покорил Беатрису; он вел себя так, будто был в кафе своим человеком и старым ее знакомым: без конца сновал между причалом и кухней, звал служанку по имени, принес ей плетеную корзинку с провизией, старательно растолковывал, что и как делать, словно поверял Беатрисе удивительные тайны.

Новый управляющий оказался гораздо старше, чем я ожидала, и хотя отец без конца называл его юношей, Питер, если присмотреться поближе, давно уже вышел из этого возраста. Но он безусловно был моложавым, умел пустить пыль в глаза, его окружал ореол хотя и не хозяина, но все-таки управляющего большим отелем.

— «Гулен-бей» — не какой-то затерянный уголок в здешних краях,— говорил Питер Миллер.— Это не так. Знаете, сэр, здесь столько возможностей — просто голова идет кругом. Да-да!

— Это у меня закружится голова, если вы нальете еще коктейля, Питер,— с напускной строгостью сказала мать.

— Может, все-таки рискнем, а? — ответил Питер, наполняя ее бокал.— А ну-ка, миссис Скоби, покажите, какие мы молодцы.

— А вот у вас не может закружиться голова, Питер,— сказала она.— По-моему, вы всегда знаете, чего хотите, так?

— Конечно,— решительно согласился Питер, и мать засмеялась; я видела, что она довольна ответом. Да и отец был рад. Питер всегда упрямо шел к своей цели; родители это знали. И поэтому доверяли ему. От него исходила такая твердая вера в свои силы.

Громко хлопнула пробка, крики и смех раздались у меня за спиной. Питер Миллер принес мне бокал светлого шипучего вина. Я грустила, сидя на краю причала, свесив ноги над песчаным дном. Ведь это — их праздник, я была здесь чужой. И зачем меня заставили остаться? Мать протестующе воскликнула:

— Питер, не надо, Норе только пятнадцать. Ей еще рано пить вино.

— Рано или поздно она его все равно попробует, миссис Скоби,— верно, сэр? И потом, для девушек нет ничего лучше шампанского, оно им чертовски полезно. Им надо давать его как лекарство,— сказал Питер, присев рядом на корточки и с улыбкой глядя в мое хмурое, серьезное лицо; в руке Питера зеленела бутылка, а из-за плеча виднелась бухта, сразу ставшая очень маленькой и далекой.

Шампанское! Я ожидала большего, а оно напоминало имбирный лимонад, но не было таким вкусным. Все дружно подняли бокалы: «За компанию Скоби — Миллер!» У взрослых было великолепное настроение.

Питер Миллер и раньше бывал в Трисе. Он хорошо знал здешние места. Питер учился вместе с Бобби Карлайлом. Они были неразлучными друзьями. Для мальчика Питера дом Карлайлов стал почти родным; он проводил там порой все каникулы, когда родители уезжали за границу.

— Бобби Карлайл слыл сущим дьяволенком, он был просто помешан на всяких проделках — да простит мне миссис Скоби эти слова. Если не было повода для проказ, Бобби, ей-богу, сам изобретал что-нибудь эдакое. Он был настоящим гением по части разных шалостей.— Питер Миллер вспомнил, как однажды во время летних каникул они просто умирали от тоски, и тогда Бобби Карлайл предложил подурачить сестер Тиллс-Митсон; друзья развлекались вовсю, не давая старушкам покоя. Как-то раз вот на этом самом месте они устроили себе настоящий пир, объевшись до тошноты клубникой со сливками, лепешками с вареньем и шоколадным тортом; все лакомства они получили почти задаром от бедных сестер, которых обвинили в жадности, сказав, будто в хьюэллском «Метрополе» цены в два-три раза ниже.

— О, Питер, какая злая шутка! Разве можно быть такими жестокими? — воскликнула мать.— Обманывать бедных старушек! Я считаю, вы поступали очень дурно.— И она погрозила пальцем Питеру Миллеру.

Он сразу покаялся.

— Вы совершенно правы, миссис Скоби, мы были настоящими свиньями. Не судите нас слишком строго,— с виноватой улыбкой сказал он.— Ведь мы были совсем детьми, лет по пятнадцать — шестнадцать; вы знаете этих мальчишек, они только и смотрят, где бы напроказить. И потом, Бобби клялся, что сестры богаты, как Крез. Он говорил, будто старушки получили наследство — несколько сот фунтов, которые спрятали в матрацы; чего только не придумывал Бобби, чтобы выудить эти деньги. Господи! Мы просто умирали со смеху!

Вернувшись домой из Кении, Питер Миллер очень удивился, когда узнал, что старушки сестры еще живы и продолжают хозяйничать в кафе «Роза» А он-то думал, что они давно уже на том свете. Еще когда Питер ходил в школу, сестры Тиллс-Митсон казались ему такими же древними, как окружающие холмы.

— Да, это становится смешным,— сказала мать.— Им уже давно пора оставить дело, ведь Корди постоянно болеет. Безусловно, сестры вздохнут свободнее, как только отдадут кафе в другие руки. И если они доверятся друзьям, то будут избавлены от обычных при продаже волнений и суеты. Просто безумие в их возрасте держать кафе, да еще такое, как это,— они же совсем старенькие Если бы я знала, на что похоже кафе,— доверительно сказала мать Питеру,— в жизни не разрешила бы Бернарду снять его. Но нам хотелось помочь старушкам, правда, Бернард? Они не знали, как благодарить нас, бедняжки! Это было так трогательно. А я решила, что, если выдержу здесь две недели, мне все будет нипочем — в джунглях, наверное, и то лучше! Так что, Питер, когда надумаете возвращаться в Кению, возьмите меня с собой!

— Ловлю вас на слове, миссис Скоби! Представляю: вы на сафари, да еще охотитесь на слона. Сафари — вот что подходит для миссис Скоби, вы согласны, сэр?

— Сафари? Элен? Какая чепуха,— сказал отец.— Это не для нее. Элен слишком изнеженна.

Если отец и хотел досадить матери, то у него ничего не вышло. Его сварливое замечание было принято как изысканный комплимент, и Питер, казалось, отнесся к нему так же. Я не могла понять почему, да и отец наверняка не знал этого. Возможно, никто не обратил внимания на слова отца. Взрослые уже выпили немало шампанского, коктейлей с джином и порой теряли нить разговора. Однако, куда бы их ни заводило веселое настроение, все неизменно возвращались к одному и в который уже раз принимались обсуждать свой план. Они решили купить кафе «Роза» вместе с прилегающим участком, потом снести здание и построить отель на месте допотопного вагончика сестер Тиллс-Митсон.

Я не могла представить себе сестер Тиллс-Митсон без кафе. Трудно было поверить, что они *продадут* его. Неужели родители и Питер Миллер говорили вполне серьезно, или они перестали рассуждать здраво после выпитого шампанского?

— Конечно, сестры послушают Бернарда,— уверенно проговорила мать.— Они сделают все, что он скажет, обязательно сделают. Они всегда обращаются к Бернарду за советом, и он по-дружески помогает им, не требуя ни гроша. У них нет делового чутья, они ничего не понимают в деньгах.

Питер Миллер согласился.

— Это все знают,— сказал он.

Я обернулась к нему, не поднимаясь с причала:

— А правда, что у Бобби Карлайла тоже была алая спортивная машина? Такая же, как у вас.

Все удивились, недовольные тем, что какая-то девчонка прервала их беседу.

— Почему тебя интересует машина Бобби Карлайла? — спросила мать.— Сколько лет прошло после этой ужасной катастрофы? — обратилась она ко всем.— Восемь? Десять? Да, но Нора была тогда совсем маленькой.

— Вчера об этом как раз вспоминали Уиллис и Беатриса. Они рассказывали, что у *Бобби* была алая спортивная машина, а потом я увидела вашу,— невнятно пробормотала я, обращаясь к Питеру Миллеру,— такую же...

— Такую же? Она во всем отличается от машины Бобби,— сказал Питер.— Если бы ты когда-нибудь видела старую колымагу Карлайла, то сразу заметила б разницу. У них только цвет одинаковый. Бобби отдал бы правую руку за мою машину,— холодно сказал Питер, буравя меня своим немигающим взглядом. Я задела его самолюбие. Смешно: он действительно хотел убедить меня в несомненном превосходстве своей машины. Но слова Питера предназначались не мне, а Бобби. Как он хотел, чтобы Бобби знал это — Бобби, который давно умер и не мог услышать его.

Мать рассердилась совсем по другому поводу.

— Этот... Уиллис! — воскликнула она.— Он просто сумасшедший. Забил Беатрисе голову нелепыми россказнями, будто получает ничтожную пенсию, насплетничал о Карлайлах — да как он смеет! Какая наглость! Говорят, он вместе с женой работал у полковника.

Питер Миллер хорошо знал Уиллисов. В те времена миссис Уиллис все звали Джессикой, и она была прехорошенькой, а что еще нужно девушке?

— Да, да, — повторил Питер, заметив скептическую улыбку на лице матери,— она действительно была очень мила, Бобби совсем потерял голову, гоняясь за ней. Он просто не давал ей прохода! Ну, какой юноша из хорошей семьи откажется поволочиться за смазливой горничной, живущей с ним под одной крышей. В этом нет ничего особенного, как, впрочем, и в том, что Бобби с Уиллисом невзлюбили друг друга. Вражда между ними не утихала, и Бобби прямо-таки жил ею, когда учился в школе; вместе с Питером он постоянно дразнил Уиллиса. Этот Уиллис был настоящий чудак — молчал, как покойник, до тех пор, пока им с Бобби не удавалось вывести его из себя; что тогда было, просто передать невозможно! Брр! Господи! Миссис Карлайл считала Уиллиса грубияном и постоянно просила мужа уволить садовника, но полковник долго не соглашался. Старик Карлайл был самым добрым человеком на свете — вечно о комнибудь беспокоился; и он питал слабость к Уиллису, да и мистер Вэллери поддерживал в этом полковника. Парень совершенно безобидный, если хорошо с ним обращаться, говаривал мистер Вэллери. Старина Вэллери сам слыл чудаковатым стреляным воробьем,

довольно умным по-своему, и пользовался репутацией очень справедливого человека. Однажды он заметил, что садовник, верно, сделан из того же материала, что и теннисная сетка, в которую он, мистер Вэллери, то и дело посылал мячи,— из суровых просмоленных нитей. По-моему, мистер Вэллери попал в точку.

Питер помнил, как Уиллис ходил вокруг теннисного корта в те дни, когда Карлайлы устраивали свои незабываемые приемы. Он был неотъемлемой частью пейзажа: невозможно было представить себе эти вечера без сумрачного Уиллиса, маячившего поблизости, без призрака на пиру, как его называли. Потом Питер Миллер пустился в подробное описание этих чудных приемов: чай на лужайке, белая скатерть под раскидистым буком, бутерброды с ломтиками огурца, лимонад со льдом и запах голубого пламени спиртовки под серебряным чайником. Вот какая картина представала перед Питером, когда он вспоминал в Кении о доме, об Англии.

— Обычно и ваша машина мелькала там среди прочих,— посмеиваясь, сказал Питер.— Мистер Вэллери часто приезжал к Карлайлам. Он был близким другом полковника — думаю, и сейчас они поддерживают связь. Вилла, которую купили Карлайлы после смерти Бобби, принадлежала мистеру Вэллери; говорят, она где-то среди холмов за Ментоной.

18

Напрасно я попросила разрешения уйти.

— Уйти? — повторила мать, удивленно посмотрев на меня.— Почему ты все время порываешься уйти? Куда это ты собралась?

Я уже пыталась улизнуть из кафе. Я хотела уйти, когда отец с Питером бродили по участку напротив и тыкали палками в землю, проверяя ее на влажность. Вернувшись, они сказали, что участок, без сомнения, лежит в низине, поэтому он стоит недорого. Сейчас это — обычная пустошь. Прежде чем начинать строительство, нужно будет осушить землю, поднять ее уровень и утрамбовать. Все это можно сделать, есть много разных способов, решили они. Потом отец принес из зала клюшки, и они с Питером умчались на машине сыграть партию в гольф, оставив мать одну. У нее сразу же разболелась голова. Беатриса мыла посуду на кухне.

Я сказала, что хочу просто поплавать.

— Разве ты не можешь хоть раз обойтись без купания? Какая ты черствая, Нора: собираешься убежать, бросить меня одну, когда я так страдаю от страшной мигрени.

Мы с матерью очень удивились, услышав вдруг за спиной виноватый голос мисс Мейбл Тиллс-Митсон, которая никак не могла отдышаться. Да, это была сама Мейбл, она стояла на причале, щурясь от яркого солнца.

— Боже мой, Мейбл! Какими судьбами!

Мейбл торопилась. Она обязательно должна успеть на ближайший автобус, идущий в Хьюэлл, ей не хочется надолго оставлять Корди одну. Мать выразительно посмотрела на меня: есть же люди, которые понимают, что больных нельзя бросать без присмотра, не мешало бы мне это знать.

— Присядьте хоть на минуту, Мейбл, все равно за это время ничего не случится. У меня опять ужасная мигрень, я и пальцем пошевелить не могу, но так хочется узнать о здоровье Корди. Посмотрите, мы здесь совсем как дома, в вашем любимом кафе — забавно, верно? Садитесь, пожалуйста, Мейбл, не могу смотреть, как вы стоите.

Но Мейбл отказалась присесть, она хотела сначала взять шкатулку с письмами и бумагами, которая почему-то срочно понадобилась Корди. Шкатулка находилась в вагончике, в спальне Корди.

Меня послали в дом за ключами; если родители отлучались куда-нибудь из вагончика хотя бы на пять минут, они обязательно запирали каждую комнату. Мейбл призналась, что они с Корди всегда держали двери открытыми.

— Ну и очень глупо с вашей стороны, Мейбл. Вы просто сами приглашали в дом жуликов со всей округи.

— Вы правы, наверно, это и в самом деле глупо. Но всегда хочется верить людям.

Мейбл непременно хотела сама сходить за шкатулкой.

— Ты бы проводила тетю Мейбл, Нора.

Я пошла за Мейбл по асфальтовой дорожке через пустырь к вагончику. На Мейбл была тесная кофта, которая собиралась складками на ее полной спине. При каждом движении Мейбл слышалось слабое позвякивание бус и браслетов. Она питала страсть

к хорошеньким побрякушкам и не могла устоять против желания нацепить их как можно больше; а поскольку Мейбл всегда выбирала броские украшения, не обращая внимания на их ценность, то среди них попадались и неплохие вещицы, и всякая ерунда. «Хоть бы она не делала из себя такое пугало,— часто вздыхала мать.— За что бы ни бралась бедная Мейбл, она всегда теряет чувство меры». А отец говорил, что Мейбл вечно разряжена, как рождественская елка.

Теперь она довольно быстро ковыляла впереди меня. Ноги у Мейбл были маленькие, но очень полные, они еле входили в когда-то модные и удобные шевровые туфли бронзового цвета, на каблуках, с острыми носами и стальными фигурными пряжками; эти туфли, как и кофта, тоже были малы Мейбл. Я шла босиком и удивлялась, как она может терпеть такую муку. Приятно было сойти с шершавого горячего асфальта на влажную прохладную траву. Она была влажной, прохладной и зеленой, потому что росла в низине, которая была настоящей пустошью и ничего не стоила. Чтобы ее осушить, посыпать гравием, утрамбовать катком, понадобится много денег, но Мейбл пока не знала о планах родителей. Она не знала, что торопливо идет по земле, уже почти ей не принадлежавшей.

Шкатулка, которую принесла Мейбл из спальни, оказалась, вопреки моим ожиданиям, не картонной, а красной, кожаной, с застежкой и медными ручками. Мейбл сказала, что шкатулка перешла к их отцу от деда.

— Ты справишься с ней, деточка? Не очень тяжело? Осторожней, когда будешь спускаться по ступенькам.

Я спросила:

— Тете Корди стало лучше?

— Нора, деточка, прямо не знаю, что и сказать. Наверное, ей стало полегче. Понимаешь, у доктора Брэдли столько больных, ему некогда даже задержаться и поговорить. Доктора всегда очень заняты, верно? Как жаль, что Корди не видит наших вьющихся роз. Вот так они выглядят каждый год, все лето цветут,— какое чудо! Непременно надо ей рассказать.

— Боже мой, Мейбл, какая тяжесть! — воскликнула мать, увидев нас.— Это не шкатулка, а целый ящик, даже чемодан! И вы думаете одна везти ее на автобусе? Норе надо обязательно поехать с вами. Присядьте, пожалуйста, Мейбл, еще полчаса до автобуса, я велела Беатрисе принести чаю. По-моему, вам просто необходимо подкрепиться. Как жаль, что вы не приехали раньше,— вы бы застали Питера Миллера. Знаете, он только что уехал. Питер вспоминал о вас с Корди. Рассказывал, как вы были добры к нему и Бобби Карлайлу, когда они были мальчиками.

Мейбл молчала.

— Разве вы не знаете, Мейбл,— с некоторым раздражением сказала мать,— что Питер Миллер — новый управляющий отеля «Рулен-бей», который принадлежит полковнику Карлайлу?

Да, сказала Мейбл, они узнали об этом на пасху.

— Странно, что вы ничего нам об этом не сказали. Можно было нас представить друг другу. А то мы познакомились случайно. Питер, конечно, близко знает семью Карлайлов — ведь он был лучшим другом Бобби, не так ли?

— Да, пожалуй,— сказала Мейбл.— Их всегда видели вместе. Питер даже жил у Карлайлов. Официантки в кафе их не любили,— добавила она рассеянно.

— В самом деле? — воскликнула мать.— Вы меня удивляете, Мейбл. Питер — невероятно обаятельный молодой человек, можете спросить у Беатрисы, когда она принесет чай, моя служанка просто влюбилась в него! Я полагаю, он был очаровательным мальчиком, да и о Бобби, как я помню, говорили, что он неотразим.

Но Мейбл сегодня была на себя не похожа. Она суетилась, отвечала невпопад, словно мысли ее метались встревоженными мотыльками, не смея ни на чем остановиться хоть на минуту. Обычно Мейбл очень любила поговорить. Беатриса принесла поднос с чаем, вежливо поздоровалась с Мейбл и спросила о здоровье Корди.

Когда Беатриса ушла, Мейбл, глядя через бухту на крышу и дымовые трубы дома Карлайлов, заметила:

— Бобби Карлайл и Питер Миллер были очень невоспитанными мальчиками.

— В самом деле? — спросила мать с возрастающей неприязнью. Она не верила Мейбл. Без сомнения, эти очаровательные мальчики, Бобби и Питер, были прекрасно воспитаны. Мейбл просто стала многое забывать.

Но Мейбл стояла на своем.

— Они дурно себя вели,— сказала она.— Очень и очень дурно, оба!

Сестры Тиллс-Митсон никогда ни о ком плохо не говорили, вот почему эти слова, особенно в устах Мейбл, которая всех оправдывала и находила достоинства даже у горьких пьяниц и мрачных бродяг, стучавшихся с черного хода, прозвучали как гром среди ясного неба. Она, должно быть, сама испугалась своей резкости, так как тут же постаралась ее смягчить, выразив надежду, что Питер Миллер, наверное, стал теперь лучше. В конце концов, она не видела его много лет; когда Питер был мальчиком, он во всем слушался Бобби. Именно Бобби был заводилой, а уж он мог кого угодно сбить с толку.

Тут мать не смогла сдержаться: говорить в подобном тоне о Карлайле — это уже граничило с ересью. Должно быть, Мейбл спутала Бобби с кем-нибудь другим. Но Мейбл твердо стояла на своем: кого-кого, а уж Бобби просто невозможно было ни с кем спутать.

— По-моему,— сказала она задумчиво,— если бы Бобби не разбился на самолете, то сегодня отель «Рулен-бей» стал бы просто грязным притоном.

Мать в изумлении воззрилась на нее: неужели Мейбл совсем выжила из ума?

— Мейбл, ради бога, объясните, что значит — грязным притоном?

— Казино, моя дорогая, знаете, как на континенте. Бобби хотел превратить трисский эллинг, тот, что принадлежит Уиллису, в казино и ночной клуб. Только Уиллис никогда не продал бы ему эллинга. Вместо этого полковник купил отель «Рулен-бей». Он хотел, чтобы Бобби стал там хозяином,— надеялся, что сын, занявшись наконец делом, остепенится.

— Почему вы говорите — эллинг Уиллиса, Мейбл? Из-за того, что он держит там шлюпку? Разве он не бросил ловить рыбу?

— Ну да, он не смог заниматься этим, бедняжка.

— Но не хотите же вы сказать, что огромный эллинг в Трисе *принадлежит* Уиллису? Он его владелец?

— Сейчас да. Раньше эллинг и шлюпка принадлежали ему и двум рыбакам — братьям Болито, которые погибли на войне.

— По-моему, очень плохо, что такому человеку, как Уиллис, позволяют иметь недвижимость,— совсем выйдя из себя, заявила мать.

— О, Элен, милая, неужели вы и вправду так думаете? — с сомнением спросила Мейбл.

— Да, представьте себе. Собственность создана не для Уиллисов.

— Но, дорогая, ведь этот эллинг и предназначался для рыбаков,— с робкой настойчивостью возразила Мейбл.— Знаете, его специально для них построили много-много лет назад.

Прадед миссис Уиллис, а может быть, прапрадед или даже прапрапрадед — Мейбл точно не знала,— выстроил эллинг для жителей поселка. Он всю жизнь мечтал о том дне, когда у каждого простого человека на земле будет свой дом, ради этой мечты он и построил все дома в Трисе — шесть домов для рыбацких семей, чтобы каждая из них обрела наконец свой кров. Корди и Мейбл считали, что это — замечательная мысль, ничего дурного в ней не было.

— Ну конечно, Мейбл! — вырвалось у матери вместе с язвительным смешком; с каждым словом гостьи она распалялась все больше.— Нетрудно догадаться, кто наговорил вам это. Как же, мечта! Это ничтожество, лодырь без определенных занятий и будущего, с женой и шестью детьми на руках, бесстыдно рассказывает сказки про мечту прадеда своей жены о том, кто и чем должен владеть! Разве вы не знаете, Мейбл, что кроется за такими россказнями? Не видите, кто он? Да он — большевик! У вас с ним не должно быть ничего общего. Нельзя его держать, Мейбл, если не хотите иметь дело с дьяволом.

— Что вы, Элен, дорогая, он совсем не такой, как вы думаете,— сказала Мейбл, явно расстроенная крайне раздраженным тоном моей матери.— Он сделал нам столько добра. Конечно, Уиллис немного... резковат, если вы к нему не привыкли, но он такой приятный человек, стоит только поближе его узнать. Он столько пережил. Знаете, его отец ушел в море за рыбой и не вернулся, когда Уиллис был еще мальчиком. А потом случилось несчастье, он отравился на войне газом...

— Как легко вас провести, Мейбл; вы слишком доверчивы. Нужно быть более осмотрительной. Лично я ни на грош не верю этому негодяю,—заявила мать,—и вам не

советую ему верить, если вы обладаете хоть каплей здравого смысла. Наверное, это Уиллис рассказал вам небылицы про ночной клуб и казино?

Но она ошибалась. Не Уиллис, а сам Бобби Карлайл рассказал сестрам об этом.

Однажды они проснулись среди ночи от сильного шума; оказалось, что Бобби врезался на своей машине в причал.

— Он всегда ездил слишком быстро, дорогая, но боюсь, что тогда он был к тому же навеселе. Кажется, даже чересчур.

Поспешно накинув халаты, Мейбл и Корди втащили Бобби Карлайла в маленькую гостиную, промыли царапины и порезы, заклеили пластырем, приготовили для Бобби горячего сладкого чаю и сами заодно выпили по чашке, чтобы прийти в себя после ночного потрясения. Бобби особенно не пострадал, но был очень возбужден, говорил без умолку, отказался ехать домой и в конце концов заснул на диване — они не знали, что и делать. Утром он умчался на своей машине.

Но голос Бобби и после его отъезда звенел в ушах сестер, и то, что они услышали от него, причиняло мучительное беспокойство. И не только из-за того, что Бобби намеревался превратить большой эллинг в прибрежное казино — он хотел прибрать к рукам весь поселок Трис, превратить домики в современные шале для себя и своих друзей. Мейбл с Корди сочли своим долгом сообщить Уиллису о грозящей опасности.

— Своим долгом! — проговорила мать с осуждением.— Рассказать о чужих замыслах *Уиллису?* Какая странная мысль! Не хотите ли вы сказать, Мейбл, что воспользовались беспомощным состоянием несчастного юноши и злоупотребили его доверием, его верой в вас? Неужели вы и в самом деле считаете, что исполнили свой долг?

Мейбл казалась измученной и усталой. Что ж, возможно, им не надо было так поступать. Хотя тогда, после долгих тревог и раздумий, они решили, что выбрали правильный путь. Поэтому, несмотря ни на что, сестры пошли к Уиллису и предупредили его о планах Бобби.

Уиллису и так принадлежали два дома в начале и в конце улицы: в доме номер шесть, где он родился, жила его мать-старушка, другой дом, номер один, достался в наследство миссис Уиллис. Предложение полковника Карлайла продать ему эллинг и дома на Ходжес-роу не застало Уиллиса врасплох. Тогда в Трисе, как и повсюду в Англии, настали тяжелые времена, люди шли на все, лишь бы раздобыть хоть немного денег. Однако Уиллис предложил хозяевам домов больше, чем полковник, и, заплатив наличными, стал за одну ночь владельцем всей улицы. Но он не превратился в настоящего домовладельца. Уиллис не брал с жителей Триса никакой платы — для них все осталось по-прежнему. Сторож купил дома на всякий случай, чтобы обезопасить себя, как он объяснил Мейбл и Корди. Он считал себя духовным наследником давно умершего мастера. Уиллис ничего не продал бы, особенно полковнику Карлайлу; у сторожа были давние счеты с Бобби, Мейбл не знала причины этой вражды.

Во время рассказа Мейбл мать сидела с видом судьи, слушающего заключительное слово защитника; губы ее все больше сжимались; когда Мейбл умолкла, мать вынесла приговор.

— Своим вмешательством, Мейбл, вы оказали медвежью услугу жителям Триса. Я знаю, вы с Корди хотели сделать как лучше, но вы слишком наивны — верите всему, что вам говорят. Если бы вы не предупредили Уиллиса, жители Триса стали бы снимать дома у полковника Карлайла, как, в сущности, и должно быть. Это только принесло бы им пользу — в конце концов, они живут в его владениях или по соседству с ними, что по сути дела одно и то же. О жителях Триса заботились бы как следует. Полковник, конечно, следил бы за состоянием домов, чтобы крыши не протекали, входные двери были покрашены и прочее. Разве он говорил, что собирается всех выселить? Ну, разумеется, нет! *А если и так,* то я думаю, вы согласитесь, Мейбл, что полковнику, армейскому офицеру, который всю жизнь руководит людьми, виднее, чем вам с Корди, я уж не говорю об этом чудовище Уиллисе, что́ и как делать на благо людей? Откуда вы знаете, может, им лучше было бы жить в Хьюэлле, ведь все они ездят на работу в город, так? Подумайте, сколько можно сэкономить времени, не говоря о деньгах, которые идут на автобус! А фантазии Бобби насчет казино и прочую мальчишескую болтовню просто нельзя принимать всерьез. Молодым людям в голову всегда приходят сумасбродные мысли, когда они немного выпьют.

— А у Бобби только такие мысли и были,— сказала Мейбл.— Элен, дорогая, вы ведь его не знали. Родители вконец избаловали мальчика. Стоило Бобби чего-нибудь

захотеть, как он тут же получал желаемое. Любая его прихоть рано или поздно исполнялась.

Мать была не согласна с Мейбл и никак не хотела ее отпускать. Мать интересовало, как и где этот Уиллис смог достать денег, чтобы купить четыре дома, да еще за наличные. И Мейбл, не выдержав ее пронизывающего взгляда, вынуждена была признаться, что это они с Корди... ну да, они, две сестры, одолжили Уиллису деньги. У них было припрятано кое-что на черный день — должно быть, в матрасах, подумала я.

— И Уиллис вернул деньги? — спросила мать.

— Да, да. Конечно. Почти сразу.

— Как это он сумел? — допытывалась мать.

— Он продал свое судно,— ответила Мейбл.— Свой траулер.

— Но ведь рыболовное судно стоит меньше, чем четыре дома?

Мейбл объяснила, что за дома просили недорого, а траулер был в отличном состоянии — хоть сразу выходи в море. Но тут обычно спокойные голубые глаза Мейбл забегали, а ресницы тревожно задрожали; она так смутилась, что у матери опять зародились подозрения; мать с таким упорством насела на Мейбл, что та вынуждена была признаться: действительно, денег, вырученных за траулер, не хватило бы на покупку домов, ну, а недостающую сумму, неважно какую — Мейбл решительно и упрямо отказалась ее назвать,— они подарили Уиллису, это была своего рода дань уважения светлой памяти старого мастера-строителя и его необычным желаниям, которые Мейбл с Корди считали такими благородными.

Мать всплеснула руками.

— О Мейбл, вы просто неисправимы! Вы меня очень расстроили. Позволить себя обмануть, именно обмануть, такому негодяю — это... это выше моего разумения. Прямо не знаю, что скажет Бернард. Хоть бы вы посоветовались с ним, Мейбл,— ну почему вы не сделали этого? Подумайте, как все могло измениться! — почти простонала мать. Я прекрасно понимала, о чем она думает: еще одна потерянная возможность — если бы только Мейбл обратилась к Бернарду, он бы вмешался и знакомство с Карлайлами состоялось. Подумайте, как все могло измениться!

19

За разговорами и чаем мы чуть было не пропустили автобус. Мне пришлось бежать через дорогу, прижав к себе шкатулку из красной кожи, и просить кондуктора подождать мисс Тиллс-Митсон. Тяжело дыша, она подошла к автобусу, за ней спешила Беатриса с моими парусиновыми туфлями в руках. Мать забыла дать мне денег на дорогу, и Мейбл пришлось платить за меня.

Мы сидели в автобусе, тесно прижавшись друг к другу, и я вдыхала аромат, исходивший от Мейбл: сильный запах пудры, лавандовой воды, мыла и еще чего-то мне неизвестного. Она пахла свежестью и цветами, что казалось странным для полной, изрядно вспотевшей старой женщины.

— Что такое «шале», тетя Мейбл? Я раньше думала, это — дома, в которых живут в Швейцарии.

— В Швейцарии? Да, наверное.

Автобус переехал через речку Трис-брук и стал взбираться на холм, оставив справа железные ворота дома полковника Карлайла.

— Боюсь, твоя милая мама после моего рассказа составила неверное представление об Уиллисе,— проговорила Мейбл.— Должно быть, я что-то не так сказала, я просто не умею объяснить все как следует. Твоя мама очень вспыльчивая, жаль, что она плохо думает об Уиллисе. Он перенес так много. И миссис Уиллис — замечательная женщина, у нее пять прелестных детишек, твоя мама почему-то сказала шесть, но знаешь, у них только пять... пять детишек.

— У них скоро будет еще один, поэтому мама и сказала «шесть».

— Еще один?

Я проговорила ей на ухо:

— У миссис Уиллис будет ребенок, Беатриса сообщила об этом маме сегодня утром.

— Господи! — воскликнула Мейбл, обуреваемая противоречивыми чувствами.— Ребенок! Шестой! Но ведь они и так нуждаются,— прошептала она.

Автобус, с грохотом подпрыгивая на ухабах, вез нас к Хьюэллу. Мне не давали покоя тайные планы родителей.

— Тетя Мейбл, вам не тяжело работать в кафе? Вам не хочется с тетей Корди... вы не хотите бросить все и отдохнуть?

— Что ты, что ты, деточка,— сказала она,— мы никогда не бросим кафе. В этом году мы впервые за двадцать лет остались в Хьюэлле. Все лето места себе не находили. Знаешь, мы любим Трис, там так легко дышится. Мы словно возвращаемся в свое детство. Тогда мы были вольными пташками. Какое счастливое время! Наш любимый отец считал, что к молодым не надо быть слишком строгим, и мать, конечно, с ним соглашалась.

Все изменилось после того, как мать сестер Тиллс-Митсон умерла в Индии от брюшного тифа. Отец перевез обеих дочерей на родину. Они так мечтали о море, которое окружает Англию и которого девочки никогда не видели, что решили поселиться в Корнуолле, а Хьюэлл выбрали просто потому, что мистер Тиллс-Митсон помнил, как приезжал туда еще мальчиком на каникулы. А в общем с Корнуоллом их ничто не связывало. Корди ухаживала за отцом, отделывала дамские шляпки и подрабатывала на других мелочах, а Мейбл была компаньонкой в богатых домах. Через год после смерти отца, в 1917 году, Мейбл и Корди снова стали жить вместе и на последние деньги купили кафе «Роза». Это было очень рискованно, но им не пришлось раскаиваться. Они только жалели о том, что не купили кафе раньше, когда был еще жив отец. Ему бы очень понравилось в Трисе.

Мы вышли из автобуса на главной улице Хьюэлла и с трудом стали взбираться по крутому склону холма к окраине города. Дома здесь тянулись параллельными линиями, словно ряды кресел в театре. Мейбл с Корди жили на середине склона, как и мы сами до недавнего времени. Наш новый дом стоял по ту сторону холма, который закрывал вид на море; мы, жители Хьюэлла, переехавшие на городские окраины из скученного центра, считали, что зримая близость моря привлекает скорее людей с дурным вкусом и подходит лишь простонародью да приезжим, останавливающимся в пансионах. Правда, находились еще упрямые старожилы, не желавшие покидать свои большие дома, построенные в начале прошлого века на краю обрыва, где ныне располагался центр города, тем не менее старые дворянские особняки постепенно переходили в другие руки и превращались в отели.

Мейбл говорила, что мне просто необходимо почаще отдыхать, поэтому мы то и дело останавливались, и я, поставив шкатулку на ограду или ворота, терпеливо ждала, пока старушка отдышится. Всякий раз Мейбл с улыбкой начинала что-то объяснять, показывая рукой на очередную виллу, возле которой мы столь бесцеремонно себя вели, нарушая границы чужого владения, и я обрадовалась, когда мы наконец добрались до дома № 37 на Стэнли-террейс.

— Осторожней, деточка, не споткнись на ступеньках. Тебе помочь? Корди, а вот и я,— крикнула было Мейбл, едва открыв дверь. Корди не могла услышать сестру, ибо у Мейбл не хватило сил, чтобы крикнуть громко и внятно, однако Мейбл, с трудом переводя дыхание, взывала к сестре снова и снова, пока не одолела лестницу.— Корди, я не одна, со мной приехала Нора, прелестная девочка! Всю дорогу от Триса она несла папину красную шкатулку — как мило с ее стороны! Знаешь, ведь это очень тяжело.

Мне вовсе не хотелось заходить в спальню, где лежала Корди. Там было темно и пахло лекарствами. Корди казалась совсем высохшей и в то же время какой-то незнакомой, она была закутана в огромную желтую шелковую шаль, которая скрывала ее сутулые плечи.

В глаза бросались чудесные волосы Корди, все еще каштановые и густые. Не думаю, чтобы она их красила, а вот Мейбл — уж точно. Наверно, Корди гордилась своими волосами, они были единственным ее украшением. Она собирала их в пучок, закрепленный черепаховыми гребенками; эту прическу, которую она, должно быть, носила всю жизнь, выгодно подчеркивала строгая бархатная лента. Корди говорила тихим скрипучим голосом. У нее был более резкий, прямой нрав, чем у Мейбл, к тому же болезнь заставила ее трезвее взглянуть на жизнь.

— Тебе нравится жить в кафе, Нора?

— Очень. У меня никогда не было таких чудесных каникул. Жаль, что я не могу там остаться навсегда. Море совсем рядом. Ближе уж некуда, правда?

— Если только не поселиться на корабле. Я думаю, мне бы это понравилось, а тебе? — Я уклончиво ответила, что, возможно, на корабле и неплохо, но мне больше

всего по душе жить в кафе.— Что у тебя за каникулы? Наверное, школьные. Мы с Мейбл никогда не ходили в школу. Мы нигде не учились.

— А нам и не нужно было, правда, Корди, родная? Нам было вполне достаточно жить с отцом. Он знал все на свете.

— Да, он не знал только одного — как научить девушку зарабатывать себе на жизнь,— сказала Корди со смехом, который перешел в кашель.— Сейчас другие времена, Мейбл. Для Норы это не подойдет, она должна ходить в школу.

На туалетном столике стояла серебряная рамка с двумя фотографиями. Я наклонилась и стала их рассматривать, лишь бы не видеть, как кашляет Корди. Девочки стояли позади родителей. Миссис Тиллс-Митсон была полной, красивой женщиной, она удивленно смотрела на меня с фотографии; у мистера Тиллс-Митсона, инженера, увлекавшегося ботаникой и геологией и не считавшего нужным воспитывать детей в излишней строгости, был длинный тонкий нос, блестящие каштановые волосы и очень выразительные глаза, которые смотрели прямо в объектив в тот миг, когда был сделан снимок. Возможно, он любил еще и фотографировать. Мистер Тиллс-Митсон улыбался.

Эта улыбка взволновала меня. Она жила на фотографии, хотя мистера Тиллс-Митсона давно уже не было. В автобусе я увлеклась рассказами Мейбл об Ассаме. Волшебная сила воображения переносила нас в далекий солнечный мир, где жили люди и происходили события, о которых она рассказывала; казалось, этот мир существует сейчас и мы можем туда вернуться. Однако в тесной душной спальне Корди чары рассеялись. Вещи остаются, а люди умирают.

Перед моим уходом Мейбл приготовила корзинку с едой и очень вежливо попросила передать ее миссис Уиллис. Старушка извинилась за то, что ей опять приходится меня беспокоить, а потом, бесконечно оправдываясь, дала мне еще и наволочку, впопыхах набитую поношенными вещами.

— Передай ей, Нора, пусть сошьет какие-нибудь вещички для детей, только не забудь. И скажи, что я поищу что-нибудь для... для будущего малыша,— тихо сказала она.

Ко всему прочему Мейбл дала мне еще кусок кекса на дорогу. Сев в автобус, я заглянула в корзинку. Сначала я хотела оставить для Терри только этот кусок кекса, но, едва отъехав от Хьюэлла, решила отдать ему всю корзинку. Наверное, провидение услышало мои мольбы, поэтому в моих руках и оказалось столько еды, ведь совсем недавно я ломала голову над тем, чем накормить Терри. Я не приняла слишком близко к сердцу слова Мейбл о том, что Уиллисам почти нечего есть; может быть, иногда им и не хватало еды, но во всяком случае не так, как Терри, который чуть не помирал с голоду.

Выйдя из автобуса в Трисе, я сразу увидела миссис Уиллис. Она стояла у большого эллинга на ровной, поросшей травой площадке, возвышавшейся на прибрежной стороне дороги, на руках у нее была Белла. Рядом бегали двое малышей, которые разыскивали заблудившихся цыплят и загоняли их в эллинг.

Я спрятала корзинку под горбатым мостиком, поставив ее на мокрый, грязный, покрытый водорослями песок, а под нее засунула свои туфли. Потом, прижимая наволочку к груди, прошлепала несколько метров вниз по ручейку и выбралась на площадку, поросшую колючей травой. Я внимательно смотрела под ноги, боясь наступить босой ногой на колючие листочки остролиста или чертополох, но, миновав лужайку, с не меньшей опаской стала приближаться к миссис Уиллис, которую вообще сильно побаивалась: она была очень высокая, смуглая и никогда не улыбалась. Я вспомнила, что говорил о ней Питер Миллер, и мне сразу стало легче; она уже не казалась такой грозной, так как я знала, что миссис Уиллис когда-то была очень хорошенькой девушкой.

— Это вам, миссис Уиллис,— сказала я, опуская наволочку прямо на траву.— Здесь всякая одежда от мисс Мейбл Тиллс-Митсон, она просила передать вам, чтобы вы сшили что-нибудь для детей. Она собирается подобрать еще кое-что для... для вас.

Мне надо было упомянуть будущего ребенка, но я прикусила язык. Я не знала, можно говорить о нем или нет. В любом случае еще не родившийся малыш был щекотливой темой. Миссис Уиллис кинула быстрый взгляд на наволочку, но ничего не сказала. Она велела детям прекратить возню с цыплятами, пригрозив, что иначе придется все начинать сначала, но дети перестали загонять цыплят и уставились на меня; всеми забытые цыплята один за другим стали выпрыгивать из темного чрева эллинга.

— Вы только что приехали городским автобусом, да? — Я вздохнула с облегчени-

ем, услышав мягкий голос, совсем не вязавшийся с ее строгими глазами.— Скажите тогда, как себя чувствует мисс Корди?

— Вид у нее больной,— ответила я,— и она постоянно кашляет. Тетя Мейбл сказала Беатрисе, что сестре лучше, но, по-моему, она сама в этом не уверена. Тетя Мейбл говорила, будто у доктора никогда нет времени побеседовать с ней. Он всегда очень занят.

Миссис Уиллис спокойно кивнула головой, подтверждая, что в этом нет ничего странного.

— Для них он всегда будет слишком занят. Доктор Брэдли не тот человек, который поступится чем-нибудь ради мисс Мейбл и мисс Корди.

Я была снова поражена тем, как откровенно и прямо судила она о людях, стоявших по своему положению гораздо выше ее. Миссис Уиллис говорила так, словно не замечала разницы между людьми; эта разница совсем не влияла на ее мнение и не мешала высказывать все, что она думает о сильных мира сего. Родители пришли бы в негодование от ее слов. Меня же охватывало странное возбуждение, когда я слушала, как она говорит, совершенно не обращая внимания на внешние приличия, и я спросила ее так же прямо, забыв про хороший тон, не думает ли она, что доктор Брэдли — плохой врач. Я знала, что мне не следовало задавать этот вопрос, но так хотелось побольше узнать о докторе из-за Синтии.

Миссис Уиллис ответила, что быть доктором значит нечто большее, чем прописывать людям пилюли и микстуры, ему не следовало так необдуманно отсылать мисс Корди в Хьюэлл, как только она заболела. Здоровье мисс Корди мало волновало его — ему просто не хотелось ездить к больной в Трис.

— А ведь город не для нее, ей там никогда не поправиться. Я знаю сестер Тиллс-Митсон... Сколько же я их знаю? По-моему, мне было столько же, сколько вам сейчас, с тех пор много воды утекло,— сказала она,— и могу поклясться: как только они уезжают из кафе, сразу начинают чахнуть. Да, да, они очень тоскуют по нему,— повторила она, и эти слова вселили в меня тревогу.

— Но все-таки,— возразила я,— тетя Корди *больна*. Я думаю, ей надо лежать в постели. Я сама ее видела.

— А разве она не могла остаться здесь, в Трисе? Тут им было б гораздо лучше. Мы с мужем помогли бы им по дому, обо всем позаботились, а на кого им положиться в Хьюэлле? Насколько я знаю, у них нет ни одного близкого человека, ни одного настоящего друга, который стал бы за ними ухаживать. Донни, проверь, хорошо ли ты задвинул засов,— сказала она малышу, закрывавшему дверь курятника.— А ты, Энни, собери-ка мне яйца — вон в ту кастрюлю, видишь? Вот умница.

С улицы эллинг казался большим, а внутри — просто огромным. Курятник стоял у самого входа, и я могла различить очертания верстаков, груду ловушек для омаров, другие рыболовные снасти; коричневой паутиной с потолка свисали рыбацкие сети, а в самом конце эллинга виднелся изогнутый бок тяжелой гребной шлюпки, обшитой внакрой.

Я спросила миссис Уиллис, чья это шлюпка, и если их, то пользуются ли они ею.

— Вы о паруснике? Да-да, он наш, мы не хотим продавать его. Конечно, мужу при его слабых легких управлять им сейчас не под силу, но он вместе с нашим Сэмом хотел спустить его на воду в следующем году. Не знаю, что у них выйдет. Сэм только и мечтает об этом, вполне понятно, так оно и должно быть, но он еще слабоват, да и отцу нельзя напрягаться, поэтому надо годик подождать, а там будет видно.

Разговаривать с миссис Уиллис оказалось намного проще, чем я ожидала. Мы шли рядом, а ребятишки бежали впереди нас. Мне начинал нравиться Трис; даже его суровая сдержанность уже не угнетала меня. Казалось, что поселок стоит не на суше, а на дальнем краю широченного морского пляжа, и его домики напоминали обломки кораблей, заброшенные далеко-далеко на берег очень сильным приливом.

Я занесла наволочку со старой одеждой в кухню, где никого не было. Элен помогала по дому миссис Петтигру, а Сэм куда-то ушел с отцом. Миссис Уиллис пригласила меня остаться на чашку чая, но я отказалась, опасаясь за корзинку с едой — ее мог найти бультерьер мистера Холта или какой-нибудь бродячий пес.

— Как вас звать? — спросила миссис Уиллис перед тем, как мне уйти.

— Нора,— ответила я и по тому, как мы обменялись этими двумя фразами, почувствовала, что между нами возникла какая-то простая дружба. Я не хотела, да и не могла извлечь из нее выгоду и тем не менее была ей рада.

20

Я решила, что после наступления прилива прошло часа два. Солнце уже скрылось за горизонтом, ветер окреп, как всегда бывало во время прилива. Весь день меня не отпускали родители, а теперь, радуясь свободе, я, несмотря на вчерашнее предостережение Уиллиса, весело вскарабкалась по камням на запретную вершину Трисского мыса, где неожиданно наткнулась на Терри. Он растянулся на животе за кустом можжевельника.

— Терри...

Он повернул голову и знаком приказал мне лечь. Но я и сама в испуге бросилась на землю, проследив за его взглядом и увидев тех, за кем он так внимательно следил: метрах в двадцати от нас на фоне неба виднелись фигуры Уиллиса и его сына Сэма. Уиллис низко склонился над самой травой. А Сэм стоял рядом, засунув руки в карманы, и смотрел, чем занимается отец.

— Что он делает? — спросила я шепотом.

Терри ничего не ответил. Он не отрывал глаз от Уиллисов и, когда я с гордостью протянула ему корзинку с едой, недовольно посмотрел на меня. Через минуту он снова, нахмурившись, взглянул на корзинку. Я поняла, почему он так неприветлив. Полная корзина с едой была сейчас отнюдь не желанным подарком, скорее обузой. Он махнул рукой, чтобы я оставалась на месте, и, забрав корзинку, пополз назад.

Вскоре Терри вернулся и сунул мне сдобную булочку. Я хотела поговорить с ним, но не решилась. Мы лежали тихо, продолжая наблюдать. Запах тимьяна, стоявший в траве, щекотал нос, время от времени ветерок доносил медвяный аромат цветов утесника. Уиллис наклонился, выпрямился, опять наклонился. Ветер рвал его брюки. И тут я наконец поняла, что он делает. Он расставлял силки для кроликов; их-то он и мастерил вчера вечером из кусков проволоки и бечевы.

Уиллис выпрямился, озираясь по сторонам, будто прикидывал, куда же теперь идти. Я почувствовала, как рука Терри осторожно опустилась мне на плечо, а пальцы предостерегающе сжали его; я послушно лежала рядом, готовая бежать по первому слову Терри.

Отец и сын спустились с холма к Трисскому дому Карлайлов; Уиллис медленно шел впереди, тяжело переставляя длинные ноги, а Сэм семенил следом. Когда Уиллисы скрылись из виду, мы последовали за ними, перебегая от одного куста к другому. Я точно повторяла каждое движение Терри.

Сэм с отцом свернули налево. Они миновали большую дверь, обитую железом, и подошли к углу ограды, которая нависала над глубокой Трисской бухтой вплоть до самой дороги; кое-где ограда так близко подступала к краю обрыва, что вдоль нее можно было пробраться, лишь соблюдая предельную осторожность; однако здесь часто ходили — узкую полоску земли, поросшую травой, рассекала коричневая лента тропинки. Следуя один за другим и ни разу не обернувшись, Уиллис и Сэм решительно вступили на эту тропинку. Мы остановились, а они продолжали свой путь и вскоре скрылись из виду.

Весь день я не видела Терри, он же, оказывается, следил за мной. Терри наблюдал, как я ела бутерброды, пила шампанское, а потом уехала на автобусе в Хьюэлл. Он сразу заметил алую спортивную машину Питера Миллера. В глазах Терри светилось восхищение, когда он говорил о ней. Терри клялся, что она запросто дает сто пятьдесят километров в час, а может, и больше. О такой машине он мечтал всегда.

Терри приходилось теперь вести беспокойную и одинокую жизнь; опасаясь, как бы его не схватили, он целыми днями следил за людьми, которые об этом и не подозревали. Сегодня с раннего утра он ходил по пятам за Уиллисом по всему Трисскому мысу. Он видел, как сторож спустился вниз к скалам у самой оконечности Трисского мыса, где море было зеленым и глубоким; Уиллис вытаскивал из воды и вновь забрасывал какие-то клетки, как назвал их Терри; сторожу и в голову не приходило, что за ним следят. Очевидно, Уиллис никому не хотел попадаться на глаза, предположил Терри, поэтому и поднялся в такую рань, чтобы не спеша управиться со своими клетками.

— Это совсем не клетки, а ловушки для омаров,— сказала я Терри. Заодно я передала слова Уиллиса: Трисский мыс — частное владение, и следует держаться от него подальше.

Терри согласно кивнул.

— Уиллис боится, что кто-нибудь узнает про его делишки, вот и все. Он ловит кроликов и омаров — ему тоже надо держать ухо востро, как и нам.

Так как Уиллис бродил по всему Трисскому мысу, будто слон-отшельник, он вполне мог заметить палатку. Утром Терри пришлось в спешке свернуть палатку, чтобы сторож на нее не наткнулся. Опасаясь Уиллиса, Терри решил все время менять стоянку; он будет разбивать палатку с наступлением сумерек и с рассветом прятать ее.

Мы осмотрели силки для кроликов. На ловушки уже не хватило времени, и мы решили подождать до завтра. Я боялась, что если еще задержусь на мысе, то даже поездкой в Хьюэлл не оправдаю такого длительного отсутствия. К тому же вот-вот стемнеет. Я сказала Терри, что обязательно приду завтра к нему на мыс. И только тогда вспомнила о корзинке с едой, которую дала Мейбл. Куда Терри ее спрятал?

Он, как обычно, забыл о приливе. Оставил корзинку в глубине грота, и наступивший прилив унес ее в море. Удалось спасти лишь пустую корзинку, плясавшую на волнах, да несколько яблок. Остальная еда, приготовленная Мейбл для голодных Уиллисов, безвозвратно пропала.

21

На причале я застала сестру, она задумчиво сидела на одном из новых удобных стульчиков, привезенных Питером Миллером. Оказывается, можно было не торопиться: Беатриса уже ушла в Трис, восхищенно поведав Синтии о пикнике с шампанским, который пропустила сестра, а родители уехали в «Рулен-бей» к гостеприимному Питеру Миллеру, подарившему стульчики.

— Похоже, что они очень быстро нашли общий язык,— сказала сестра.— Ты видела его, Нора, каков он из себя, этот Питер Миллер?

— На первый взгляд ничего особенного,— ответила я. Мне было трудно его описать.— Такой прилизанный, загорелый.

— Как мило...

— Они хотят купить кафе «Роза».

— Да? — сказала Синтия.— Кто — они?

— Все трое — Питер и мама с папой. Они сколотили компанию.

— О боже! Это совсем не делает чести Питеру Миллеру как деловому человеку. Он, должно быть, не в своем уме.

Казалось, Синтию совсем не заинтересовали новости.

— Ты бы лучше поела, Нора, Беатриса оставила тебе на тарелке ужин. Она опять испекла пирог. Свой кусок я уже съела.

К моему удивлению, Синтия пришла в зал, села за соседний столик и принялась обтачивать пилочкой ногти, пока я поглощала холодный пирог.

— Ты ведь не приехала шестичасовым автобусом,— сказала я, вдруг вспомнив, что именно в это время Синтия обычно возвращалась с работы.

— Конечно нет. А ты что, приехала на нем?

— Да.

— И ты сошла в деревне, ну и ну! — насмешливо воскликнула Синтия.— Долго же ты добиралась сюда по берегу.

— Тетя Мейбл передала со мной кое-что из старой одежды для миссис Уиллис,— не сдавалась я.— Мне нужно было отдать все это.

— Ах, так вот где ты пропадала последние два часа — у Уиллисов. Тогда ты, наверное, виделась с Беатрисой, она ведь ушла давным-давно.

Я молчала. Синтия вела нечестную игру. Раз я принимала ее отговорки, то и ей полагалось отвечать тем же.

— Да, я не села в шестичасовой автобус,— сказала Синтия, помолчав,— потому что я вообще не была в Хьюэлле. Я ездила в Плимут.

— В Плимут?

Я была поражена. Я не знала, сколько километров отделяет нас от этого города, но он находился где-то далеко.

— Зачем же ты ездила в Плимут?

— А почему бы и нет? — ответила Синтия, неожиданно вспыхнув от негодования, хотя рассердилась она отнюдь не на меня. Она была похожа на вулкан, склоны которого покрывали оливковые рощи, а в недрах без устали клокотал огонь, плавивший твердую породу.

— Мне хотелось куда-нибудь прокатиться. Вот я и отправилась туда.

— А... понятно. Тебе понравилось?

— Мы добрались даже до Дартмура.

— До Дартмура? — Меня все больше охватывало возбуждение. Кто это «мы»? И зачем она, хотя и с недомолвками, рассказывает об этом?

— Да, до Дартмура. Побывала и там. Представь себе! Я увидела оба города — Плимут и Дартмур. Начинаю путешествовать, Нора.

— С кем ты ездила — со Стивеном Эшем?

Я не знала, как Синтия отнесется к моему вопросу. Синтия сослалась на Стивена, когда родители спросили, кто привез ее в Трис поздно вечером в воскресенье, ведь автобусы уже давно перестали ходить. Стивен был на год старше Синтии и влюбился в нее еще в детстве, тогда они вместе ходили на праздники, играли в «музыкальные стулья» и «найди туфлю»; его безропотное обожание, очень раздражавшее Синтию, с годами не ослабло. Только в случае крайней необходимости она кивала на Стивена Эша. Машина, которая остановилась возле кафе в воскресенье вечером, подкатила слишком бесшумно для старой колымаги Стивена.

— Нет,— ответила она, посмеиваясь на этот раз над Стивеном.— Не с ним. А ну, попробуй еще.

Я дерзко спросила:

— Случайно не с доктором Брэдли?

— Да, ты угадала. Умница! Это был действительно он, красавец доктор Дуг Брэдли собственной персоной. Любопытно, что он сказал жене и сколько больных отправилось на тот свет за время его отсутствия? Он пропустил и утренний и вечерний прием.

Значит, нет дыма без огня! Теперь я была в этом уверена. И Синтия хотела, чтобы я знала. Почему? Что она от меня ожидала услышать? Не желая прямо высказывать свое мнение, я передала Синтии слова миссис Уиллис о том, что доктор Брэдли и пальцем не пошевельнет ради тети Мейбл или тети Корди.

— Это правда? — спросила я.

— Он ни для кого ничего не сделает, если это ему невыгодно.

— Миссис Уиллис говорит, что он отослал тетю Корди обратно в Хьюэлл, чтобы не ездить сюда, хотя здесь, в Трисе, она чувствовала бы себя гораздо лучше, чем на Стэнли-террейс.

— Возможно, миссис Уиллис и права,— безразлично проговорила Синтия.— Дугу Брэдли своя персона дороже всего на свете.

— Тогда не могу понять, почему он тебе нравится.

— С чего это ты взяла?

— Но ты же ездила с ним в Плимут,— возразила я.

— Ах, Нора, какая ты глупышка! Ну что значит: нравится, не нравится — при чем тут поездка в Плимут?

Я снова промолчала.

— Кстати, я привезла тебе кое-что из Плимута,— сказала она.— Сувенир. Или, если хочешь, вещественное доказательство. Он в сумке. Достань, если хочешь.

Это была белая фарфоровая кружка, небрежно завернутая в папиросную бумагу. На ней красовалась витиеватая надпись, сделанная золотой краской: «В память о Плимуте», а внутри я неожиданно обнаружила свернутую кольцом пачку банкнот.

— Послушай, чьи это деньги и почему они здесь?

— О, это не для тебя, тебе — только кружка. Я забыла, что сунула туда деньги.

Синтия, конечно, не забыла, куда положила деньги. Она прекрасно все помнила, но я никак не могла понять, почему она решила доверить мне эту сокровенную тайну. Я не догадывалась ни тогда, ни десять лет спустя, что Синтия, казавшаяся такой взрослой, на самом деле была обыкновенной девятнадцатилетней девушкой, которой хотелось порой поделиться своими секретами; мне не приходило в голову, что внешне спокойную и самоуверенную сестру могло охватывать сомнение и тогда ей крайне нужно было кому-нибудь рассказать о своих важных поступках.

Позднее вечером, когда мы обе лежали в постелях, Синтия сказала в темноте:

— *Деньги* — вот что нужно иметь, Нора, *деньги*! Если их нет — ты все равно что мертвая или похоронена заживо. Но стоит их раздобыть, и ты свободна! Можешь делать все что угодно, абсолютно все — поехать куда захочешь. Сама себе хозяйка. Главное, как их добыть в нужном количестве.

Каждый раз она произносила слово «деньги» с таким отвращением, словно вкладывала в него всю свою ненависть.

Внезапно мы услышали шум «хамбера», родители возвращались из «Рулен-бея». Машина медленно спустилась с холма и тихо проехала мимо кафе «Роза». Вскоре на причале раздались шаги.

— Мы не заперли ворота, Нора.

Шепот Синтии напоминал шипение змеи.

— Как глупо мы поступили. Черт побери! Вот дьявол!

Щелкнула ручка двери, выходившей на причал, потом дверь с шумом открылась, и по комнате заплясал луч фонаря.

— Вы обе здесь, да? Я только посмотреть, все в порядке? Обе здесь?

У отца слегка заплетался язык. Они провели чудесный вечер, и я была рада за них; мне всегда нравилось, когда у отца было хорошее настроение. Поэтому я охотно ответила из своего угла, что все в порядке, мы благополучно спим в своих кроватях и ему не о чем беспокоиться.

— Выйди,— сквозь зубы процедила Синтия.

— Выйди! Выйди!

Меня охватил ужас при мысли о том, что вот-вот произойдет. Сейчас это случится. Теперь отец даст волю рукам! Но я ошибалась. Должно быть, вечер прошел очень хорошо, поэтому отец повел себя необычно. Он отступил под яростным натиском дочери, позволив ей взять верх над собой.

— Ухожу, ухожу. Ты что? Я только хотел посмотреть...

Голос его звучал обиженно и удивленно. Он споткнулся и с шумом захлопнул дверь. Мое сердце продолжало гулко стучать.

— Кто ему дал право прийти сюда и разгуливать в нашей спальне?

Синтия говорила глухим, прерывающимся от ярости голосом.

— *По какому праву*? А ты хороша, Нора, противно было смотреть, как ты пресмыкалась перед ним. Как ты можешь быть такой... такой *фальшивой*?

Я запомнила это слово. Оно преследовало меня еще долгие и долгие годы после того, как я давно уж забыла, где и когда она сказала его. Это слово терзало меня и причиняло острую боль. Неужели я и в самом деле была фальшивой?

— Я просто не хотела, чтобы он разозлился.

— Ты не хотела, чтобы он разозлился! Тебе-то какое дело? Разве когда-нибудь гулял ремень по твоим ногам или заду? — сказала она.

Но я слышала ее крики. И всякий раз, когда шла в ванную, видела ремень на крюке, прибитом к двери.

— Я же была рядом,— робко возразила я, не в силах объяснить, какой ужас охватывал меня, когда я видела ремень и слышала крики сестры.

— Ты была рядом,— повторила она с глубоким презрением.

Я хотела сказать, что тоже жила под страхом ремня. Мне так же, как и ей, не удавалось убежать от него. Я затыкала уши, закрывала глаза, пыталась ни о чем не думать, глотала книгу за книгой, все подряд; но все-таки я была рядом с Синтией, мне не удавалось уйти.

— Он ни разу не ударил тебя,— презрительно сказала Синтия.

— Один раз.

— Да что ты, неужели? А я и не знала. За что?

— За ложь.

Она засмеялась.

— Как я не догадалась. Его всегда бесила неприкрытая ложь. Благопристойная ложь — совсем другое дело. Она даже необходима. Обманывай как угодно, только не попадайся — вот их кредо. Уж они-то понаторели во лжи — есть чему поучиться. Но только от меня этого *не дождутся*. А вот ты, Нора,— совсем другое дело. Ты — их выкормыш, настоящий маленький лгунишка,— дразнила она меня.— Готова на все, лишь бы спасти свою шкуру.

— Почему ты не уходишь из дома, Син? — робко спросила я.

— Как раз собираюсь.

— Правда? Когда?

Я ожидала ответа. Темнота в комнате мешала как следует рассмотреть Синтию, но я знала, что она лежит на спине, уставившись прямо в невидимый потолок.

— Пока не решила,— сказала она.

22

В пятницу я стала невольным свидетелем первой встречи Синтии с Питером Миллером. День уже клонился к вечеру. Я незаметно пробралась в кафе взять сетку для ловли креветок и, когда собиралась улизнуть, попалась на глаза матери. Она сидела на причале вместе с отцом и Питером Миллером, попивая кофе с ликером. У нас появилась новая кофеварка, и Беатриса училась ею пользоваться. Не знаю, где они пообедали — в отеле или снова устроили пикник на причале. Привычка пить кофе с ликером когда заблагорассудится и в любом месте была как раз в духе щедрого на выдумки Питера, и родители охотно перенимали ее. Они приходили в восторг от Питера Миллера, но старались вести себя сдержанно, чтобы не выглядеть провинциалами. Кофе с ликером? Конечно! На причале у забавного старенького кафе? Очень мило! Каждый жест Питера Миллера, казалось, говорил о том, что жизнь рядом с ним всегда будет интересной. И мать с отцом радовались, что их причисляли к этому кругу.

Мужчины рассуждали о банковских кредитах, прикидывали, где еще можно достать денег. Мать редко вступала в разговор, она с улыбкой наблюдала за Питером из-под зонтика. Питер возьмет на себя деловую часть вместе с Бернардом. У них сложилась блестящая команда — так говорил Питер. А она будет чем-то вроде украшения на носу корабля, больше того, она должна привнести то изящество и хороший тон, без которых, по мнению Питера, отель нельзя считать первоклассным.

Я опять была почти полностью предоставлена самой себе, родители только и жили своими грандиозными замыслами. Я думаю, мать надолго забывала обо мне и вспоминала лишь тогда, когда я попадалась ей на глаза. Наверное, поэтому ее мучили угрызения совести, и она накинулась на меня за то, что я весь день проболталась на море.

— Не вздумай снова убегать, Нора. В последнее время тебя почти не видно дома. Никак не могу понять, что ты делаешь на берегу целыми днями.

— Я собралась ловить креветок.

— Ловить креветок? Тебе не кажется, что это довольно глупое развлечение для твоих лет? Знаешь, пора бы уже повзрослеть. В конце концов, тебе пятнадцать.

Я уныло молчала.

— Это — наша умница, Питер,— неожиданно громко сказала мать, прервав беседу мужчин. Откинувшись на стульчике, она ласково похлопала меня пониже спины.— Мы возлагаем на Нору большие надежды. Так, Бернард? Она у нас умная девочка.

— Умная? — проворчал он.— Чего не знаю, того не знаю, ты, наверное, так говоришь, потому что она сидит все время, уткнувшись в книгу.

— О Бернард, ты просто невыносим! Он только с виду не соглашается,— сказала мать Питеру Миллеру,— а сам всегда гордится Норой. Синтия, может быть, и украшение семьи, но зато Нора унаследовала ум.

И я поняла по убежденности, с которой мать говорила, что именно сейчас она решила мое будущее. Если я не блистала красотой, то могла отличиться умом, стать директором колледжа или занять иной почетный пост; а Синтия, безусловно привлекательная — некоторые даже находили ее красивой,— могла рассчитывать на прекрасную партию. Но мы обе разочаровали ее.

Питер Миллер сказал, что умная девушка — это как раз то, что нужно компании Скоби — Миллер. Я попыталась улизнуть, но мать задержала меня.

— Не смей снова убегать, Нора. Если уж ты здесь, останься.

— Разве это так нужно? Зачем?

— Зачем? Потому что я так хочу. Очень некрасиво уноситься, как только приезжает мистер Миллер; он что́, какой-нибудь великан-людоед? А теперь иди надень платье, причешись и хоть раз постарайся вести себя как воспитанная девочка.

— *Платье*? Зачем я должна надевать платье?

Я просто опешила. В хорошую погоду я обычно не вылезала из купальника; он стал моей второй кожей, и я считала его самой подходящей одеждой.

— Нора! Не спорь! Делай, что тебе говорят!

При Питере Миллере она разговаривала со мной шутливым тоном. Но взгляд ее оставался холодным и твердым.

Меня выручила Синтия. Она шла к причалу, помахивая сумочкой. Синтия приехала из Хьюэлла трехчасовым автобусом. Все удивились, заметив сестру, а мать к тому же, казалось, не очень была рада приезду дочери.

— Боже мой! Синтия! Как ты очутилась здесь в такой час? Должно быть, сегодня мистер Медликотт отпустил тебя очень рано.

— Да,— отрывисто бросила Синтия.— Отпустил.

Она посмотрела на Питера Миллера, кивнула ему и сказала:

— Привет!

Отца задело это небрежное обращение к гостю, он велел Синтии пожать руку Питеру Миллеру и вежливо поздороваться с ним. Но Синтия не послушалась, вместо этого она плюхнулась на стул и закрыла глаза. Она всегда была непокорной, а в последнее время с еще большей дерзостью противилась воле отца.

— По-моему, мистеру Миллеру все равно,— растягивая слова, проговорила она,— пожму я ему руку или нет.

— Дело не в этом,— взорвался отец.— Речь идет об обычной вежливости.

Отец терпеть не мог развязных манер, они вызывали у него отвращение. В ответ Синтия лишь открыла глаза и, слегка улыбаясь, кинула взгляд на Питера Миллера. С первой минуты между ними возникло взаимопонимание.

Банковские кредиты уже никого не волновали, и разговор перекинулся на бал, он должен был состояться следующим вечером в отеле «Рулен-бей». Питер Миллер сказал, что пригласил первоклассный оркестр, который только что закончил гастроли в Торки. Питер отчетливо произнес по слогам последнее слово; придут отличные парни с фрегата, который стоит сейчас в бухте Пенгеддон. Будет очень весело, мы чудесно проведем время; Питер выразил надежду, что Синтия тоже приедет в отель. Но ее совсем не интересовали танцы, а может, она делала вид, что ей все равно. Сестра не стала распространяться. Она была не очень-то вежливой.

— Нет, спасибо,— вот и все, что сказала Синтия.— Не хочу.

Отец, утомленный разговором о бале, задремал, но был готов сбросить сонливость, вскинуть острый подбородок и задрать длинный тонкий нос, как только речь зайдет о деньгах. Мать отвернулась в сторону и погрузилась в созерцание далей. Лицо ее выражало какое-то затаенное страдание. Она снова забыла обо мне. Я подумала, что появилась возможность удрать; я тихонько вошла в кафе через спальню и покинула его через зал. Целых полтора часа мы с Терри безмятежно ловили креветок.

Вечером мать все-таки не поехала в Хьюэлл за бальным платьем. У нее опять разболелась голова, и она послала в город отца с длинным списком поручений. Он вернулся назад без сапфировой броши с бриллиантами, и мать пришла в негодование. Она сказала, что отец даже не удосужился заглянуть в указанное место, ведь ему, как всегда, наплевать на ее просьбы; в конце концов между ними вспыхнула дикая ссора.

На самом деле мать набросилась на отца, потому что Синтия, которую Питер увез в своем алом «родстере» осмотреть бальный зал отеля «Рулен-бей», долго не возвращалась. Сапфировая брошь с бриллиантами была так называемым епископским орденом, единственной фамильной драгоценностью матери, и она ею безмерно гордилась; отец разозлился, потому что эта брошь была для него символом всего, чему он так глубоко завидовал, чем возмущался и чего страстно, но безнадежно желал,— некоего превосходства, приобретаемого человеком на всю жизнь от рождения. Только что этим превосходством перед ним кичились без всякой меры. Поэтому он огрызнулся в ответ и спросил, почему мать, если она так дорожит своей брошью, не догадалась взять ее с собой? И почему, ради всего святого, она не отдала ее в банк?

Мать держала брошь дома, потому что не желала с ней расставаться. Я видела, как она доставала эту фамильную драгоценность и показывала гостям, будто свою визитную карточку; слегка виноватым голосом она говорила, что сама захотела взглянуть на нее. Брошь подтверждала благородное происхождение матери и, я полагаю, в трудные минуты придавала ей силы, в которых она так нуждалась. Мать вышла замуж за отца, поверив, что он обеспечит ей будущее, и до сих пор не оставляла своей надежды. С замужеством для нее ничего не изменилось, зато она придала фамилии Скоби новый блеск: благодаря матери быть Скоби означало принадлежать к кругу избранных, так как Скоби стали теперь ветвью благородного рода Осмондов или даже славного рода Ателденов. Но мечты матери так и оставались мечтами, и кто знал, когда они сбудутся.

Моей бабушке, Лидии Ателден, старшей и самой некрасивой из трех дочерей епископа, было под тридцать, когда она вышла замуж за скромного священника средних лет из порядочной, но бедной церковной семьи; за такой опрометчивый шаг друзья и родственники назвали ее «бедной Лидией». «Бедная Лидия» — это прозвище стало самым страшным оскорблением для матери, она скорее бы умерла, чем согласилась оказаться

на месте бабушки. И тем не менее мать вышла замуж за Бернарда Скоби, зная, что ей грозит ужасная опасность стать «бедной Лидией». Что ей оставалось делать?

Мать была молода, ей едва исполнилось двадцать, да и дурнушкой ее никто б не назвал, но война, перевернувшая весь мир, ворвалась и в ее доселе надежное гнездышко, целая армия выгодных женихов все еще сражалась с врагом; бабушка умерла, дед оставил приход и в одиночестве доживал свои дни, а братья с пугающей внезапностью покинули дом. Со смертью бабушки и уходом деда на пенсию наступили тяжелые времена. Мать ухватилась за Бернарда Скоби, потому что боялась скатиться еще ниже — в самую бездну, которая наводила на нее ужас; к тому же отец обещал, что добьется своего, и мать ему поверила. Взаимное доверие сменялось у них подозрительностью, но в одном мать с отцом были едины — они не сомневались, что судьба коварно обошлась с ними, лишив наследства.

Отец свалился с меньшей высоты, но падение оказалось столь же катастрофичным. Его родитель вместе с одним дельцом основал небольшую процветающую фирму по торговле недвижимостью в Линкольншире. Секрет успеха предприятия Скоби — Шулер заключался в необычайно ловкой обработке клиентов. Фирма занималась приобретением мелкой собственности — там покупала несколько акров земли, тут убыточную ферму, принадлежавшую обедневшим мелкопоместным дворянам, которые, остро нуждаясь в деньгах, шли на все, чтобы их раздобыть. Дедушка обладал особым даром проворачивать такие дела и с удовольствием пользовался им, он умел успокоить клиентов, попивая их херес, прогуливаясь вдоль изгородей по вспаханным полям. Но он ничего не смыслил в бухгалтерии, этим занимался компаньон, а дедушка, используя свои способности, поддерживал хорошие отношения с землевладельцами, у которых часто бывал и с которыми настолько сроднился, что все больше и больше считал себя одним из них; такой взгляд на свое место в обществе он воспитал и в сыне. Бернарда отдали в частную привилегированную школу. Компаньон деда продолжал вести финансовую отчетность, потом, как и следовало ожидать, фирма обанкротилась; в то время Бернарду было шестнадцать. Мистер Шулер преспокойно улизнул из Англии, а отцу Бернарда пришлось держать ответ, и хотя ему удалось избежать тюремного заключения за мошенничество, он оказался в отчаянном положении. Тетя Эдит говорила мне, что дедушка не смог оправиться от пережитого потрясения, и на Бернарда оно наложило свой отпечаток.

Бернард презирал отца, который позволил одурачить себя; сам он, безусловно, никогда не допустит такой ошибки. Мой дед не разбирался в финансовых вопросах, и это подорвало семейное благополучие; чтобы вернуть то, что, по мнению юного Бернарда, было присвоено другими, он решил досконально изучить бухгалтерское дело.

Его замыслам помешала война, отец стал офицером и вновь почувствовал себя настоящим джентльменом. В конце войны, еще не сняв офицерского мундира, он встретил мою мать, Элен Осмонд, и женился на ней.

Я часто думала о том, как мать расценивала свое отношение к Питеру Миллеру, но, наверное, она не отдавала в этом себе отчета, ханжество было основной чертой ее характера. Мать никогда бы не призналась, что она влюблена в нового управляющего; разве такое возможно — ведь она замужем и намного старше его! Во всяком случае, это не была обычная любовь. Увлечение Питером делало ее жизнь романтичной.

Я не знаю, когда Питер привез домой Синтию. Я слышала шум подъехавшей спортивной машины, потом короткие и нетерпеливые толчки мотора после того, как нажали на стартер, затем громкий рев отъезжающего автомобиля. Синтия прошла в спальню прямо с причала и моментально разделась, даже не потрудившись зажечь свечу. Лежа в темноте на своей подушке, я спросила сестру, что она думает о Питере Миллере. Она тут же ответила: — Подлец.

— Он тебе не нравится?

— Нравится? Бог мой, Нора! Что за дурацкий вопрос. Как не надоело его задавать. Вот тебе разве может кто-то понравиться?

— А что, разве нет?

Я услышала ее глубокий, безнадежный вздох.

— Конечно, все они одинаковые, не так ли? Хотят одного. Стремятся к богатству, надеются преуспеть. Питер Миллер умен,— сказала она,— и в этом вся разница. Он — умный подлец, намного умнее большинства из них, и получит то, чего добивается. Но не все,— добавила она. И потом пояснила: — Он не получит меня.

(Окончание следует)

Критика

Анкета ИЛ: ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТАЛАНТА

СЛОВО — ПИСАТЕЛЯМ МИРА

Мир на земле. Сегодня нет у человечества проблемы насущней. Люди во всех уголках планеты — кто честен и мыслит здраво — собирают силы для борьбы с угрозой всеобщего уничтожения. Писательское слово авторитетно и в этой борьбе может стать действенным.

Следуя своей традиции возвращаться к разговору о творчестве авторов, чьи произведения вызвали интерес читателей «ИЛ», и знакомить советских людей со всем наиболее ценным и значительным, что появляется в литературах мира, наш журнал обратился к видным зарубежным писателям с двумя вопросами:

1. Как отражаются актуальные проблемы современности в Ваших творческих замыслах? Над чем Вы сейчас работаете?

2. Как может служить произведение искусства, литературы сохранению мира на земле?

На анкету откликнулись писатели из многих стран Запада и Востока. Это люди различных политических взглядов, религиозных убеждений, творческих принципов. Мнения их, естественно, могут совпадать и не совпадать, с иными из них мы можем в чем-то и не согласиться. Но в своей озабоченности будущим человечества, судьбами мира, в своем протесте против угрозы новой мировой войны единодушны они все.

В этом номере мы начинаем публикацию ответов на вопросы анкеты.

ГЕРМАН КАНТ (ГДР)

1. Лишь на вторую часть вашего первого вопроса ответить легко, так как я только что отправил в издательство томик рассказов и хочу теперь серьезно заняться давно задуманным романом. Моя нынешняя работа заключается в размышлениях о материале, фабуле, возможных сюжетных ходах, романном персонале. Я со скепсисом смотрю на начало, которое написал, и страстно мечтаю об окончании книги. Если вы признаете, что это работа, то вот вам ответ на ваш вопрос.

По поводу трудной части первого вопроса: конечно, во мне, как и во всяком мало-мальски наделенном сознательностью человеке, отражаются проблемы нашего времени. Некоторые из них отражаются с такой силой, что ослепляют меня. С силой атомного взрыва.

С другой стороны, актуальные проблемы этого мира и то, что вы называете моими творческими замыслами», связаны между собой не непосредственно. Как повествователь, я пытаюсь идти своим путем.

2. Что касается второго вопроса, я должен возразить против его формулировки. Далеко не везде и сейчас мир царит на земле. Было бы чудом, если бы нам приходилось думать только о сохранении его,— мы же часто должны прилагать усилия, чтобы его установить.

Конечно, ныне в Европе не стреляют из крупнокалиберных орудий, но в эти дни я все чаще задаюсь вопросом, когда, собственно, начинается война, когда обрывается мир, тогда ли, когда раздается первый выстрел?

Человек, скончавшийся от рака, начал умирать раньше; человек, погибший на войне,— тоже. В ранней стадии многое еще предотвратимо. Мне кажется, сейчас мы находимся как бы в ранней стадии третьей мировой войны, когда она, я думаю, еще предотвратима.

Может быть, произведение искусства, литературное произведение способно всего лишь вызвать в нескольких людях радость жизни. Может быть, пробудить их интерес к другим людям, заставить человека выступить против несправедливости. Может быть, оно привьет кому-то сознание того, что, говоря словами Зигмунда Фрейда, нет смысла быть трусливым.

Но если искусство обладает такой способностью, этим уже сказано, каковы обязанности художника в борьбе за мир.

ФЕРНАНДО НАМОРА (ПОРТУГАЛИЯ)

1. Каждый писатель — осознает он это или нет — «вписан» в общественную атмосферу своей эпохи. Даже тогда, когда его творчество как будто бы и не отражает прямо и непосредственно то сложнейшее переплетение, которое мы называем «человек и обстоятельства», эти последние все же оказывают на него влияние. Таким образом, произведение искусства всегда как бы пронизано своим историческим временем, вознесенным на высшую ступень и пропущенным через индивидуальную перспективу художника, его индивидуальное восприятие, причем и это индивидуальное есть равнодействующая коллективного жизненного опыта.

Что касается меня лично, я всегда подчеркивал, что мои произведения — это «свидетельства» индивидуального опыта, сплавленного с проблемами эпохи, в которой я живу и которая меня сформировала. Иными словами, я прежде всего стремлюсь к тому, чтобы мои книги помогали читателю разобраться в ошеломляющей путанице противоречий, перемен, крутых поворотов, падений, пылких надежд — и обрести новый способ бытия в мире рядом с другими людьми.

Недавно я закончил работу над большим романом, где попытался набросать широкую панораму португальского общества 60-х годов. Этот период был отмечен прежде всего массовой эмиграцией из нашей страны в Европу (новое в судьбе португальского народа и неожиданное социальное явление) и колониальной войной в Африке. Книга — она называется «Печальная река» — написана в суровой, сдержанной манере, но в ее литературную композицию я старался ввести новшества. В романе сплетаются прошлое, настоящее и будущее. Ни в одно из прежних своих произведений я не вложил столько страсти, как в это.

2. Несомненно, может. Нет литературного произведения, которое не ставило бы перед собой задачу сделать мир хоть чуточку лучше, а одна из главных целей улучшения мира — достижение согласия между людьми. Да и по самому своему назначению литература — действенное орудие объединения людей, ибо любое произведение искусства содержит в себе глубинный призыв к гармонии и терпимости.

БХИШАМ САХНИ (ИНДИЯ)

1. Я живу в стране, которая унаследовала от прошлого богатейшую гуманистическую культуру, многообразную, яркую и живую. Вместе с тем Индия сталкивается с большими трудностями; часть из них тоже досталась ей в наследство от прошлого, а часть возникла в недавние времена. Наши проблемы так огромны, что мы порой закрываем глаза, стараясь не видеть их.

Неизбывная нищета большинства населения Индии, неудержимый рост рождаемости, безграмотность, безработица — и все это переплетается с живучестью кастовой системы и религиозным догматизмом. Думаю, что доминирующее направление нашей нынешней литературы можно охарактеризовать как социальный реализм. Другой она и быть не может — наши писатели живут в обстановке постоянной борьбы.

Несколько лет назад я написал роман о том, как в период национально-освободительного движения империалисты использовали в своих целях религиозный фанатизм. Недавно вышел в свет мой новый роман «Басанти» — роман о семье, перебирающейся в поисках средств к существованию из деревни в большой промышленный город. Напечатан и сборник моих рассказов под названием «Шествие». Рассказы — среди них много сатирических — на различные темы: о детях из городских семей среднего достатка, о крючкотворстве законников, о меняющихся установлениях и о многом другом.

Поставлена и моя пьеса о Кабире, средневековом поэте, который в эпоху религиозного догматизма и автократии пел славу человеческому разуму и равенству людей. Написал я еще одну пьесу, но она даже еще не напечатана. Я взял мифологиче-

ский сюжет и попытался показать абсурдность концепции долга, отчужденного от понятия человечности.

Сейчас я работаю над романом, время действия которого охватывает несколько поколений. Сердцевиной его станет анализ тех факторов, что повлияли на формирование образа нашей жизни и наших моральных устоев.

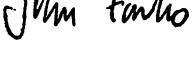
2. Искусство и литература способны сыграть серьезнейшую роль в сохранении мира на земле. Я долгое время считал, что если писатель пишет о важных жизненных противоречиях, например, о противоборстве сил прогресса и реакции в обществе или, в контексте Индии, скажем, о противоборстве кастовости и свободы вероисповедания, о классовых конфликтах и тому подобном, то он тем самым участвует и в борьбе за мир. Я исходил из того, что вопросы войны и мира невозможно отделить от важнейшей проблемы современности — борьбы за установление справедливого общественного порядка, за создание общества, свободного от эксплуатации и неравенства. Я и сейчас не сомневаюсь, что борьба за мир неразрывно связана с основными противоречиями нашего времени. Но сегодня проблема сохранения мира приобрела небывалое раньше значение. И нет вопроса более жгучего, чем вопрос о том, суждено ли существовать человечеству.

Силы войны и агрессии становятся все разнузданней и опасней. Продолжается накапливание смертоносного оружия, а усилия, направленные на снижение международной напряженности, наталкиваются на всякого рода уловки и увертки, а порой и на прямое противодействие сил, враждебных миру. Такие безответственные акты, как бомбардировка атомного реактора в Ираке, решение правительства США развернуть производство нейтронной бомбы, поставки Пакистану новейших бомбардировщиков «Ф-16», строительство сети военных баз в районе Индийского океана, включая базу ядерного оружия на острове Диего-Гарсия, напряженность вокруг Персидского залива и прочее,— все это представляет собой угрозу миру на планете. Гибель заглядывает человечеству в глаза, и ни один писатель не может оставаться безразличным к этому. Борьба за мир должна быть в центре его внимания. Как писатель, я обязан считать, что выполняю наиболее почетный и высокий долг тогда, когда пишу о необходимости сохранения мира. Ничто не действует сильнее на наше сознание, чем наглядное описание ужасов войны, которое может быть донесено до миллионов через различные средства и жанры литературы и искусства. Вот почему литература и искусство должны быть полностью поставлены на службу делу сохранения мира.

ДЖОН ФАУЛЗ (АНГЛИЯ)

1. Не думаю, чтобы роман как жанр годился для решения «жизненно важных проблем». Роман — это инструмент анализа их воздействия на общество и личность. Не верю, будто функция отражения или запечатления действительности так вредна, как стараются внушить нам многие западные теоретики; как раз поэтому в душе я остаюсь старомодным реалистом. С другой стороны, мне все время приходят на ум разные проблемы, которые не укладываются в рамки романа, включая и наихудшую из проблем, стоящих перед человечеством,— чудовищную перенаселенность планеты. В таком роде вещах лучше разбираться другими способами — от научного обсуждения до политической полемики. Моя собственная работа кажется мне скорее описанием личного восприятия жизненно важных социальных проблем, чем попыткой взяться за их разрешение.

2. Настоящее искусство (в форме ли трагедии или комедии) противоречит шовинизму; оно стирает границы уже тем, что обнаруживает общественное и биологическое единство рода человеческого. По этой-то причине те, кто рвался к неограниченной власти, во все века ненавидели искусство. Говорят, мир не будет знать покоя, пока не станут править им философы. Полагаю, художники лучше справились бы с этой задачей.



СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ (МОНГОЛИЯ)

1. Я думаю, что литература — прежде всего размышление о смысле жизни. Несчетны явления, что задевают наш ум, не дают нам покоя. Писатели — люди обычно легковозбудимые, ранимые, порой до болезненности, и, размышляя о смысле жизни, своей и окружающих, близко принимают к сердцу события, казалось бы, непосред-

ственно к ним не относящиеся. Но нет такой вещи на свете, к которой не был бы причастен писатель. За истекшие три года я написал лирический цикл произведений, объединенных названием «Размышления путника, или Лирические четки». Некоторые части этого цикла опубликованы, многое хранится у меня. Впоследствии я намереваюсь собрать все это в книгу. В цикле — размышления о взаимоотношениях человека с природой, о смысле и цели бытия. Работая над ним, я не задумывался, являются ли эти проблемы жизненно важными и насущными. Стремлением познать действительность, проникнуть в дебри ее замысловатых, порой необъяснимых явлений, ее многообразных проблем писатель должен руководствоваться в своем нелегком труде.

Три года назад мне довелось познакомиться с произведениями А. Вампилова. Впечатление было сильным и явилось причиной моего нового обращения к Чехову, более углубленного изучения творческого наследия гениального мастера слова. Так родилась и вскоре захватила меня целиком идея написать пьесу. Чрезвычайно близкая и Чехову и Вампилову мысль о том, что писатель не может и не должен обходить животрепещущих проблем своего времени, не переболев ими, вдохновляла мою решимость новичка в жанре драматургии. Так в моей писательской биографии появилась пьеса.

В центре пьесы образ никчемного человека, требующего платы за любую услугу, опошлившего меркантильными интересами даже такие святые чувства, как любовь и верность. Такие люди существуют, к сожалению, и сегодня, и их немало.

Молодость я провел в суетной и беспокойной атмосфере газетных и журнальных редакций и до сих пор стараюсь сохранить выработанное спецификой журналистской работы свойство «выносить на поверхность» и мгновенно реагировать на острые, «больные» вопросы современности. Порой нам не удается дать достаточно решительный, исчерпывающий ответ на эти вопросы, но разве не важно уже то, что мы заставили задуматься над ними своих читателей.

Сейчас я работаю над одной крупной вещью. Затрудняюсь определить ее жанр. В ней будет показана жизнь монгольского скотовода с середины 30-х до конца 40-х годов. С давних пор меня привлекала возможность соприкоснуться с крутыми событиями того периода, когда буддийская религия утратила безраздельную власть над умами монголов, когда Халхин-Гол и вторая мировая война обнажили людские души, вызвали глубокий переворот в народном сознании. Книга должна вобрать в себя опыт и мысли, накопленные мною в процессе работы над несколькими небольшими повестями на эту тему.

За последнее время я прочитал романы Г. Гарсиа Маркеса и Ю. Бондарева, пронеся чувство восхищения и огромного удовольствия до последних их страниц. У меня нет нехватки в жизненном материале даже для таких вот крупных произведений. Но хватит ли опыта, таланта и мастерства на осуществление замыслов?

2. В 1981 году наша страна отметила 60-летие народной революции. В одном из своих произведений основоположник современной монгольской литературы Д. Нацагдорж писал: «До революции монгольский скотовод думал, что мир кончается за горизонтом». Сегодняшний монгол видит и слушает весь мир. Прошлой весной я гостил у родителей первого монгольского космонавта Гуррагчи — простых скотоводов. Отец космонавта, как и древние монголы, пасет скот и живет в своей войлочной юрте, и непосвященный может подумать, что для этого человека время остановилось и земля кончается там, где начинается горизонт. Но ни тени робости не вызвал в этом скотоводе невиданный факт полета его сына в космос. А сын его, возвратившись из далекого путешествия вместе со своим другом В. Джанибековым, сказал: «Мы, люди, живем на маленькой планете». Эта простая и проникновенная мысль, рожденная любовью и тревогой, впервые была высказана Ю. Гагариным, а вслед за ним многими космонавтами. Теперь человечество стоит перед уродливым по своему смыслу вопросом: сумеем ли мы сохранить эту единственную в огромном мертвом море живую планету,— вопросом, решение которого зависит от самого человека. Двадцатому веку выпал нелегкий жребий решить дилемму, будет ли наша «маленькая планета» колыбелью прогресса человечества или его могилой. Оголтелые противники мира сегодня сеют тревогу. Когда президент США Рейган принимает решение о производстве нейтронной бомбы и его в один голос поддерживают китайские лидеры и сионисты, писатели не должны молчать; каждый деятель культуры, искусства и литературы должен сказать свое горячее слово против войны. Я верю в великую объединяющую силу творений литературы и искусства. Романы Г. Гарсиа Маркеса или Ю. Бондарева заставляют человека размышлять над своей жизнью, а это значит, что они помогают людям духовно сблизиться, развивают взаимопонимание и сочувствие. Разве прошли времена, когда поэзия была, по мысли Маяковского, бомбой и знаменем?! Я призываю вслед за своими единомышленниками: деятели литературы и искусства, встаньте на борьбу против войны, за мир, за мирное сосуществование!

◆

К 60-летию со дня рождения Жака Стефена Алексиса

МОРИС ВАКСМАХЕР

ЦВЕТЫ МЫ ЕЩЕ ПРИНЕСЕМ

«Земля сыновей и дочерей Гаити сверкает немыслимой россыпью чудес, и трудно поверить, что среди такой красоты могут пустить корни горе и нищета. Столько ослепительных красок вспыхивает, расцветает, струится со всех сторон, что сказочное, сверхъестественное неудержимо бьет ключом из почвы, из неба, из воздуха, сливаясь в мир живой, правдоподобный и зримый.

Остров Гаити, обманчивый рай земной, преисполнен великолепия, дающего крылья самым дерзким мечтам».

Это ликующее и горькое признание в любви мы находим на первых страницах романа «Деревья-музыканты»[1]. Оно вырвалось из сердца автора этой книги, Жака Стефена Алексиса, выдающегося писателя и общественного деятеля, в котором с такой полнотой воплотилась многогранная одаренность и творческая энергия гаитянского народа.

Один из основателей и руководителей коммунистической партии своей страны — Партии народного единения Гаити (с 1968 года — Объединенная партия гаитянских коммунистов); автор трех широко известных во всем мире романов; крупный знаток и собиратель устного народного творчества, написавший собственную книгу сказок и легенд, «рассказанных старым карибским ветром»; серьезный литературовед, историк гаитянской литературы, в чьих теоретических работах ставятся кардинальные проблемы путей развития культуры Гаити, Алексис был в то же время специалистом-медиком, занимался невропатологией, всегда находил возможность и время прийти людям на помощь как врач. Сокровища родной природы, сказочные краски древней Эспаньолы, которая потом называлась Сан-Доминго, а теперь зовется Гаити, не смогли ни на один миг заслонить от него нищету, бесправие, горе, пустившие глубокие корни в этом обманчивом раю. Вся прекрасная, богатая, наполненная до краев, щедро насыщенная трудом, творчеством, борьбой — но, увы, такая недолгая — жизнь Жака Стефена Алексиса была без остатка отдана народу Гаити.

Он не прожил и сорока лет. В 1961 году Алексис внезапно исчез, пропал без вести, и информационные агентства мира передавали тревожные и противоречивые слухи о его судьбе; лишь через многие месяцы передовая общественность с болью и гневом узнала: Жак Стефен Алексис был схвачен тонтон-макутами, подручными зловещего

[1] Опубликован в «ИЛ», 1962, № 1—3 и в изд-ве «Художественная литература», 1964.

диктатора Дювалье, и подло, тайком, без суда и следствия, убит.

В апреле нынешнего, 1982 года ему исполнилось бы 60 лет.

Гаити, редкостный и органичный сплав культур и традиций трех континентов... Остров, открытый в 1492 году Христофором Колумбом, был населен индейскими племенами. Испанские конкистадоры изгоняли исконных жителей острова с их земель, обращали в рабство, забивали на плантациях, уничтожали семьями и деревнями. Потом на остров были привезены негры из Африки. Самые мужественные и непокорные из них объединялись с индейцами, уходили в горы, вели с колонизаторами партизанскую войну. Часть острова перешла к французам. Но рабство оставалось. Рабство оставалось, но неистребимо жили в народе предания о тех временах, когда хозяевами на Гаити были индейцы, когда страной правила Анакаона, царица по имени Золотой Цветок,— поэтесса, танцовщица, музыкантша. И африканские негры так же бережно сохраняли свои исконные обычаи, свои предания и легенды, свои языческие верования, которые, обогащаясь верованиями индейцев, образовали сложный ритуал культа водý. В конце XVIII века вспыхнула кровопролитная война за национальное освобождение, за отмену рабства, в 1804 году Сан-Доминго стала независимой Республикой Гаити. Память об этой героической поре столь же неистребимо живет в народе — имена Туссена Лувертюра и Дессалина знает каждый неграмотный крестьянин многострадального острова. Но формальная независимость страны все больше оборачивалась фактической кабалой, народ стонал под пятой феодалов, недра грабили иностранные монополии. В 1915 году остров оккупировала морская пехота Соединенных Штатов, потом, в 1934-м,— военная оккупация сменилась оккупацией экономической. Народ изнывал в бесправии и нищете, и тосковал по свободе, и пел по-креольски, и рассказывал на креольском языке предания и легенды. Государственным языком был французский, и он же был литературным языком, на котором больше полутора веков создавалась гаитянская литература; она зачастую на провинциальный манер повторяла зады французской и других европейских литератур, но и в ней, в этой франкоязычной словесности, все более упрямо и дерзко пробивались ростки национального самосознания, национального ви́дения мира, национального характера — безоглядное, упоенное свободолюбие, склонность к гиперболизации всего и вся, сочетание озорного лукавства с простодушной верой в чудеса, смесь народной практической сметки и головокружительных полетов фантазии.

Креольский язык всегда жил рядом с официальным французским; впрочем, и сам креольский—это ведь во многом французское архаическое просторечие, пересыпанное африканскими словами или формами слов, да еще немного сдобренное латиноамериканской лексикой. Так что непроходимой пропасти между французским и креольским не существует. Беда в другом: ни по-французски, ни по-креольски читать гаитянский народ не умеет, он в массе своей неграмотен...

Так или иначе, но литература письменная — на французском и устное народное творчество — на креольском существуют в Гаити давно, и нужен был еще один шаг, чтобы вдохнуть народную душу в традиционные франкоязычные, но достаточно близко подошедшие к национальной тематике литературные произведения в прозе и в стихах.

Этот шаг сделал непосредственный предшественник и учитель Алексиса — Жак Румен (1907—1944). Румен был одним из руководителей коммунистического движения на Гаити в тридцатые — сороковые годы, он был основоположником пролетарской литературы в стране, поэтом и прозаиком, оказавшим огромное влияние на последующее развитие гаитянской эстетической мысли. «Своим бессмертным шедевром «Хозяева росы» («Gouverneurs de la rosée») [1] Жак Румен убедительно показал, что только социальный, воинствующий реализм, неразрывно связанный с перспективой будущего и борьбой за освобождение нашего народа, может привести гаитянскую литературу и искусство к вершинам художественного творчества»,— говорил Алексис в статье «Современные проблемы гаитянской литературы», написанной для журнала «Иностранная литература» и напечатанной во втором номере за 1960 год.

Алексис рассматривал в этой статье также проблему языка, на котором предстоит развиваться литературе Гаити. Он призывал избегать всяческого догматизма. «На каком бы языке ни создавалась гаитянская литература — на французском или на креольском,— она является мощным оружием в борьбе нашего народа... Нам надо стремиться к тому, чтобы писать в подлинно народном духе...».

Своим творчеством Жак Стефен Алексис сделал новый важный шаг в передовом искусстве Гаити, он создал книги, которые явились оружием в народной борьбе.

Уже в романе «Добрый генерал Солнце» (1955) [2] дана широкая фреска жизни страны 30-х годов; сочный колорит повествования, точно и ярко очерченные характеры, поэтичность описаний природы, живость и темпераментность диалогов — все здесь подчинено одной «сверхзадаче»: выявить, определить, отразить активную жизненную позицию в современном мире, позицию народную, во имя и на благо народа. Еще больше эти черты проявились в «Деревьях-музыкантах» (1957), романе, который мне посчастливилось переводить. Вся структура книги (фразами из которой я начал эту статью), весь ее строй, вся ткань, от зачина до финала,— это апофеоз народного самосознания в его становлении и динамике. Алексис мастерски ведет множество сюжетных линий, он необычайно эмоционален в своей повествовательной манере — тонко усмехается или порой раблезиански хохочет, рисуя многоликие варианты социального и человеческого уродства — жестокости, подлости, алчности, тупости, бюрократизма,

[1] Опубликован в «ИЛ», 1956, № 1.
[2] Опубликован под названием «Генерал-Солнце». М., Гослитиздат, 1961.

невежества, ханжества. Столь же разнообразна и сочна его палитра, когда он обращается к тем, чьим трудом и чьей мудростью держится страна,— к крестьянам, к сельскохозяйственным рабочим. Символом нового поколения, преемственных связей со старым, добротным, мудрым — и шагом к новому этапу борьбы оказываются образы молодых Гонаибо и Гармонизы, олицетворяющих здоровые силы нации. «Охмелевшие сосны исполняют все ту же фугу. Весь лес поет. Время от времени деревья-музыканты падают, но голос леса остается таким же мощным. Жизнь начинается». Таков финальный аккорд романа.

«Деревья-музыканты» написаны в том творческом ключе, который сам Жак Стефен Алексис обозначал как «волшебный реализм» (или «магический», «сказочный»). Теперь мы хорошо знаем многие произведения, созданные в такой же или близкой манере,— это, конечно, прежде всего латиноамериканские романы, книги того же региона, к которому принадлежит и Гаити. Достаточно вспомнить «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха» Габриэля Гарсиа Маркеса. Но тогда, в конце 50-х и начале 60-х годов, художественная практика Алексиса и его теоретические раздумья по этому поводу были новым словом в мировом искусстве.

Алексис считал, что для молодых литератур, литератур развивающихся стран, особенно важно выразить новую, передовую, революционную проблематику в тех именно формах, которые свойственны уровню и характеру сознания этих народов, с их мифологическим типом мышления, с живыми фольклорными традициями и языческими верованиями, поскольку как раз в таких формах и происходит пробуждение современного национального самосознания.

Читая прозу Алексиса, понимаешь, что все эти чудеса, оживающие персонажи сказок и мифов, все обретающие живую предметность метафоры — они совершенно органичны для данного художественного контекста, для жизни и самоощущения героев. Это не экзотика, не украшение — так и именно так видят мир и себя в мире гаитянские крестьяне.

Роман «В мгновенье ока» (1959) был задуман Алексисом как первая книга романного цикла о кубинском рабочем-революционере Эль-Каучо. В этом романе Эль-Каучо встречается с молодой проституткой; под влиянием вспыхнувшей в обоих «в мгновенье ока» любви Эстрельита рвет с прежней жизнью.

Книга легенд и сказок «Романсеро при свете звезд» (1960) — тоже своего рода «волшебный реализм». Старинные фольклорные мотивы, ничуть не теряя в своей сказочной подлинности и традиционности, получают под пером Жака Стефена Алексиса какую-то свою современную интонацию, перекликаются с насущными проблемами нашего времени. И мечта легендарной Анакаоны объединить все индейские племена для отпора чужеземным завоевателям звучит как конкретная программа борьбы народов Карибского региона за мир, против империалистической экспансии XX века...

Я держу в руках визитную карточку Жака Стефена Алексиса. Он вручил мне ее летом 1959 года, когда мы познакомились с ним в Москве на III Всесоюзном съезде писателей. Красивый, изящный, молодой (ему было тогда тридцать семь, а выглядел он еще моложе), он был полон творческих планов, весь лучился интересом и доброжелательством, слушая речи делегатов и гостей съезда. Мы ездили с ним по Москве, ходили по только что построенному новому зданию Центрального Дома литераторов — в его глазах я видел тот же горячий и дружеский интерес. На своей визитной карточке он зачеркнул оттиснутое в типографии слово «Paris» и надписал: «Porte-au-Prince. Haïti».

Через два года Алексиса зарыли в землю Гаити его палачи.

Я переводил «Деревья-музыканты», переводил гаитянских поэтов — Жана Франсуа Бриера, Рене Депестра, Антони Фелпса, Давертижа, многих других поэтов этой прекрасной и несчастной земли, где все еще свирепствует фашистский террор. И Жан Бриер рассказывал мне о своих покойных друзьях, о старшем — Жаке Румене, о младшем — Жаке Стефене Алексисе, и со слезами на глазах читал свои стихи о разлуке с родным Гаити. И вот сейчас, взяв в руки роман Антони Фелпса «Минус бесконечность»[1]— горький, страшный и, казалось бы, безысходно трагический (мне тоже довелось его переводить), я не мог не вспомнить алексисовского завета «волшебного реализма», когда взгляд упал на заключительные строки этой книги:

«...Цветы для погибших мы еще принесем. После победы.

Он поднял руку над седеющей головой и крепко ухватился за луч предзакатного солнца.

— После победы,— повторил он».

[1] Опубликован в «ИЛ», 1975, № 7, 8 и в изд-ве «Художественная литература», М., 1977.

◆

Наши публикации

ПОСЛЕДНЯЯ ПЬЕСА ГАРСИА ЛОРКИ

Вступление и перевод с испанского Н. МАЛИНОВСКОЙ

Со дня гибели Федерико Гарсиа Лорки прошло почти полвека, но и сейчас он еще не прочтен до конца. Всего созданного им мы не знаем, и можно лишь гадать об утратах и открытиях. В «Иностранной литературе» уже сообщалось о судьбе, содержании и смысле мистерии «Публика» [1] — сложного, необычного для Гарсиа Лорки и дорогого ему произведения, не завершенного или во многом утраченного. Не так давно — сначала во Франции, а потом в Испании — была опубликована рукопись первого акта другой неоконченной пьесы: эта находка — важнейшая после «Публики» и отчетливо с ней связана.

Мистерия многотемна, но два ее мотива в безымянной пьесе Лорки узнаются сразу. Первый — это драма искусства: поэт и публика, или поэт и чернь, потому что публика Лорки — это чернь в понимании Пушкина и Блока, («Вряд ли когда бы то ни было чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу» [2]). И второй — не с меньшим, а с большим основанием, чем «Публика», эта пьеса могла бы быть названа «Предчувствие гражданской войны», смертельной схватки испанской демократии с фашизмом.

Пьеса — последнее, над чем работал Гарсиа Лорка. Уцелевший акт написан в 1935 году — накануне испанской трагедии. Завершилось «черное двухлетие» молодой испанской республики, полузадушенной пришедшими к власти реакционерами, пролагавшими путь фашизму. Республика выстояла, но кровавый октябрь 1934 года мог стать роковым. В октябре фалангисты провозгласили программу действий — на их языке она называлась «национальной революцией» (вспомним, что и Муссолини, к примеру, именовал себя революционером. Да и не только он — последние полвека силы реакции и фашизма все чаще вынуждены выступать под маской «революции»,— причины этого явления известны читателю). Глава фаланги Примо де Ривера определил уготованное им Испании будущее уже без демагогии: «Никакой диалектики, кроме диалектики кулака и нагана». В октябре профашисты вошли в правительство, и в ответ на это, в том же октябре, астурийские горняки, вооруженные одной взрывчаткой, разбили войска и жандармерию, взяли штурмом Овьедо и овладели Астурией. На них бросили марокканцев и иностранный легион, операцию — разгром и расстрелы — возглавил генерал Франко. Уже далекий от нас октябрь 1934 года знаменателен — слишком многое потом повторилось. То же имя, тот же почерк, да и девиз иностранного легиона — «Да здравствует смерть!» — звучал не в последний раз.

Восставший народ на театральной площади, теснимый войсками, демагогия дорвавшихся до власти погромщиков и диалектика нагана в действии — так испанская действительность вторглась в последнюю пьесу поэта. Недаром недавние публикации Гарсиа Лорки вызвали такой отклик и интерес: от пьесы к пьесе сгущается и тяжелеет предгрозовой воздух тех лет. Но только ли тех? Не весной ли 1981 года в Испании произошла попытка жандармского путча — произошла на глазах испанских телезрителей? Поистине, «театр действительности», о котором столько говорит герой неоконченной драмы. Кажется, что рукопись ее оборвана только вчера.

Публикация драмы без названия стала в Испании событием, и дело не только в ее актуальном политическом звучании. Многие годы испанским критикам приходи-

[1] См. статью Н. Малиновской «Джульетта и маски», «ИЛ», 1978, № 12. (*Прим. ред.*)
[2] А. Блок. Об искусстве. М., «Искусство», 1980, с. 156. (*Здесь и далее — прим. автора.*)

МАЛИНОВСКАЯ НАТАЛЬЯ РОДИОНОВНА

Советский филолог-испанист, кандидат филологических наук, переводчик с испанского. В ее переводе публиковались произведения Х. Марти, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки, А. М. Матуте, Р. Дарио.

лось умалчивать об истинной позиции Лорки — мыслителя и художника. И тем важнее последнее слово поэта, вернее, то, которому суждено было стать последним и — пророческим.

Первый акт драмы в пересказе (именно в пересказе) неминуемо вводит в заблуждение: найдено потерянное, найден четвертый акт «Публики». Ведь в нем происходило то же, что и в новой пьесе: уличные бои в городе и разгром театра. Однако рукопись кардинально меняет впечатление. Вместо смутных, пугающих как раз своей неопределенностью образов «Публики» — почти плакатные фигуры, сухой и резкий язык, однозначные, рубленые фразы. «Никаких полутонов».

Естественно было поверить, что четвертый акт «Публики» потерян. Но по прочтении новонайденной рукописи возникают сомнения — а был ли он написан? Может быть, картина погрома и мятежа присутствовала только в замысле пьесы? Тем более что материал этого действия требовал иной художественной системы. Он был огромен и повлек бы за собой появление новых персонажей, для которых в «Публике» уже не оставалось пространства.

Так выделилась новая драма. Она вобрала в себя многие прозрения «Публики», но здесь они под впечатлением октябрьских событий 1934 года обрели остросовременную значимость. «Публика» была догадкой о будущем, которое ждало Испанию, а догадка всегда смутней и больше сбывшегося. Новая пьеса могла быть уже только беспощадна. И обреченность в ней другая, чем в «Публике». Нельзя сказать, что герои ее поставлены лицом к лицу со смертью. Нет. Они поставлены лицом к стене с поднятыми руками. Их ждет не крест, а пуля, нацеленная или шальная. Но, может, еще до того они погибнут общей, всех обращающей в месиво смертью — от бомбы.

Иллюзия величия личности, бережно хранимая в «Публике», здесь отнята у героев. Человек унижен еще и тем, что безликая, массовая смерть стирает разницу между личностью и ничтожеством. В «Публике» каждый гибнет в одиночку, оставаясь или становясь — только в смерти — человеком. В драме без названия человек беспомощнее перед ложью и беззащитнее перед смертью — и в этом также сказалось время.

Общий замысел драмы восстанавливается по мемуарам современников. Великая испанская актриса Маргарита Ксиргу вспоминает, что в конце 1935 года Лорка читал ей первый акт, второй — изложил подробно и прочел несколько сцен, третий — кратко пересказал. Очень существенный момент вспоминает П. Суэро, отмечая при этом, что пьеса, «мощная и крайне резкая, была пронизана какой-то странной поэзией». В драме, по его свидетельству, был такой эпизод (возможно, он навеян астурийскими событиями): под видом церковной процессии повстанцы проносят в город динамит, спрятанный в дарохранительнице. Эта сцена могла открывать второе действие: на опустелых, заваленных трупами улицах Поэт встречает церковную процессию и гибнет от шальной пули или от руки карателя.

Еще об одном эпизоде сообщает Э. Бланко Амор. На сцене появляется персонаж, он безлик — его никто не узнает и никто не знает. На вопрос «Кто ты?» он отвечает: «Власть» — и убивает спросившего. Э. Бланко Амор не помнит, кто именно спрашивал — возможно, сам Поэт,— но утверждает, что пьеса так и называлась «Власть».

В конце второго акта в подвалах городского морга Матери оплакивают детей, убитых при бомбежке. Плач Матерей был написан — все, кому Лорка читал пьесу, вспоминают, что проза в конце второго акта сменялась Плачем Матерей — поэзией могучей, скорбной и патетической силы.

В третьем акте действие переносилось на небо — там убитого Поэта встречали андалузские ангелы, те же, что когда-то хоронили Антоньито Эль Камборьо [1] и оплакивали цыганский город.

Драма начинается прологом, столь характерным для драматургии Лорки. Но Поэта в прологе нельзя отождествлять с Лоркой, это созданный Лоркой образ автора пьесы — только этой, и больше никакой. Пролог для Лорки всегда был проясненным и отстоявшимся итогом недавнего прошлого — сам он стал уже другим, знал и умел больше (и по-другому).

Так обстоит дело и в драме без названия, хотя первое впечатление иное: кажется, мы слышим голос Лорки 1934—1936 годов — так совпадают смысл и пафос его высказываний тех лет и пролога. Но чем дольше вчитываешься в тогдашние его интервью, тем яснее дистанция, отделяющая их от пролога: сумбурные декларации Автора и сдержанные, отточенные, глубокие определения Лорки. Но их роднит главное — выбор накануне и в час трагедии: «Передо мной на чашах весов итог борьбы: здесь — справедливость для всех, пусть еще в тумане будущего, и здесь же — моя боль и жертва; со всей силой я опускаю кулак на эту чашу» (интервью 1934 года).

Пьеса без названия — о судьбе поэта, о судьбе искусства. Никогда прежде у Лорки со сцены не говорилось так много и с такой горечью о театре.

Автор, как и герой «Публики», видит свой долг в преодолении пропасти между искусством и реальностью. Для него это и единственная возможность спасения искусства, и нравственный императив. Стыдно эстетствовать, когда жизнь требует к испытанию. Дар творчества есть долг, и нет права таить дар — он не для себя — или растрачивать его всуе. Подло держать себе на забаву силу, которая могла бы пробудить сознание, чувство, мысль, наконец, понятие о справедливости. Но трудно — и в нашем веке особенно — не переступить грань, не истратить дар иначе, но тоже впустую — на проповедничество. К этой крайности близок Автор. Зрители, обыденно и грубо помянув входную плату, оскорбляют в нем мастера. Его высокомерие: «Можете освис-

[1] См. Ф. Гарсиа Лорка. Избранные произведения в 2-х т., ИХЛ, 1975, т. 1, «Смерть Антоньито Эль Камборьо», с. 210.

тать, но не судите!» — спровоцировано. И он укрепляется в мысли: искусство недоступно, следовательно, бессмысленно, а когда доступно — фальшиво. Выход один: реальность, документальная точность, проповедь — вся из горьких истин.

Автор верит, что сама жизнь, едва предстанет со сцены, откроет людям глаза. Но сколько бы ни уверял он, что здесь не театр, а улица, Автор бессилен перед неколебимой уверенностью обывателя, что это «выдумка, интересная пьеса».

«Как вы бережете свое неведение!» Истово берегут: только бы не чувствовать боли — ни чужой, ни своей, не вспоминать о ней, увериться, что не существует ничего, кроме благопристойного фасада, даже в собственном доме. На эту декорацию и посягает Автор, надеясь пробудить сердца, но ответом ему — раздражение: «Идем! Как это тяжело! Как неприятно!» Но раздражение — лишь первый импульс.

Публика возлагает охрану своего душевного покоя на власть. (у Лорки при всей злободневности его последней пьесы понятия власти и публики несколько абстрактны). У них общие интересы: в неведении, в привычной развращенности души, молчании ума и чувств кровно заинтересованы обе стороны. Реакция Зрительницы на историю о женщине, умершей с голоду, замечательна простодушием и бесчувственностью: «Как ты мог допустить, чтобы при мне говорили такое? Неужели это правда? Так почему их не арестовали?» Начало фраз как будто обещает нормальные человеческие чувства, но тем резче на их фоне яростная, все подавившая забота о себе: «Почему их не арестовали?» Союз черни и власти прочен, а образ действий стар как мир: «Месиво из непокорных мозгов! Фонари, подъезды, памятники, подворотни — все обвешаем гирляндами языков, болтавших против установлений!»

Тяжело смотреть в глаза правде — и не только потому, что уже вкопаны фонари, на которые при случае вздернут. Правда может начаться только с себя, и нужно мужество, чтобы понять, что жизнь, пренебрегшая чужим горем, разрушает душу. Смерть женщины, которая могла бы жить и растить детей, уже не отпустит Автора. И вот он призывает кару, которая сметет не только безоговорочно виновных, но и все, что ему дорого, и его самого. Автор честен до конца — не ищет и не хочет спасения. Но он заблуждается, жертвуя искусством — тем, что способно заставить человека ощутить чужую боль своей.

Автор, безоговорочно отказываясь от поэзии ради документа, терпеливо и страстно объясняет Слуге театральную механику, развенчивает иллюзии, ссылаясь даже на бутафорские подробности. Но это объяснение — «страх перед подделкой!» — не только для Слуги. Автор сжигает мосты, и в его отчаянье — та же страсть, что и в прежней вере. Автор жаждет, чтоб кончилась простодушная вера в таинственную силу театра, власть искусства над человеком — власть ненастоящего,— и человек наконец освободился для мысли, прозрел, содрогнулся от ужаса. Порыв Автора — выстраданный, гуманный, жертвенный,— к счастью, бесплоден.

Он бессилен разрушить почти инстинктивный трепет Слуги перед театром — вместилищем неведомой ему тайны. Она — за семью печатями, за пределами реальности, в которой Слуга неизменно чувствует себя хозяином положения. Ему не дано прикоснуться к тайне искусства, и потому здесь, в театре, он робок (больше — нигде). Вместе с робостью, очарованностью и страхом в нем на время пробуждается душа, открывается способность сочувствовать: что не сумела жизнь, будит искусство или то, что он принимает за искусство.

Следствия этого скорее печальны. Легко спекулировать на детски доверчивом отношении к тайне. Подмена искусства суррогатом подла, как обман слепого, и пагубна — привычка к суррогату чревата полной потерей восприимчивости.

Реплики Юноши вклиниваются в диалог Автора со Слугой: власть искусства велика, но не стоит полагаться на эту власть. Она не переменит Слугу, она мимолетна. Она по ту сторону реальности и в жизни бессильна. Но и это не все. При первом подозрении, что искусство выходит за пределы сцены и призрачная его власть начинает обретать реальную силу, благоговейная робость мгновенно пропадает, очарованность сменяется агрессивностью. Надо, чтобы искусство кончалось, когда падает занавес: продлись оно дольше — его стряхнут, как наваждение. Мало того: очнувшись, отомстят.

В диалоге Автора и Слуги сталкиваются и хотят понять друг друга два мира и два отношения к жизни и искусству. Автор, творец иллюзий, пытается ввести Слугу в свой мир, но разве не то же самое делает Слуга, рассказывая о пьяном мальчике и распятом котенке? Слуга принимает реальность как данность — к ней надо приноравливаться; чувства, испытанные в театре, не тратятся на жизнь. Он, рыдавший над пошлой песенкой, оплакавший прощание Ромео и Джульетты, отвернется, увидев женщину, умершую от голода,— прибережет слезы до следующей встречи с искусством. Вот условия, на которых обыватель принимает театр. Но их никогда не примет Автор — слишком долго его жизнью было искусство, чтобы чувства, разбуженные и воспитанные им, оживали от случая к случаю.

Автор видит в реальности то, чего никогда не заметит Слуга: поэзию. Но сейчас для него все заслонила трагедия (и о ней не подозревает Слуга, принимающий все, что бы ни происходило, за норму), трагедия, перед которой стыдно за свою причастность искусству. Автор не допускает глухой стены между искусством и действительностью, ибо она обессмысливает искусство и ожесточает жизнь. Все резче он отвечает зрителям: «Здесь не театр!» Но так он нарушает главное условие существования театра: преображение хаоса жизни в космос искусства. Он не хочет замечать разницы, которую хорошо понимал Лорка: «Поэзия противоположна ораторству».

Позиции Автора и Юноши в первом акте кажутся противоположными, но пока они спорят (правда, не надеясь убедить друг друга), крепнет ощущение, что они —

единственные в пьесе, кто понимает друг друга. И любят они одно — театр. Душе изверившегося Автора все же созвучна печаль и очарованность Юноши. Упрек Автора театру внятен Юноше, но он, пока еще смутно, ощущает, что разрушение — не лучшее начало строительства, и не верит, что жертва способна пробудить сонную совесть.

Горячо возражает Автору Актриса. Это важнейший — наряду с Автором — образ драмы и, может быть, лучшая роль в пьесе.

Актриса — не трагическая героиня. Долгое молчание и недомолвки героинь Лорки всегда завершались в итоге свободным словом и поступком, и тогда, на высоте трагедии, его героини впервые выпрямлялись, уже не боясь и не стыдясь горя. Этот вольный взлет патетичен, и дико представить, что он мог быть сбит шутовством. Безжалостной, грубой издевкой обрывает себя Актриса — кричит, хохочет, паясничает, словно доказывая себе и всем, что сегодня дают водевиль, а не трагедию.

Впервые в драматургии Лорки его героиня — актриса, а не просто женщина. Ей легче, потому что смысл ее жизни не сведен поневоле к одному: есть театр, есть жизнь, прожитая в ролях, есть мастерство, которым она гордится. Она — актриса, но она и комедиантка и потому, защищаясь, играет: меняет маски, роли, регистры — до самого нижнего, откровенно фарсового. От отчаянья она безжалостна и, если дадут красный свет, самозабвенно сыграет пародию на истерзавшую ее любовь. И тревогу она тоже скроет фарсовым, издевательским воплем: «Лоренцо! Не высовывайся! Не подвергай опасности великий талант!»

Только над одним она не может лицедействовать — над гибелью театра. Актриса — душа театра, и в один миг, как маска, спадает с нее шутовство, кончается ирония, когда она понимает, что гибнет великое — то, что оправдывало ее путаную жизнь, мятежные порывы Автора, прекрасную в своей цельности жизнь Дровосека, отданную единственной роли. Даже жизнь Суфлера, озабоченного «экономикой», и Рабочего сцены — Безумца Бакунина — наполняет смыслом театр, искусство, которому они по выбору или по случайности служат. Ведь не «экономика» же и не Бакунин научили Рабочего сцены доброте.

Фарсово разыграв свой крах, Актриса уже не сдерживает слез. Но плачет она не о своей судьбе, не об отвергнутой любви — над ними она только что жестоко потешалась. Актриса оплакивает гибель театра. И безумцем кажется ей Автор, жаждущий катастрофы и возмездия. Напрасно он пытается вернуть ее к роли: «А что же леди Макбет?» Высокая трагедия — не кровавый разгул: «Леди Макбет нечего делать там, где пулеметный прибой смывает садовые розы!»

Но наперекор всему играет свою роль Дровосек. Он знает, что ему не суждено доиграть, что больше ему не дадут спеть песню — «такую красивую песню!». Но он знает и другое — то, чего в суете, растерянности, горе не сумели понять ни Автор, ни Актриса: нет времени, специально созданного для искусства, как нет особой земли и страны для него. Есть только своя земля и время, в которое выпало жить. Искусство должно жить, даже если кажется, что сегодня оно, по словам Блока, «бесприютное дело». И есть поэтому долг — играть роль, пусть это не ко двору и не ко времени: играть роль, тем связывая свое время с прошлым и будущим. На раздражение Автора: «Но не теперь же!» — Дровосек, персонаж шекспировского «Сна в летнюю ночь» и «Кровавой свадьбы» Лорки, отвечает гордо: «Всегда. Похороните меня, а я встану».

Эта верность сливается с прощанием Актрисы и отчаянием Автора, с сомнением и тревогой Юноши — Лорке нужны печаль и правда каждого, нужны все их голоса. Все вместе они — единый голос искусства, защищающий право его быть. Главного героя в драме нет, как нет монолога или просто фразы, подводящей итог. Он складывается иначе, и для него равно необходимы все действующие лица. Нельзя даже сказать, что Автор связывает остальных персонажей друг с другом. Их на всю жизнь или на вечер соединило искусство. Они — театр, в них его фальшь и правда, красота и пошлость, «экономика» и поэзия.

Им противостоит публика — пока еще не толпа. Она еще не безлика, может быть оттого, что близость смерти заставляет больше, чем хотелось бы, быть собой. Лорка внимательно вглядывается в лица, чувствуя, что еще минута — и публика обернется стадом, все сметающим на своем пути. Ему надо понять, кем эти люди до того были.

Никем. Пустой истеричкой, фальшивой даже в искреннейшем порыве; расчетливым доносчиком, при случае готовым убить и собственными руками. И если Человек в черном (или другой, столь же уверенный в своей правоте) кинет клич: «На фонарь!» — все ринутся на сцену мстить за собственную никчемность — Дровосеку, Актрисе, Феям и Эльфам. Заодно Слуге, раз испугался тюлевой тряпки и картонных птиц. Суфлеру, чтоб впредь не заботился об «экономике» театра. И лично Автору — за все благие намерения и опрометчивую фразу: «Можете освистать, но не судите!» Ведь хотелось именно судить, а еще лучше — казнить. Второй Зритель уже хватается за пистолет и целится в человека: «Вот это мишень!» — а Человек в черном все еще рассуждает о добре и правде, когда заботит его одно: «Месиво из непокорных мозгов!» И страшнее всего, что ему верит на слово человек, привыкший верить слову,— Дровосек. Он и не подозревает, что слово может быть произчесено хуже чем всуе. Роль учила его другому — цельности, искренности, добру.

Все пристальнее вглядываться в лица толпы Лорку заставляло предчувствие катастрофы, надвигавшейся на его страну. Близость войны уже пронизывает сборник «Поэт в Нью-Йорке», война неминуема в «Публике». В начале 1935 года в интервью Лорка говорит о замысле антивоенной пьесы. И вот в драме без названия ужас войны впервые зрим, здесь война беззастенчиво говорлива.

Изначальная лоркианская тема — ребенок и смерть — еще в «Поэте в Нью-Йорке» обрела новые, резкие очертания: ребенок и война. В последней драме войне отдан уже весь город — мир, и действие происходит в ее родном доме — мертвецкой. Это было написано за год до испанской войны, за пять — до мировой...

Три пьесы Лорки — «Публика», «Когда пройдет пять лет» и драма без названия, в отличие от остальных его пьес — мистерии. Отсюда их тяга ко всеохватности. Поэтому и остальные персонажи в системе пьесы значительны не сами по себе, но как силы, влияющие на героя: враждебные, испытующие, благие. Контур мистерии, как бы ни был он четок и доказателен, не позволяет зрителю воспринять ее однозначно. Но чем бы ни показалось увиденное, оно утверждает все ту же истину, на первый взгляд простую: человек может быть жесток только с собой и жертвовать только собой.

Не слишком ли проста эта истина и стоит ли не первое ее открытие таких испытаний и в конечном итоге жизни? Но истины, над которыми бьются герои Лорки, всегда просты — сложен путь к ним. И путь — главное, потому что простые истины не доказуемы чужим опытом и не воспринимаются через него. К ним приходят сами, если хватает сил, мужества, ума, таланта дойти. Именно о таком человеческом пути и ради него написаны эти пьесы.

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

ДРАМА БЕЗ НАЗВАНИЯ[1]

АКТ ПЕРВЫЙ

Серый занавес

А в т о р. Дамы и господа! Сегодня занавес подымется не затем, чтобы радовать вас игрой слов, и не для того, чтобы показать вам комнату, в которой ничего не происходит, хотя именно туда чаще всего и направляют театральные прожекторы, пытаясь уверить, что это и есть жизнь. Нет. Поэт, в здравом уме и твердой памяти, хотя, возможно, не ко взаимному удовольствию, а к обоюдному огорчению, сегодня предлагает вашему вниманию темный закоулок действительности.

Смиренно заверяю вас — это не вымысел. Ангелы, тени, голоса, снежные лиры и сны существуют — они носятся в воздухе; они так же реальны, как похоть, как медяки в кармане или рак, затаенный в женской груди, или дряблые губы торговца.

Вы ходите в театр развлекаться, у вас есть авторы, которым вы рады платить, — я ничего не имею против! — но сегодня вы попали в ловушку: вам покажут то, чего вы не хотите видеть, вам выскажут те простые истины, которых вы не хотите знать, ибо Поэт надеется пробудить ваши сердца.

Вы не хотите знать... Но почему? Если и вы и я верим в бога, отчего мы так боимся смерти? А если вы верите в смерть, откуда столько жестокости? Откуда это безразличие к чужой боли?

Ха-ха-ха! Вы скажете — я проповедую! А чем плоха проповедь? Вспомните, все вы когда-то ушли из дому, хлопнув дверью, оставив мать и отца, а ведь они бранили вас ради вашего же блага. А сейчас вы отдали бы и зеницу ока, только бы снова услышать те смолкшие голоса. И я говорю о том же. Тяжело смотреть в глаза правде. Но говорить правду в тысячу раз труднее, все равно что вопиять в пустыне. Тем более говорить ее вам, горожанам, обитателям самой жалкой и горестной мечты. Как вы бережете свое неведение! Вы заводите патефон, чтобы не слышать шелеста ветра, вы завешиваете окна тюлем, чтобы не видеть слез, а чтобы заглушить сверчка совести и спать спокойно, вы изобрели богадельни!

Проповедь? Да. Проповедь. До каких пор театр будет представлять чью-то жизнь, а не нашу? Зритель безмятежно спокоен — он знает, что представление не коснется его, но если бы вдруг его окликнули со сцены, заставили говорить, если бы солнце подмостков обожгло эти серые лица... Как это было бы прекрасно!

Автор хочет, чтобы вы поняли — это не театр, это улица, и потому действительность вступает в свои права. И ему не нужна поэзия, мелодия, литература, он хотел бы преподать небольшой урок вашим сердцам — на то он и поэт. Впрочем, это мог бы всякий. Автор умеет сочинять стихи и да-

[1] Публикация сопровождается рисунками Ф. Гарсиа Лорки периода написания пьесы.

же, кажется, неплохие, он разбирается в театре, но вот вчера он сказал мне, что всякое искусство наполовину искусственно, и это стало его тревожить, и ему уже не хочется тащить сюда витую колонну с золотыми голубками и ароматы белых лилий. *(Хлопает в ладоши.)* Кофе, пожалуйста.

Опускается занавес, на котором нарисованы дома и кучи мусора. Пауза.

Покрепче. *(Садится. Где-то играют на скрипке.)* Аромат лилий прекрасен, но мне больше нравится запах моря. Что только не пахнет морем!.. Я рассказал бы, как пахнут морем груди сирен, но что им сирены? Они не видят, не слышат, голько окликают берега, пересчитывая утопленников,— вот единственное, что волнует человека!.. Но как донести до театра запах моря? Как зажечь звезду над партером?

Зритель *(из бельэтажа)*. Снять крышу!

Автор. Не перебивайте!

Зритель. Имею право. Деньги заплачены.

Автор. То, что заплачены деньги, еще не означает, что вы можете перебивать и судить о пьесе.

Зритель. Как не означает?

Автор. Нравится — можете устроить овацию, не нравится — можете освистать. Но не судите!

Зритель. Мнение зрителя — закон для театра.

Вбегает человек в красном трико — у него волчья голова. Подпрыгнув несколько раз, он падает

Автор. Кто это? А! Вы ушиблись? Не надо было сюда приходить. Я запрещаю вам.

Голос. Лоренцо! Мой Лоренцо!

Волк в луче прожектора уходит.

Первый Зритель. Очень плохо!

Автор. Сделайте милость, помолчите.

Зритель. Я купил билет, пришел в театр...

Автор. Что? Что вы сказали? В театр? Здесь не театр.

Зритель. Как не театр?

Автор *(резко)*. Не театр. Вам страшно в этом все дело. Вы знаете меня, вы знаете, что я хочу, чтобы рухнули стены и все мы увидели, как стонут, хрипят и убивают те, кто и не подозревает о существовании театра, те, чьи тела гниют заживо. Вы боитесь. Идите. Дома вас ждут ложь, чай, радио и жена, которая, обнимая вас, мечтает о футболисте из отеля напротив.

Зритель. Я дал бы вам пощечину, будь мы в другом месте.

Автор. А я подставил бы вам другую щеку. Трус.

Слуга. Кофе.

Зритель. Не стоит обращать внимания, раз это не имеет отношения к действительности...

Автор. К действительности? А вы имеете представление о действительности? Знайте — уже срублены деревья и выстроганы доски. А четыре гроба уже стоят в витрине и ждут тех четверых, что сейчас слушают меня, и, может, одному — может! — ждать уже не долго, только до утра, только до конца спектакля.

Зритель. Я пришел сюда не затем, чтобы мне читали мораль и говорили гадости. Скажите спасибо, что мы в Испании, где уважают смерть. В Англии вас бы давно освистали. Я ухожу. Я думал, что пришел в театр...

Автор. Здесь не театр! Вот-вот вышибут двери. Только в этом спасение. Здесь, внутри, тяжелый воздух, насквозь пропитанный ложью. Актеры здесь говорят только то, что можно сказать вслух при девицах, и никогда ни словом не обмолвятся о своей муке. Мне не нужны актеры, пусть останутся мужчины и женщины, а кто не хочет слушать — пусть заткнет уши.

Зритель. Пойдем, дорогая. Он может такое сказать...

Первая Зрительница. Не хочу! Это интересная пьеса.

Автор. Вы хотите сказать — жизнь. Немыслимая жизнь — ее не уместишь в театре. Несколько дней назад, здесь же, я собрал приятелей, чтобы увидеть, способны ли они плакать, и показал им то, чему не поверил бы ваш муж. В темной каморке — женщина, умершая с голоду. Двое голодных детей играют руками матери — нежно, как хлебом. И, грызя кусок вара, засыпают у нее на груди.

Зритель. Не может быть!

Автор. Луис подтвердит, что было.

Зритель. Идем.

Первая Зрительница. Ну что ты! Это же выдумка! Театр!

Автор. Нет. Все — правда.

Первая Зрительница. Правда? Какой ужас! Идем. Как это тяжело, как неприятно!

Зритель *(направляясь к выходу, капельдинеру)*. Такси! Пожалуйста, скорее!

Первая Зрительница. Как ты мог допустить, чтобы при мне говорили такое? Неужели это правда? Почему же их до сих пор не арестуют?

Зритель. Идем же. Я знал, как это на тебя подействует.

Уходят.

Юноша *(во фраке, из партера)*. Если так пойдет дальше, он останется один.

Автор. А, вы здесь...

Юноша. Да, мне интересно то, что вы делаете.

Голос *(за кулисами)*. Лоренцо! Мой Лоренцо!

Автор. С вашего позволения. *(Берет у Слуги кофе.)*

Юноша. Я не думал, что они уйдут. Театр — это так прекрасно. Серебряные кубки, горностаевые мантии — что станется с ними?.. Дважды звучал тот голос — он волнует меня сильнее, чем предсмертный крик, даже настоящий.

Автор. Ничего уже не осталось в театре. *(Берет чашку кофе. Слуге.)* Почему скверный и так мало?

Слуга. Я пролил, извините. Там темно, я столкнулся с рыбаками — они пели, а на головах у них были свинцовые рыбы; потом на меня свалился тюль, весь в мухах, сказали — это туман. Я не привык, мне здесь не по себе.

Автор. Страх перед подделкой!

Слуга. У меня в кафе светло.

Автор. Здесь нечего бояться.

Слуга. Да, конечно!

Автор. Пьяных у вас много?

Слуга. Да.

Автор. И о чем говорят?

Слуга. Всякое — чего пьяный не скажет! Мальчонку вчера привели да индюка. Поспорили — кто раньше опьянеет. Мальчишке коньяк дали, а индюку — анисовой и табака накрошили. Потеха! Мальчонка сразу опьянел — об стену стал головой биться. А индюку после горло бритвой перерезали, изжарили и съели!

Юноша. Вы слышите? А расскажите ему душещипательную историю — и он зарыдает! Сцена нужна, сцена! Иначе крах.

Автор. И вы не вмешались?

Слуга. Я должен быть приветлив с гостями.

Автор. И не боялись?

Слуга *(смеется)*. Кого ж бояться? Мальчонка да индюк! Ему уж горло режут, а бритва тупая попалась, так еще рюмочку в клюв влили. С полчаса возились.

Автор. Довольно!

Слуга. Испугались? Это что! А вот на карнавале... В прошлом году пьяный приходит, на скрипке играет. До сих пор смех берет, как вспомнишь! Скрипку-то сам смастерил — кота на стиральной доске распялил, лапы прибил, а вместо смычка — терновый прут. Как он им по коту пройдется — тот вопит что есть мочи. Под эту вот музыку две женщины у нас танцевали, одеты обе хорошо, лучше некуда — в шелках. Одна — Пьеро, другая — Коломбина.

Юноша. А спойте ему какую-нибудь пошлость — и он прослезится!

Автор. Вы уходите?

Юноша. Я хочу предостеречь вас. Иные сделают вид, что все понимают, и назовут это дикостью, извращением или как-нибудь еще... и перевернутся на другой бок, чтобы спалось получше.

Автор. Надо их разбудить, открыть им глаза, даже насильно!

Юноша. Зачем?

Автор. Чтобы видели.

Юноша. А я уверен, что сонные, с убогой, едва проросшей совестью, знавшей одни условности, они тоже схватятся за терновый прут — остервенело пилить распятого котенка.

Слуга. А чего с котом церемониться? С котами шутки плохи — детей царапают и хозяев не любят.

Автор *(Юноше)*. Я не хочу никого учить. Я только хочу, чтобы знали правду. А он говорит правду.

Юноша. Не всю.

Автор. Конечно, не всю. Потому что многое от него скрыто. Нужны мощные прожекторы, чтобы жечь и крушить сердца. *(Слуге.)* Вы свободны. *(Слуга уходит. Обернувшись налево.)* Нет! Я же запретил тебе приходить! Я не хочу тебя видеть! Я устал от лжи.

Слуга *(входя)*. Сеньор.

Автор. Да?

Слуга. Не могли бы вы распорядиться, чтобы включили свет?

Автор. Зачем?

Слуга. Не знаю, как выйти.

Автор. Иди налево по коридору, подымешь занавес, пройдешь репетиционный зал — там лестница и выход.

Слуга. Я...

Автор. Что ж ты стоишь?

Слуга. Боюсь. Надо пройти по туману — он там, на полу, потом еще две птицы в нише, они большие...

Автор. Зажгите свет! Не бойся! Смотри — это тюль, крашеная бумага.

Слуга. Да. А кажется — настоящие.

Автор. А если бы настоящие?

Слуга. Ну! Если бы настоящие, я б им пулю влепил!

Юноша. Браво! Как же иначе!

Слуга уходит. Слышны три громких удара. Занавес с немыслимой башней падает.

Суфлер *(входя)*. Сеньор режиссер, вы придете на репетицию?

Автор. Нет. Что репетируют?

Суфлер. «Сон в летнюю ночь».

Автор. Люди рыдают над «Отелло», смеются над «Укрощением строптивой», но «Сна в летнюю ночь» не понимает никто — смеются. Может, и к лучшему. Вы знаете, о чем это?

Суфлер. Я суфлер. Но объяснить... затрудняюсь.

Автор. Смутная история.

Суфлер. Смешная!

Автор. Нет, совсем не смешная. Это пьеса о том, что любовь, всякая любовь — только случайность и совсем не зависит от нас. Люди засыпают, приходит Пэк, дает им понюхать цветок, и, проснувшись, они влюбляются в первого встречного. Так царица фей, Титания, полюбила крестьянина с ослиной головой. Это страшная правда, она чревата самоубийством — столько в ней разрушительной силы... А мир сейчас, как никогда, нуждается в утешительных, созидательных правдах. Нельзя думать все время об одном человеке, надо подумать и об остальных. Я не пойду.

Суфлер. А как изобразить ветер в лесу?

Автор. Как хотите. Песней без слов. Оставьте меня в покое. Я последний день в театре.

Актриса *(в костюме Титании, входя)*. Лоренцо! Лоренцо! Что же ты не идешь? Я не могу без тебя играть. Я ищу тебя по подвалам, а могла бы любоваться восходом, бегать босиком по траве!

Автор *(резко)*. Откуда эта фраза? Из какой пьесы?

Актриса. Ни из какой. Я говорю ее впервые.

Автор. Ложь. Если бы это тело было твоим, я взял бы кнут и хлестал, пока не добился бы правды.

Актриса. Лоренцо.

Автор. Если ты думаешь, что костюма Титании достаточно, чтобы я потерял голову, ты ошибаешься. Завтра ты вырядишься нищенкой, послезавтра — герцогиней, потом — змеей из сказки поэта-пустобреха!

Актриса. Я знаю одно — я люблю тебя. Возьми кнут, хлестни меня, и ты увидишь багровый след, возьми шило, воткни мне в грудь, и ты увидишь струйку крови. Ха-ха-ха! И если ты жаждешь крови — пей! И мне оставь немножко.

Автор. Фальшь!

Актриса. Конечно, фальшь. *(Обнимает его.)* Я стою здесь, а все-таки я там, у тебя в глазах — в каждом, маленькая и разная. Если снег боится огня, то как же твои зубы, такие холодные, терпят жар твоих губ? Фальшь! Если бы ты был конем... Когда светает, они рвутся в сумерки стойл, к кобылицам.

Автор. Оставь меня!

Актриса. Ха-ха-ха! Ты медведь. Ты мне не веришь? Ни единому слову? Так задуши меня и услышишь на своей косматой груди мои предсмертные хрипы. Раньше мне нравилась гладкая кожа. Теперь — нет. Жесткая грива, увязший в грязи пригород и пастушья кошара.

Автор. Не думаю, что перемена вкусов нас сблизит. Я не разделяю твоих пристрастий. С меня довольно тебя, твоего общества, твоего непостоянства.

Актриса. А если бы я была уродливой, жалкой, такой, какие тебе нравятся — прокаженной,— ты бы меня не гнал? Нет? Ты ведь мой. Если бы мне умереть в лазарете, рядом с тобой!

Автор. Тебя не хватит и на единое слово правды!

Актриса. И никого не хватит. Зато я спою тебе самую нежную ложь. Мне тоже нравится правда, но — не насовсем. Правда уродлива. Если я стану говорить правду, меня вышвырнут из театра. Иногда посреди лирической сцены мне хочется обернуться к публике и заорать ей такое... Ха-ха-ха! Но я не могу без бриллиантов, а их у меня не будет!

Автор *(в ярости)*. Вон отсюда! Вон!

Актриса. И все-таки возьми кнут! Я знаю, тебе не по душе Титания. Она фея, а фей не бывает, зато леди Макбет есть.

Сдергивает белый парик — по плечам рассыпаются черные волосы. Сбрасывает белый плащ — под ним огненно-красное платье.

Поднимается задник. За ним — картон, на котором нарисована сумрачная галерея, кипарисы и какие-то странные деревья.

Леди Макбет есть, и, кроме того, сейчас ты меня боишься.

Свет постепенно становится лунно-голубым.

Потому что я красива, потому что я всегда буду, потому что я по горло сыта кровью! Человечьей кровью! Три тысячи юношей умерли из-за меня, это я сожгла их — глазами! Прошло столько лет... Они были живые, а после я видела, как они бились в агонии, умирая от любви!

Автор. Откуда этот абзац? Ты актриса. Презренное существо.

Актриса. Комедиантка, которая умирает от любви к тебе, Лоренцо. И умоляет не покидать ее.

Автор *(кричит)*. Дайте свет! И подымите занавес!

Актриса. Вот именно. Красный свет! Красный! Чтоб все видели, что руки у меня в крови! А то дали лунный свет, а мне еще надо сыграть с тобою финал.

Красный свет.

Автор *(осветителям)*. Вы ошиблись!

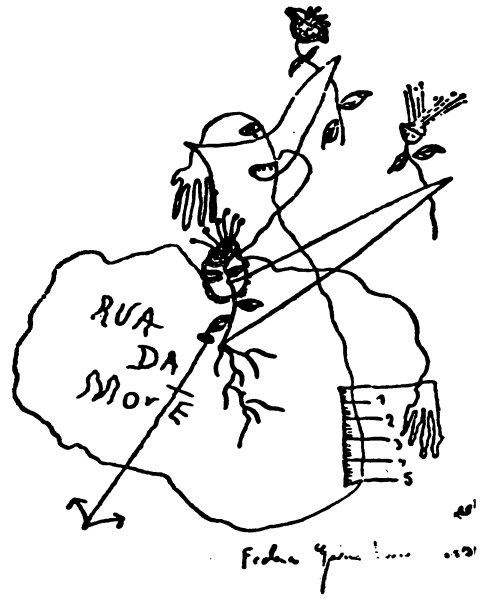
Актриса. Тише! Я заставлю тебя любить. Кровь льется на землю и становится грязью. Что мне до солдатских смертей? Но если кровь прольется на гроздь гиацинта, она станет вином.

Слышны выстрелы.

Автор. Что происходит? Дайте весь свет!

Сцену пересекает Ник Боттон, в руке у него ослиная голова.

Ник Боттон. Какой ужас! Они близко! За кулисами безопасней.



Выстрелы ближе.

Вторая Зрительница *(из партера)*. Идемте! Я боюсь — дети дома одни!

Третья Зрительница. На улицах солдаты, не пройти.

Суфлер *(на сцене)*. Кажется, они уже здесь, в театре!

Голос. Да здравствует революция!

Актриса быстро накидывает плащ и прячет волосы под темную фетровую шляпу.

Актриса. Заприте двери!

Автор. Не запирайте! Театр для всех. Это народная школа!

Актриса. Нет! Сюда им нельзя! Они разорвут поддельные книги, разобьют королевские бокалы, стеклянную луну, разольют тайные зелья, что веками берегли в темных склянках! Они поломают дождевую машину!

Автор. Пусть все рушат!

Актриса. Любовь моя, но на сцене нельзя будет играть!

Автор *(суфлеру)*. Я сказал — откройте двери! Я не хочу, чтобы живая кровь лилась у картонных стен.

Суфлер. Воля ваша. Но подумайте об экономике! В театре тоже есть своя экономика!

Автор *(в ярости)*. Что еще за экономика?

Суфлер. Экономика есть таинство, которое бессмысленно подвергать сомнению, и всякий разумный человек...

Автор. К черту экономику! Вы слышите? Слышите?

Суфлер *(дрожа)*. Да. Дайте, пожалуйста, ваты, я заткну уши.

Автор. Это льется кровь, это ее шорох.

Актриса. Не выходи, Лоренцо! Тебя могут убить!

Автор *(саркастически)*. А что же леди Макбет?

Актриса. Леди Макбет нечего делать там, где пулеметный прибой смывает садовые розы.

Человек в черном *(входя)*. Вы правы. Порох убивает поэзию.

Автор. Или освобождает!

Человек в черном. Железный кулак! Месиво из непокорных мозгов — вот вам роза! Фонари, подъезды, памятники, подворотни — все обвешаем гирляндами языков, болтавших против установлений!

На сцене появляется Дровосек. У него белое лицо, на плече вязанка хвороста, в руке — фонарь.

Дровосек. Кажется, отступают.

Человек в черном. Вот именно! В порошок их сотрем!

Автор. Кто вы?

Человек в черном. Держу театр. Железный кулак! В наши дни добро, правда и красота должны быть вооружены до зубов!

Дровосек. Хорошо сказано!

Автор. Хорошо? Ты сколько зарабатываешь?

Дровосек. Гроши. На хлеб хватает. А если я чего хочу, так это, чтоб мне не мешали играть роль.

Рядились розы звездами и снегом.
Ночь парусами рваными кренилась.
Сверчок ли убаюкал или буря
Баюкает — неважно, лишь бы
снилось [1].

Автор. Ты кого играешь?

Дровосек. Я луна у Шекспира.

Автор. Но не теперь же!

Дровосек. Всегда. Похороните меня, а я встану.

Слышны орудийные залпы.

Суфлер *(входя)*. Войска уже на площади. *(Уходит.)*

Появляются Вторая Зрительница и Второй Зритель — раньше они сидели в бельэтаже.

Вторая Зрительница. Это революция, Энрике. Революция!

Второй Зритель. Но не убьют же нас здесь!

Дровосек. Конечно нет. Здесь безопасно. Вот только если самолеты... Но мне в конце концов все равно. Так сказано у меня в роли:

Нет ни крыла, ни стрелы, ни стона,
Лунная осень над головою.
Стихшие люди. Мертвые травы.
Лишь серебро в моем перстне — живое.
Ты под водою — спи беспробудно,
Пусть незабудка стынет под ветром.
Пусть даже кровли выкрасят кровью —
Не запятнают одетого светом.

Какая красивая песня, а мне, наверно, больше никогда не дадут ее спеть!

Вторая Зрительница. О чем он?

Ник Боттон *(входя)*. Я сам видел — четыре самолета!

Вторая Зрительница. Дети! Мои дети! Они одни, с ними только бонна и слуги. Я знаю — в дом ворвутся, их убьют!

Голос *(с галерки)*. Рабочие не убивают детей!

Второй Зритель *(публике)*. Убивают!

Автор *(Второму Зрителю)*. Вы лжете!

Второй Зритель. В прошлую революцию у трехсот детей выкололи глаза.

Автор. Кто вам сказал? Кто изрыгнул этот бред? Отвечайте!

Зритель. Потрудитесь выбирать выражения и вести себя как подобает воспитанному человеку.

Автор. Я не умею вести себя! Я не воспитанный человек. Я смертник.

Зритель. Какая чушь!

Вторая Зрительница *(испуганно жмется к мужу)*. Энрике! Энрике!

Второй Зритель. Я точно знаю. Мой друг, очень известный журналист, был там и сам видел. Он взял как доказательство два живых глаза, голубых, носил их в лаковой коробочке и всем показывал.

Суфлер *(входя)*. Сейчас начнется бомбежка!

Вторая Зрительница. Мои дети! Мои дети! *(Автору.)* Маленький ведь совсем без меня не может! Он у меня светленький, а по утрам приходит ко мне и поет английскую песенку! Как же он без меня?

Второй Зритель. А вечером она затоскует еще сильнее, потому что, несмотря на обилие слуг, сеньора привыкла сама раздевать малыша.

Вторая Зрительница. Их убьют! Господи, их убьют!

Рабочий сцены *(выходит из темноты)*. Не бойтесь, сеньора. Я схожу скажу, чтоб ваш дом не трогали.

Автор. Ты пойдешь?

Рабочий сцены. Да.

Автор. Я посмотрю с чердака.

Актриса *(бежит за ним)*. Лоренцо! Не высовывайся! Не подвергай опасности великий талант!

Рабочий сцены. Если на улицах спокойно, я приведу их. Дети! Я понимаю ваше беспокойство. Если это дело затянется, то лучшего убежища, чем театральный подвал, не найти.

Вторая Зрительница. Да, да! Идите!

Рабочий сцены. Не волнуйтесь! *(Уходит.)*

Вторая Зрительница. Кто это?

Дровосек. Рабочий сцены.

Вторая Зрительница. Как его зовут?

Дровосек. Безумец Бакунин — друзья его прозвали.

Вторая зрительница. Мы его отблагодарим! Я все, все отдам! Ты спросил, как его фамилия?

Второй Зритель. Спросил. *(В сторону.)* Чтобы при случае донести. *(Записывает в блокнот).*

Начинается бомбежка. Все замирают, прижавшись к стене.
Автор поднимается по лестнице — его не видно.

Голос с галерки. Негодяй!

Второй Зритель. Что спрятался? Сюда его! В наручники! Дайте, я сам! Да не оставит меня господь и все воинство его! Господь не простит! Он господь воинств, и поклоняться должно ему — всех заставим! — и только ему, ибо нет бога кроме...

Дровосек. Ближе к стене! Бомбят вовсю!

Зритель. А не страшно! Господь...

Голос. Не верю!

Второй Зритель. Не веришь? Дур-

[1] Здесь и далее перевод стихов принадлежит А. Гелескулу.

ную траву с поля вон! Вот так! *(Вынимает фонарик и направляет луч на галерку!)*

Рабочий *(в комбинезоне, подняв руку)*. Товарищи!

Театр освещается.

Второй Зритель *(спокойно)*. А! Хороший парень! *(Вынимает пистолет и стреляет.)*

Рабочий, вскрикнув, падает.

Первая Женщина. Убили!

Вторая Женщина. Убийца, убийца!

Второй Зритель. Выведите их, они мешают представлению.

Свет гаснет, в театре темно.

Хорошая охота! Господь зачтет мне! Благословен господь и священна месть его! Нет бога кроме...

Юноша *(из партера, захохотав)*. И Магомет пророк его! Почему бы вам не застрелить и меня? Революция все спишет!

Второй Зритель. С евреями не связываюсь.

Юноша. Простите! Я не еврей, а мусульманин.

Зритель. И не боитесь бомбежки?

Юноша. Не больше, чем вы. Когда я умру, у меня будет тысяча женщин. А здесь они дороги.

Второй Зритель *(озираясь по сторонам)*. Ужасно дороги. Но еще немножко, и они пойдут по дешевке, задаром, как в прежние времена. Мой дед брал их оптом.

Юноша. Благословенные времена. Поздравляю вас — вы отличный стрелок.

Зритель. Меня учил немецкий полковник. Человек — вот прекрасная цель. Других мишеней он не признавал. Убить птицу — да это бы его взбесило.

Юноша *(понизив голос)*. Прекрасная мишень. В сердце?

Зритель. Если в сердце, долго корчатся. А так — падают навзничь, как стояли, глазом не моргнешь. Прямо в лоб.

Шум моторов приближается.

Вторая Зрительница. Энрике! Энрике, иди сюда! Скорее!

Зритель. Но опасности нет!

Третий Зритель. Вот это выстрел! А?

Юноша. Да. Совершенно с вами согласен, если говорить... вслух.

Третий Зритель. А если про себя?

Юноша. Если про себя, то я остаюсь при своем и в стороне. Я не охотник. Мы оба знаем...

Третий Зритель. Тише!

Юноша. Я не выдам. Мне самому лучше молчать.

Бомбежка усиливается.

Рабочий сцены *(входя)*. Все в подвал! Там безопасно.

Падает картонная стена с нарисованной каменной кладкой.

Вторая Зрительница. Мои дети! Мои дети!

Дровосек. Ближе к стене!

Сцена освещается. Актеры в костюмах эльфов и фей вносят раненого.

Фея. Упал с галерки.

Эльф. Осторожно! Дай мне платок!

Фея. Сейчас!

Уходят.

Вторая зрительница. Мои дети! Мои дети!

Актриса. Я не могу больше слышать, как она голосит. Я не могу больше выносить этот вой! Она фальшивит, ее не жалко! Эй! Не так, а вот так: дети мои, бедные мои дети! Поняла? Бедные мои дети! И вскинуть руки, чтоб они трепетали, как листья в лихорадке ветра!

Рабочий сцены *(входя)*. Народ выломал двери!

Зритель хватается за пистолет. Жена удерживает его.

Автор *(входя)*. Сюда, сюда! Пусть ваша правда говорит с этих дряхлых подмостков! Пусть ваши ножи найдут тех, кто века воровал у вас масло и хлеб! Пусть омоет колосники и софиты дождь...

Голос. Горим!

Голос *(вдали)*. Горим!

Автор *(уходя)*. И пламя!

Театр освещается красным светом.

Актриса *(входя, громко)*. Лоренцо! *(Тихим, дрожащим голосом.)* Лоренцо!

Занавес.

◆

Трибуна переводчика

ВЕРА ПОТАПОВА

СЕГОДНЯ... ИЛИ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЛЕТ НАЗАД

Лирический комментарий

Перевод поэзии таит в себе много интуитивного и непредсказуемого. Начиная работу над переводом поэмы Томаса Мура «Свет гарема» (одной из четырех поэм, составляющих «Лалла Рук»), я ободряла себя тем, что мне посчастливилось переводить Блейка и Китса, принадлежащих, как и Томас Мур, к созвездию английских романтиков XIX века. Вдобавок, главным «козырем» мне казалось то, что действие в поэме происходит в Индии, а индийской поэзией я занималась двадцать лет. «Интуитивное», однако, не помогло. Эмпирически найти «ключ» к переводу не удавалось. Лишь подолгу вчитываясь в сложную семантику и стилистику Томаса Мура, удалось прийти к своеобразному решению. «Ключ» к переводу поэмы «Свет гарема» был именно в том, что Индия создана здесь воображением английского романтика, увидена его внутренним зрением. И если мысленно пройти по следам поэта, если его ви́денье станет ви́деньем переводчика, то этот правильно выбранный «ключ» определит верность перевода и естественность интонации.

Справедливость требует заметить, что «Индия» Томаса Мура не возникла из ничего. Усилившийся в эпоху романтизма давний интерес английской литературы к Востоку, наряду с фантазией и одержимостью ирландца, помог поэту-романтику воплотить свой замысел в прекрасных, отмеченных богатством воображения и творческой смелостью картинах. Речь идет об Индии начала XVII века, периода империи Великих Моголов. Нельзя отказать Томасу Муру в своего рода поэтическом реализме, когда он описывает Праздник Роз в Кашмирской долине, пир в дворцовых садах Джехангира (Селима, падишаха Сев. Индии, 1600—1627 гг.), красавиц его гарема, даже плоды и вина, которыми уставлен пиршественный стол.

Однако все эти величественные зрелища оборачиваются для нас театральностью, когда мы раскрываем книгу санскритской антологической лирики. Повинна в этом парадоксальная «современность», подлинно реалистическая, глубоко жизненная наполненность древнеиндийской поэзии, заставляющая нас то и дело задаваться вопросом: сегодня... или полторы тысячи лет назад написаны эти строки? (Возникновение литературы на санскрите принято относить к рубежу нашей эры.) Примечателен в этом смысле поэт Йогешвара (XI в.). Одно из немногих его стихотворений, сохранившихся до наших дней, представляет собой остро социальную жанровую картину, которую можно было бы назвать «Жаркое лето в Бенгалии»:

> Воду пру́да нагревает зной
> Сверху, а внизу — холодный слой.
> Если водоемы су́хи всюду,
> Путники приходят в полдень к пруду.
> Буйволы грязнят его: скотине
> Отдыхать привольно в скользкой тине.
> Но, руками разгоняя муть,
> Люди пьют, войдя в него по грудь[1].

В стихотворении о жизни супруги бедняка ни единого лишнего слова. Трагедия укладывается в семь коротких строк, написанных на одном дыхании. Переводчик, разумеется, обязан был передать эту лапидарность:

> Из ячменя размокшие лепешки
> Сушить, ребят ревущих унимать,
> Вычерпывать горшком разбитым воду,
> Солому для спанья беречь от ливня.

[1] Стихи здесь и далее цитируются по книге «Жемчужное ожерелье». Из древнеиндийской антологической поэзии. Перевод с санскрита Веры Потаповой. М., «Художественная литература», 1980. (*Прим. ред.*)

ПОТАПОВА ВЕРА АРКАДЬЕВНА

Советский поэт-переводчик. Основные переводы из восточной поэзии: с санскрита — «Рамаяна» Вальмики, «Времена года» Калидасы, книга древнеиндийской антологической поэзии «Жемчужное ожерелье», Мирза Галиб «Лирика» (с урду), стихи Р. Тагора, «Лирика древнего Египта» (в содружестве с А. А. Ахматовой). Из английской поэзии: стихи и поэмы Дж. Драйдена, В. Блейка, Т. Мура, Дж. Китса, Р. Киплинга. Из скандинавской: «Датские народные баллады», «Стихотворения» Г. Фрёдинга и др.

Дырявое лукошко нахлобучив
На голову, в лачуге обветшалой
Доводится супруге бедняка.

Пейзажи Йогешвары полны поэтических деталей, с их щемящим соответствием внутреннему миру человека. Те же предгорья Виндхьи, которые и в наши дни открываются скитальцу, измученному борьбой за существование («Пока слетает с уст хоть слово,/ пока стремится сердце выжить/ и страннику послушны ноги...»). Те же мокрые от ливня кадамбы в густом цвету и «тучи, черные, как змеи/, сменившие недавно кожу».

Не менее выразительна и современна его «деревенская» лирика. Могучая образность художнического зрения Йогешвары роднит древнеиндийского поэта с Есениным:

Огромная туча-кошка
Огненным языком
Лакает лунные сливки
Из чаши ночных небес.

То же «есенинское» богатство изобразительных средств находим у поэта Мурари (X в.):

В ночи небесную стреху
Термиты тьмы проели,
И видно звездную труху,
Что сыплется сквозь щели.

В санскритских эпосах запечатлена эпоха. В санскритской лирике — мгновения. В этой связи вспоминаются слова Гёте: «...каждое явление и даже каждый миг имеют бесконечную ценность, как выразители целой вечности»[1]. Примечательно, что и современник его Вильям Блейк призывает «в одном мгновенье видеть вечность» (перевод С. Маршака).

«Запечатленные мгновения» из жизни индийской деревни предстают перед мысленным взором поэта-переводчика во всей своей живописной достоверности.

...Сколько драгоценностей время урожая
Подарило девочке, стерегущей рис!

Тысячу лет назад поэт Мадхушила встретил на рисовом поле девочку, украсившую себя мерцающими, как жемчуг, стеблями лотоса и «серьгами» из лилий, а вместо рубинов проложившую пробор в черных кудрях «рдяными цветами бандхудживы». И никакой тут не было экзотики, точно так же, как в стихотворении Абхинанды (IX в.). Читаешь — и представляется тебе раздавленный повозками тростник, сладким соком обрызгавший колею. Столб шафранной пыли вздымается, как стяг. Яркие попугаи слетелись на спелые колосья ячменя. Пескари вдоль канавы плывут к водоему. Пастух разлегся на отмели, где речной ил охлаждает его истомленное зноем тело...

— Помилуйте! — скажет скептический, образованный читатель,— тут что-то не так. Санскрит — архаика, язык духовной элиты, касты брахманов. Только и проблем у них было, что попугаев гонять с ячменя? Нет, нет! Зачем нам панегирики царям и молитвословья индийской боговщине — да еще полуторатысячелетней давности?

Если так, предоставим слово великому поэту VII века Бхартрихари:

Пылинка мирозданья —
Кусок ничтожной глины,
водою окруженный,—
Причина сотен распрей
и войн между царями!
Какого блага ждать
от этих нищих духом?
Плюю на них! Плюю
и на того, кто грош
Возьмет из царских рук!

Этот страстный протест против «нищих духом» царей, ввергающих народы в кровопролитные войны из-за «пылинки мирозданья», исполненный презренья к царским лизоблюдам, отнюдь не укладывается в рубрику панегирической поэзии. Не назовешь панегириком и стихотворение Бхартрихари, начинающееся с утверждения: «Цари в своих поступках, вроде шлюх,/ впадают без конца в противоречье», или другое, суть которого заключается в том, что «Глуп государь стороны,/где пробавляются нищенством/прославленные мудрецы!».

Что до «молитвословия» богам, оно находит в санскритской лирике аспект скорее поэтический, нежели религиозный. В ряде шедевров — Йогешвары, Тунги (X в.), а также неизвестного поэта — изображается домашний обиход бога Шивы (Шамбху), его божественная супруга Парвати, маленький сын Гуха и двое челядинцев: Бхрингин (Скелет) и Кушманда (Тыква).

«О дивнобровая, такой изгиб
Придав руке,
останься в этой позе!
Не напрягайся!
Выверни ступни.
Понятно? А теперь следи за мной»,—
Так Шамбху голосом литавровым,
Как гром — приятным, учит Парвати...

(*Йогешвара*)

В этом семейном уроке не позабыт и плеск ладоней Шивы, сопутствующий танцу его старательной ученицы. Не менее достоверна другая картинка мифологического обихода: поверив шутке Парвати, будто Шива прячет в сложенных ладонях плод, маленький Гуха пытается достать его:

Вняв матери, отцовские ладони,
Что для молитвы сложены вечерней,
Разводит Гуха широко,
Нарушив созерцанье Шамбху.
А тот, смирив свой гнев, смеется...

(*Йогешвара*)

Стихотворение неизвестного автора, так же как и это, проникнуто трогательным чадолюбием, свойственным индийскому народу. Гуха, разъяв змеиный зев, прилежно считает пальчиком зубы, облитые смертельным ядом. «Один, три, девять... Восемь, шесть и семь...» — сбивается божественное дитя со счета.

В стихотворении Тунги Шива и Парвати проявляют пристрастие к игре в кости. Оказывается, богам свойственна и эта реалистическая черта быта древних индийцев! Преданный Бхрингин плачет, узнав от Гухи о проигрыше своего хозяина Шивы, тем более что ставкой была вся его молитвенная снасть и украшения:

«Бог проиграл богине!» — «Что?» —
«Быка,
Свой барабан, свой пепел погребальный,
И змей своих, и свой двурогий месяц!»[1]

[1] И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте, М.—Л., «Academia», 1934. (*Здесь и далее — прим. автора.*)

[1] Священные атрибуты Шивы.

С несчастливым игроком знакомит нас В. А. Жуковский в проникновенной интерпретации сказания о Нале и Дамаянти. Образ этот неоднократно возникает и в санскритской «Рамаяне», как, например: «Златые светильники на драгоценном помосте/ Склонились в раздумье, под стать проигравшимся в кости». Деревья, лишенные листвы, уподобляются «проигравшим одежду,/ нагим игрокам, заодно потерявшим надежду...» Реализм вторгается, как мы убедились, даже в столь фантастическую область, как быт грозного Шивы и его домочадцев. Впрочем, когда речь заходит о жрецах или монахах, склонность к изысканному поэтическому баснословию уступает место насмешливой антиклерикальности. (Как говорит Йогешвара, «Отодвинь свое небо, Брахма!») Мы спускаемся на землю:

В храмовом дворе живущий бык
Тяжести возить не приобык.
В плуг его не запряжешь подавно.
— Что же он умеет?
— Жрет исправно!

Понятно, что под ленивым и прожорливым «священным» животным неизвестный автор разумеет служителя религиозного культа.

Из остроумного диалога с «монахом-прощелыгой», как величает поэт своего собеседника, выясняется, что тот повинен во всех смертных грехах: пьянстве, распутстве, воровстве и опять-таки привержен к азартной игре в кости. «Ты вор и заядлый, должно быть, игрок по приметам?» — спрашивает автор. «Нельзя мне иначе: я нищенства связан обетом!» — «оправдывается» монах-лицемер.

Санскритская лирика не только реалистична. Эта насквозь парадоксальная поэзия, сложившись на языке избранных социальных слоев, глубоко народна по своей сути. Нельзя не удивиться тому, что язык духовной элиты стал могучим средством выражения мыслей и чувств простого человека. Этот «язык образованных», как называл его великий ученый древности Панини, своим богатством, стройностью и гибкостью способствовал тому, что санскритская антологическая поэзия стала «энциклопедией народной жизни». Человечность и сочувствие к обездоленным, несущим бремя скорби, нищеты и социальной несправедливости, были доминантой творчества авторов, чьи имена нередко терялись в веках. Но строки их сквозь время и пространство доходят к современному читателю, заставляя его сопереживать чужой боли. И это лишь одна из неоценимых возможностей, которые открывает для человечества чудо воссоздания поэтического Слова — словами другого языка.

Горькой иронией проникнуто афористическое двустишие безвестного автора:

Бренное тело твое развалилось бы сразу, бедняк,
Если б веревки мечтаний не стягивали твой костяк!

Трагедия крестьянской семьи, речь о которой пойдет ниже, настолько злободневна, что трудно представить ее себе как событие полуторатысячелетней давности:

Отец и сын схватили за рога,
А мать — за хвост, родители отцовы
Уперлись в ребра, а сноха —
в подгрудок.
Ребята с плачем за ноги взялись.
Одно у них богатство — дряхлый вол,
Что издыхает, лежа на земле.
И всем семейством, проливая слезы,
Они его стараются поднять.

Достоверностью отличается и другая миниатюра безвестного поэта. Ее автобиографичность почти не оставляет сомнений:

Детишки — мертвецы живые,
Укоры едкие родни,
Кувшин, залепленный смолой,
Терзают меньше, чем улыбка
И взгляд язвительный соседки,
Когда жена к ней каждый день
Заходит попросить иглу,
Чтоб залатать свои отрепья.

Примечательно свидетельство Джеральдины Чаплин, дочери великого артиста, режиссера и гуманиста Чарльза Спенсера Чаплина: «Он говорил, что ужасна не столько нищета сама по себе, сколько унижение от нищеты»[1].

Отмечено жизненной правдой стихотворение об отце семейства, ушедшем на заработки и возвратившемся ни с чем:

«Поди сюда, мой маленький, не плачь,
На разодетых мальчуганов глядя.
Когда отец вернется, он тебе
Подарит ожерелье и обновы».
Услышав это, горемычный странник,
Стоящий за стеной, уходит прочь,
И слезы льются по его лицу.

Тема неудачника представлена в санскритской лирике в различных аспектах. Так, стихотворение Дандина (VII в.) содержит горькое признание:

Богатым не стал я,
Ученым не стал я,
Заслуги святой не обрел я,
И время мое истекло.

Не в пример отчаявшимся неудачникам, как бы иронизируя над собой, утешается оригинальной мыслью безвестный автор:

Книга, жена или ссуда
Уйдет безвозвратно: тем лучше!
Худо, когда возвратится —
Рваной, запятнанной
Либо уменьшенной вдвое.

Однако поэты древней Индии не были бы индийцами, если бы не внесли весомый и самобытный философский вклад в санскритскую лирику. Этот раздел поэзии на санскрите не может не взволновать современного читателя силой чувства, глубиной мысли, афористичностью ее выражения. Именно так заявляет Дхармакирти (IX в.) о своем выборе творческого — а возможно, и жизненного — пути:

Едущих нет впереди,
нет позади идущих.
На этой тропе
не встретишь и свежих следов.
Отчего одинок я?
Оттого, что проложенный древними путь
Заглох и вконец обезлюдел,
А торной дорогой, доступной любому,
Идти не хочу!

Здесь все прекрасно: и отвержение легкой торной дороги, и преодоление трудного пути, усугубленное одиночеством, и преемственность поколений (у «древних» тоже были свои «древние»!).

Нет, не устарела на сегодняшний день и мудрость Бхартрихари! Достаточно вспом-

[1] «Воспоминание об отце». «Литературная газета» № 34, 19/VIII 1981.

нить две строки этого замечательного поэта-мыслителя:

Не мы беспечно проводили время,
Но время нас, беспечных, провело!

Хочется процитировать еще один из его шедевров, задевающий наше сознание:

Тигрицу, что зовется старостью,
Не в силах мы преоборотъ.
И, недругам подобно, с яростью
Болезни ранят нашу плоть.
И жизнь уходит нечувствительно,
Как из горшка худого — влага.
А люди — вот что удивительно! —
Охотней зло творят, чем благо.

И разве «хмель заблуждения пьющий, безумный этот мир», в котором, по словам Бхартрихари, «бег времени для нас почти неощутим», не близок по многим свойствам и признакам сегодняшнему дню нашей планеты?

«Обращаться с словом,— говорил Гоголь,— нужно честно» [1]. Стараясь раскрыть непреходящую ценность произведения и его подлинную связь с современностью, не должно впадать в преувеличение и вульгаризаторство. Обсуждая вопрос бережного истолкования стихов, И. П. Эккерман в беседе с Гёте сказал, что не следует «наносить ущерб нежной хрупкости их внутренней жизни». Думается, что именно таков должен быть и основополагающий принцип перевода.

Слово в поэтическом переводе существует не само по себе, как цвет на палитре, а в контексте, во взаимовлиянии. Оно бросает некий отсвет, окрашивая соседствующие с ним слова, и, в свою очередь, как бы приобретает оттенок, обусловленный их соседством. Так создается поэтический колорит текста, его эмоциональная окраска. Взять хотя бы прекрасные строки неизвестного поэта, описывающего ночные метаморфозы лунного диска:

Сперва он отливал густым багрянцем,
Под стать китайской розе, а потом
Медово-красным сделался, как щеки
Гречанки юной, выпившей вина,
Но просветлел, как зеркало златое,
И, словно белый та́гары цветок,
Теперь блестит на небе диск луны.

Созерцание роскошных картин индийской природы не могло оставить равнодушными поэтов древности, писавших на санскрите. В книгу «Жемчужное ожерелье» входит поэма «Времена года» великого Калидасы (V в.) и цикл стихов Бхартрихари «Описание времен года». Волшебные превращения окружающей природы в поэме Калидасы никогда не становятся самоцелью и не заслоняют человека с его мировосприятием. Эту сопричастность, взаимосвязь природы и людской души еще острее, чем Калидаса, являет Бхартрихари с его воинствующей человечностью. Трудно было бы подыскать более выразительный эпиграф для «Времен года» обоих поэтов, нежели тютчевские строки:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

[1] Н. В. Гоголь. Собр. соч., М. «Художественная литература», 1959, т. 6, с. 127.

Еще удивительнее прямая «перекличка» сквозь тысячелетие таких поэтов, как Тютчев и Раджасекхара.

Смотри, как днем туманисто-бело́
Чуть брезжит в небе месяц
светозарный,—
Наступит ночь — и в чистое стекло
Вольет елей душистый и янтарный! —

читаем у Тютчева, а в X веке Раджасекхара на пальмовом листе оставляет санскритские строки: «Помедлив, бледная, как соты, /из коих вынут мед,/ луна исчезла за Горой Заката...» Его описания захода луны поражают смелостью и уникальностью образов. В том же стихотворении говорится: «И красноватый отблеск приобрел/Восток, подобно глазу/прозревшего котенка». В других стихах Раджасекхары читаем:

...Луна перед зарею ранней
Блестит, подобно стылой ртути,
А небо на востоке принимает
Оттенок выдержанного вина.

Значительную часть книги «Жемчужное ожерелье» занимает любовная лирика. Она не требует комментариев, ибо пронзает своей доходчивой общечеловечностью, как лирика древнего Египта, которой «от двух до пяти» тысяч лет, как включенная в библейский канон, но, по существу, являющаяся народным творчеством трехтысячелетняя «Песнь песней», как бессмертная народно-эпическая поэма «Рамаяна»...

Но не будем ставить себе задачей охватить здесь все особенности многожанровой санскритской поэзии, тем более что жанровое деление в данном случае достаточно условно. Порой одно и то же стихотворение можно рассматривать как любовную — и как пейзажную лирику. Любовные стихи зачастую бывают одновременно философскими. Стихотворение о природе неожиданно оборачивается остро социальной изнанкой.

Ретроспективно осмысливая свою работу,— а это далеко не праздное занятие! — который раз приходишь к выводу, что важнее всего — умение вдуматься, вчувствоваться, вжиться в подлинник. Не дать уйти в песок богатству, которым щедро поделился с тобой автор. Не растерять его музыки, его поэзии, его мыслей и чувств. Переводчику «невместно», как говорили в старину, подменять подлинник своей версией и предлагать ее читателю. Поскольку залогом верности перевода является верность истолкования, не следует «облегчать» его, уподобляясь «глупцу, видящему не то дерево, что видит мудрый» в «Пословицах ада» Вильяма Блейка.

Два искушения подстерегали меня при переводе древнеиндийской антологической поэзии: излишней архаизацией убить живое слово подлинника либо увлечься его современным звучанием в ущерб изначальной красоте первозданной древности. По мере сил я старалась избежать обоих «соблазнов».

Если это удалось и «поэтическая машина времени» сработала, значит, и цель моя, как переводчика книги, достигнута.

«ЛЮБЛЮ ЛЮСИ», ИЛИ КОЛОНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ

Четыре с половиной миллиарда жителей Земли имеют сегодня чуть больше миллиарда радиоприемников и с полмиллиарда телевизоров. Полторы сотни крупных телеграфных агентств, двадцать пять тысяч радиостанций и телецентров снабжают информацией население планеты. Газеты выходят миллионными тиражами.

Все человечество может увидеть собственными глазами, как свершаются события глобального, а то и космического значения — для этого нужно привести в действие три международные ТВ-системы: «Интервидение», «Евровидение» и «Интелсат».

Мяч ударился в штангу — два миллиарда человек на всех континентах могут одновременно ахнуть.

При желании всем им сразу можно показать телевизионную серию «Люблю Люси» — технических препятствий к этому нет.

Около сотни государств располагают сегодня собственными каналами информации, но и сегодня еще не устарели строки Леонида Мартынова, написанные два десятка лет назад об Африке, которая вынуждена

...следить за полем боя
По своим же свежим ранам
И за собственной судьбою
По газетам иностранным.

Газет каждой сотне африканцев достается примерно четыре с половиной экземпляра, а телевизоров — один на три сотни.

Ну и что же, хорошо это или плохо?

Оставим в стороне газеты — они давно уже стали привычной приметой жизни человечества, а вот новенькие аудиовизуальные средства массовой информации — благо они для Азии и Африки или беда? Страны с прочными традициями чтения и те несколько ошарашены всепроникаемостью ТВ и говорят о вступлении в «постграмотную эру», а тут речь идет о миллионах, которые усаживаются перед телеэкраном, не успев раскрыть букварь. Зрителем становятся быстрее, чем Читателем,— это легче.

Но раз так, то Зрителя можно быстрее и легче приобщить к современности, не дожидаясь, пока он научится грамоте, для чего ему нужно дать учителей, подготовить и напечатать учебники. Странам многоплеменным и многоязыким — а таких в Азии и Африке большинство — нужно еще решить, на каком языке учить людей читать и писать, а это проблема совсем не простая.

На решение «классического» набора проблем колониального наследия необходимо время, которого нет у бывших колоний. Как говорили древние: мир человека не ждет. У него нет времени.

Аудиовизуальные средства массовой информации, в силу самой своей природы, способны стать машиной времени для освободившихся от колониализма народов Азии и Африки, распространяя в короткие сроки знания, содействуя культурной интеграции многонациональных государств, пробивая путь в общее русло мировой культуры самобытным культурным формам.

Уже сегодня можно говорить об опыте ряда развивающихся стран, где средства массовой информации помогают одолеть отсталость, выравнивают диспропорцию развития, оставленную миру колониализмом. Крупнейший сенегальский писатель Сембен Усман, которого можно считать отцом африканского кинематографа, назвал кино «вечерней школой Африки».

Вопрос в другом — чему и по каким школьным программам будут учить в этой школе?

Африканский журналист Атта Коффи в статье «Телевидение и культурная колонизация Черной Африки» так формулирует суть проблемы:

«В Африке телевидение в добрых руках есть незаменимый фактор прогресса, но в злых оно обращается троянским конем, помогая новым культурным колонизаторам занять место прежних колонизаторов».

Чтобы использовать почти фантастический потенциал кинематографа и особенно телевидения, технически отстающим странам Азии и Африки нужно оборудование. А международный рынок сам по себе претерпевает перемены очень интересные, если рассматривать их как показатель удельного веса и роли информации в нашем сегодняшнем мире.

На Западе в последние годы вошел в употребление весьма выразительный термин — «индустриально-информационный комплекс». Продукция этой индустрии — информация, которую надо продавать. При всей своей специфичности, информация как товар подчинена законам товарного обращения: товар требуется сбывать, для него нужны рынки, ему положено приносить прибыли и сверхприбыли. Понятно, что сколько бы ни зарабатывали экспортеры оборудования на продаже развивающимся странам устарелой техники — это пустяки по сравнению с возможностями, которые открывает торговля самим видеотоваром.

Пакистанский журналист Ахмад Салим пишет в прогрессивном еженедельнике «Вьюпойнт»:

«Хотя по объему телевидение в Пакистане и других развивающихся странах отстает от индустриальных государств, оно делает заметные успехи. Теперь уже никого не удивляют антенны на крышах хижин. В странах «третьего мира», где больше половины населения до сих пор неграмотно, телевидение, такое понятное и массовое по форме, оказывает огромное влияние на сознание телезрителей. Это положение дел исключительно благоприятно для западных телекомпаний, и эксперты не зря называют обмен телепрограммами «улицей с односторонним движением».

Заметней всего на этой улице американский видеотовар, который катит по ней к зрителю Азии и Африки. Почему именно американский — понять нетрудно. Американское телевидение росло и развивалось такими темпами и так быстро пошло по уже протоптанной шоу-бизнесом тропе к превращению в индустрию, что ему скоро показалось тесно на внутреннем рынке. Когда же оно попало под частичный государственный контроль и число телекорпораций было сокращено до пяти, индустрия, чтобы наверстать упущенное, бросилась на внешние рынки. И телевидение было не просто включено в общие программы политической и экономической экспансии США — ему было отведено в них важное место.

Собственно, началось уже с торговли телеаппаратурой: стране, которая по какой-то причине становилась объектом интереса США, техника продавалась по льготным ценам. К примеру, Саудовской Аравии и Ирану Америка в свое время чуть ли не подарила оборудование, и по сей день считающееся лучшим на всем Ближнем Востоке.

Но это было началом.

«Информационный империализм» (выражение принадлежит Урхо Кекконену) всерьез дал себя почувствовать, когда пошел масштабный экспорт американских телепрограмм. В отдельные годы экспорт американских боевиков, детективов и мюзиклов составлял до 200 000 часов телевизионного времени, а это приблизительно третья часть вещания в Западной Европе и больше половины — в Азии и Африке.

По грубым подсчетам, американские ТВ-корпорации зарабатывали на этом до 250 миллионов долларов в год. Принцип льгот и преференций соблюдался неукоснительно. Скажем, часовая программа реальной стоимостью в 400—500 тысяч долларов продается Египту всего за 250 долларов, а иным странам еще дешевле.

Социологический опрос, проведенный, например, в Канаде, показал: в результате телевизионного облучения из США канадцы знают американскую историю и культуру лучше, чем собственную. Многие дети убеждены, что они живут в США.

Это Канада. А как воздействуют американские телепрограммы на неискушенных зрителей Азии или Африки?

Ахмад Салим отвечает:

«Американские программы в Пакистане навязывают зрителю модель образа жизни и систему ценностей, чуждые исторически сформировавшимся традициям нашего духовного мира. Среднему зрителю редко удается распознать идеологическую цель, скрытую за технической безупречностью съемки и увлекательностью сюжета американского фильма».

Здесь следовало бы чуть подробней остановиться на некоторых характеристиках вот этого «среднего зрителя». В Пакистане, как и во многих других азиатских и африканских странах, до появления телевизионных антенн на деревенских крышах абсолютное большинство населения существовало в замкнутом культурном пространстве, силой традиции отгороженном от прямых влияний извне. Влияние внешнего мира, как правило, вначале сказывалось на немногочисленной образованной элите, и через нее, как через фильтр, медленно просачивалось вглубь, успевая еще и трансформироваться применительно к местным условиям. Картинки, замелькавшие на экране в деревне, постоянно испытывающей зрелищный голод, ворвались в ее замкнутый мир, минуя все фильтры, опрокидывая все преграды. С огромной силой сработал знаменитый вовлекающий эффект телевидения.

Миллионы людей оказались вовлеченными в международный кэтч. Нарядная иллюзия заменила собой тягостную реальность. «Бионическая женщина», «Ангелы Чарли», «Большая долина» и прочие шедевры масс-культуры творили в глазах те-

лезрителей социальный имидж общества неограниченного потребления, безоблачного процветания, успеха, доступного каждому,— да разве не зависит он исключительно от личной предприимчивости и трудолюбия?!

Ахмад Салим встревожен тем, что сердечные переживания Люси и прочие развлекательные программы выглядят столь невинными,— жадно следя за фабулой фильма, зритель проглатывает и пропаганду американского образа жизни. Фильмы другого типа рекламируют справедливость, обязательно торжествующую в «свободном мире». В боевиках и детективах благородные полицейские и красавцы ковбои действуют теми же методами, что и злодеи, внушая зрителю мысль о дозволенности «культа золотого тельца, безнравственности, половой распущенности».

Все это так. Но дело даже не только в этом.

Общеизвестно, как выросла роль информации в формировании и стереотипов поведения, и общественных отношений. Феллини едва ли преувеличил ее, когда заметил:

> «...тот, кто делает фильмы для широкого потребителя, определяет направление образа мыслей и нравов, психологическое состояние целых народов...»

К этому нужно только добавить, что, проникая в самую толщу народных масс Азии и Африки, импортированная масскультура, к тому же, в силу специфики аудиовизуальных средств, потребляемая пассивно, отторгает народы от национальной культуры, рубит прямо по ее корням — а этого на протяжении веков не могли добиться никакие колониальные культуртрегеры, никакие христианские миссионеры.

И как раз тогда, когда передовая, патриотически настроенная творческая интеллигенция Азии и Африки ищет способа преодолеть дистанцию между собою и народом, вернуться к корням национальной культуры, как раз в это время народ подвергается активному облучению китчем.

Нигерийский литератор Энтони Джон-Канем отмечает:

> «...средства массовой информации воздействуют на образ нашей жизни, показывая нам, как живут другие, и заставляя нас сравнивать себя с ними...»

Легче всего поддается соблазну незрелая молодежь, поэтому на нее нацелено особое внимание стратегов средств массовой информации.

Тони Манеро молод, полон сил и всем доволен. Работает в нью-йоркском магазине скобяных товаров, а в субботу вечером надевает красивую нейлоновую рубашку под белоснежный костюм из акрилона и веселится в дискотеке — узнаем мы в начале американского фильма «Горячка субботнего вечера».

«Горячка» охватила толпы молодежи в десятках стран одновременно в результате тщательно скоординированных действий транснациональной прокатной компании «Синема интернэшнл», фирмы грамзаписи «Полидор»... а также концернов по производству синтетического волокна.

«С тех самых пор,— пишет Ф. Матта в индийском еженедельнике «Линк»,— как синтетическое волокно заменило шерсть и хлопок (сырье, преимущественно поставляемое странами «третьего мира»), и с тех самых пор, как целое поколение проносило джинсы, химическая промышленность искала способа напомнить об удобстве одежды из полиэстера и нейлона. Так смотрите же — Тони Манеро обожает рубашки из искусственного волокна!»

Нужно ли сомневаться, что буквально наутро после «Горячки субботнего вечера» пошла бойкая торговля и рубашками, «как на Тони», и пластинками, и видеокассетами этого фильма.

Расхватывая нейлоновое барахло и дискокассеты, молодежь раскупает и соответствующие ролевые установки, а следовательно, и образ мышления, который Матта называет «сердечнейше-рациональными взаимоотношениями между молодежью и потребительским рынком».

Обаятельная улыбка Тони Манеро выполняет социальный заказ транснационального бизнеса на формирование аполитичного поколения доверчивых потребителей. Бизнесу рентабелен стандарт, включая и стандартизованного потребителя. значит, культурный плюрализм архаичен, и да здравствует транснациональная молодежная субкультура — единая для всех, технологичная и конформистская!

> «Фильм скрыто приводит в действие идеологический механизм, подрывающий национальные нормы жизни... Молодежь мира выделяется в особую социальную группу, и основой для этого избирается конформизм — надо карабкаться по иерархической лестнице общества, которое само всех защищает, всем открывает возможности, в том числе и представителям народов «третьего мира», которым удается выжить в итальянских, негритянских, пуэрто-риканских гетто Америки...»

Так суммирует Ф. Матта суть «Горячки».

Легче всего манипулировать сознанием людей, отторгнутых от национальной культурной основы.

Молодежи стран Азии, Африки пытаются вбить в голову, что за переживаниями прелестной Люси, за танцами Тони Манеро, за суперменством героев «Большой долины», за диско-музыкой и панк-одеждой стоит тот идеал, к достижению которого ведет развивающиеся страны весь ход истории, и долг молодежи — приблизить идеал к действительности.

Стратеги информационного империализма стараются действовать глобально — никто ведь не намерен расходовать средства на подготовку специальных фильмов или телепрограмм для стран, которые намечено превратить в конечных потребителей конвейерного китча,— что поглощает американский обыватель, то съедят и там. Важно только обеспечить бесперебойную работу конвейера на долгие времена. Методы, блистательно описанные некогда в «Королях и капусте», остались принципиально теми же, цели — тоже. «Юнайтед фрут»

не может допустить, чтобы на целый цент вздорожали бананы! А вот арсенал средств значительно расширился за счет изощренных способов «ловли душ», явных и потаенных.

Явно блокируется развитие национальных средств массовой информации — африканские и азиатские программы вытесняются с собственных телеэкранов.

«Американские телекорпорации,— объясняет Ахмад Салим,— поставляют свои программы по бросовым ценам, и в результате многие молодые национальные компании вынуждены отказываться от производства собственных фильмов».

Больше того, под эту практику подводится и теоретическая база. На редкость откровенно высказался на этот счет, например, Элик Кац, один из западных теоретиков массовой информации.

«Вероятно,— изрек он,— развивающимся странам следует занять космополитические позиции. Несомненно, дешевле покупать телефильмы у дяди Сэма, чем делать их самостоятельно... Ведь не исключено, что эти государства исчезнут с лица земли прежде, чем их культура подвергнется нивелировке телевидением и другими средствами массовой информации».

Но действительность уже сейчас показывает, что, вопреки всем трудностям, происходит совершенно очевидный процесс становления и развития средств массовой информации в государствах, освободившихся от колониальной зависимости.

С 1976 года существует и действует информационный пул неприсоединившихся государств, в котором сейчас участвует около пятидесяти стран.

Все чаще нарушается одностороннее движение на улице межгосударственного и даже чисто коммерческого обмена телепрограммами. Надо полагать, что в дальнейшем таких нарушений будет все больше, по той простой причине, что всеобъемлющие перемены в жизни освободившихся стран получают все более полнокровное эстетическое выражение, что художественный опыт культур Азии, Африки уже наглядно и доказательно опроверг все расистские концепции некоей его второсортности.

«Короли и капуста» были написаны давно. Пришли другие времена.

Незачем принижать опасность «информационного империализма», но нужно помнить и о том, что нет возможности подменить единство рода человеческого его единообразием.

Могущество средств массовой информации может и должно служить цели, предвещанной «Коммунистическим манифестом»: делать общим достоянием плоды духовной деятельности отдельных наций.

М. САЛГАНИК

В ЗАЩИТУ ЛИТЕРАТУРЫ И ТРУДА ПИСАТЕЛЯ В США

В культурной жизни Соединенных Штатов произошло знаменательное событие: осенью 1981 года в Нью-Йорке состоялся съезд американских писателей.

Столь представительный форум писателей не собирался в США более сорока лет — со времени III съезда американских писателей 1939 года. На съезде присутствовали представители Гильдии писателей Великобритании, союзов писателей Канады, Дании, Норвегии, Швеции и ФРГ.

Съезд 1981 года проходил в атмосфере глубокого кризиса, проявляющегося в культуре США в самых разнообразных формах. С приходом в Белый дом администрации Рейгана положение резко изменилось к худшему. Как отмечает журнал «Нейшн», издательское дело полностью подчинилось диктату бизнеса, конгломераты издательских монополий получили всеобъемлющую власть, на книжном рынке царит произвол, писатели — представители национальных меньшинств подвергаются оскорбительной дискриминации, снизились художественные критерии литературы.

«В наши дни гораздо труднее получить аванс за серьезную книгу, чем за биографию кинозвезды»,— заявил один из организаторов съезда, писатель Лори Стоун.

«Серьезные писатели перестали пользоваться политическим и литературным признанием, им угрожает забвение или замалчивание... Писатели начинают осознавать себя угнетенным меньшинством, объектом политического и экономического наступления»,— заявили на страницах еженедельника «Виллидж войс» А. Кокберн и Дж. Риджуэй.

Положение продолжает усугубляться — сокращаются правительственные ассигнования на развитие гуманитарных наук, искусства и литературы, вводятся новые ограничения на свободу слова, усиливается цензура: с библиотечных полок изымаются книги известных американских писателей — от «Гекльберри Финна» Марка Твена до романов Курта Воннегута.

По данным опроса, проведенного среди

пяти тысяч писателей в 1981 году Колумбийским университетом, большинство из них не могут существовать на литературный заработок и живут «на грани бедности». Все это вселяет глубокое недовольство и тревогу в сердца тех, кому дороги судьбы американской культуры, способствует пробуждению общественного сознания в писательской среде, диктует необходимость сплочения сил.

Серьезные проблемы, с особой остротой вставшие перед писателями США в последние годы, заставили их осознать, что назрела настоятельная потребность в проведении национального съезда писателей США.

«Положение писателя непосредственно связано с общим положением национальной культуры, что, в свою очередь, отражает положение в самом государстве»,— утверждает журнал «Нейшн».

Роль официального организатора съезда взял на себя Национальный институт и его печатный орган — журнал «Нейшн». Субсидии для проведения этого форума поступили от влиятельных издательских корпораций, таких как «Нью-Йорк таймс», «Эн-Би-Си», других печатных органов и отдельных лиц.

Проведению съезда предшествовала серьезная подготовительная работа, в ходе которой на страницах американской печати проходила горячая дискуссия на тему «Могут ли американские писатели объединиться», обсуждался вопрос: не противоречит ли идея объединения природе писательского мышления и индивидуальному характеру его труда?

Все эти сомнения были опровергнуты самой жизнью. Как подчеркнул В. Наваски, главный редактор журнала «Нейшн», писательский отклик на возможность участия в работе съезда был «поразительным». По сообщениям многочисленных наблюдателей, опубликованным на страницах американской периодической печати, 9 октября 1981 года возле нью-йоркского отеля «Рузвельт» скопилась огромная толпа — более пяти тысяч человек. Устроители ожидали присутствия на съезде не более полутора-двух тысяч писателей. Большой бальный зал гостиницы не смог вместить всех желающих. В работе съезда приняло участие более трех тысяч писателей, людей самых разных политических убеждений, цвета кожи, интересов и достатка. Основная тональность съезда была отмечена сильным «антирейгановским звучанием». Многие писатели, выступившие на съезде, среди участников которого были такие видные представители американской литературы, как Р. П. Уоррен, Н. Мейлер, Б. Маламуд, Дж. Гелбрейт, У. Стайрон, К. Воннегут, В. Бурджейли, Т. Моррисон, М. Лесюр, Д. Левертов, С. Теркел и другие, называли Америку «врагом мира и свободы», страной, содействующей торжеству «зла и заговоров», государством, где «рушатся гражданские свободы».

Участники съезда подвергли резкой критике действия «литературно-индустриального комплекса», заклеймили политику администрации Рейгана. Свидетельством тому явились не только основные выступления на открытии съезда — старейшей американской писательницы, «ровесницы века» Мериделъ Лесюр и известной писательницы Тони Моррисон,— но и резолюция, единодушно принятая участниками съезда в ответ на открытое письмо латиноамериканской интеллигенции, адресованное деятелям культуры США и оглашенное на открытии съезда пуэрто-риканским поэтом и переводчиком Роберто Маркесом. Среди подписавших открытое письмо — такие выдающиеся писатели Латинской Америки, как Габриэль Гарсиа Маркес (Колумбия), Хулио Кортасар (Аргентина), Хуан Бош (Доминиканская Республика), Мигель Отеро Сильва (Венесуэла), Марио Бенедетти (Уругвай) и другие.

«...Нас побуждает к этому письму,— заявили они,— опасность вооруженной интервенции, угрожающей нашим народам, их культурным ценностям, их территориальной целостности и самой их жизни.

Мы считаем необходимым направить это обращение и надеемся, что к нему отнесутся с должным уважением и вниманием ученые, писатели, художники, интеллигенция Соединенных Штатов, народ Северной Америки и особенно американская молодежь, которая с примерным достоинством, мужеством и чувством справедливости боролась против войны во Вьетнаме, защищая свои принципы, без колебаний рисковала своей свободой...

Решение правительства Соединенных Штатов о производстве нейтронной бомбы повсюду вызывает оправданную тревогу. Мы понимаем и разделяем волнение и открытые протесты ряда выдающихся американских ученых. Стратегия «ограниченной» ядерной войны в наши дни немыслима и нереальна. Независимо от того, где впервые взорвется нейтронная бомба, не исключено, что первой ее жертвой явится народ Соединенных Штатов. Военная агрессия против наших народов, которые ведут героическую борьбу за независимость и консолидацию, чревата непредсказуемыми последствиями.

Но мы надеемся, что здравый смысл возьмет верх. Еще есть время — мир и жизнь могут одержать победу над разрушением и смертью. Если мы, представители интеллигенции, будем действовать целенаправленно и без промедления, мы можем предотвратить войну, в которой не будет ни победителей, ни побежденных. Невзирая на любые возможные разногласия, в данный момент необходимо объединение наших усилий во имя сохранения мира, культуры, прав человека и национального суверенитета. Мы, интеллектуалы, неизменно боремся за право думать, писать, творить и создавать жизненно необходимые условия для творчества, но в данный момент под угрозой находится не что иное, как само право на жизнь».

В ответ на это письмо съезд принял следующую резолюцию:

«Еще никогда в истории народы Латинской Америки не ощущали с такой остротой угрозу, которую представляет для них внешняя политика США. Их страх не лишен оснований... Правительство Соединенных Штатов возобновило поддержку репрессивных диктатур в Гватемале, Сальвадоре, Уругвае, Аргентине, Чили... и подрывает демократические права в остальных странах Латинской Америки. Считая Латинскую Америку не более чем шахматной доской... Соединенные Штаты пытаются представить свою поддержку ее диктатурам как составную часть «большой стратегии», призванной остановить «советскую экспансию».

Являясь гражданами Северной Америки, мы осуждаем и активно выступаем против намерений нашего правительства приносить жизни и свободу народов Латинской Америки на алтарь «национальной безопасности». Как американские писатели, мы шокированы действиями правительства США, которое от нашего имени санкционирует подавление культуры и истребление людей; мы заявляем о том, что не имеем с подобными действиями ничего общего.

Немыслимо говорить о свободе и бороться за права американских писателей, закрывая глаза на поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают правительствам, обрекающим на смерть, пытки и тюремное заключение бесчисленное множество писателей, единственным преступлением которых является забота об общественном благе и преданность справедливости.

Съезд писателей Северной Америки торжественно обещает активно препятствовать поддержке, которую Соединенные Штаты оказывают правительствам Латинской Америки, преследующим писателей. Более того, съезд американских писателей принимает решение установить тесные связи с писателями и писательскими организациями Латинской Америки в целях объединения писателей и народов Северной, Центральной и Южной Америки, а также стран Карибского бассейна в их протесте против культурного, политического и экономического угнетения, столь характерного для нашего полушария... Важность единства с писателями Латинской Америки не искусственно навязанная идея, она естественно вытекает из нашей бесспорной исторической и географической общности, которую мы должны утвердить...

Съезд писателей США единодушно поддерживает чувства, выраженные в открытом письме, и призывает Комитет за дальнейшие действия принять меры к установлению в ближайшее время эффективного сотрудничества с Постоянным Комитетом интеллектуалов, писателями и писательскими организациями Латинской Америки. Сознавая безотлагательность данной проблемы для народов Латинской Америки, мы готовы встретиться с нашими заинтересованными коллегами, писателями, в любое время, в любом месте».

Старейшая американская прогрессивная писательница Мериделъ Лесюр вспомнила в своем выступлении о Международном конгрессе писателей в защиту культуры, состоявшемся в 1935 году:

«Все мы от рождения социалисты,— сказала она,— и изменить нас трудно».

По словам писательницы, важно, чтобы во времена тяжелых испытаний художники слова не оставались в одиночестве.

Бурными аплодисментами было встречено эмоциональное выступление талантливой писательницы Тони Моррисон. По утверждению авторитетных органов американской печати, именно это выступление определило основную тональность съезда:

«В наши дни с писателями обращаются как с марионетками,— сказала она.— К нам относятся пренебрежительно: заигрывают, когда мы угождаем хозяевам, отшвыривают в сторону когда они недовольны нами... Подобное отношение к писателю чревато опасностями для будущего литературы... Американская литература пользовалась большим авторитетом. Сегодня мы были бы счастливы обеспечить будущее этого авторитета. В наши дни писатели все меньше и меньше занимаются литературой как таковой... Мы утратили непосредственную связь с культурными корнями своей страны...

Жизнеспособность искусства, о которой так любят твердить рекламные агентства,— лживое утверждение. За сногсшибательными заголовками рецензий и бестселлеров, за стендами книжных ярмарок скрывается нечто глубоко неблагополучное. Теперь редакторы отбирают рукописи, руководствуясь принципом прибыльности, а не художественными достоинствами книги или талантом писателя... Нам нужна организация... объединение сил. Сегодня мы — на баррикадах... И в будущем место писателя — на баррикадах».

Боевым духом, четкой классовой позицией было отмечено также предназначенное для съезда выступление американской писательницы Марты Тейт, в котором говорится:

«Нас окружает ложь. Жизнь при капитализме вынуждает людей принимать ложь... Одна из распространенных форм самообмана — это приятие навязываемых нам стереотипов мышления: так понятие «рабочий» противопоставляется «интеллигенту», «умственное» — «физическому», «труд и хлеб насущный» — «политике».

Некоторые писатели полагают, что хлеб насущный существует в некоем аполитичном вакууме. Но во всех магазинах... цены на хлеб неуклонно растут... Причина роста цен на хлеб общеизвестна. И определение ее — акт политический. Хлеб насущный, таким образом, попадает в сферу политики. Организация Союза писателей, призванного бороться за оплату нашего писательского труда... акт политический...

...Писатели должны обращаться к проблеме мира, поскольку увеличение ассигнований на военные нужды проводит-

ся за наш счет, равно как и за счет многих других людей...

...Если мы хотим заниматься писательским трудом, мы должны положить конец гонке вооружений...

Я возлагаю на Союз писателей большие надежды. Мое глубочайшее желание состоит в том, чтобы Союз... проявил храбрость и открыто заявил о... политических препятствиях с которыми мы сталкиваемся: о цензуре, слиянии издательских корпораций, проблеме финансирования,— чтобы писатели стали считать себя представителями рабочего класса...»

Работа более 50 подкомиссий и творческих мастерских также была посвящена обсуждению актуальных проблем, связанных с экономическим ущемлением писателей, положению писателя в современном обществе, ужесточению цензуры, деполитизации культуры, концентрации средств массового воздействия, тяжелому положению писателей национальных меньшинств и т. п.

На съезде, в целом отличавшемся «поразительно прогрессивным духом», разумеется, имели место попытки провокационных выступлений. Так, на открытии съезда члены «Комитета за свободный мир» — в его состав входят такие глашатаи политики правящих кругов, как Раймон Арон (Франция), Сол Беллоу (США), главный редактор журнала «Энкаунтер» Мелвин Дж. Ласки (Великобритания),— пытались распространить среди присутствующих листовки, в которых призывали участников съезда выступить в роли защитников издательских конгломератов, осудить «подавление» писателей в социалистических странах. Но, несмотря на все усилия этой группы, равно как и на поддержку ее действий в пространной корреспонденции, посвященной съезду, опубликованной в газете «Нью-Йорк таймс», воззвание это провалилось. На протяжении всей работы съезда никто о нем «и словом не обмолвился». Под бурные аплодисменты подавляющим количеством голосов была принята резолюция об учреждении Национального союза писателей США, который призван объединять писателей, защищать их профессиональные права, содействовать решению сложных проблем, встающих перед ними в суровой и напряженной обстановке сегодняшней Америки.

Съезд продемонстрировал коллективное чувство тревоги за будущее американской культуры, отразил реакцию писателей на стремление администрации Рейгана «увести культуру вправо», заявил о готовности американских писателей бороться за свои права, за сохранение подлинных ценностей американской литературы.

Съезд писателей США завершен. Предстоит большая серьезная организационная работа по учреждению органов и устава Союза писателей США.

Единство участников съезда дает основания надеяться, что писателям Америки удастся продемонстрировать свою преданность искусству, высоким идеалам и принципам гуманизма, о чем так точно и убедительно сказал Теодор Драйзер в своем обращении к участникам III съезда писателей США:

«В периоды социальных перемен и напряженности, как свидетельствует история, художники всех сфер искусства, и писатели прежде всего, неизменно выражают глубочайшие нужды своего общества — его беды и высшие устремления».

В. ЛУГОВАЯ

◆

Публицистика

Н. ФЕДОРЕНКО

...МЕЧИ НА ОРАЛА

1. Диалог в Банфе

«Перед нами лежит путь непрерывного прогресса, счастья, знания и мудрости. Изберем ли мы вместо этого смерть только потому, что не можем забыть наших ссор? Мы обращаемся как люди к людям: помните о том, что вы принадлежите к роду человеческому, и забудьте обо всем остальном. Если вы сможете сделать это, перед вами открыт путь в новый рай; если вы это не сделаете, перед вами — опасность всеобщей гибели».

Эти взволнованные слова прозвучали в 1955 году в воззвании выдающихся ученых XX века — Манифесте Рассела, Эйнштейна, Жолио-Кюри и других, призывавших деятелей науки всех стран земли собраться на конференцию для того, чтобы «оценить ту опасность, которая появилась в результате создания оружия массового уничтожения». Этот призыв начал осуществляться в августе того же года, когда в Лондоне собралась конференция, обсудившая тему «Ядерная война и ученый». Она стала прообразом последующих встреч ученых, которые получили название «Пагуошских конференций по науке и международным отношениям».

Напомню, что начало Пагуошскому движению было положено в канадской рыбацкой деревушке Пагуош, где по предложению видного американского общественного деятеля, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Сайруса Итона состоялась его первая конференция. Теперь это движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность, за предотвращение мировой термоядерной войны и научное сотрудничество расширилось и включает 1600 участников, представляющих более пятидесяти стран. Пагуошское движение стало своего рода зеркалом, в котором отражается как возросшая роль ученых в решении научных проблем современности, так и их собственное чувство ответственности за судьбы человечества.

И вот снова Канада — прекрасная, пахнущая смолой страна. Среди величавых, причудливых скалистых гор, чьи склоны покрыты вечнозеленой хвоей, живописно расположился небольшой город Банф. Горы здесь поистине завораживают человека. Жилые дома и постройки из камня и дерева так органично вписываются в ландшафт, что кажутся его неотъемлемой частью. Вокруг раскинулись владения национального парка провинции Альберта. Зеркальные озера, густые заросли сосны и ели, своеобычная североамериканская фауна и флора, бдительно охраняемая от цивилизованного хищничества и браконьерства...

«Вы находитесь в краю медведей,— сообщает памятка для туристов.— Медведь — животное, которое требует уважения. За его шутливыми забавами прячутся большая сила и ловкость. Почувствовав какую-либо

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ (род. в 1912 г.).
Синолог-литературовед, член-корреспондент Академии наук СССР, почетный академик Флорентийской академии искусств, почетный член Института китаеведения в Токио. Автор многих книг, исследований по древней и современной китайской литературе, работ, посвященных истории культуры Китая и Японии, общетеоретическим вопросам литературы и искусства. Среди них книги «Китайская литература» 1956), «Китайские записи» (1958), «Японские записи» (1974), «Проблемы исследования китайской литературы» (1974), «Афористика как жанр словесного искусства» (1975), «Древние памятники китайской литературы» (1978), «Кавабата Ясунари» (1978), «Диалог в Каракасе» (1979), «Литературные записи» (1980), «Китайское литературное наследие и современность» (1981), «Краски Созопюла» (1981) и другие.

угрозу, он будет защищать своих детенышей и свою территорию.

Зная об этом и проявляя осторожность, вы сумеете избежать конфронтации, которая может оказаться опасной».

Но ученые из многих стран мира съехались сюда не ради любования красотами природы. Банф был избран местом проведения XXXI конференции Пагуошского движения, проходившей с 28 августа по 2 сентября прошлого года. Ученые обсуждали самые насущные проблемы, которые встают перед человечеством и наукой в условиях резкого обострения международной обстановки. В результате агрессивного, авантюристического курса, взятого правящими кругами Соединенных Штатов, подхлестываемой ими с помощью НАТО гонки вооружений, прикрываемой обветшалым мифом о «советской военной угрозе», народы мира сталкиваются с проблемами, что ставят под вопрос само их существование.

Не прекращаются попытки наиболее оголтелых кругов империализма нагнетать в мире атмосферу ядерного психоза и страха перед будущим. Именно поэтому XXXI конференция проходила под характерным девизом: «Поиски мира в мире, переживающем кризис».

Около двухсот ученых из сорока стран избрали предметом рассмотрения широкий круг вопросов. В шести рабочих группах проходили дискуссии по темам: предотвращение ядерной войны, переговоры об ограничении вооружений и разоружении, упрочение международной безопасности, энергетические ресурсы и международный мир, безопасность и развивающийся мир, а также по многим другим важным проблемам. Активное участие в конференции приняли видные медики, входящие в организацию «Врачи за предотвращение ядерной войны». Высокое собрание приветствовал премьер-министр Канады Пьер Э. Трюдо.

Кроме пленарных заседаний конференции в городе Калгари был проведен открытый форум ее участников. Перед широкой аудиторией выступили академик Георгий Арбатов, бывший премьер-министр Швеции Улоф Пальме, председатель комиссии по иностранным делам сената США Чарлз Перси, бывший директор американского агентства по контролю над вооружением и разоружению Пол Уорнке.

Следует заметить, что сенатор Ч. Перси проявил настоящие чудеса политической эквилибристики, пытаясь представить курс нынешней администрации США на международной арене чуть ли не образцом миролюбия. Однако все его политические хитросплетения оказались тщетными, аргументированная, опирающаяся на серьезные доводы критика других ораторов, включая и П. Уорнке, убедительно показала их несостоятельность. Самым весомым итогом XXXI конференции Пагуошского движения стало осуждение авантюристической политики администрации президента Р. Рейгана. Она призвала к реализму в подходе к международным делам, к серьезным переговорам в целях обуздания гонки вооружений.

Участники Пагуошского движения еще раз подтвердили свою решимость не допустить, чтобы безответственные империалистические политики, злоупотребляя достижениями науки и технического прогресса, привели к глобальному уничтожению жизни на планете. Человечество никогда не забудет, каким чудовищным преступлением Вашингтона перед миром и жизнью явилась атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, ничем не оправданная даже с военной точки зрения. Атомные грибы над многострадальными японскими городами стали зловещим предупреждением о возможности непоправимой мировой трагедии. О ней все время напоминает людям колокол, звучащий в Хиросиме.

Но цивилизованные варвары не желают учиться в школе истории. И вот 6 августа минувшего года, в день тридцать шестой годовщины хиросимской трагедии, президент США, цинично поправ память ее невинных жертв, бросил мировому сообществу новый вызов — объявил о решении приступить к полномасштабному производству нейтронного оружия, особо изуверского и жестокого средства массового истребления людей. А министр обороны США К. Уайнбергер поспешил заявить, что Пентагон «будет использовать нейтронное оружие повсюду в мире». Совершенно ясно, что нейтронная бомба представляет собой оружие агрессии реакционных империалистических кругов.

Нейтронную бомбу ее творцы, каннибалы от науки, именуют «чистой», потому что она уничтожает людей, оставляя нетронутыми все созданные ими материальные ценности. Однако главная ее опасность заключается в том, что она может спровоцировать глобальный атомный конфликт. Не случайно американский ученый Д. Эллсберг предостерегает: «Нейтронная бомба — это спичка, которая зажжет мировой пожар». Нужно ли особо доказывать, как опасна для человечества эта безответственная игра со смертью; ведь еще страдают жертвы Хиросимы, претерпевшие муки ада, по сравнению с которыми блекнут кошмарные фантасмагории Данте. Мне думается, отношение всех честных людей к новому варварскому оружию хорошо выразил известный французский писатель Роже Бордье, который в интервью парижскому еженедельнику «Юманите диманш» сказал: «По сути нейтронная бомба воплощает собой антигуманизм в его самой циничной и дикой форме Она создана учеными — это дело их научных изысканий, а также их совести, которая может поставить перед ними серьезные проблемы. Но то, что могли узаконить это средство разрушения, уничтожающее людей и сохраняющее материальные ценности, я считаю проявлением бесчеловечности.. Не может быть никакого оправдания этой страшной угрозе».

Нейтронная бомба — прямая опасность для жизни даже будущих поколений человечества. «Генетические последствия облучения даже небольшими дозами выделяемых при взрыве нейтронов,— подчеркивается в книге «Откуда исходит угроза миру», выпущенной Военным издательством министерства обороны СССР,— будут сказываться на многих поколениях и проявляться в виде различных тяжелых заболеваний». Но апологеты нового изуверского оружия массового уничтожения силятся ввести народы в заблуждение относительно опасности, с которой связано это решение американской администрации,

помешать ясному осознанию серьезности положения и попыткам активного противодействия безумным замыслам вашингтонских стратегов и генералов Пентагона. Так, например, конгрессмен В. Деллмус пришел к заключению, что «нейтронное оружие делает ядерную войну мыслимой, приемлемой, возможной и в конечном счете неизбежной».

Однако в противовес этим декларациям участники конференции в Банфе решительно выступили против ядерной эскалации, форсируемой милитаристскими кругами США, указали на то, что международные отношения все более приближаются к критической стадии. Опасность термоядерной войны, подчеркивали они, ныне перерастает в реальную и непосредственную угрозу. На XXXI конференции Пагуошского движения вновь громко прозвучал голос многих ученых — в том числе и представителей советской науки,— которые заявили, что СССР решительно против создания нейтронной бомбы. В свое время наша страна выступала против развертывания производства атомного и водородного оружия, которое впервые начали разрабатывать США. Мы создали атомное и водородное оружие в качестве ответной меры.

Естественно, что в ходе дискуссий на конференции в Банфе высказывались различные мнения как о причинах нынешней напряженности в международных отношениях, так и путях ее преодоления. Важно, однако, другое. Несмотря на различия в политических взглядах, большинство участников конференции было согласно в том, что совместными усилиями людей доброй воли мир может и должен быть спасен. Учитывая авторитет, знания, которыми обладают деятели науки, их роль в этом благородном деле трудно переоценить.

Мне вспоминаются слова английского физика, профессора Джозефа Ротблата, чья подпись стоит под историческим Манифестом Рассела — Эйнштейна и кто является живым олицетворением истории Пагуошского движения. На предыдущей Пагуошской встрече в голландском городке Брекелен он говорил: «Ситуацию сделало крайне опасной изменение отношения к ядерной войне... Эксперты в области военной стратегии в течение ряда лет защищали доктрину гибкого реагирования, и теперь она стала официальной политикой Соединенных Штатов. Страны НАТО тоже базируют свою стратегию на концепции ограниченной ядерной войны, проводимой при использовании тактического ядерного оружия, миниатюризированных ядерных средств и нейтронных бомб, рассчитанных на то, чтобы свести к минимуму ущерб если не людям, то собственности. Но те военные специалисты, которые предусматривают ограниченную по масштабам и в географическом отношении войну, либо не способны, либо не желают считаться с ужасными последствиями в случае срыва их игры ва-банк... И все же общественность систематически обрабатывают, чтобы добиться принятия доктрины «ограниченной» ядерной войны».

В свое время, отвечая американским ученым, авторам заявления «Опасность: ядерная война», Леонид Ильич Брежнев подчеркивал губительные последствия для человечества ядерного конфликта между США и СССР, который «неминуемо принял бы глобальный характер».

В ходе дискуссии на конференции в Банфе решительно была осуждена американская доктрина «ограниченной» ядерной войны. Никто, заявили ученые, не может быть уверен в «ограниченности» ядерных конфликтов. Подобная авантюристическая доктрина в состоянии привести лишь ко всеобщей катастрофе. Ведь президент США Рейган, по чьей инициативе происходит всеобъемлющее наращивание стратегических наступательных вооружений, в октябре 1981 года недвусмысленно говорил о концепции «первого удара» и «ограниченной» ядерной войны: «Может сложиться такая ситуация, когда произойдет обмен ударами с применением обеими сторонами тактического оружия против воинских контингентов на поле боя без того, чтобы какая-либо из больших держав нажала на кнопку». Это по меньшей мере непродуманное заявление подталкивает мир к тому «мегаубийству», о котором еще пятнадцать лет назад писал канадский военный специалист Бёрнс.

Призвав к ратификации договора ОСВ-2, участники конференции высказались за продолжение советско-американских переговоров о дальнейшем сокращении стратегических и других видов ядерных вооружений, что, по их убеждению, должно служить шагом на пути к прекращению производства, а затем и полному запрещению всех видов вооружений, к разоружению.

Призыв ученых к миру, прозвучавший из Банфа, приобретает тем большее значение, чем воинственнее становятся подстрекательские действия вашингтонской администрации, которая усиленно наращивает гонку вооружений, претендуя на то, чтобы играть роль «лидера на планете», разговаривать со всеми государствами языком силы.

Показательно, что участники Пагуошского движения фактически поддержали и одобрили целый ряд советских мирных инициатив. К их числу относится и предложение об установлении моратория на размещение в Европе новых ракетно-ядерных средств. На конференции был распространен и встретил одобрение документ, составленный группой видных американских общественных деятелей, занимавших в прошлом ответственные посты в государственном аппарате США. В нем они также призывают остановить гонку ядерных вооружений.

Всесторонне была обсуждена на конференции так называемая «концепция сдерживания» и ее взаимосвязь с вопросами обороны, причем особое внимание уделялось положению в Европе, где с размещением дополнительных ядерных вооружений резко возросла бы угроза миру и безопасности. Если мы обратимся к прошлому, то легко увидим, что США никогда не вели войны на собственной территории. И теперь свои расчеты стратеги из Пентагона строят на возможном ведении войны на европейском театре военных действий, беззастенчиво игнорируя при этом судьбы народов древнего континента. «Американцы в первую мировую войну воевали в Европе, они во вторую мировую войну воевали в Европе, и третью мировую войну они рассчитывают вести в Европе,— говорил журналистам ди-

ректор вашингтонского Информационного центра по военным проблемам контр-адмирал в отставке Дж. Ларок.— Как я думаю, в определенной степени причиной воинственности и милитаристских настроений в США является то, что американцы и не помышляют о войне в самих Соединенных Штатах». Поджигательские силы войны, настойчиво навязывающие миру бесчеловечное оружие массового уничтожения, фарисейски пытаются выдать его за «тактическое», «оборонительное», почти «невинное». Но только непосвященные могут поверить подобным утверждениям. Коварный смысл этих «утешительных» прилагательных на самом деле состоит в том, чтобы «смыть» грань между ядерным и обычным оружием, как бы незаметно для народов подготовить их к психологическому приятию идеи возможности ядерной войны. Участники конференции в Банфе указывали на огромную опасность этой «психологической подготовки» людей к ядерной катастрофе, которая неизбежно привелет к непоправимому — уничтожению человечества и биосферы.

В выступлениях многих ученых отмечалось, что первостепенное значение в области стратегических ядерных вооружений имеет вопрос о прекращении развертывания таких систем вооружений, как, в частности, американские крылатые ракеты, ракеты «Першинг-2» и другие, которые могут быть расценены как средства первого удара и уже поэтому не только нарушают сложившийся баланс сил, но и порождают у другой стороны законные опасения за свою безопасность. При этом отмечалось, что вынашиваемые стратегами Запада теории «превентивного удара» и основывающиеся на них сценарии ведения войны нельзя расценивать иначе как бред душевнобольного, поскольку размеры и разнообразие существующих ядерных арсеналов, наличие подводных лодок-ракетоносцев и бомбардировщиков исключают эффективность такого удара, неизменно вызвавшего бы ответный удар и, следовательно, всеобщую ядерную катастрофу, способную погубить земную цивилизацию.

В этой связи полезно вспомнить новое советское предложение, внесенное на проходившей в прошлом году XXXVI сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь идет о принятии декларации, которая объявила бы применение первым ядерного оружия тягчайшим преступлением против человечества. В проекте декларации «Предотвратить ядерную катастрофу» говорится: «Никогда не будет ни оправдания, ни прощения тем деятелям, которые приняли бы решение применить первыми ядерное оружие».

Прямым обманом народов назвал Л. И. Брежнев попытки внушить людям, будто ядерная война может быть ограниченной, примирить их с мыслью о ее допустимости. «Пытаться победить друг друга в гонке вооружений рассчитывать на победу в ядерной войне,— заявил Леонид Ильич Брежнев на XXVI съезде КПСС,— это опасное безумие».

И проявлением этого «опасного безумия» предстает быстро ухудшающаяся ситуация в Западной Европе, которая вызвала особую озабоченность участников конференции в Банфе. Развертывание «евроракет», отмечали они, представляет для реакционных милитаристских сил заманчивую возможность подорвать политику разрядки международной напряженности. Они делают расчет на обострение военной напряженности, которая несовместима с самой идеей разрядки, хотя именно эта политика принесла европейцам множество добрых плодов. Ученые расценивают американский «нажим на европейцев» как грубое проявление диктата. Его цель — легализовать взвинчивание гонки вооружений на древнем европейском континенте. Не без оснований с трибуны форума в Банфе прозвучала мысль, что США в который уже раз пытаются проводить старую «имперскую» политику в новой упаковке.

По расчетам пентагоновских стратегов, для США развертывание «евроракет» — это шанс выжить в ядерном конфликте в иллюзорной надежде на то, что война закончится с гибелью Европы в «ограниченной» ядерной войне. С помощью этих кощунственных проектов Пентагон хочет ввести общественность Западной Европы в заблуждение, внушить людям мысль о допустимости применения ядерного оружия, помешать им разглядеть чудовищное коварство в этом преступном замысле. Иными словами, речь идет о вероломстве по отношению к западноевропейцам. При этом варианте «ограниченной» войны американцы попытались бы уцелеть за счет гибели европейских народов, которые оказались бы их «ядерными заложниками».

Между тем западноевропейцы отнюдь не склонны безропотно принимать концепцию «довооружения», о чем свидетельствует беспрецедентное по размаху сопротивление общественности акциям администрации Рейгана. Судя по всему, с духом их неприятия солидарны и многие лидеры стран Западной Европы, хотя среди них находятся и те, кто желает обязательно добиться выполнения этого решения. Эти политики предлагают сначала довооружиться, а потом разоружиться. Но эта двойная игра — не что иное, как ставка на непременное наращивание ядерного потенциала на новой военно-технической основе и фактическое игнорирование переговоров.

В ФРГ широкие слои населения резко протестуют против решения США разместить новые ракеты в Западной Европе и приступить к массовому производству нейтронного оружия в целях использования его на европейском театре военных действий. Но наблюдается и активизация сил реакции в Западной Германии. Это относится прежде всего к правым лидерам ХДС/ХСС. Именно эти силы добиваются согласия на размещение в стране американских «Першингов-2» и крылатых ракет, они восторженно приветствуют решение о производстве нейтронного оружия, ратуя за превращение Западной Европы в американский ракетный полигон.

Однако широкие круги западноевропейской общественности все более настойчиво заявляют о своей озабоченности за судьбы континента. Зреет понимание нависшей над всеми — не надуманной, а действительной — опасности, которую представляют новый тур гонки ракетно-ядерных вооружений, накопление американских средств массового уничтожения людей, возрастание риска ядерного конфликта. Миллионы людей ставят подписи

под петициями и воззваниями против намерений разместить в Европе новые американские ракеты средней дальности, развернуть производство нейтронного оружия.

Осознание людьми общности судеб европейских народов имеет огромное значение. В тревожном современном мире люди все более ясно отдают себе отчет в том, что нынешнее положение в Европе, где государствам и народам вместо мирного сосуществования и сотрудничества навязывают вооруженную конфронтацию, должно и может измениться к лучшему.

Пагуошская конференция призвала США и СССР придерживаться положений договора об ограничении противоракетных систем и немедленно ратифицировать договор ОСВ-2. Одновременно она высказалась за необходимость сохранить все позитивные элементы, достигнутые в процессе переговоров. Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, подчеркивалось на конференции, должны воздержаться от действий, могущих поставить под угрозу договоренности об ОСВ. Пагуошская конференция с удовлетворением отметила, что продолжается работа Постоянного консультативного комитета по ОСВ, но считает, что сами переговоры об ограничении стратегических вооружений, переговоры о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия и другие зашедшие в тупик переговоры при первой возможности должны быть возобновлены.

По мнению многих участников Пагуошской конференции, первостепенное внимание следует уделить вопросам ограничения и сокращения таких систем, которые нарушают сложившийся баланс сил. Прежде всего речь идет о межконтинентальных баллистических ракетах и ракетах среднего радиуса действия, оборудованных устройствами для точного наведения на ракетные шахты, крылатых ракетах, системах борьбы со спутниками, средствах борьбы с баллистическими ракетами и ракетами, запускаемыми с подводных лодок. В качестве меры по установлению баланса морских сил сдерживания было предложено договориться о водных пространствах, свободных от противолодочного оружия.

Учитывая наличие паритета, Пагуошская конференция рекомендовала немедленное замораживание имеющихся ядерных арсеналов США и СССР. Выполнение этих мер должно сопровождаться существенным сокращением вооружений. Начало этому могло бы быть положено взаимным отказом от развертывания новых вооружений.

Многие участники конференции в Банфе высказывались в поддержку предложения об устранении с территории Европы всех видов войскового ядерного оружия радиусом действия менее 100 километров, в том числе и нейтронного. Претворение этого предложения в жизнь способствовало бы повышению ядерного порога.

Советская общественность с вниманием относится к любым конструктивным идеям, которые могут служить делу обуздания гонки вооружений и упрочения мира, в том числе и к инициативам, выдвигаемым различными потоками европейского антивоенного движения.

Общеизвестно, что Советский Союз всегда проводил и неизменно проводит политику упрочения мира и безопасности. В противоположность экстремистской политике Вашингтона позиция нашей страны состоит в том, чтобы продолжать переговоры, начатые в последние годы по многим направлениям с целью прекращения гонки вооружений — этого бега человечества к небытию.

Но Вашингтон демагогически утверждает, будто нейтронное оружие призвано решать задачу «уравновешивания» превосходства стран Варшавского договора в танках. Буржуазная пропаганда навязчиво распространяет эту новую версию, у которой нашлись, к сожалению, сторонники среди участников конференции в Банфе. Однако несостоятельность этих «аргументов» Вашингтона очевидна непредвзятому человеку.

В ответах на вопросы еженедельника социал-демократической партии Германии «Форвертс» 4 мая 1978 года Л. И. Брежнев ясно изложил советскую позицию по этому вопросу: «Что касается глобального соотношения сил между наиболее крупными державами — участниками обеих военно-политических группировок, то есть между Советским Союзом и Соединенными Штатами, то здесь, как это официально признано обеими сторонами, сложился и сохраняется примерный паритет, то есть равновесие сил». Советский Союз, подчеркнул Л. И. Брежнев, не ставит перед собой цель добиваться военного превосходства. «В общем и целом в Европе, где ближе всего противостоят друг другу главные силы двух военно-политических группировок, бесспорно, существует военное равновесие»,— констатировал советский руководитель. Но всем известно, что переговоры о разоружении срываются потому, что мечты о военном превосходстве затуманивают сознание правящих кругов Америки.

Рейган, едва приступив к исполнению обязанностей президента, тотчас же заявил, что возобновление переговоров с СССР связано с осуществлением «активного общего пересмотра всей широкой проблемы ОСВ». Его решение о производстве нейтронного оружия, несомненно, направлено на то, чтобы окончательно торпедировать разрядку. «Таким образом,— писала западногерманская газета «Вестфелише рундшау»,— заверения об общности судеб и совместных интересах в вопросах безопасности, звучавшие во время недавнего визита канцлера ФРГ в Вашингтон, оказываются пустым звуком».

Полномасштабное производство нейтронного оружия журнал «Шпигель» расценил как «громадное землетрясение» в Западной Европе. Вашингтон добивается своего в стиле ковбойских наскоков: он просто поставил главного своего европейского партнера — ФРГ перед фактом производства нейтронного оружия и опрокинул усиленно насаждавшиеся в Западной Германии иллюзии, будто после прихода Рейгана в Белый дом восторжествуют «равноправные отношения» и внедрятся «конструктивные консультации» с союзниками по всем важным проблемам.

«Гигантским шагом» на пути дальнейшего наращивания опасной гонки вооружений назвал решение о производстве нейтронного оружия американский контр-адмирал в отставке, директор Информационного центра

по военным проблемам Дж. Ларок. Он обратился к администрации США с призывом незамедлительно начать переговоры с СССР по широкому кругу вопросов контроля над вооружениями, в частности серьезно обсудить предложение Советского Союза договориться о взаимном отказе от производства нейтронного оружия и его запрете. Бывший директор американского агентства по контролю над вооружениями и разоружению П. Уорнке, принимавший участие в Пагуошском форуме, заявил в газете «Нью-Йорк таймс», что, принимая новую ядерную доктрину, Вашингтон лишь увеличивает смертельную опасность, нависшую над самими Соединенными Штатами.

Каждому непредубежденному человеку ясно, что речь идет по существу о создании нового, дополнительного ядерного потенциала. Не менее ясно и его главное предназначение — нанесение ударов по территории СССР. Следует помнить, что президентская директива № 59, подписанная в июле 1980 года, остается в силе и предусматривает поражение максимально широкого спектра советских стратегических объектов.

Теперешняя американская администрация пытается убедить народы в ложной возможности обеспечить международную безопасность путем наращивания вооружений, разжигания безумного страха перед Советским Союзом. Начало серийного производства нейтронного оружия указывает на то, что расчеты американских стратегов все более строятся на возможности одержать верх в ядерной войне на территории Европы. Разве решение Рейгана начать полномасштабное производство нейтронной бомбы не окрашивает будущее человечества в самые трагические краски? Известный политический деятель, бывший председатель сенатской комиссии по иностранным делам Ф. Черч, выступая в журнале «Нью-Йорк таймс мэгзин», подчеркивал, что слова и дела администрации Рейгана направлены на достижение военного превосходства над СССР. При этом он указывает, что «махровый антисоветизм администрации, включая тяжкие потуги добиться ядерного превосходства, должен уступить место пониманию безотлагательной необходимости взаимного ограничения стратегических вооружений». Нейтронная бомба — это наступательное оружие, которое лишь приближает мир к порогу ядерной войны. «Нейтронное оружие,— констатировал канцлер ФРГ Г. Шмидт,— нельзя считать чисто оборонительным. Как большинство видов оружия в мире, его, разумеется, вполне можно использовать для нападения».

И поэтому многие участники Пагуошской конференции в Банфе призвали без промедления прекратить ядерную истерию западных политиканов, чья одержимость авантюристическими замыслами может привести планету к атомной катастрофе и уничтожению цивилизации. Взвинчивание гонки ядерных вооружений — это безумие, которое необходимо обуздать. Человечество должно быть избавлено от этой чудовищной угрозы. Напомню, что в Уставе ООН записано: «Избавить грядущие поколения от бедствий войны...» В этих словах — торжественная клятва, которую дали народы нашего беспокойного мира.

Сегодня находятся, однако, политики, которые позволяют себе утверждать, что есть вещи поважнее, чем мир. Но кто дал им право высказывать эти человеконенавистнические суждения? Народы, кровно заинтересованные в сохранении мира, им такого права не предоставляли.

В итоге обсуждения различных аспектов вопроса, связанного с предотвращением ядерной войны, в Банфе был принят документ — заявление Пагуошского совета. В нем вновь и со всей силой обращается внимание на опасное обострение международной обстановки, усиление гонки вооружений вообще и особенно ядерных, осуждается тот факт, что договор ОСВ-2 до сих пор не ратифицирован, да и сам процесс ОСВ прерван, больше того, раздаются угрожающие заявления об отходе от договоров и соглашений, ограничивающих гонку ядерных вооружений, которые были заключены в 70-х годах. Вряд ли стоит напоминать, кому адресована эта критика ученых, призвавших вернуться на путь переговоров об ограничении ядерных вооружений, в частности в Европе.

Пагуошскому движению в силу самих принципов, на которых оно зиждется, и целей, которые оно преследует, чуждо стремление замкнуться в узкой группе собственных участников. Понятно поэтому, что среди них нашла отклик идея, высказанная Л. И. Брежневым на XXVI съезде КПСС, о создании авторитетного международного комитета виднейших ученых из разных стран, который показал бы жизненную необходимость предотвращения ядерной катастрофы.

Со своей стороны конференция в Банфе выдвинула предложение о создании специального комитета для разработки эффективных методов мобилизации общественности на борьбу против угрозы ядерной войны. Она высказалась за создание международного объединения пользующихся широкой известностью ученых с тем, чтобы они изучили опасности, которые несет с собой ядерная война, и сделали результаты своих исследований достоянием международной общественности. Было высказано предложение о том, чтобы обсуждение проблем, связанных с гонкой ядерных вооружений, осуществлялось на более широком уровне, на конференциях ученых и специалистов. В связи с тем, что в настоящее время возникает большое число групп и организаций, выступающих за ограничение ядерных вооружений и разоружение, Пагуошское движение изъявило готовность поделиться с ними накопленным за четверть века опытом.

...Десять лет назад в Лондоне вышла книга английского ученого Робина Кларка «Наука о войне и мире». В ней приводится зловещая хроника войн прошлого, начиная с 1820 года. С этого времени по 1859 год имело место 92 войны, в которых нашли смерть 800 тыс. человек. В следующее сорокалетие мир пережил сто войн и их жертвами стали 4,6 миллиона человек. Экстраполируя этот страшный процесс, Р. Кларк приходит к выводу, что примерно в 120 войнах первой половины XXI столетия число убитых составит 4050 миллионов человек, или 40,5 процента человечества. Неужели найдется какое-либо сознание, которое мо-

жет примириться с тем, чтобы подобный прогноз стал реальностью?

На протяжении многовековой истории цивилизации мир оставался самой светлой и гуманной мечтой человека. Люди всегда мечтали исключить войну, как средство решения разногласий и споров, из жизни общества. Манифест Рассела — Эйнштейна призывал человечество «научиться мыслить по-новому» и «задать себе вопрос: какие шаги можно предпринять для предупреждения вооруженной борьбы, исход которой должен быть катастрофическим для всех ее участников?». Ученые были правы — необходимо изменить отношение человека к войне. Люди обязаны осознать, что их предназначение состоит не в том, чтобы бессмысленно отдавать себя на заклание войне, а в том, чтобы жить, созидать, создавать ценности, которые сделают возможным счастье и благополучие грядущих поколений.

Это понимали наиболее проницательные, глобально мыслящие представители науки нашего века. «Недалеко время,— писал еще в 20-х годах великий советский ученый академик В. И. Вернадский,— когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет...

Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна дать ему наука? Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы, научного прогресса. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия их открытий. Они должны связать свою работу с лучшей организацией всего человечества». Мудрое, пророческое высказывание!

Человек ответствен за все, что происходит на нашей планете. Термоядерная катастрофа не есть что-то предопределенное и фатальное. Поэтому позиция стороннего наблюдателя представляется ныне не только безответственной, но и по-своему опасной. Именно эти идеи заложены в основе Пагуошского движения ученых, принципы которого были сформулированы в Манифесте Рассела—Эйнштейна. В этом документе записано, что человечество может быть спасено только действиями самих людей. Все вместе и каждый в отдельности несут ответственность за сохранение цивилизации, за ее совершенствование для будущих поколений. Но особая, огромная ответственность лежит на ученых. Наука должна использоваться ради блага рода человеческого, а не для его уничтожения.

Участники конференции в Банфе решительно поддержали обращение организации «Врачи за предотвращение ядерной войны»: «Ядерная война неизбежно явилась бы катастрофой с медицинскими последствиями неимоверных масштабов и продолжительности как для воюющих, так и невоюющих государств...— сказано в этом документе.— Интересы нынешнего и всех грядущих поколений требуют, чтобы ядерная война была предотвращена. Веление нашего времени — сделать недопустимой саму мысль об использовании ядерного оружия в любой форме и любом масштабе...»

Л. И. Брежнев, отвечая в конце прошлого года на вопрос корреспондента «Правды», заявил: «Ведь если не будет первого ядерного удара, то, следовательно, не будет ни второго, ни третьего ядерных ударов. И таким образом станут беспредметными сами по себе рассуждения о возможности или невозможности победы в ядерной войне — будет снят с повестки дня вопрос о ядерной войне как таковой». Эти слова руководителя нашей партии и государства перекликаются с тем, о чем говорили ученые — участники XXXI конференции Пагуошского движения в Банфе.

...Участвуя в форумах миролюбивых сил планеты, беседуя с коллегами, в спорах с оппонентами я часто обращался мыслью к виденному на нашей родной земле, к столь же ярким впечатлениям от древних и новых зарубежных городов. Вспоминаются залитые солнцем улицы и строгая тишина музейных залов, гомон детских голосов на спортплощадках, парочки на вечерних бульварах. В памяти оживают разговоры с докерами, таксистами, газетчиками,— словом, все те случайные и мимолетные знакомства, которые обыкновенно выпадают на долю путешественника.

На что рассчитывают американские стратеги, пытаясь вовлечь в свои военные авантюры этих миролюбиво настроенных людей, поглощеннных различными проблемами которые следовало бы решать сообща, всем вместе? Почему, во имя чего эти люди должны взваливать себе на плечи чудовищное бремя все возрастающих расходов, планируемых штабами НАТО? Почему они должны ценой собственных лишений приближать кошмар коллективного убийства? Им твердят о какой-то «советской военной угрозе», об «экспансионизме красных». Этот злостный антисоветский миф — дымовая завеса, которую распускают враги мира, чтобы отвлечь внимание от своих авантюристических замыслов и провокаций. По счастью, это понимает все большее число людей.

Ученые, писатели, общественные деятели Востока и Запада, с которыми сводила меня судьба и на Пагуошской конференции, и на всемирном парламенте народов за мир в Софии, и на разного рода литературных встречах, подчеркивали, что американское правительство по сути развязало психологическую войну против всего человечества, пытаясь внушить ему мысль о возможности, неизбежности термоядерной войны.

Но народы земли, отстаивая свое священное право на мир и жизнь, все громче возвышают свой голос против атомных герострат ов, которые в безумии своем угрожают спалить мир в костре ядерного апокалипсиса. И вместе с ними борются все прогрессивные, честные деятели мировой науки. Можно с уверенностью сказать, что на XXXI конференции Пагуошского движения в Канаде нашла свое выражение решимость ученых мира защитить гуманистические ценности, оградить человечество от гибели, обуздать тех, кто грозит миру ядерной катастрофой.

2. Женевский семинар

Женева... Город неповторимой, уникальной судьбы. Все побывавшие в Женеве не-

изменно говорят: «Красивый, необыкновенно красивый город!» Действительно, сама природа будто испытывает здесь силу восхищения всех, кто посещает эту благодатную землю. Даже тех, кто любуется городом мельком, из окон залов, где проходят «марафонские» заседания. Радует тут все, чем одаряет природа, но, увы, не всегда можно сказать это о делах людей...

В Женеве не бывает «мертвых сезонов»: тут беспрерывно ведутся переговоры по самым различным проблемам международных отношений. На берегах прославленного озера Леман, под сенью белоснежной цепи альпийских вершин, одновременно проходят десятки конференций, симпозиумов, семинаров. Порой они приобретают нескончаемо долгий, монотонный характер, словно мелкий дождь, который чаще всего почему-то моросит здесь по ночам. Днем, когда он прекращается, над голубым озером, где сонно покачиваются катера, и над городом опускается завеса тумана, неуловимо напоминающего прокуренный воздух в залах заседаний...

Женева была избрана местом очередного семинара Пагуошского движения не случайно. Здесь находится штаб-квартира Пагуошского движения, которая располагается в одноэтажном сером здании, затерявшемся среди банковских небоскребов из железобетона и стекла, неподалеку от Дворца наций.

Семинар, состоявшийся 11—12 декабря прошлого года, был посвящен актуальным, волнующим человечество проблемам. Обсуждался вопрос о ядерных силах в Европе и тех мерах, которые следует предпринять, чтобы не допустить их наращивания на нашем континенте.

Семинар совпал с возобновлением в Женеве советско-американских переговоров по ограничению и сокращению ядерных вооружений средней дальности в Европе. Естественно, участники семинара выразили большое удовлетворение по поводу продолжения этого насущно необходимого диалога между Востоком и Западом. Хотя сам этот факт вселяет надежду, едва ли, кажется, оправдан чрезмерный оптимизм: ведь важно не только начать переговоры. Главное, чтобы обе стороны проявили волю и стремление завершить возобновившийся диалог достижением положительных, весомых результатов. Известно, что, пока идут переговоры, молчат пушки.

Участники Женевского семинара выразили надежду, что эти переговоры приведут к соглашению, которое учитывало бы растущую озабоченность народов Европы намерением США раскрутить новый виток гонки вооружений.

«Одной из центральных проблем мировой политики является сейчас вопрос о том, как будет обстоять дело с ядерными вооружениями средней дальности в Европе,— сказано в заявлении ТАСС «Быть или не быть новому витку гонки вооружений»,— будет ли достигнута договоренность о кардинальном снижении уровня таких вооружений или же произойдет их дальнейшее наращивание в результате реализации известного плана НАТО о «довооружении» со всеми вытекающими отсюда пагубными последствиями для безопасности европейских народов».

Угроза Европе — это общеизвестно — таится в гонке вооружений, развязанной США и другими империалистическими державами, в нагнетаемой ими международной напряженности, которая принимает затяжной характер. Реакционные, милитаристские круги Запада упорно стремятся добиться нарушения в пользу США сложившегося в мире и на европейском континенте равновесия сил. Об этом свидетельствуют всевозможные стратегические концепции, выдвигаемые США и странами НАТО, вроде «двойного решения», «довооружения», «нулевого решения» и т. п.

Обстоятельный анализ американской версии «нулевого решения», сделанный на Женевском семинаре, показал, что замысел США сводится к тому, чтобы Советский Союз разоружался в одностороннем порядке, а весь грозный арсенал США и НАТО, нацеленный на СССР и его союзников в Европе, оставался нетронутым. Каковы же аргументы американских стратегов? Их суть весьма прозрачна: они напоминают старую историю, как бублик делился на двоих — одному доставался сам бублик, другому — «нулевая» дырка.

В этой связи заслуживает внимания статья американского военного специалиста Т. Джервази «Давайте пересчитаем все оружие», опубликованная недавно газетой «Нью-Йорк таймс». В ней подвергается серьезному сомнению искренность вашингтонской администрации в подходе к переговорам с Советским Союзом об ограничении ядерных вооружений средней дальности в Европе.

Отмечая, что «псевдонулевое решение», предложенное Р. Рейганом, нарушает принцип равенства и одинаковой безопасности сторон, Т. Джервази пишет: «Наш президент потребовал такого ограничения существующего советского ядерного оружия средней дальности, которое не сопровождалось бы аналогичным сокращением нашего собственного ядерного арсенала. Это предложение несправедливо».

Однако ни для кого не секрет, что США, под предлогом выравнивания паритета, рвутся к военному превосходству. 18 августа 1981 года главный советник президента США Э. Миз, выступая в Лос-Анджелесе, признал, что ядерная программа на 80-е годы, объявленная Р. Рейганом, ставит целью «восстановление стратегического превосходства США над СССР в течение 10 лет». Налицо попытка Вашингтона путем форсирования гонки вооружений подорвать международную стабильность. Президент, не скрывая своих намерений, публично похвалялся: «Русские не смогут за нами угнаться». Сегодня ядерное оружие, словно дамоклов меч, нависает над человечеством, и подобное положение — прямой результат безудержной гонки вооружений, тон которой задают США.

Разумеется, если говорить о подлинном, а не демагогическом «нулевом решении», то оно должно быть справедливо для всех сторон, иными словами — Европа должна стать свободной от ядерного оружия. «Советские руководители,— отмечается в цитировавшемся заявлении ТАСС,— не раз уже давали принципиальную оценку выдвигаемому Ва-

шингтоном «нулевому варианту» как совершенно нереалистическому, который никак не назовешь серьезным предложением». Примечательно, что осознание значимости и обоснованности советских мирных предложений все больше распространяется и в самих Соединенных Штатах. Руководитель американской Организации граждан за разумный мир Дж. Фрэнк, профессор университета имени Джона Гопкинса, заявил, что выдвинутое Л. И. Брежневым предложение об установлении моратория на развертывание новых и модернизацию имеющихся ядерных средств средней дальности в Европе и готовность СССР в одностороннем порядке сократить некоторую часть своих ядерных вооружений средней дальности на европейской территории Советского Союза является ярким свидетельством его конструктивного подхода к положительному решению жгучих проблем современности.

...Зловещая угроза ядерной катастрофы, нависшая ныне над человечеством, все острее тревожит самые широкие круги общественности в странах Запада и Востока. До конференц-залов Дворца наций доносятся раскаты массовых народных демонстраций, маршей протеста, которые прошли в городах даже, казалось бы, внешне беззаботной, благополучной Швейцарии. В дни нашего семинара десятки, сотни тысяч людей выходили на улицы Берна, Цюриха, Женевы, гневно требуя безотлагательно положить конец гонке вооружений, убрать американские ракетно-ядерные средства массового уничтожения, которыми давно уже перенасыщена истерзанная войнами земля Европы.

Почти на полкилометра вытянулась колонна участников факельного шествия «Против ядерной смерти, за прекращение ядерных вооружений и разоружение» в Женеве. Участники манифестации прошли по центральным улицам города с лозунгами, требующими не допустить размещения в Европе новых ядерных ракет, осуждающими доктрину «ограниченной» ядерной войны и призывающими без промедления добиться соглашения о ядерном разоружении.

На состоявшемся затем митинге было оглашено письмо главам делегаций на советско-американских переговорах об ограничении ядерных вооружений в Европе. «Ядерные заряды чудовищной силы,— говорится в нем,— угрожают не только Европе, но и всему человечеству. Техническая неполадка, ошибка, безумный поступок могут привести их в действие, и тогда Европа будет разрушена и уничтожена. Мы требуем уничтожить ядерное оружие. Мы призываем как можно скорее достичь соглашения, которое позволило бы народам Европы и всего мира с уверенностью смотреть в будущее».

Однако симптоматично, что информации об этой многотысячной народной демонстрации, которой страна не знала в течение десятилетий, швейцарское телевидение уделило... всего одну минуту! Зато почти круглые сутки на экране сменяли друг друга развлекательные программы, без конца шла реклама роскошных модных драгоценностей. Буржуазная пропаганда без устали создает приторно-идиллические образы «потребительского рая», стремясь погрузить обывателей в веселую атмосферу беззаботности, изобразить Швейцарию страной, которой якобы чужды проблемы.

И тем не менее в Женеве, за которой долгое время сохранялась репутация пуритански-строгого города, зримо проступают пороки, органически присущие обществу, где царит культ «золотого тельца»,— например, преступность, наркомания. В стране, где нет залежей золота и вряд ли известен тяжкий труд старателей, горстка магнатов держит в своих руках такие баснословные богатства, что, кажется, их с трудом выдерживают берега Женевского озера. Но верно гласит мудрое народное изречение: «И правда тонет, коли золото всплывает». Никакое витринное благополучие не способно скрыть социальную отчужденность людей, того, что в капиталистическом мире поражены жизненно важные артерии социального организма. Женева с ее старательно скрываемыми контрастами — не исключение.

...В наши дни все проблемы отступают на второй план перед главным — сохранением мира, защитой будущего от войн. Западная Европа — от Дании до Турции — оказалась охваченной невиданным по своему размаху антивоенным движением, превратилась в арену грандиозных демонстраций, маршей и рейдов мира. Борцы против атомной смерти собирают подписи под антиядерными и и антиракетными воззваниями. Эти манифестации стали решительным ответом широких народных масс Западной Европы на авантюристические происки Белого дома, стремящегося превратить европейцев в «заложников» своих смертоносных планов.

Во время работы Женевского семинара до нас доходили вести о массовых демонстрациях против гонки вооружений, что состоялись во многих городах ФРГ. Демонстранты осудили «ракетное решение» НАТО, которое противоречит коренным интересам народов, политике разрядки и достижению взаимопонимания между Востоком и Западом. Трудящиеся, все прогрессивные люди Западной Германии протестуют и против нейтронной бомбы, которую федеральный секретарь Социал-демократической партии ФРГ Эгон Бар выразительно назвал «символом умственной извращенности».

В Англии, как сообщалось из Лондона, местные органы власти около ста тридцати городов и районов присоединились к начатой по инициативе муниципального совета Манчестера кампании за превращение их территорий в безъядерные зоны. Муниципалитеты приняли решение не допустить размещения в черте городов и прилегающих к ним районов ядерного оружия, включая складирование ядерных боеголовок. О росте антивоенных настроений в Англии красноречиво свидетельствует и тот факт, что более ста английских муниципалитетов отказалось участвовать в намеченных кабинетом М. Тэтчер на этот год крупномасштабных учениях гражданской обороны «Хардрок-82».

Над площадью Синьории, сердцем Флоренции, которая почти никогда не бывает безлюдной, реяли знамена и транспаранты. Лозунги двухсот тысяч демонстрантов, пришедших на прославленную землю великого народа, где все дышит бессмертием культуры и искусства, гласили:

«Нет — ядерной смерти!», «Нейтронная бомба — преступление!», «Нам нужны не ракеты, а рабочие места!», «Мы хотим строить, а не разрушать!», «Планы США и НАТО тянут нас в бездну!», «Наши дети должны играть под мирным небом!», «Идеи у людей могут быть разными, но мир равно необходим всем!» На транспаранте рабочих флорентийского предприятия «Нуово пиньоне» не было начертано ни единого слова, но он был не менее выразителен: сильные руки рабочего разламывали ракету.

Не без волнения читал я репортаж с древней площади Синьории, где мне посчастливилось не раз бывать, о волнующемся человеческом море, о яростных проклятиях в адрес ядерного безумия, о твердой решимости трудовой Италии продолжать сражение за мир и безопасность. Ведь земля нужна не мертвым, а живым. Зловещий лязг оружия должен смениться радостным шумом мирного созидания. Самой природе человеческой противно кровопролитие, люди решительно восстают против ядерной катастрофы, которая, если она разразится, оставит от человечества и цивилизации лишь смертоносный пепел. Знамением времени стали в Европе и других регионах земли массовые выступления против угрозы войны, борьба в защиту безопасности, за разрядку и разоружение.

Народные волнения охватывают и североамериканский континент. Американцы все более сознают, что ядерная война не может быть «ограниченной», что она неотвратимо обернется всеобщей ядерной катастрофой, которая не пощадит и Соединенные Штаты. От побережья Атлантики до берегов Тихого океана по Соединенным Штатам прокатились марши мира и демонстрации протеста против безрассудной политики Белого дома на расширение военного вмешательства в дела других народов и стран, против курса на эскалацию милитаристских приготовлений под фальшивым предлогом защиты «жизненных интересов» Америки.

Широкие общественные круги Соединенных Штатов отнюдь не пребывают в мире грез и иллюзий. Они отдают себе отчет, что земля у человеческого рода одна, а значит, и общая ответственность за ее судьбу. И люди должны объединить усилия в борьбе за ее мирное будущее.

Внушительную отповедь пропагандируемой Вашингтоном концепции «ограниченной» ядерной войны дал на страницах журнала «Буллетин оф атомик сайентистс», выходящего под редакцией активного деятеля Пагуошского движения профессора Б. Т. Фелда, ректор Массачусетского технологического института Виктор Вейскопф. Любое применение ядерного оружия, пишет он, «вероятнее всего, привело бы к ядерной войне, равнозначной уничтожению цивилизации». Что же касается «использования ядерного оружия первыми», то подобный подход американских стратегов, по мнению В. Вейскопфа, должен быть осужден как «преступление против человечества». Американский ученый выступил за безотлагательное сокращение запасов ядерного оружия и запрещение его дальнейшего распространения. Он подчеркнул, что нынешнего количества ядерных средств достаточно, чтобы «более чем сто раз уничтожить все крупные города на земле».

Иными словами, выходящий из-под контроля бег военной машины человечество должно остановить, ибо каждого из нас можно уничтожить только один раз.

Ко многим участникам нашего семинара, в том числе и ко мне, обращались разные люди, задавая гнетущий вопрос: возможна ли, будет ли война? Но ученые не могут изрекать предсказания, подобно мифической Кассандре. Отвечая на него, можно сказать — сегодня, как никогда ранее, возросла ответственность каждого человека за сохранение мира на земле. И все без исключения должны ежечасно отстаивать право народов на жизнь.

Прекрасно говорил об этом известный писатель из ГДР Юрий Брезан, выступая на Международной встрече писателей, ученых и деятелей культуры, которая проходила 13—14 декабря в Берлине. «Я был солдатом второй мировой войны,— сказал Юрий Брезан.— Я не хочу допустить третьей. Пентагон называет наш континент не Европой, а атомным полигоном. Американские военные стратеги деловито планируют гибель 200—300 миллионов европейцев. Я — европеец. И я не боюсь умереть. Напротив — боюсь пережить катастрофу, остаться в мертвом мире и медленно умирать, сознавая, что сделал не все, чтобы предотвратить ее».

Нынешний политический курс Белого дома — истинная причина того, что над миром сгустились тучи военной угрозы. Не без оснований западногерманская газета «Зюддойче цайтунг» недавно писала: «В послевоенной Европе уже были периоды возрастания военной опасности. Но никогда раньше возможность войны не обсуждалась столь интенсивно, никогда прежде люди не стремились столь страстно к миру, как в уходящем году».

Совесть человечества требует, чтобы будущее измерялось не бредовыми расчетами атомных маньяков, а созидательным трудом и миром. И служению этой гуманной цели каждый должен отдать все свои силы.

Женевский семинар обратил внимание, что планы развертывания в странах НАТО нового американского ракетно-ядерного оружия создают небывалую ранее опасность. При этом несостоятельность американских концепций «ограниченной» ядерной войны представляется очевидной, ибо применение ракетно-ядерного оружия даже в ограниченных масштабах неотвратимо привело бы к всемирной катастрофе, в которой не будет победителей.

В заявлении Женевского семинара, подводящем итоги дискуссии, подчеркивается необходимость установления моратория на дальнейшее размещение в Европе новых ракетно-ядерных средств средней дальности стран НАТО и СССР, то есть замораживание в количественном и качественном отношении существующего уровня этих средств, включая, разумеется, ядерные средства передового базирования США на континенте. При этом подразумевается, что мораторий вступит в силу одновременно с началом переговоров по этому поводу и будет действовать до заключения постоянного договора об ограничении указанного ядерного оружия в Европе.

Общеизвестно, что Советский Союз — уже после Женевского семинара — существенно дополнил предложение о моратории. Об этом заявил Л. И. Брежнев 3 февраля нынешнего года, принимая представителей Консультативного совета Социалистического интернационала по разоружению: «...Советский Союз готов уже сейчас договориться о полном отказе обеих сторон — Востока и Запада — от всех видов оружия средней дальности, нацеленных на объекты в Европе. Мы можем пойти и еще дальше: договориться о полном избавлении Европы от ядерного оружия как средней дальности, так и тактического. Вот это был бы настоящий «нулевой вариант». СССР готов пойти на него. Если страны НАТО согласятся с таким действительно нулевым решением, то дело мира в Европе (а возможно, и во всем мире) будет поставлено на небывало прочную основу.

Если же Запад пока не готов к радикальным решениям,— сказал Л. И. Брежнев,— мы согласны для начала условиться о крупном сокращении обеими сторонами ядерных средств средней дальности. Об очень крупном — на сотни единиц. Можно было бы, например, к 1990 году сократить нынешнее количество ядерных вооружений средней дальности каждой стороны в три раза или даже более, идя к этому поэтапно: в ближайшие годы сократить арсеналы сторон примерно на треть, а затем двинуться дальше. При этом, конечно, общее количество таких средств у держав НАТО и Советского Союза на всех этапах сохранялось бы равным».

Последовательная, конструктивная политика СССР, направленная на упрочение мира, получает непрерывно растущую поддержку со стороны широких кругов мировой общественности. Участники XVIII встречи руководителей Союзов писателей социалистических стран, которая состоялась в конце января в столице народной Монголии Улан-Баторе, приняли заявление, где обратились к деятелям культуры всего мира со словами: «Наш прямой долг — всемерно способствовать реализации всех конструктивных инициатив, направленных на обеспечение всеобщего мира и международной безопасности».

Весь комплекс вопросов, который рассматривался на Женевском семинаре, по-прежнему остается в центре внимания не только политических деятелей, но и общественности Европы. Ученые, принимавшие участие в его работе, подчеркивали, что соблюдение странами Востока и Запада принципа равенства и одинаковой безопасности явилось бы залогом успеха переговоров по ограничению ядерных вооружений средней дальности в Женеве. От их исхода в значительной мере зависит, уменьшится или увеличится угроза возникновения ядерной войны. Принцип одинаковой безопасности означает, что всем без исключения странам должна быть гарантирована реальная безопасность. Ученые выразили озабоченность по поводу того, что международная ситуация в наши дни развивается в сторону конфронтации. Участники отмечали, что между такими державами, как Советский Союз и США, не может быть другой основы для взаимоотношений, кроме полного равенства и строгого соблюдения принципа одинаковой безопасности, учета законных интересов друг друга и взаимной выгоды. Участники Женевского семинара выразили глубокую убежденность, что человечество должно идти не путями войн, конфронтации, вражды, а путем расширения мирного сотрудничества, упрочения взаимного доверия.

Не по всем вопросам участники семинара занимали одинаковые позиции, их взгляды не во всем совпадали. Существует еще немало проблем, которые требуют дальнейшего совместного исследования. Но все ученые были единодушны в том, что следует сообща вести борьбу за достижение общей цели — сохранение человеческой цивилизации на земле.

Вряд ли нужно пространно доказывать, что советские ученые неизменно выступают за встречи и переговоры, за активный диалог, чтобы искать взаимного понимания и устранять возникающие разногласия. Мы спорим по разным вопросам, отстаивая и уточняя свои позиции и оценки, но едва ли есть какие-либо сомнения насчет того, что прогрессивные ученые едины в понимании конечной цели своих усилий — достижения всеобщего и полного разоружения. Ни величина, ни мощь того или иного государства не дают ему права навязывать силой свою волю другим странам и произвольно объявлять сферой своих жизненных интересов любой район земли. Мир, говорил один из основоположников Пагуошского движения Альберт Эйнштейн, невозможно поддерживать силой. Его можно достичь лишь путем понимания. История не однажды подтвердила суровую истину: кто живет по законам меча, от меча и гибнет. Если ядерных маньяков не остановить, они могут уничтожить весь род человеческий. Смертоносные термоядерные силы, порожденные западным миром,— это глубоко укоренившееся зло, которое человечество должно вырвать с корнем. Ибо ракетно-ядерное оружие массового истребления, особенно нейтронное,— это, как писал обозреватель лондонской газеты «Таймс», «капиталистическое супероружие, которое ценность предметов ставит превыше ценности человека».

«Безответственное намерение президента Рейгана,— отмечает итальянский писатель Луиджи Малерба,— разместить нейтронную бомбу в Европе — это не только угроза суверенитету европейских государств, но и свидетельство преступного легкомыслия, с которым отдельные государственные деятели играют судьбами мира».

Но правительство США идет все дальше по опасному пути наращивания арсеналов разных видов оружия массового уничтожения, чудовищными темпами совершенствуя технику убийства. В политическом лексиконе американские деятели все чаще прибегают к обветшалой риторике времен «холодной войны». Пропаганда США развязала беспрецедентную истерическую кампанию, проникнутую духом пещерного антикоммунизма и антисоветизма, в процессе которой, пугая жупелом «советской военной угрозы», пытается приучить людей к преступной мысли о допустимости, даже неизбежности будущей ядерной войны. Эта вспышка безумия искусно подогревается военно-промышленным комплексом, который наживается на

михорадочной подготовке к ядерному апокалипсису. Недаром Джордж Кеннан, бывший посол США в СССР, а ныне университетский профессор, оценивая идеологическую обстановку в Соединенных Штатах, недавно отмечал, что в Америке развивается опаснейшее социальное явление — милитаризация мысли. А ведь Кеннан хорошо знает, о чем говорит: он по профессии историк. Небесполезно напомнить, что в самый разгар «холодной войны» американским средствам массовой информации удалось так «распропагандировать» собственного не в меру впечатлительного министра обороны Дж. Форрестола, что он выбросился из окна с воплем: «Русские танки!»

«Советской военной угрозой» запугивают и западноевропейцев. Передо мной номер парижского еженедельника «Нувель литтэрер», где помещена реклама провокационно озаглавленной книги бельгийского генерала в отставке Робера Клоза «Еще одно усилие... и мы окончательно проиграли третью мировую войну». В аннотации сообщается, что этот генерал в 1977 году выпустил также работу «Беззащитная Европа».

Приведу текст рекламного анонса: «При нынешнем ритме соотношение сил в ядерных вооружениях вскоре будет 1 к 4 в пользу СССР. Но в обычных вооружениях уже существует неравновесие 1 к 3 в пользу Советского Союза. В случае внезапного нападения силы НАТО не смогли бы сопротивляться более 10 часов. Менее чем через 48 часов советские танки вышли бы на берега Рейна. Для многих эта книга будет звучать как набат. Однако, если мы не внемлем призыву генерала Клоза, она прозвучит похоронным звоном».

Знакомясь с материалами буржуазных средств массовой информации на Западе, невозможно отделаться от впечатления, что помимо глубокого отравления клеветой о «советской угрозе» они страдают паранойей, истерическим страхом, который сами же и нагнетают. Создается порочный круг: политики цинично лгут журналистам, а потом благодаря измышлениям последних сами начинают верить в собственную ложь. Об этом тоже шел разговор на семинаре Пагуошского движения в Женеве.

На Западе множество фирм, особенно в США и Англии, безудержно рекламируют строительство индивидуальных бомбоубежищ, предлагая богачам спасение от ядерной катастрофы в роскошных подземных бункерах. Пресса взахлеб расписывает «абсолютную» безопасность и комфорт этих дорогих сооружений. Реклама бомбоубежищ тоже входит в ту кампанию массированной психологической обработки людей, что призвана притупить у них ощущение реальной опасности ядерной войны. Всеми способами человека постепенно вводят в атмосферу войны, стремясь внушить ему фаталистическую покорность перед ее неизбежностью. В сущности эта пропаганда направлена на то, чтобы похоронить разрядку, сорвать переговоры между Востоком и Западом, обострить международную напряженность и сдвинуть мир к роковой черте военной конфронтации. «В политике бывают ситуации,— предупреждал Л. И. Брежнев,— когда роковым может стать один неверный шаг. Так и сейчас».

В крайне обострившейся международной обстановке особый смысл приобретает сегодня необходимость знать друг друга, умение судить о быстро меняющейся политической ситуации непредвзято, исходя из реальностей, а не мифических, недоброжелательных измышлений. Не следует забывать, что при всех различиях исторических судеб и социальных условий народы земли издавна связывают многообразные узы и традиционное общение. Особенно справедливо это теперь, когда исчезла власть расстояний. И обязательно для всех помнить, что мир — это не просто отсутствие войны и кровопролития. Мир — это постоянная каждодневная борьба за упрочение доверия и взаимопонимание между народами, за безопасность и чистое небо над головой. Этой цели по сути и служит деятельность ученых, входящих в Пагуошское движение. К скорейшему ее достижению они призывали на конференции в Банфе и семинаре в Женеве.

Социализм и мир неразделимы. «Окончание войн, мир между народами, прекращение грабежей и насилий — именно наш идеал»,— писал Владимир Ильич Ленин. Этот идеал воплотился уже в первом внешнеполитическом акте социалистической России — бессмертном ленинском Декрете о мире. С тех пор борьба за мир и обуздание сил агрессии является фундаментом внешней политики Советского Союза, который стал главной опорой мира на земле. Именно нашей стране и ее союзникам выпала эта высокая и благородная историческая миссия.

Твердую решимость Советского Союза сделать все что в его силах для упрочения мира недавно подтвердил Леонид Ильич Брежнев, отвечая на письмо австралийской организации, выступающей за международное сотрудничество и разоружение. «Мы готовы рассмотреть все предложения другой стороны по разоружению,— заявил руководитель нашей страны.— Могу вас заверить, что мы тщательно изучаем позиции и предложения другой стороны и никогда не отвергаем их с порога». Деловая, конструктивная позиция СССР в жизненно важных проблемах разоружения придает новый импульс всем борцам за мир на планете. «...Мы исходим из уверенности,— пишет Леонид Ильич Брежнев,— что разум восторжествует и в конечном счете ядерная катастрофа будет предотвращена. Добиться этого нельзя лишь односторонними усилиями, требуются активные действия всех стран и народов мира». Наша партия, наше государство, весь наш народ верны ленинскому идеалу мира.

«Не подготовка к войне, обрекающая народы на бессмысленную растрату своих материальных и духовных богатств,— заявил с трибуны XXVI съезда КПСС Леонид Ильич Брежнев,— а упрочение мира — вот путеводная нить в завтрашний день».

◆

Публицистика

ЗАПАД: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ГАРРИ МАУРЕР

БЕЗ РАБОТЫ

ИСТОРИЯ БЕЗРАБОТНЫХ — ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Вместо предисловия

«Когда все больше людей увольняют с работы, возникает безработица» — эта фраза, произнесенная в середине 20-х годов, принадлежит американскому президенту Калвину Кулиджу. Оставивший после себя афоризм «Дело Америки — это бизнес», Кулидж, видимо, не предполагал, что всего через несколько лет после его президентства, в начале 30-х годов, разразится такая безработица, которой еще не знавала американская история. «Самодовольная Америка», как ее назвал Синклер Льюис, была ошеломлена. Знаменитый фильм Чарли Чаплина «Огни большого города» (1931) открывался символической сценой: между двумя фигурами помпезного монумента Силы и Закона у подножья статуи Процветания примостился несчастный бродяжка Чарли. Это была грустная и в то же время многозначительная аллегория: в Америке наступили «новые времена». «Великая депрессия», оставившая без работы миллионы людей, казалось, мгновенно развеяла мечты о нескончаемой эре процветания и благоденствия в Соединенных Штатах, рассеяла мираж, который виделся тогда многим американцам.

В сегодняшней Америке все чаще и чаще вспоминают печальные 30-е годы. В своем выступлении в феврале 1981 года президент Рональд Рейган признал, что миллионы американцев оказались «в трагическом и унизительном положении безработных». Если бы выстроить всех этих безработных в одну цепочку, сказал президент, она протянулась бы через всю Америку. Возникающие ночью у ворот предприятий палаточные городки, длинные очереди на бирже труда, плакаты в руках: «Согласен на любую работу» — все это невольно вызывает ассоциации с хрестоматийными страницами из произведений Т. Драйзера, Ш. Андерсона, М. Голда, Дж. Стейнбека — писателей, ярко запечатлевших страдания американцев, застигнутых безработицей, нищетой, голодом в 30-е годы.

Девять миллионов безработных — почти столько их было во времена «великой депрессии» — зарегистрировано на американских биржах труда в предновогодние дни 1982 года. Как признала газета «Уолл-стрит джорнэл», официальные подсчеты по меньшей мере вдвое преуменьшают истинные показатели. «Многие американцы,— указывает газета,— отчаялись найти работу и потому не регистрируются на биржах труда». По данным американской профсоюзной печати с 1959 года по настоящее время в стране ежегодно без работы примерно в три-четыре раза больше людей, чем официально об этом объявляют.

С полным основанием можно утверждать, что в последние годы социально-экономическое положение американских трудящихся заметно ухудшилось — снижается реальная заработная плата, увеличивается слой низкооплачиваемых категорий наемных работников; города, производство, окружающая среда, наконец, переживают кризис — и все это на фоне резкого расширения масштабов полной и частичной безработицы. Нынешняя социально-экономическая и политическая обстановка в США соответствует лаконичному высказыванию из пьесы М. Конноли «Зеленые пастбища»: «Все, что некогда было стабильно, разваливается».

ГАРРИ МАУРЕР — HARRY MAURER.
Американский журналист, социолог. Книга «Без работы. История безработных — из первых уст» («Not Working. An Oral History of the Unemployed». New York, Holt, Rinehart and Winston), фрагменты которой публикуются, вышла в 1979 году.

Обветшалая экономическая формула бескомпромиссного индивидуализма, которую ныне восхваляет Рональд Рейган, как если бы американцы все еще жили во времена Герберта Спенсера[1], обнаруживает всю свою зыбкость и ненадежность.

Массовая, хроническая, застойная, растущая — такими определениями наделяют сейчас безработицу в США. Больнее всего она задела ключевые отрасли промышленности: металлургическую, автомобильную, химическую, электротехническую, обрабатывающую... Неудивительно, что большинство городов, в которых уровень безработицы значительно превышает средний по стране, находится в крупных индустриальных штатах северо-востока страны. Например, в Мичигане таких городов насчитывается семь. Есть и города наподобие Флинта, где безработные составляют более 15% трудоспособного населения, а это почти в 2 раза больше среднего общенационального показателя.

Без работы в наши дни остаются не только пожилые люди и представители национальных меньшинств. Тяжелый бич безработицы в полной мере обрушился и на молодежь. Вот уже более 20 лет процент безработных среди молодых людей Америки такой же, каким он был в годы «великой депрессии».

В американской печати опубликованы данные исследований министерства труда, из которых явствует, что почти каждый пятый молодой американец не имеет работы. Особенно велик уровень безработицы среди негритянской молодежи — около 40%, а по некоторым другим данным — более 50%. Известно, что черному юноше отказывают при найме в три раза чаще, чем белому. В таком же положении находятся пуэрториканцы, мексиканцы, американские индейцы и другие национальные меньшинства.

И еще одна характерная черта. В прошлом безработица возникала лишь в периоды экономических кризисов, теперь превратилась в явление постоянное. Кроме того, удлинились сроки пребывания в рядах «лишних людей». В течение последних тридцати лет в среднем 7,3% рабочей силы США не имели возможности трудиться.

Американский журналист, бывший председатель общественной организации «Американский комитет по банкротствам» Джон Словичек недавно писал: «Наши социально-экономические условия и правовая система фактически превращают рабочих и служащих в «рабов» или же в «живой инвентарь...». Существующие законы наделяют предпринимателей правом, которое можно назвать феодальным: продавать, менять или даже проигрывать свои предприятия вместе с людьми, работающими на них».

Яркой иллюстрацией отсталости Америки в социально-правовом отношении является тот факт, что в стране нет законов, гарантирующих постоянную работу. В то же время владелец компании, если на его предприятии нет профсоюза (а в США профсоюзами охвачено не более четверти трудового населения), может безнаказанно увольнять, запугивать или унижать рабочего или служащего, создавать невыносимые условия, вынуждая его «добровольно» уйти с работы. Последнее часто используется предпринимателями для того, чтобы выжитый таким образом с работы человек не мог претендовать на компенсацию по безработице. Один владелец компании по обработке фотопленки цинично заявил: «Это моя компания, и при желании я могу нанимать и увольнять своих работников так же свободно, как мог бы продавать и покупать скот».

Трудно в капиталистическом мире найти промышленно развитую страну с менее надежной гарантией занятости, чем Соединенные Штаты. Об этом недавно писала газета «Сан-Франциско кроникл» в статье «Почему вас уволили с работы?». На вопрос, вынесенный в заголовок, типичными ответами были: «болезнь» и «беременность»; впрочем, встречались и неординарные ответы, типа «жена босса меня ревновала» и т. п.

Массовые увольнения в США стали обычным делом. В конце 1981 года на заводах компании «Юнайтед Стейтс стил» повестки об увольнении были розданы 17 тысячам рабочих; владельцы компании «Бетлехем стил» избавились от 6,5 тысячи трудящихся. Таких примеров немало. Известная американская журналистка Сильвия Портер в статье «Страшные слова: вы уволены» пишет: «Нужно понять одну простую вещь: независимо от стажа работы или положения на предприятии вы можете быть уволены в любой момент и по любому поводу».

Высказывание С. Портер подтверждают многие факты. За последние шесть-семь лет компании-миллионеры «Пенн сентрал», «Дюпон уол стон», «РЕА-экспресс», «Крайслер», «Богани» и многие другие ликвидировали тысячи рабочих мест. Поводом для увольнения становятся любые высказывания о более высоких окладах, лучших условиях труда или сокращении объема работы, не говоря уже об открытом несогласии с политическими взглядами своих боссов. Интерес же к идеям марксизма, а тем более принадлежность к компартии, влечет за собой не только увольнение, но и автоматическое занесение в «черные списки».

В буржуазной печати не редкость встретить утверждения, будто расширение объема военного производства увеличивает занятость. Прозвучала такая мысль и у одного из собеседников Гарри Маурера, с чьей книгой во фрагментах познакомятся читатели этой публикации. Сам же он от этой мысли в итоге отказывается.

Помимо цинизма самого этого демагогического посыла, его опровергают даже реальные фактические выкладки. Известный американский экономист В. Леонтьев сде-

[1] Герберт Спенсер — английский философ и социолог XIX в.; его работы пользовались большой популярностью в США «Высшими проявлениями человеческого опыта» Спенсер считал «индивидуализм, частную собственность, закон накопления богатства и закон свободной конкуренции».

лал такой подсчет: сокращение ассигнований Пентагону на 8 млрд. долларов привело бы к потере 254 тысяч рабочих мест. Если бы использовать эту же самую сумму в гражданском секторе, можно было бы обеспечить работой 542 тысячи человек. Арифметика проста: результатом перераспределения средств оказалось бы уменьшение числа безработных в США на 288 тысяч.

В маленькой книжке под названием «Великая депрессия» в свое время была собрана коллекция вырезок из различных американских газет, рассказывающих трагическую историю многих человеческих судеб того времени. Нечто подобное можно было бы сделать и в наши дни. На страницах общеполитической и профсоюзной печати встречается немало живых свидетельств бедственного положения различных слоев американского общества. И все же статистика, как бы она ни была мрачна, является лишь бледным отражением человеческого горя и страдания, выпавшего на долю безработных и их семей.

В Айонии (штат Мичиган), например, проблемы города резко обострились после того, как компания «Крайслер» закрыла там свой завод в конце 1979 года. «Один человек у нас покончил с собой, другой пытался сделать это, у троих произошло психическое расстройство, несколько пар развелись, очень многие запили с горя»,— говорит 41-летняя безработная, ранее работавшая на автомобильном заводе. Психические заболевания, самоубийства, болезни сердца, алкоголизм, семейные ссоры, разводы — все эти и многие другие явления — неизбежные спутники безработицы. К таким выводам приходят многие американские социологи, врачи, юристы. По оценкам Харви Бреннера, ведущего исследователя из университета им. Джона Гопкинса, каждый скачок безработицы на 1% предвещает, что в следующие семь лет ее жертвами станут еще 37 тысяч человек. «Воздействие отнюдь не ограничивается человеком, оставшимся без работы,— указывает Бреннер.— Стресс, вызванный экономическими факторами, влияет на все аспекты нашей жизни». Даже уровень рождаемости, считает исследователь, падает в период кризисов.

«Я теперь убежден, что безработица — это смертельная болезнь в нашей стране»,— отмечает Томас Коттл, преподаватель медицинского факультета Гарвардского университета. Его специальная тема — влияние безработицы на семью. Администратор Управления по вопросам алкоголизма, наркомании и психического здоровья Джеральд Клерман замечает: «Существует эффект брошенного в воду камня, волны от которого расходятся по всей стране,— ощущение страха, бессонница, алкоголизм, неврозы...»

Для многих американцев работа — это нечто большее чем просто доход. «Когда не имеешь работы,— говорит безработный из Айонии (штат Мичиган), кажется, что умираешь. Полностью исчезают все жизненные стимулы».

Многие безработные сегодняшней Америки говорят о чувстве безнадежности, которое они испытывают, когда сталкиваются с неудачей в поисках работы. Исследования министерства труда свидетельствуют о том, что 45% всех безработных в конце концов покидают рынок рабочей силы. «С этого начинается полоса отчуждения»,— считает Бреннер. Дополнительный стресс создают и многочисленные переезды, которые совершают безработные из города в город, из штата в штат в поисках работы. По словам того же Бреннера, безработица, как «зараза», оказывает отрицательное воздействие на все общество. Другой исследователь, Элиот Лейбоу из Национального института психиатрии, отмечает, что «статистика безработицы скрывает колоссальные потрясения, которые происходят в жизни людей».

Что же касается нынешней администрации США, то она не только не предпринимает сколько-нибудь действенных мер для борьбы с безработицей, наоборот, ее политика ведет к дальнейшему обострению проблемы занятости. Нынешний конгресс уже сократил федеральные социальные ассигнования на 35 млрд. долларов. Такие важные социальные программы, как пособия по безработице, переподготовке безработных, медицинское обслуживание, помощь многодетным семьям и многие другие, попали под удар правительства.

Наступление капитала на жизненные интересы и права трудящихся вызвало массовое движение протеста. Беспрецедентная в послевоенной истории США манифестация, приуроченная ко Дню солидарности — 19 сентября 1981 года, вновь заставила вспомнить походы безработных и обездоленных периода «грозовых тридцатых». Все, кто участвовал в походе на Вашингтон — а их было около полумиллиона,— ощутили тот возвышенный пафос солидарности, о котором некогда писал американский литературный критик Малькольм Каули: «В это время говорили не «я», а «мы», не «мое», а «наше»...

Сентябрьский марш 1981 года имел весьма характерную черту, делавшую его непохожим на все предшествующие. Подчеркивая особенность этой манифестации, орган Компартии США журнал «Политикл афферс» писал: «Это был первый массовый марш, во главе которого стояли объединенные силы всего рабочего движения в союзе с крупными отрядами демократического движения в нашей стране». Манифестация 19 сентября, ставшая знаменательным явлением в жизни Соединенных Штатов, ярко продемонстрировала растущее единство различных слоев американского общества, объединяющихся на борьбу против безработицы, сокращения расходов на социальные нужды, против усиления гонки вооружений.

Книга Гарри Маурера «Без работы» представляет собой собрание интервью, взятых автором у американских безработных в конце 70-х годов. В поисках материа-

лов для этой книги Гарри Маурер исколесил всю территорию Соединенных Штатов, проехав в общей сложности 12 тысяч миль. Он провел беседы с сотнями людей, лишившихся работы.

По подходу к материалу, способу его отбора, компоновки и подачи эта книга продолжает традиции «магнитофонной» журналистики, так ярко заявившей о себе в книгах Стадса Теркела [1]. Книгу Маурера можно рассматривать как своего рода необходимое дополнение к картине американской действительности, встающей со страниц недавнего бестселлера Стадса Теркела. Благодаря Мауреру мы можем услышать сегодня голос безработной Америки — бедствующей десятой части самодеятельного населения страны.

То обстоятельство, что по просьбе большинства опрошенных, не хотевших, чтобы их злоключения и переживания стали известны соседям, коллегам и родственникам, Маурер изменил имена, а в ряде случаев названия компаний и городов, не умаляет документальной подлинности его материалов.

Как указывает сам автор в предисловии, его книга отличается от множества других книг о безработице тем, что в ней главное не цифры, а живые люди. Люди разного общественного положения, разного достатка, разного уровня образования, разного цвета кожи и разного возраста, которых роднит одно горькое чувство: они ощущают себя жертвами преступления. У них отнята работа, которая была для них не только источником средств к существованию, но и важнейшей человеческой потребностью.

Свои интервью с безработными Маурер распределил по тематическим разделам: как людей увольняют с работы, что они при этом чувствуют; как переносят унизительное состояние вынужденного ничегонеделания; как ухитряются сводить концы с концами; как занимаются поисками работы, и т. д. и т. п. Всего в книге восемь таких разделов, в которых помещены монологи более пятидесяти его собеседников. Подборка весьма представительна: мужчины и женщины; белые и черные американцы; выходцы из Мексики, Ганы, Ливана и Чили; бывшие работники издательств и промышленных фирм и бывшие продавщицы, рабочие с конвейера, заправщики с бензоколонок; люди с учеными степенями и люди с незаконченным средним образованием, двадцатилетние и шестидесятилетние.

Рассказывая о своих бедах и мытарствах, собеседники Маурера воссоздают своего рода панораму американской действительности; перед глазами читателя проходят разные жизни, разные судьбы, разные человеческие миры, разные взгляды на общество, на причины своего бедственного положения. В рассказах-исповедях этих людей, говорящих живым, сочным и индивидуально-своеобразным языком, раскрываются их характеры, психологическое состояние, душевный настрой. Взятое вместе, это придает документально-публицистической книге Маурера и определенное художественное звучание.

М. ЛАПИЦКИЙ

[1] Читатели «Иностранной литературы» знакомы с фрагментами книг «Улица Разделения: Америка» и «Работа». См. «ИЛ», 1969, № 8, 9; 1976, № 1.

ОТ АВТОРА

Предлагаемая вниманию читателей книга — о безработных. Только в отличие от большинства книг, посвященных этой теме, она имеет дело не с цифрами, а с живыми людьми. Более того, именно они по существу являются ее авторами: ведь ее содержание составляют их рассказы-исповеди. Это книга о секретаршах, строителях, биржевых маклерах, учителях, сварщиках, инженерах, водителях автофургонов — об их мыслях, чувствах, об их жизни. О политике и экономике, конечно, речь тут тоже идет, но не в тех абстрактно-статистических категориях, которыми принято оперировать при анализе безработицы а исходя из личного опыта. В этой книге люди раскрывают конкретную повседневную сущность безработицы, повествуя, как они изо дня в день прочесывают город в поисках работы; каким ударом может стать получение «розового листка» — уведомления об увольнении; как они корпят над бесконечными «резюме» — краткими автобиографиями для потенциальных работодателей; как стараются добиться «интервью» — попасть на прием в отдел кадров фирмы, где есть вакантное место; как воруют арбузы с бахчей и как кончают жизнь самоубийством; как проклинают всевышнего и молят его о том, чтобы им хватило сил оправиться после болезни.

Для многих героев этой книги собственное жилье превратилось в тюрьму без решеток, но есть и такие, кто радуется избавлению от каторжной работы. Одних годы вынужденного безделья сломили, другие же отыскали в себе резервы душевных сил, которые дают им возможность продержаться и даже — в известном смысле — чувствовать себя победителями. Короче, мужчины и женщины, говорящие со страниц этой книги, очень разные, непохожие друг на друга. Однако все они испытывают общее чувство, иногда оно выражается определенно и резко, иногда менее определенно, иногда, если их мысли еще не вызрели в сознании, в виде смутной тревоги, которая звучит в их речах. Чувство это можно обозначить так: по отношению к ним совершено преступление.

У людей, потерявших работу, отнято нечто самое существенное — они ощущают себя ограбленными. Растерянность, столь часто звучащая в их словах, сродни рас-

© Harry Maurer, 1979.

терянности человека, который, придя домой, обнаруживает, что в его квартире все перерыто, а ценные и дорогие ему вещи исчезли. Когда рабочего человека лишают работы, он испытывает такое же ошеломляющее потрясение: чувствует, что над ним совершено насилие, надругательство над его личностью. он испытывает страх, беспомощность, ощущение полного краха. Притом ощущение краха здесь несравнимо острее, ибо труд, как наглядно свидетельствует тоска по нему у безработных, по-прежнему остается основной потребностью человека — и это несмотря на то, что в сегодняшнем мире он приобретает все более изнуряющий характер. Работа дает человеку не только средства к существованию, но и важное сознание собственной причастности к людям, общности с ними..

Просматривая материалы для этой книги, которые собирал два года, проехав за это время двенадцать тысяч миль и побеседовав с сотнями людей во всех уголках США, я обнаружил, что привнес в них свое особое отношение к безработным. Я стремился измерить ущерб, причиняемый людям безработицей, но оценивал его под углом зрения способности — или неспособности — людей справиться с ее последствиями. Меня интересовало, почему некоторые мужчины и женщины, лишившись работы, впадают в отчаяние, начинают пить и даже кончают с собой, тогда как другие, не теряя способности сопротивляться, перестраивают свою жизнь и выходят из испытания еще более закаленными. Почему одни семьи распадаются, не выдержав бремени трудностей, тогда как другие сплачиваются. Вопросы эти так и остались без ответа, однако, по мере того как я обращался со своими вопросами все к новым и новым собеседникам, во мне копилось возмущение, подсказывавшее, что избранный мной подход ошибочен. Во-первых, психологические мотивы той или иной реакции человека на обрушившуюся беду так глубоко скрыты в тайниках его души, что их невозможно выявить в двухчасовой беседе. Во-вторых, рассматривая безработицу как своего рода состязание, в котором налицо победители и побежденные, я отдавал дань типично американской тенденции — прежде всего возлагать вину на пострадавшего. Спору нет у разных людей различен и запас мужества, оптимизма, веры в себя, изобретательности. Но суть дела совсем не в этом. Суть в том, что в наше время н и к о г о — ни слабого, ни сильного — нельзя безнаказанно подвергать испытанию вынужденным бездельем. И речь здесь идет не о личной несостоятельности, а о несостоятельности коллективной. О нашей неспособности позаботиться о ближнем.

Почему мы миримся с тем фактом, что каждый десятый американский трудящийся полностью или частично безработный? Ответ непрост и связан с нашими глубоко укоренившимися историческими и культурными традициями. Но решающую роль играет здесь идеологическая установка. Всякому, кто учился в американской школе, кто смотрит телевизор или читает газеты, знакома следующая доктрина. В условиях системы «свободного предпринимательства» каждому воздается по заслугам. Способные, честолюбивые и работящие, естественно, идут в гору, тогда как менее достойные опускаются на дно. Преодоление трудностей не только возможно, но и необходимо для проверки человека. Следовательно, безработные — это никчемные и ленивые субъекты, которые на самом деле не хотят трудиться.

Подобный взгляд утвердился с самого рождения капитализма. Смысл его оставался всегда одним и тем же — заставить рабочих мириться с тяжелой, нудной и низкооплачиваемой работой, поддерживать в них надежду на жизненный успех, играя на их страхе скатиться вниз, в презираемый низший класс людей, живущих на пособие. Предприниматели, которые самым прямым образом заинтересованы в дешевой и послушной рабочей силе, всегда были самыми рьяными проповедниками крайнего индивидуализма. Средствам массовой информации остается задача постоянной «оркестровки» этих мотивов — например, сообщая о «жульничестве» лиц, получающих пособия по бедности и безработице. Эти сообщения, в которых бедняки представляются шайкой воров, одновременно маскируют тот прискорбный факт, что пособия не обеспечивают мало-мальски сносного уровня жизни.

Признав необходимость программы социального обеспечения, наша страна не сделала еще одного шага вперед, каким явилось бы обеспечение каждому ее гражданину права на труд, столь же важного, как свободы слова, печати, вероисповедания, собраний и т. д.

Даже скромный, беззубый законопроект вроде так называемого «билля Хэмфри-Хокинса», призывающего правительство постепенно понизить безработицу до уровня трех процентов, едва не был провален в конгрессе главным образом потому, что деловые круги встречают в штыки всякое упоминание о полной занятости. Их возражения хорошо известны: они выдвигались еще против программ «нового курса» Ф. Д. Рузвельта. Во-первых, полная занятость-де практически неосуществима, если не сказать невозможна: во-вторых, она погубила бы капитализм и вместе с ним наши права и свободы. Первый довод основывается на представлении, что полная занятость привела бы к гибельной инфляции. Многочисленные специалисты — не говоря уже об опыте других стран — оспаривают правильность этой посылки, равно как и лежащей в ее основе идеи, будто инфляцию вызывает рост заработной платы. Ну, а второй довод вообще нельзя принимать всерьез, поскольку на протяжении последних полутора столетий истерические предупреждения об опасности, якобы угрожающей «свободному предпринимательству», пускались в ход с целью воспрепятствовать принятию каждого важного предложения в области социального обеспечения, начиная от запрета на применение детского труда и кончая разрешением создавать профсоюзы. Что же касается мнимой угрозы нашим свободам, то реально речь могла бы идти разве лишь о свободе предпринимателей нанимать и

увольнять людей по собственному усмотрению, срывать начинания профессиональных союзов да платить трудящимся низкую зарплату — свободе, которой они широко пользуются благодаря массовой безработице.

Значительное большинство героев этой книги — вовсе не политические борцы. Они хотят отстоять свое право выжить, не опуститься, сохранить достоинство. Удержаться от пьянства, не срывать зло на жене, заставить себя с утра погрузиться в изучение объявлений о приеме на работу в газете — вот круг их повседневных забот. Даже их праведный гнев, который при иных обстоятельствах мог бы толкнуть их на поиски взаимопонимания, к совместным действиям, не ведет никуда. «Что толку сердиться? — говорит, например, Джимми Грин.— Сколько ни сердись, этим ничего не добьешься. Как бы ты ни злился на то, что тебя сделали безработным, никого это не заставит вскочить и предложить тебе работу. К тебе отнесутся лучше, если ты будешь улыбаться и держаться приветливо».

Так что в позиции их явно недостает глубокого осознания истинных причин общей беды и того, как можно было бы изменить это положение. По всей вероятности, подобные настроения не получали широкого распространения в стране со времен кризиса конца двадцатых — начала тридцатых годов. Реформы рузвельтовского «нового курса», в определенной мере облегчившие условия жизни безработных, до этого совершенно отчаянные, безусловно в какой-то мере притупили остроту подобных настроений. Сегодня вместо человеческой общности мы наблюдаем людей-одиночек, их гнев и ощущение, что с ними обошлись несправедливо, растерянные попытки понять, какой именно удел отводит им бесчеловечная система.

Вот почему мои беседы с большей частью безработных, чьи истории попали в эту книгу, оставили у меня — при всем моем восхищении их исключительной стойкостью и жизненной силой — довольно грустный осадок. Они держатся стойко, во многих случаях это упорство великолепно. Но оно куплено дорогой ценой. Расплачиваются за него чувством оторванности от людей, бессилия и неуверенности. Впрочем, не все выбирают этот путь. Возьмем Дирка Робинсона. Он целый год ждет решения арбитра по трудовым вопросам, надеясь снова вернуться на свое рабочее место, откуда был уволен. Другой работы он найти не может, потому что его имя внесено предпринимателями всей округи в «черные списки». По его словам, он потерял все — жену, детей, друзей, дом, сбережения. И все же, говориг он, «я хотел бы вернуться на прежнее место. Хотя я страшно возмущен компанией, моя работа мне нравилась. Если я вернусь туда, то вернусь победителем. Я буду сознавать, что стоял до конца и выиграл. Раз люди увидят, что я не сдался, несмотря на развод и прочие беды, и вернулся победителем, может быть, это придаст кое-кому смелости». Это — не голос человека, который все потерял. Дирк Робинсон знает, что сделанный им выбор имеет социальный смысл: борьба, которую он ведет, немало значит для других мужчин и женщин. Это знание повышает чувство его собственного достоинства, помогая преодолевать горечь лишений и утрат.

ВЫ УВОЛЕНЫ

«Очень жаль, но...»

Для многих весь последующий опыт жизни в качестве безработного определяется ее самым первым жестоким, травмирующим моментом — увольнением. Сплошь и рядом удар обрушивается без предупреждения, после долгих лет беспорочной службы.

Грейс Китон

Миниатюрная женщина с живым лицом, ей еще нет сорока. Она разведена с мужем и имеет дочь, которая учится в колледже. До увольнения Грейс Китон около пятнадцати лет работала в книжных издательствах.

Работать в издательстве я стала в 1961 году. Как раз тогда началась эра слияния и создания концернов, в связи с чем книгоиздательское дело оказалось к концу 60-х годов любимым детищем Уолл-стрита. Оно оживилось. Кое-где руководство перешло из рук старых рутинеров к интеллектуалам, кое-где — к напористым дельцам. Во многих отношениях это обещало перемены. Можно было надеяться, что воздух в издательствах станет чище...

Поначалу я недолго занималась информацией и рекламой в издательстве, выпускающем книги в твердых переплетах, потом перешла в фирму, специализирующуюся на дешевых массовых изданиях. Там проработала двенадцать лет. Срок солидный. Благодаря усердному труду, старательному изучению своего ремесла и т. д. и т. п. постепенно продвигалась по служебной лестнице, покуда не заняла хорошую и интересную должность. Вот здесь я начала ощущать на себе давление корпорации. Оно оказывалось на меня через начальника и начальника моего начальника. Оно выражалось в требованиях повышать доход, сокращать расходы, проверять работу сотрудников, периодически производить сокращения штатов. На меня жали все сильнее, заставляя решать сложные задачи коммерческого предприятия; обстановка становилась все напряженней, а сама работа — все менее привлекательной. Но из-за жалованья я не могла уйти оттуда. Мне нужно было зарабатывать на жизнь себе и ребенку. Очень трудно отказаться от работы, к которой привык. Хотя теперь-то я вижу, насколько напряженной была она в последние годы. Тогда я не вполне это сознавала.

В компанию, владеющую контрольным пакетом акций моего издательства, входят самые разные предприятия. Она покупает и продает недвижимость. Имеет свои теле- и радиостанции. Владеет рядом фирм, специализирующихся на уходе за зелеными насаждениями, ссудным банком, золотыми

приисками, грейпфрутовыми плантациями в Калифорнии и еще бог весть чем. Служить в ней — все равно что работать в какой-нибудь «Дженерал моторс», не находясь под защитой профсоюза. Из тебя выжимают все соки. Притом корпорация покупала все новые и новые фирмы, продолжая свою безоглядную экспансию. К нам она предъявляла такие же жесткие требования, как если бы мы были не издательством, а отделением «Дженерал моторс» или «ИТТ». В сущности, у нас-то, наверное, гонка была еще почище. Ведь в издательском деле каждый продукт по-своему уникален. Это вам не серийные «форды»!

Что послужило причиной вашего увольнения?

Никакой причины не было. Гром грянул среди ясного неба. Правда, за несколько дней до этого мне вдруг стало чудиться, что происходит что-то неладное, пугающее. Не могу даже объяснить, что именно. Скажем, вижу двух сотрудников там, где обычно их вместе не увидишь. Или еще что-нибудь в этом роде. Но вот мой начальник вызывает меня на 10.30 утра в свой кабинет. Вхожу с кипой бумаг и спрашиваю: «Вы хотели начать с этого контракта?» «Нет.— отвечает он,— я хочу начать с того, что больше вы не работаете в этой компании». В компании, которой я верой и правдой служила двенадцать лет. Почему я не умерла — сама не знаю...

Это был самый страшный удар в моей жизни. Я пережила развод. За несколько месяцев до увольнения я похоронила отца. И по причине своего характера, и в силу обстоятельств испытала на своем веку достаточно нервных потрясений, но никогда не переживала ничего подобного. Никогда. И вот что интересно — еще долго после этого я у каждого собеседника первым делом спрашивала: «Вас когда-нибудь увольняли?» Ведь мне казалось, что тот, кто сам не прошел через это, просто меня не поймет. Мучила мысль: какой же, выходит, никудышной я выглядела в глазах компании, раз она решила меня уволить! Наверное, в действительности я гораздо хуже. Может, дрянней меня нет во всем мире. И как мне на свете жить-то не стыдно! Когда вас увольняют, это не просто отнимает у вас веру в себя. Это уничтожает вас, стирает с лица земли.

Удивительно, что люди, уволенные в связи с закрытием отдела или предприятия, рассказывали мне, что испытывали такое же чувство. Все говорили об одном и том же. Чем-то нас невероятно ранит сам факт увольнения... Видимо, в нашем отношении к труду присутствует надежда, что, раз ты работаешь хорошо, тебя ожидает вознаграждение. В хорошей работе есть, если воспользоваться старомодным словечком, что-то здоровое. И где-где, а уж здесь должна быть справедливость. «Хорошие люди всегда получат работу». Сколько раз слышали вы эту сентенцию? Так вот, враки это, чушь. Все не так. Но мы все же верим этому... Вот почему увольнение причиняет такую травму. Я до сих пор от нее не оправилась...

Короче говоря, я была вне себя от ярости. Просто кипела. Негодовала, что меня обманули, предали. Прямо-таки взрыв эмоций. Возмущение предательством. Тоска. Потрясение. Наверное, здесь есть что-то общее с неотвратимостью смерти. Мне не приходилось сталкиваться с внезапной смертью: мой покойный отец — ему было почти восемьдесят семь лет — не болел, он просто угас. И еще одного близкого человека я потеряла. После их смерти я почти явственно ощущала что-то вроде катарсиса — процесс утешения, освобождения от напряжения. А вот после увольнения я не испытала ничего подобного. Может быть потому, что смерть реальнее, чем увольнение. Так или иначе, с тех пор я плохо сплю. Чуть ли не каждую ночь просыпаюсь в ужасные предутренние часы — в четыре, в пять — и в каком-то кошмарном полусне думаю о том, как меня уволили или кому же я этим обязана. Думаю, как это жестоко. Пожалуй, это больше похоже на изнасилование, чем на убийство. Над тобой совершают грубое надругательство, и ты беспомощна. Это ужасно!

ЖИЗНЬ БЕЗРАБОТНОГО

«Можно сказать, узнал, почем фунт лиха».

За долгие месяцы без работы люди меняются. Возрастает или слабеет их уверенность в себе, другими становятся жизненные цели; они открывают в своих характерах стороны, о которых раньше не подозревали. Их отношение к работе, обществу и жизни претерпевает изменения. В этой главе люди рассказывают о такого рода переменах.

Джим Хьюз

Зеленый дом на окраине небольшого городка в штате Индиана. С трех сторон — кукурузные поля, с четвертой — шоссе, проходящее так близко, что шум проносящихся мимо машин мешает говорить. Знойный июльский день. Джим — он без рубашки — встречает меня в дверях. Это тридцатилетний мужчина с брюшком, с длинной рыжеватой шевелюрой и отвислыми усами. Если не считать тех лет, что он прослужил в морской пехоте, Джим всегда жил в этих краях, не дальше десятка миль от этого дома. По профессии он сварщик. Вечерами учится на курсах рентгенологов-техников. «В августе будущего года заканчиваю курсы. Может, пойду учиться дальше, но только вряд ли. Думаю, что и так смогу найти работу».

Он беспрерывно курит. Его жена время от времени отрывается от домашних дел и, подсев к нам, слушает. Из кухни выглядывает их пятилетняя дочка.

Джим Хьюз считает себя «консервативным республиканцем», сторонником Рейгана. Впрочем, отмечает он, «я невысокого мнения о политиках. Они не заметили, что надвигается экономический спад, и палец о палец не ударили для того, чтобы его предотвратить. Но мое увольнение они все равно бы не предотвратили. В моем увольнении общество не виновато...»

Вся каша заварилась после того, как меня несправедливо уволили. До апреля прошлого года я работал на станкоинструментальном заводе. И вот мастер неизвестно почему — между прочим, это не только мое личное мнение, поскольку у многих ребят, работавших со мной, сложилось точь-в-точь такое же впечатление — стал цепляться ко мне и, наконец, уволил. Вскоре у них там началось большое сокращение производства. Выходит, им было выгодно выбросить на улицу как можно больше народу. Так что, по-моему, тут обе причины сыграли свою роль: и то, что он невзлюбил меня, и то, что его заставляли избавляться от людей. Сам-то я ни в чем не виноват.

Понятно, меня это порядком взбесило: никогда раньше со мной так не поступали. Я был уверен, что вкалываю дай бог каждому. Работа у меня кипела. Но он только и твердил: давай нажимай, жми крепче! В тот день, когда он выставил меня за ворота, я выдал раза в три больше, чем положено. И все-таки он уволил меня как несправляющегося с работой. Каждую мелочь припомнил: и правила стоянки автомашин я как-то нарушил, и на работу опаздывал... Помню, было три случая, когда я заранее его предупреждал, что вынужден буду прийти на работу позже — жилье приобретал. Но он все равно воспользовался этим предлогом. Наверное, им все-таки двигала личная неприязнь. Работа там мне нравилась. И люди, с которыми работал, тоже. Местом я дорожил, терять его не хотел.

Ладно, иду в бюро по делам безработных. Нельзя сказать, чтобы это не задевало моего самолюбия. Очень даже задевало. Мне вовсе не хотелось туда идти, но я понимал, что другого выхода нет. Хоть выбить из них все, что мне причитается. Хоть как-то им отомстить. Но пусть я и платил налог на социальное страхование, мне было не по душе идти в это бюро. Наверное, так уж я воспитан. Обеспечивай себя сам. Каждый обязан сам о себе заботиться. Никому ничего даром не дается. Вот каких взглядов я держался. Да и теперь еще держусь. Но гордость свою мне пришлось обуздать.

Когда я обратился в бюро за пособием, мне поначалу отказали. Пришлось нанимать адвоката, давать показания, вызывать свидетелей. Уволили меня в апреле, и только в декабре дело решилось в мою пользу: признали-таки, что я был уволен без законного основания. А все это время я, естественно, не получал пособия по безработице. Только пособие по бедности.

Так что горя мы хватили. На первых порах я, конечно, каждый божий день пытался найти работу, но наступил экономический спад, и ее попросту не было. Нигде. Мало-помалу финансы мои таяли, и вот уже лишь раз-другой в неделю я мог позволить себе сесть в машину и отправиться на поиски работы. Затем стал выезжать еще реже — раза два в месяц. Не было денег на бензин. По счетам я должен был платить около 400 долларов в месяц. До увольнения я зарабатывал 600 долларов, а теперь не получал ни цента. Мне удалось немного отложить на черный день, самую малость, но на первое время хватило. Месяца на два. А потом сбережения кончились.

И вот денег осталось — кот наплакал. Прикидываю, что еще недели две-три — и цента не останется. Делать нечего, иду в бюро помощи неимущим. Вот где уж действительно пришлось смирить свою гордость! Никогда не забуду, как первый раз пришел туда, хотя и пытаюсь выбросить из памяти тот веселенький денек: ведь тебя там буквально втаптывают в грязь. Ни в грош не ставят. Им на тебя наплевать. Во всяком случае, мне так показалось. Сиди и жди. Ну, хорошо, иногда приходится и подождать... Но сидеть и ждать попусту! Они так и норовят выставить тебя за дверь, ничего толком не объяснив. По-моему,— это мое личное впечатление — они там вовсе не горят желанием помогать людям, хотя это им по штату положено. Ведь их работа — помогать людям, верно? Так вот, мне показалось, что они плохо делают свое дело. Кажется, даже просто хотят от тебя избавиться. И смотрят сверху вниз, как на букашку какую-то. Идти туда снова — прямо пытка, но понимаю, что деваться некуда. И вот назавтра мне сообщают, что, раз меня уволили, я не имею права ни на какие пособия в течение ближайших тридцати дней. Поэтому мне пришлось ждать еще месяц, прежде чем 30 июля я получил первый денежный чек. С апреля по июль — ниоткуда ни цента. Затем пособие по бедности стали платить.

Невыносим сам факт, что работы у тебя нет и ты вынужден сидеть дома без средств к жизни. Нет денег, чтобы заправить машину и поехать искать работу. Предприятия коммунального хозяйства грозятся отключить у тебя электричество и телефон. То и дело перестает работать отопление: кончается топливо. Телефон у меня отключили-таки, но я всегда ухитрялся перехватить взаймы несколько долларов, чтобы уплатить за электричество и не дать им вырубить ток. В среднем за электричество у нас набегает долларов 36 в месяц, а был такой момент, когда я задолжал электрокомпании долларов 200. Ужасно туго жилось. Случалось, ни гроша за душой не было. Пару раз у нас кончались продукты. И не на что было выкупить льготные продовольственные талоны. Так прижимало — дальше некуда! Не евши сидели. Честное слово. По три, по четыре дня крошки во рту не было.

А потом к этому прибавились проблемы, которые создаешь себе сам. От безделья пристрастился к выпивке. Как только заводились денежки, начинал прикладываться. Слишком много у меня было свободного времени. Слишком много сидел дома. По-моему, это дурно сказывается на отношениях в семье, на прочности брака и всем прочем. Я знаю случаи, когда отцу семейства, существующего на пособие по бедности, пришлось удирать из дому, чтобы как-нибудь выжить. Я не хотел, чтобы дело у нас дошло до этого. А отношения с женой стали портиться. Мы начали ссориться. Этого бы не случилось, если бы я работал. Ссоры были глупые, бессмысленные. И ссорились-то по пустякам, а то и

вовсе без повода. Просто бранились от нечего делать. Не было у нас другого занятия, кроме как лаяться друг с другом. Я постоянно скандалил, потому что чувствовал себя несчастным. Однажды жена ушла от меня и вернулась только недели через три-четыре. По правде сказать, трещина в наших отношениях сохраняется до сих пор, какая-то тяжесть на душе — никак от нее не избавишься...

Даже вспоминать больно, как я проводил время. В самый дальний уголок сознания стараюсь затолкать воспоминания об этом. Хотя это было совсем недавно. Встаешь утром и ждешь, чтоб поскорей настал вечер и можно было спать ложиться. Просто ждешь не дождешься, когда можно отправиться на боковую. А ляжешь в постель — сон не идет. Всякие тревожные мысли лезут в голову. Проснешься наутро — не можешь дождаться часа, когда спать пора. Сидишь и ждешь. Сам не знаешь чего. Такое поганое состояние, не приведи бог!

И ровно ничего не поделаешь с этим, только и остается — ждать у моря погоды. Ну, разве попытаешься денег занять. Но к этому времени ты уже успел у всех назанимать, и никто тебе больше не даст, всем известно, что отдать ты не сможешь. Если электричество не отключили, смотришь телевизор. Или слушаешь радио...

На первых порах мы ездили в гости к друзьям, но потом перестали — не было денег на бензин. Да и друзья почти все отвернулись от нас. Кроме одного — всегда же кто-нибудь остается тебе верным другом. Мы вообще мало общались тогда с людьми — какое уж тут общение, когда копейки за душой нет... Я брал взаймы у кого только мог, пока мне не перестали одалживать деньги. Ну, а потом мне стало неловко заходить к ним, так как вернуть долг я не мог. Вот так и кончаешь тем, что волей-неволей злоупотребляешь дружбой, а уж это — последнее дело. Зато когда мы больше всего нуждались в помощи, когда нам нечего было есть, я ни у кого ничего не просил. Оставшаяся гордость не позволяла. Ни слова никому не сказал. На это меня еще хватило. Пусть уж лучше я буду голодать. Дочку-то кое-как кормили, хотя она постоянно недоедала.

Кредиторы не давали ни минуты покоя. Ни минуты! Вынимаешь почту из ящика и уже знаешь, что там. Можешь не читая отложить в сторону. Все хотят получить с тебя деньги, интересуются, когда вернешь долг. Пытаешься объяснить им свою ситуацию — вроде бы они и понимают тебя, но деньги-то для них важнее. И выходит, дела до тебя им нет. В общем-то их тоже можно понять. Я ухитрялся оплачивать большинство счетов, но платить по всем не было никакой возможности. Вот и крутился. Старался не слишком просрочивать платежи, чтобы кредиторы поменьше жаловались, хотя вечно кто-нибудь да жаловался. Правда, ни одной вещи у меня не забрали обратно за неплатеж. Как удалось изворачиваться — сам удивляюсь.

На пособие по безработице еще как-то можно прожить, а пособие по бедности — это труба. А мне снова это угрожает. Вот уже четыре месяца я нигде не работал, даже временно, положение у меня пиковое. Я д о л ж е н найти работу, все равно какую — пусть канавы копать. Потому что больше я этого не выдержу. Теперь я знаю, чем это пахнет. Ну и стараюсь что-нибудь предпринять, чтобы на этот раз до ручки не дойти.

За это время я сильно изменился. От гордости моей ничего не осталось — стал вспыльчивым, раздражительным... Месяцы безработицы изменили отношения в моей семье, переменили все мое окружение. В общем, на собственной шкуре испытал, какие бывают превратности в жизни. Узнал, что такое лишения. До конца дней не забуду...

Роланд Батала

Очень неохотно он наконец все же соглашается дать мне интервью. Но когда я нахожу его дом, расположенный в живописном старом районе неподалеку от крупного университета на востоке страны, на стук никто не отвечает. Тогда я звоню ему из автомата, и он снимает трубку. «Нужно обогнуть дом и войти сзади»,— говорит он каким-то странным тоном. Вскоре я понимаю почему. Он ютится в убогом углу подвального этажа; занавеска делит его конуру на две «комнаты». В спальне едва помещаются кровать и стул. Потолок осыпается. Дом принадлежит ему, но он так долго не имел работы, что вынужден сдавать его в аренду, чтобы платить по закладной.

Роланд Батала — красивый африканец с ритуальными шрамами на щеках. Говорит он с легким акцентом, грамматически не вполне правильно. Ему, человеку гордому, неприятно предстать перед посторонним в роли обитателя подвала собственного дома. Но он слишком вежлив, чтобы мне отказать. Да и выговориться необходимо.

Я из Ганы, приехал сюда лет четырнадцать назад. Мне тридцать четыре года, так что почти вся моя взрослая жизнь прошла в Штатах. Степень бакалавра я получил в Новом Орлеане. Потом поступил в Колумбийский университет в Нью-Йорке и в 1972 году получил там степень магистра биохимических наук. А вот работой похвастать не могу — тут мне не повезло. Уже больше года сижу без дела. Последняя моя служба была связана с городским отделом кадров; я работал в рамках программы, которая финансировалась из федеральных бюджетных средств. И вот нам объявляют, что ассигнования кончились. Понятно, все мы лишились работы. Не я один. И мой начальник тоже. Ведь и ему зарплата шла из тех же фондов.

С 1972 года я сменил несколько мест. Найти работу трудно, а в моем случае ее, видно, еще труднее сохранить. Как я убедился, многие компании брали меня на службу просто ради ширмы, дескать, и у нас в штате есть черные... Нанимают тебя и терпят до поры до времени, а потом избавляются под разными предлогами.

Лучшая работа, которую я имел, была в одной фармацевтической фирме. Но мой начальник, черт такой, из кожи вон лез, чтобы отравить мне жизнь. Вечно оскорблял как только мог. Толкал меня. Нет, ру-

кам волю не давал, но замахивался. И хулил все, что бы я ни сделал. Мою работу, мои методы продажи. Видите ли, я работал коммивояжером. В обязанности мои входило убеждать врачей покупать препараты фирмы. Мои методы продажи, как я знал, были ничем не хуже, чем у других: ведь у нас проводили деловые совещания, и я видел, как работают остальные. Мои методы, ей-богу, были совсем неплохи. Но он объявлял их никуда не годными, и я видел, что это вопиющая несправедливость. Однажды он приписал часть сделок по продаже, которые были заключены на моем участке, кому-то там еще, с тем чтобы картина сбыта на моем участке выглядела неудовлетворительной. В конце года у них принято давать сотрудникам премию, но я ни разу не удостоился... И еще много подобного вытворялось, так что мне стало ясно, что от меня стараются избавиться. Наверное потому, что я черный. Наверное поэтому. Не могу представить себе никакой другой причины.

После того как я оттуда ушел, мне подвернулась работа на лакокрасочном заводе. Мне бы и там понравилось. Моей обязанностью был контроль за качеством. Так на этом месте я и двух месяцев не продержался! (Смеется.) Потому что я черный, а краски изготовляли белые. Понимаете, я должен был давать рекомендации. Говорить им: «Добавьте того, добавьте этого». Мне доставляли образец, а я проверял качество и определял, достаточно ли краска хороша, не нуждается ли в доработке, дополнительном смешивании или еще в чем-то. И они, те белые, просто не могли этого вынести. Их бесило, что я черный и — контролер. Меня вынудили уйти. Технолог и директор вечно читали мне нотации, прямо-таки выживали меня. Два сотрудника завода ушли в отставку, и мне сказали, что они ушли из-за того, что я черный. Тогда уж все кому не лень начали цепляться ко мне. Потешались кто как мог... Один раз сняли и выбросили номер с моей машины, донимали всякими мелкими подлостями. И я понял: мне тут не работать.

Знаете, я даже пытался продавать недвижимость. В течение шести месяцев разрешается работать агентом без лицензии. Я и попробовал. Разрешение мне дали сроком на шесть месяцев. Так вот, за эти полгода я не продал ни одного дома. (Смеется.) Как видно, многие клиенты считают ниже своего достоинства пользоваться услугами черного агента при покупке дома. Ну не странно ли? Не пойму, что их во мне не устраивает. Не могут переступить через это. Конечно, я говорю им: «У меня есть ученая степень» и всякое такое, но вижу, что им все равно мое посредничество поперек горла. Может, они не хотят, чтобы я получал комиссионные? Ведь я же не знаю, что у них в голове творится.

Стал подыскивать себе работу где-нибудь в исследовательской лаборатории или больнице. Я бы и преподавать смог. Правда, учительского аттестата, действительного в этом штате, у меня нет, хотя в начальные школы меня могли бы взять и без него. Побывал во всех больницах и лабораториях этой округи, разговаривал с сотрудниками отделов кадров, но обычно мне там отвечали, что сейчас вакансий нет, а когда вакансия откроется, мне об этом сообщат. И ни разу еще ни о чем не сообщили. Я и в Нью-Йорке искал работу, и в Филадельфию ездил. Даже в Вашингтоне заявления подавал. В университете со мной несколько раз беседовали. Проверочные работы давали, отметки за них ставили. Я прошел все испытания, получил хорошие оценки, и меня обещали принять, как только найдется профессор, которому я смогу ассистировать. Сказали, что будут предлагать мою кандидатуру всякий раз, когда объявятся вакансии. Но, боже мой, разве на это кто-нибудь обратит внимание?

Все это сильно сказалось на моем отношении к жизни. Раньше я любил танцевать, бывать на вечеринках в клубах и других увеселительных заведениях с платой за вход от 3 до 5 долларов. А теперь никуда пойти не могу — хотя бы потому, что денег нет. Не знаю, может быть просто из-за того, что я оказался на мели, но на меня стала нападать тоска. Самочувствие никуда не годится.

Но я стараюсь не поддаваться горьким мыслям. Эта горечь может всю душу разъесть. Здоровье разрушить. Из-за нее гипертонию себе наживешь или язву: не могу же я для разрядки выйти на улицу и начать людям носы разбивать? «Ты не дал мне работу, получай!» (Смеется.) «И ты не дал мне работу, вот тебе тоже!»

Знаете, а ведь я был женат. Но после того как я потерял ту хорошую работу в фармацевтической фирме, жена со мной развелась. Так что в результате разбилась моя семья и я лишился многих друзей. Этот дом мой, но я не могу в нем жить. Вынужден сдавать его в аренду, с тем чтобы съемщики платили за него. Иначе потерял бы и дом. Вот почему я кончил этим подвалом. Со сколькими людьми я потерял связь! Перестал общаться с близкими друзьями. Ведь я понимаю, что, если они пригласят меня обедать, к себе я их позвать не смогу. Мне стыдно приглашать сюда людей. Стыдно и того, что, несмотря на все свои старания, я не могу найти работу, не могу заработать денег на сносное существование.

И еще меня терзают горестные мысли. Например, о том, что жизнь проходит без пользы. Месяц за месяцем. Вся моя учеба, степени — все впустую. Я ничего не достиг в жизни. Всякий мой день потрачен зря. В душе чувствуешь такую пустоту!

И начинаешь думать: а надо ли было учиться в колледже? Зачем тратить время на высшее образование? Зачем столько стараться? А если у тебя есть дети, что ты скажешь им? Чтобы шли в колледж и получали ученую степень? Но ведь черная кожа наверняка помешает им найти работу, чтобы жить в мало-мальски сносных условиях. И все-таки склоняюсь к тому, что опускать руки нельзя. Нужно изо всех сил стараться выбиться...

Кларк Гувер

Лысеющий и начавший полнеть мужчина сорока одного года, одетый в спортивную рубашку и шорты. Он не привык рассказывать о себе и часто употребляет

тяжеловесные бюрократические обороты — как видно, работа в полиции наложила отпечаток на его речь. Живет он в пригородном поселке-новостройке, расположенном в холмистой местности к югу от Питтсбурга. Мы сидим на заднем крыльце дома с видом на пол-акра развороченной земли, что со временем станет двориком его дома.

Полицейским я начал работать в 1960 году. Девять лет прослужил в питтсбургском полицейском управлении, а затем перевелся в отделение полиции в одном из богатых пригородов. Шесть лет служил там, пока летом 1975 года не попал в аварию. Дело было так: в 4 часа утра в полицию сообщили, что какой-то человек пытается залезть в дом. Моя патрульная машина оказалась ближе всех к месту происшествия, и я отправился по вызову. Но когда я ехал туда — с сиреной, мигалкой и включенными фарами, сбоку, нарушив правила, выскочил автомобиль и врезался в мою машину. Так я попал в больницу с повреждением позвоночника, сотрясением мозга и переломами ног. Почти четыре месяца провалялся на больничной койке. А когда выписался и вернулся на службу, понял, что из-за полученных травм и частичной потери памяти полицейским больше работать не смогу.

Серьезнее всего было с позвоночником: разве теперь управишься, случись какая-нибудь драка в баре или что-нибудь в этом роде? Рассчитывать на кабинетную должность в нашем маленьком отделении полиции, конечно, не приходилось. Единственной доступной для меня работой было патрулирование на улице в дежурной полицейской машине. Короче говоря, пришлось подать в отставку по состоянию здоровья. И с тех пор я не работал ни одного дня.

Прислали мне целую гору счетов за лечение. Надеюсь, в конце концов их оплатят — управление социального страхования, которое обязано выдать мне компенсацию за увечье, понесенное в связи с несчастным случаем на работе, или же страховая компания другого водителя. Сейчас дело о выплате мне компенсации передано на рассмотрение суда. Управление социального страхования считает, что мои медицинские счета обязана оплатить страховая компания виновного водителя, и оно, конечно, право, но эта компания всеми средствами старается оттянуть выплату. Управление же никаких моих счетов не оплачивает. А мне остается жить в таком вот подвешенном состоянии. Сейчас моя задолженность по счетам врачей и больницы превышает 10 000 долларов. И тянется эта канитель с 1975 года, адвокат мой не может сообщить мне ничего более утешительного, как то, что, возможно, пройдет еще пара лет, прежде чем суд, наконец, разберет это дело.

Просто не знаю, что мне делать. Врачи признают меня полностью нетрудоспособным к какой бы то ни было физической работе. Да и сидячей-то работой мне можно заниматься только той, которая не требует большого умственного напряжения, потому что в той аварии я получил тяжелую травму черепа.

В общем, я вижу, что работы для меня нет и что мне некуда больше обращаться, кроме как в бюро по делам безработных штата Пенсильвания за пособием по безработице. Долго не мог собраться с духом: уж очень эта перспектива меня угнетала. В полное душевное расстройство меня приводила. Я чувствовал себя ужасно униженным. Пережил прямо-таки муки ада, прежде чем заставил себя пойти туда.

Ну вот, встал я в очередь в этом бюро вместе с другими безработными штата Пенсильвания. По сравнению с другими, кто потерял работу, я нахожусь как бы на особом положении из-за своей ограниченной трудоспособности. По какой причине здесь оказался я, по какой — он, не столь важно. Важно другое: здесь оба мы проходим через одно и то же. Страшно унизительная процедура. Когда я бываю там, мне кажется, что люди по ту сторону барьера всем своим видом говорят: «Вот еще один паразит явился».

В общем, финансовое положение сейчас хуже некуда. Посудите сами: денежные поступления сокращаются больше чем втрое. Естественно, влезаешь в долг, а его надо отдавать... До какой-то поры люди готовы войти в твое положение, но потом начинаются звонки-напоминания, приходят угрожающие письма. Еще слава богу, что жена у меня работает, но ведь на заработок секретарши особенно далеко не уедешь...

Врачи и больницы наседают — сил нет! Эти медики требуют своих денег еще настырней, чем коммерческие фирмы, которым я задолжал. Прямо за горло берут: вынь до положь деньги. Откуда ты их возьмешь, что сделаешь для этого — их не касается. Я объясняю им, что я безработный, и так далее. Обычно отвечают: «Ладно, не беспокойтесь». А потом по почте получаешь извещение, что неоплаченные счета передаются в бюро по взысканию долгов. Вот такие пироги. Будь у меня деньги, неужто бы я им не заплатил? Некоторые предлагают: «Присылайте хотя бы несколько долларов в месяц». Отлично. Я и стараюсь это делать. А потом вдруг звонят из бюро по взысканию долгов и требуют уплаты всей суммы в пятидневный срок, не то... Их ничем не проймешь. Говорю им: «Я безработный, у меня нет таких денег». Отвечают: «Займите где-нибудь». Займите! Как же брать взаймы, если знаю, что не смогу отдать? «Ну, а у матери своей не можете занять? А у родителей жены?» Или что-нибудь еще в этом роде скажут. Звонят жене на работу, ставят ее в неловкое положение: не может же она сказать им что-либо сверх того, что говорю я. Иной раз звонят три дня подряд. Поговоришь на дню с двумя-тремя такими кредиторами — на стенку лезть хочется. Хоть к телефону не подходи! — ведь все равно я ничего не могу поделать. От сбережений ничего не осталось, приходится выкладывать все начистоту — может, войдут в мое положение,— не то объявят меня по суду несостоятельным должником и отберут дом. Остается лишь надеяться, что как-нибудь продержимся, пока суд не вынесет решение о компенсации. Адвокат говорит, что закон на моей стороне, но я

могу все потерять, прежде чем дело решится в мою пользу.

За эти последние годы мое отношение почти ко всему, что происходит у нас в стране, во многом изменилось. Во-первых, теперь я гораздо лучше понимаю безработных, чем в ту пору, когда работал. Познакомился со множеством людей, чье положение еще более отчаянное, чем мое, и сочувствую им, потому что увидел их беду иными глазами. Ну что такое раньше была безработица для меня? Отвлеченное понятие, цифра, процент... Я мог выразить сожаление, что она существует, а через десяток минут начисто о ней забыть. А вот когда сам оказался безработным, тут уж смотришь на все другими глазами...

Сейчас я гораздо внимательнее слежу за политикой, чем когда бы то ни было раньше. Больше читаю о политике, по телевизору смотрю предвыборные выступления кандидатов. Понятно, все они уверяют, что после их избрания рабочих мест станет больше. Безработица сократится. Жизнь станет легче. По-моему, это утопия. Не представляю себе, каким образом они могли бы радикально изменить нашу экономику. Эти кандидаты, должно быть, считают нас, американцев, круглыми дураками. Не в силах они выполнить свои обещания — даже за счет дальнейшей гонки вооружений в военных целях. Не подумайте только, что я хочу, чтобы это случилось. Тогда в проигрыше окажутся все, а не только 10 процентов безработных...

Происходит что-то страшное. И как ни крути, никакого выбора в действительности не оказывается. Единственная надежда — должен же когда-нибудь кончиться этот проклятый экономический спад. Нынешнее положение подрывает самые устои нашей страны, они разрушаются скорее, чем мы успеваем их укреплять. И в газетах, и по телевизору постоянно твердят, что безработица пойдет на убыль. Но сколько я ни бываю в бюро по делам безработных, там с каждым разом все больше народу. И когда видишь всех этих людей, вглядываешься в их лица и пытаешься угадать, лучше или хуже им приходится, чем тебе, сердце сдавливает чувство безнадежности. Никогда не думал, что мне доведется испытать такое.

Рон Брет

Обитатель негритянского района города Дейтон, штат Огайо. Он не хочет беседовать дома, и потому мы разговариваем, сидя на траве в парке.

Я хожу сдавать кровь на донорский пункт. Вот где безработных полно! Каждый день сотнями идут. Постоянно там народ толпится. Пункт работает с 7.30 утра до 5.30 вечера, а люди все подходят и подходят. Впечатление гнетущее. Именно гнетущее, это то самое слово. Еще туда идут и те черные, у которых есть работа, опять же студенты,— в общем, те, кто нуждается почти так же, как безработные бедняки. И я хорошо знаю, что, если бы нужда их не погнала сюда, они не стали бы сдавать кровь. Я бы, например, не стал. Будь у меня другой выбор, не стал бы я этого делать. Но где еще мне дадут деньги? И вот я иду туда. Сначала сидишь и ждешь своей очереди. Затем тебе измеряют кровяное давление, берут кровь на анализ. Потом снова сидишь и ждешь, когда освободится место у столика. Ужасно это угнетающе действует: то, что ты должен терпеть все эти мучения всего из-за 6 или 9 долларов, если ты пришел вторично на той же неделе. Ради чего, думаешь, я подвергаю себя всему этому? За 6 долларов даю колоть себя этими здоровенными иглами! Всякий раз, когда я бываю там, говорю себе: «Вот беда, неужели все это происходит со мной наяву?»

Анна Монтес

Чилийская женщина тридцати с лишним лет, у нее нежный голос и мягкие манеры, но темперамента хоть отбавляй. Анна Монтес работала в детских садах со времени своего приезда в Соединенные Штаты в 1972 году. Хотя из Чили она уехала до свержения правительства Сальвадора Альенде военной хунтой, на родину ей возвращаться опасно из-за левых политических взглядов. Она живет вместе с сыном в маленькой квартирке в Нижнем Ист-Сайде, районе нью-йоркских трущоб, и безвозмездно занимается общественной работой «полный рабочий день, и даже больше» — это ее слова. Вместе с группой чилийских эмигрантов она составляет список политических заключенных в Чили, «особенно тех, кого посадили за решетку тайно».

Работы я лишилась в декабре прошлого года, когда муниципальным властям Нью-Йорка пришла в голову «блестящая» идея — закрыть городские детские сады. Мне со всех сторон говорили, что детские сады скоро закроют, но я не могла этому поверить. Это казалось невероятным. Например, в Нижнем Ист-Сайде, где я работала, детский сад нужен позарез. Не знаю, знакомы ли вы с этим районом, но поверьте, вид у него такой, будто его разбомбили. Все дома разрушены. Дети играют среди развалин и отбросов. Большинство родителей — наркоманы или алкоголики. О детях некому позаботиться, их оставляют одних без всякого присмотра. Жизнь детей подвергается реальной опасности. Тесные квартиры кишат крысами и тараканами... Так что картина прямо-таки плачевная. Вот я и думала, что уж этот-то детский сад наверняка не закроют: не такое тут положение. Как можно закрыть его? Сами подумайте!

И вот в ноябре нам объявляют, что детский сад будет закрыт. Люди начали организовываться, протестовать. Мы устраивали демонстрации. Полицейские арестовали несколько демонстрантов, бросили их в тюрьму, избили дубинками... Я участвовала во всех демонстрациях, кроме той, когда арестовывали. Что-то помешало мне прийти в тот день. Так или иначе, представители городских властей повели с нами переговоры. Они обещали, что, может быть, садик не закроют до июня, а потом, возможно, отложат это дело еще на несколько месяцев. Но все эти люди — отъявленные лжецы и лицемеры. Во время встреч с нами они каждый раз распинались по

поводу того, как любят детей и как заботятся о них. А на поверку вся их забота оказывалась чистейшей ложью. Перегорит, например, в детском саду лампа, и они вполне могут сказать: «Это помещение должно сегодня оставаться закрытым, потому что если произойдет короткое замыкание, то детей может убить электрическим током». Под тем или иным вздорным предлогом они постоянно стремились закрыть садик. Закроют на день, на два, а родители не могут в эти дни пойти на работу или вынуждены оставлять детей без всякого присмотра. Хотя в этом районе детей подстерегают на улице опасности пострашней, чем неисправный светильник. И все-таки мне казалось, что с помощью политических действий детский сад мы отстоим. Но случилось иначе. Шло время, велись переговоры, и вдруг — раз! — нас закрывают.

Потеря работы меня не столько огорчила, сколько встревожила. Я знала, что мне причитается пособие по безработице, получая которое я с грехом пополам протяну еще год. Но я знала и то, что мои приятельницы, которые лишились работы в детских садах раньше меня, не могут найти новую работу. И другая моя подруга, секретарша, тоже никак не найдет работу. А когда я услышала, что городские власти собираются закрыть еще восемьдесят детских садов, мне стало ясно, что получить работу в детском саду теперь просто невозможно. И я сказала себе: «Ладно, придется поискать работу в какой-нибудь другой сфере».

Правда, выбор у меня не слишком-то широк — опыта какой-нибудь другой работы, помимо ухода за детьми, у меня нет. Работать продавщицей в магазине не очень-то хочется. И официанткой тоже. На днях мне рассказывали, что много зарабатывают женщины, работающие в барах. (Смеется.) Но я представить себе не могу, как бы я с моими политическими убеждениями стала подпаивать мужчин в каком-нибудь баре.

Наверное, лучше всего для меня — пойти работать нянькой. Потому что в этой стране полно людей с толстым карманом, богачей, которым нужны няньки для их детишек. Я позвонила в агентство по найму и вот уже, наверное, раз двадцать встречалась с людьми, которым требуется няня.

Разумеется, отправляясь на очередную беседу, я стараюсь придать себе по возможности старомодный внешний вид. Никогда не являюсь в брюках, только в платье. Надеваю самое лучшее и обязательно выглаженное. (Смеется.) Пусть думают, что я очень консервативна в своих вкусах. И судя по тому, что мне говорили в агентстве, почти на всех я произвела благоприятное впечатление. Не знаю, чем уж я им понравилась, а все же не устроилась. Тут замешан расизм. Среди тех, кто работает нянями, очень много черных, а некоторые богачи не хотят, чтобы их дети постоянно общались с черной женщиной. Не дай бог ребенок узнает, что черные — такие же люди, как они.

Но вот чего я совершенно не могу понять: как могут люди стыдиться того, что они безработные? Это же просто нелепо. Все равно что стыдиться носить очки при близорукости. Ведь близорукий человек ни в чем не виноват. И мы, безработные, не виноваты в том, что здесь начался экономический кризис, может быть вызванный искусственно, и что этот кризис лишает работы тех, кто должен трудиться. Поэтому мне нисколько не стыдно, что я безработная. По-моему, стыдиться должна эта страна. Когда я проходила вчера вечером по Тридцать четвертой улице, я видела не меньше десятка нищих, которые спали прямо на улице. Десять человек! Десять! Клянусь вам. Они спали возле больших магазинов с огромными неоновыми вывесками и красочной рекламой. Вот чего, по-моему, следует стыдиться. Как хотела бы я заснять подобную картину на кинопленку и показывать этот документ в подтверждение моих слов. Потому что многие в Латинской Америке обмануты. Они не представляют себе, как обстоят дела в действительности. Они видят в американских фильмах очаровательную супружескую чету, которая живет с прелестными детьми в красивом доме с садом, ездит в машине новейшей модели... чету, у которой все в жизни прекрасно, и не понимают, что это — ложь. А те, кто не бывал в Штатах, отказываются верить, когда рассказываешь им правду. Говорят: «Да вы просто коммунистка». Вот каких вещей должна стыдиться Америка. Получать пособие по безработице мне тоже ни чуточки не стыдно. По-моему, каждую малость, которую я смогу взять у этих гринго, я возьму во имя справедливости. «Сколько миллионов и миллионов долларов награбили они в Чили?» — спрашиваю я себя. Да все мизерные суммы, которые я получаю в виде пособия по безработице или, может быть, буду получать в виде пособия по бедности,— это ничто. За все время они, вероятно, выкачали из Чили раз в двадцать больше богатств, чем там осталось. А Аргентина, Боливия, Эквадор, Перу!.. Поэтому к своему положению безработной я отношусь без всяких предрассудков. Нам внушают, что мы должны стыдиться быть без работы, чтобы заставить нас думать так, как угодно им.

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

(Окончание следует)

СЕВЕРЯНЕ О СЕБЕ

ЮНЕСКО приняло решение подготовить и опубликовать в текущем году сборник «Северяне о себе», а также выпустить шестисерийный телефильм, посвященный жизни и самобытной культуре народов Крайнего Севера.

Желая принять участие в этом интересном начинании, журнал «Иностранная литература» предлагает вниманию читателей фрагменты книги-дневника гренландского охотника и художника Томаса Фредериксена.

ТОМАС ФРЕДЕРИКСЕН

ДНЕВНИК ГРЕНЛАНДЦА

Томас Фредериксен (Тума) родился в 1939 году в Игиниарфике. Предки Тумы с обеих сторон были охотниками и пользовались заслуженной славой в своей округе. В те времена основой жизни была охота, главным образом на морского зверя, глубокое уважение к которому сквозит во всех неписаных законах эскимосов. Чтобы не истребить животных, эскимосы постоянно меняли места охоты.

Тума и его братья росли охотниками, с раннего детства они принимали участие и в рыболовном промысле. В наши дни техника и цивилизация так вошли в жизнь, что возник риск полного уничтожения морского зверя,— ведь с появлением моторных лодок расстояния заметно сократились. На примере Гренландии мы в очередной раз сталкиваемся с тем, как вмешательство человека в природу нарушает ее ритм.

В прежние времена общество Гренландии было статично. Ни в культуре, ни в промысле не происходило заметных изменений. Рассказы и легенды, хранящие опыт предков, переходили из поколения в поколение и были основой гренландской культуры. Фольклор учил людей, развивал их и сообщал свой колорит всей жизни.

Искусство входило и в повседневную жизнь, как будто не занимая в ней особого места. Украшение предметов быта и оружия, резьба по дереву и кости, узоры, которыми женщины мастерски украшали одежду и изделия из шкур — все это и есть искусство, радующее будни.

С ранней юности Тума вел дневник — так просто, для себя. Записывал свои переживания, наблюдения, писал о тяжелом труде охотника и о многом другом. Он ценит гренландский юмор и пользуется каждой возможностью, чтобы ввести в свой текст гренландские слова. Рассказывая старинные легенды и предания, он оказывает дань уважения культуре своих предков, гордится ею. Вместе с тем он пишет и о цивилизации с ее последствиями, считает необходимым сейчас думать о будущем и заботиться, чтобы цивилизация приносила обществу пользу, а не вред.

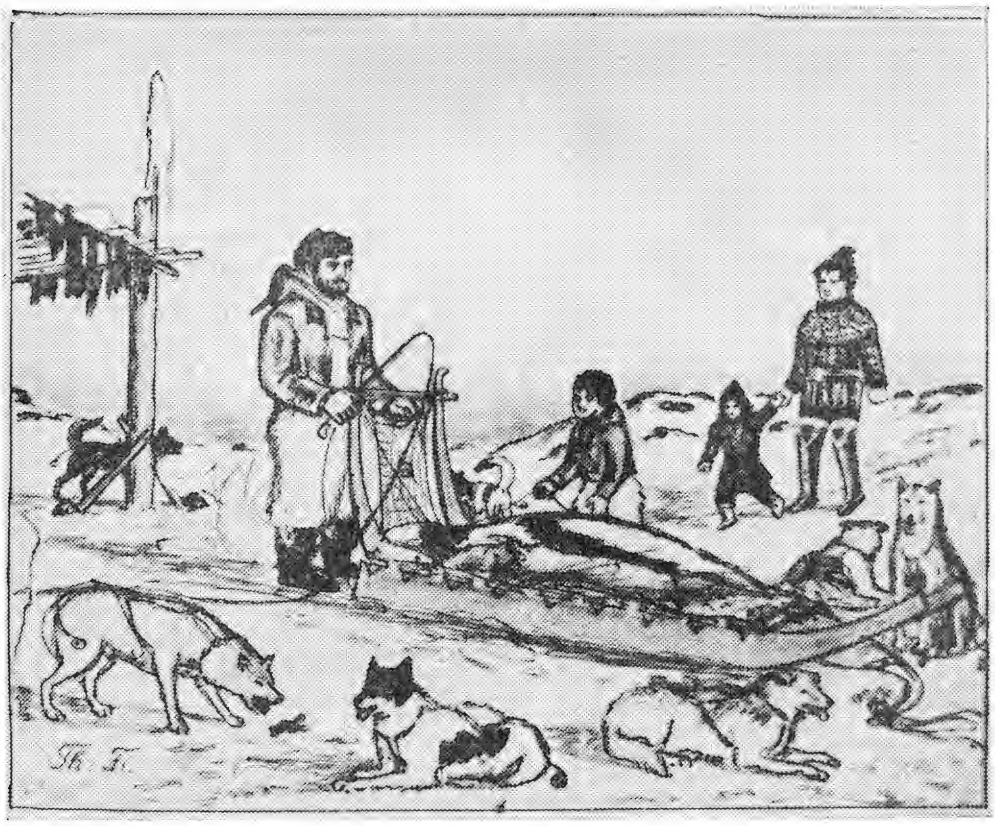
Два года назад я узнал, что Тума передал свой дневник вместе с рисунками в издательство «Графиск веркстед» в Годхобе с такими словами: «Надеюсь, он повеселит вас, вдохновит и порадует».

Содержание дневника — короткие истории из жизни промысловиков и предания, а также рисунки к ним. Главный вдохновитель Тумы, как и всех его предков,— это море.

Я благодарю Туму за доброе сотрудничество, позволившее сделать его дневник нашим общим достоянием.

Годхоб, март 1980.
Эмиль Росинг

© Thomas Frederiksen, 1980.
В оригинале книги иллюстрации цветные.

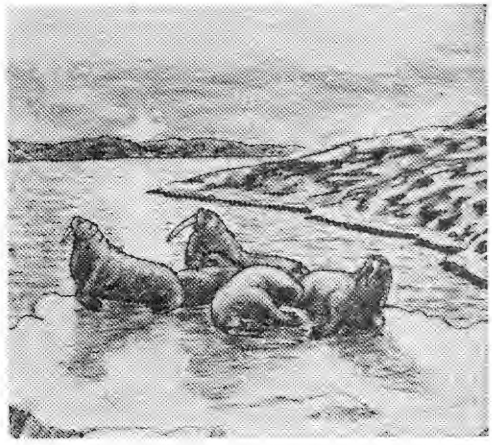


Свой первый цветной рисунок я сделал, когда мне было пятнадцать лет. Северогренландский охотник только что вернулся с охоты. Правда, я рисовал не с натуры, но обычно все так и было на самом деле. Всегда вся семья радуется, когда отец возвращается домой с добычей. Мать разделывает тюленью тушу и делит мясо между всеми обитателями поселка. Конечно, приятно, когда человек благодарит тебя за кусок мяса, но самое приятное — давать мясо детям и беднякам. Этот обычай строго соблюдался в нашем поселке.

Мне было пятнадцать лет, когда я нарисовал картину, где изображена северная оконечность Стрём-фьорда, я был там несколько раз. Мысли мои возвращаются к нашим далеким предкам, которые разбивали в этих местах лагерь, охотясь на оленей.

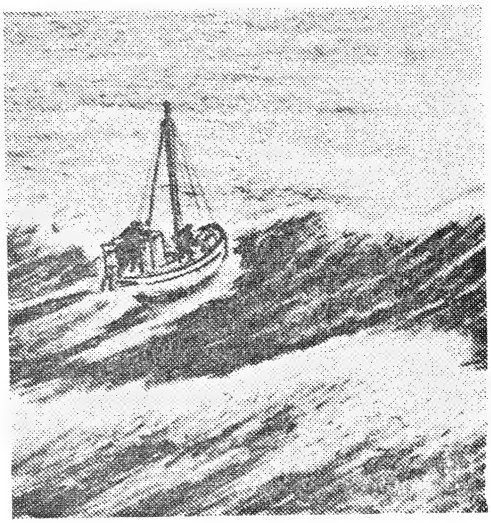
Умиак, большая, обтянутая кожей лодка, которой управляют женщины, и каяки, кожаные байдарки, преследуют кита. Неверно, будто на китов охотились только мужчины. Многие вспоминают, что в Сисимиуте (Хольстейнсборг) женщины в одеждах из оленьих шкур часто использовались как гребцы во время охоты на китов.

Я изобразил, как на Ангувигарторфике (так называют место, где кит был загарпунен) охотник с каяка вонзил копье в кита, загарпуненного с умиака. К гарпунам прикреплены специальные пузыри, не позволяющие киту нырнуть.



Моржи любят дрейфующие льдины западного побережья. В прежние времена можно было часто встретить моржей на льдине у самого берега. Солнце склонилось к горизонту, и льдина — «судно моржей» — «пришвартовывается» к берегу.

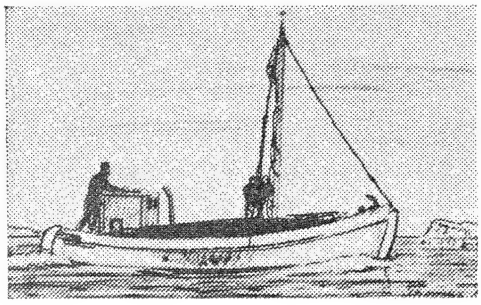
В 1946 году мой отец купил моторку длиной в двадцать два фута. Она стоила тысячу двести крон. Первый раз мы рыбачили на ней недалеко от Саттута. рядом с нами рыбачили фарерцы. Они то и дело подплывали к шхерам и очень быстро наполняли свои лодки треской до самого верха.



Тогда трески было много. Судно фарерцев было забито рыбой, когда они покинули это место. Мы тоже неплохо порыбачили. Рыбачить на моторке куда лучше, чем на обыкновенной лодке. Моторка служит не только зимой во время лова рыбы. На ней удобно также охотиться на моржа, тюленя и белуху. Мальчишкой, слушая рассказы о морской охоте, я с нетерпением ждал, когда же наконец вырасту и смогу принять в ней участие.

Мой отец купил еще одну моторку. Длина у нее тоже двадцать два фута, но у нее есть палуба, и она лучше приспособлена к охоте в открытом море. Она стоила одиннадцать тысяч крон. Цены на суда растут.

На этой моторке мы постигали искусство мореплавания и хождения под парусами. Когда я был мальчишкой, мой отец и старший брат рыбачили с «ярусами»[1] возле Сааттута. Даже в самую плохую погоду они набивали всю лодку пятнистой треской. Мы ее продавали.



В ранней юности я со своим старшим братом Петером ловили ярусом в открытом море. Хорошо помню, как мы в первый раз попали в юго-западный шторм. С нами был еще один парень, мой однолетка, из Атту. Ветер был попутный, и волна била так сильно, что наша лодка чуть не опрокинулась. Когда мы наконец оказались с подветренной стороны острова, лодка была полна воды, потому что в пути мы потеряли крышку от трюма.

[1] Ярус представляет собой веревку длиной в две тысячи метров, и к ней прикреплено не меньше тысячи двухсот лесок с крючками.

7 марта 1957.

Зима стоит мягкая, и уловы у нас очень большие. Холод и темнота отступают на глазах. Весной, когда солнце поднимается высоко, льды у западного побережья привлекают морского зверя. Мы, по обычаю, ходим туда на своих моторках независимо от времени суток. Мы молоды, сильны, любим охоту, и веселые шутки не смолкают у нас на борту.

Мой брат Петер — наш лучший стрелок, ему двадцать один год, он правит лодкой. Мне — семнадцать, я отвечаю за мотор и потому вечно хожу чумазый. С нами и младший брат, Ларс, ему совсем недавно стукнуло пятнадцать, и он тоже начал ходить на охоту. Кроме нас, братьев, с нами охотится еще один парень моего возраста. Мы много смеемся. Особенно двое младших. Порой они затевают возню. Тогда они напоминают двух щенков, пробующих свои силы.

Пока я писал, наступил вечер, прошло двенадцать часов, как мы покинули дом. Мы приближаемся к западному побережью.

9 марта 1957.

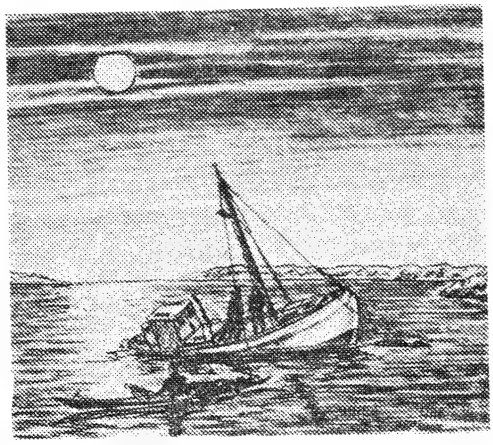
Вот и льды западного побережья. Мы начали охотиться на белуху, ветер постепенно крепчал. Белуху мы забили перед самым наступлением темноты, взяли ее «на буксир» и переночевали с подветренной стороны небольшого айсберга — добраться до берега мы не могли из-за сильного северного ветра.

10 марта 1957.

Ночью был сильный шторм. На рассвете мы увидели, что огромные льдины раскрошены на мелкие куски. Мы нашли льдину побольше и вытащили на нее белуху, чтобы разделать тушу. Мясо пришлось выбросить, после долгого пребывания в воде оно стало несъедобным. Дрейфуя вместе со льдом, мы забили еще двух моржей и заполнили свою моторку до предела. Уже у самого берега штиль постепенно сменился северным бризом. Мой старший брат отлично ориентируется в море, и мы, срезая с кожи ворвань, прикидывали, сколько времени нам еще осталось плыть.

11 марта 1957.

Мой старший брат правил лодкой, неожиданно раздался оглушительный грохот. Мы наскочили на подводные камни. Лодка силь-



но накренилась, и нас швырнуло к борту. Сперва мы попытались выбросить в море весь груз. Но огромная шкура моржа, словно пробка, забила спуск в трюм, и все наши усилия оказались бесплодными. Была малая вода, снять лодку с камней только при помощи мотора нам не удалось. До большой воды было еще долго. Мы по очереди несли вахту и наблюдали за морем. Неожиданно я обнаружил, что в корму проникает вода, несколько кусков ворвани уже смыло в море. Положение оказалось безнадежным, и я предложил брату, чтобы он на каяке по одному перевез нас на ближайший остров. Сверху на каяке человеку держаться невозможно нужно привязываться веревкой. Мы ничего не могли придумать и сильно нервничали. Никто не осмеливался плыть первым, я вызвался сам. Пока мы добирались до берега, я промерз до костей, ведь вода была ледяная.

На крохотном островке в ожидании остальных я вдруг почувствовал себя очень одиноким.

12 марта 1957.

Один на этом маленьком островке, я остро ощутил свою беспомощность. Ноги меня не слушались, одежда начала промерзать. При мысли, что, может быть, никто, кроме меня, не спасется, я упал на колени и в отчаянии протянул к небесам руки. Когда все остальные в целости и сохранности достигли наконец острова, я приободрился. Все-таки мы были молоды и сильны, на нас лежала забота о родителях, и мы должны были трудиться на благо родной страны.

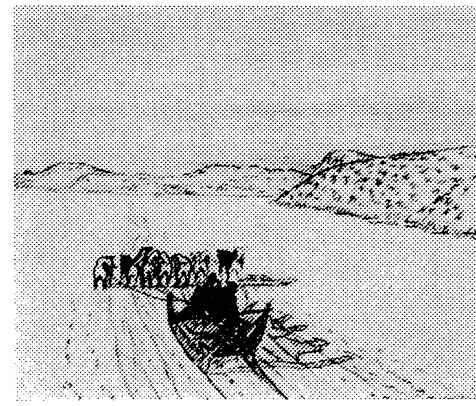
Мой старший брат раздал нам ворвань, а сам с оставшимися шкурами поплыл в Атту, половина шкур у нас пропала. Мокрые до нитки, мы остались на острове, нам хотелось пить и спать. Мы все время бегали, чтобы согреться. Когда поднялся ветер, я заметил, что мои товарищи нервничают и что им все труднее бороться со сном. Заснуть на таком морозе очень опасно, и я изо всех сил старался растормошить их. Мы с младшим братом бегали вокруг нашего третьего товарища и насильно затевали с ним борьбу.

Когда оба парня немного расшевелились, я отошел в сторону и стал молить бога, чтобы он сберег моего брата, уплывшего в каяке за помощью. И снова ощутил прилив сил. Вдали виднелась наша полузатонувшая лодка. На рассвете мы услыхали шум мотора, но потом он затих. Через некоторое время мы увидели моторку, шедшую со стороны Акиссерниака. Это была «Маргрете», на ней наш пастор совершал свои служебные поездки. Вскоре она подошла к нам. Потом подошла еще одна моторка — «Карлсен». «Маргрете» и «Карлсен» подошли к нашей лодке с двух сторон и сняли ее с камней. В скором времени мы были уже в Атту.

4 мая 1957.

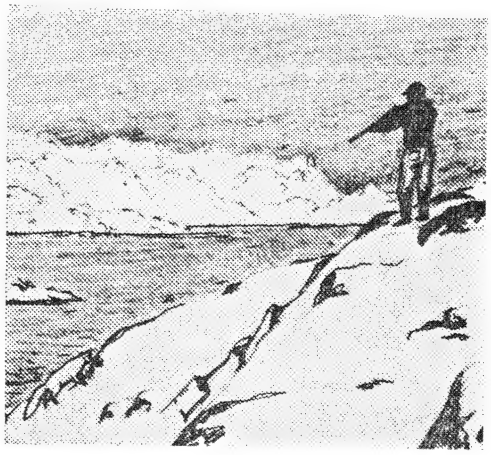
Залив Диско, погода изумительная. Пока мы охотились за семьей белух, к нам подошли и присоединились «Бьярнов», судно медицинской службы, и еще одна лодка.

Летом в заливе Диско очень красиво, но иногда там случаются сильные штормы. Осенью, когда есть риск обледенения лодки, надо быть особенно настороже. Поэтому надо знать все бухты, которые в случае нужды могут служить убежищем.



Зимой 1958 года была удачная охота на тюленей. Один раз мы привезли домой сразу восемнадцать штук. Мы, трое братьев, охотились на тюленей в Аллангорсуаке («Большой тенистый берег»). Там фьорд никогда не замерзает из-за сильного течения. Каждый день мы ездили туда на собачьей упряжке, это восемь километров. Мой отец, Йорген Фредериксен, поймал много тюленей сетью. Моя мать, Регина, повивальная бабка в нашем поселке, неутомимо разделывала добычу. Наша единственная сестра была еще слишком мала, чтобы помочь ей. Зато самый младший брат и его трое товарищей помогали по мере сил, когда были свободны от школы. В нашем поселке все охотники добыли много тюленей.

Когда у берегов Атту и Кангаатсиака идет дрейфующий лед, охотники всегда возвращаются оттуда с богатой добычей.



Октябрь 1958.

В это время года мы обычно ездим в Нассуттоок (северная оконечность Стрёмфьорда) охотиться на песцов. 30 октября я поймал двух песцов, белого и голубого. Я люблю эти поездки. В ноябре мы вернулись домой с хорошей добычей: один тюлень, тринадцать песцов, два зайца, один баклан, шестьдесят три гаги и семь кайр. В каждой такой поездке бывают свои трудности. И все-таки человек предпочитает вспоминать только «светлые стороны». Весной, пока лед еще крепок, мы на собачьих упряжках обычно объезжаем ловушки, которые ставим на песцов. Летом непогоды почти не бывает, и тогда мы берем много песца. Охота на песца очень увлекательна, но и трудна, особенно если много снега.

---

17 февраля 1959.

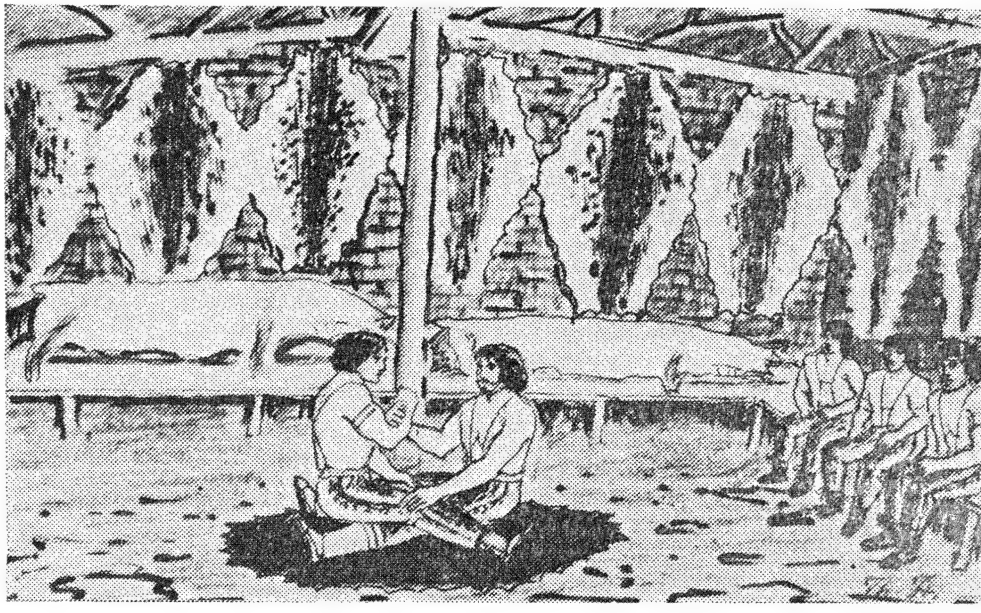
Пролив Аланнгорсуак, который долго не замерзал из-за сильного течения, наконец-то замерз. Зимой мы обычно перевозим через пролив всех, кто на собачьих упряжках едет в Ниакорнаарсук. На этот раз туда направлялись двое полицейских, датчанин и гренландец, они проехали через пролив по льду, не прибегая к помощи нашей лодки. Из-за мороза они были одеты не в форму. Перевозить людей, собак и оборудование в такой холод бывает очень опасно, дело это чрезвычайно ответственное. Самое страшное, если лодка начинает обрастать льдом, особенно в темноте. И как только в прежние времена люди плавали в умиаках! Иногда мы плывем вслепую в ледяном тумане, и лишь направление ветра помогает нам держать курс. На редких открытых местах, которые называются чистой водой, собираются большие стаи гаги и другой морской птицы.

Мы охотимся на всю эту птицу—и это необходимая добавка к нашему зимнему питанию. Когда я вижу в полынье морскую птицу, я всегда вспоминаю старинное предание о великом охотнике Каттааке, который промышлял гагу в полыньях очень далеко от берега.

Рассказывают, что Каттаак даже в старости был страстным охотником. Однажды, когда море замерзло, он поднялся на гору, чтобы оттуда выбрать наиболее подходящее место для охоты. Вдали на льду он увидел несколько точек, над которыми сквозь ледяную мглу поднимался пар.

На другое утро, пораньше, Каттаак отправился туда с двумя родными сыновьями и одним приемным. Там, далеко, они нашли полынью, в которой плавало множество гаги. Вскоре они остановили охоту, потому что увидели, что убили слишком много птицы. На обратном пути начался шторм, и их понесло вместе со льдом.

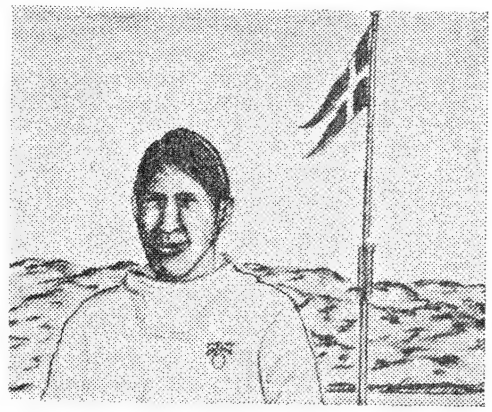
Их унесло далеко в море. Они попали в Акилинек («На другой стороне» — это уже Канада), и там чужак убил приемного сына Каттаака — они состязались в силе, пробуя, у кого крепче рука. Тогда Каттаак победил



чужака и убил его. Потом они узнали, что тот всегда убивал своих гостей.

У Каттаака амулетом был лемминг. Этот амулет спас их и вернул к жизни приемного сына Каттаака. После этого они встретили ведьму, которая своим колдовством хотела умертвить их. Но, на счастье Каттаака и его сыновей, у них был еще один амулет—кусок медвежьей шкуры, они бросились в море и превратились в трех белых медведей.

У приемного сына амулетом была пуночка, но он побоялся взлететь, и тогда медведи крикнули ему из моря: «Давай, давай маши крыльями, а то ведьма Апиакасик схватит тебя!» Приемный сын тут же превратился в пуночку, они вчетвером переплыли море и вернулись к себе на родину.



1 мая 1959.

Мы охотимся на белух в заливе Диско, возле мыса Упернавик, к северу от Икамиута. Пока мы с берега осматривали окрестность, к нам на собачьей упряжке подъехал охотник по имени Юхан из Икамиута. Погода была ясная, ослепительно сверкало весеннее солнце, мы варили на костре тюленье мясо, и он рассказывал нам всякие интересные истории. (Третьего мая мы вернулись домой, взяв все самое ценное от двадцати двух белух. Одним словом, у нас было изобилие питательной и вкусной ворвани.)

Вдали на востоке виднеется остров Туссаак. Слева, за большими айсбергами, скрыт Касигианнгуит (Кристиансхоб). Там в море водится множество креветок и очень вкусной зубатки. Треска любит скапливаться возле айсбергов, но рыбакам нужно все время быть начеку: айсберги в любую минуту могут расколоться или перевернуться.

7 мая 1959.

Далеко от берега мы напали на большое лежбище моржей. Мы убили шесть штук и, так как наша лодка больше вместить не могла, вернулись домой. На обратном пути нам попалось стадо белух. Но наша моторка такая маленькая, что мы были вынуждены ограничить свою охоту.

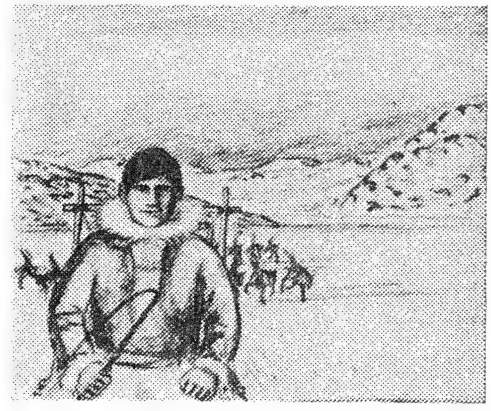
Недалеко от берега нас застал северный шторм, однако мы благополучно добрались до Атту. Во время шторма у каждого человека на борту есть свое дело, которое он обязан выполнять, как бы он ни устал. Когда плывешь мимо айсберга, застрявшего на мелководье, да еще если там кругом плавают небольшие льдины, надо держаться с подветренной стороны. С наветренной — море бывает такое бурное, что эти льдины могут перевернуть лодку.

13 июля 1961.

Умер Кунаак, знаменитый охотник из Тунунгасока, бывший член Гренландского парламента и близкий друг Пиитарсуака (известного датского писателя Петера Фройхена).

В молодости Кунаак был выдающимся охотником. В Нассуттооке он забил несчетное число оленей. Каждую весну он бил тюленей, которые вылезали погреться на солнышке возле своих отдушин, подходя к ним под парусом. У него была собака, обычная ездовая собака, славившаяся тем, что понимала тайные сигналы, которые он подавал ей, когда она бежала в упряжке.

Однажды Кунуннгуак (Кнуд Расмуссен[1]) и Кунаак ехали в Сисимиут. Время от времени, когда Кунаак сильно отставал, Кнуд Расмуссен останавливался и поджидал его. Во время одной такой остановки Кнуд осмелился и спросил: «Почему ты заставляешь всех ждать себя?» — намекая, что, верно, Кунаак просто не может ехать так же быстро, как остальные. «А куда мне спешить?» — только и ответил Кунаак. Но Кнуд Расмуссен продолжал свои насмешки, и тогда Кунаак разозлился и вызвал его на состязание.



Кнуд Расмуссен принял этот вызов и подал своим собакам сигнал, который давал всегда во время охоты на белых медведей. И помчался так, что ни Петер Фройхен, ни остальные не могли поспеть за ним. Все ехали по льду, только Кунаак — берегом. Конечной целью состязания была охотничья избушка на берегу большого озера Нассуттууп Тасерсуа.

Когда они наконец издалека увидали избушку, из трубы поднимался дым. Они

[1] Известный исследователь Гренландии, сын датчанина и эскимоски.

подъехали ближе, на пороге их встречал Кунаак с горячим кофе и чаем, он сказал: «Пожалуйста, выпейте горячего».

Весь тот вечер Кунаак был на диво неразговорчив. С тех пор Кнуд Расмуссен больше никогда не состязался с ним в езде на собаках.

30 августа 1961.

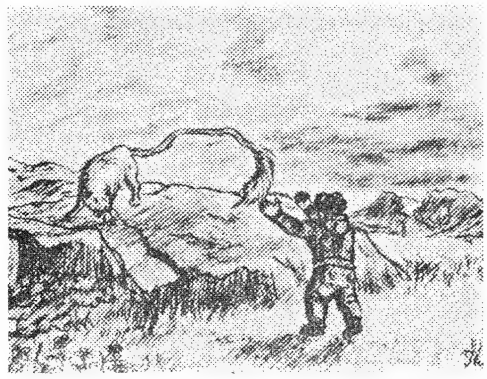
Трески все еще много. Погода прекрасная. Пока мы наслаждались ловом, из Хольстейнсборга пришли «Леннерт» и «Ларсина» и пристроились к нам. До чего же приятно было плыть бок о бок в этом солнечном штиле. Трудно передать красоту кровавокрасного солнца, склонявшегося к горизонту. Потом мы увидели возле Атту горящее судно. Дым траурной каймой затянул остров Уумманнак. Когда на подмогу горевшему подошли другие и мы увидели, что сами ничем помочь не можем, мы вернулись на рыбную банку, где рыба шла «горой». Погода стояла тихая, и мы провели ночь в открытом море.

Февраль 1962.

В вечерней школе в Аасиаате (Эгедесминне) у меня была возможность немного выучить датский, работал я там без устали, потому что очень многие хотели приобрести мои картины.

Во время пребывания в Эгедесминне я познакомился с Каассассуком, что значит Лисий Капкан, и сделал в связи с этим много рисунков. Каассассук был сирота, и местные ребятишки безжалостно мучили и донимали его. К счастью, у Каассассука была приемная мать, колотившая его мучителей каммиутом (палкой, которой отбивают камики, чтобы они стали мягче). И мальчишки и девчонки одинаково мучили Каассассука.

Когда Каассассук узнал, что существует «дух силы», он стал заклинать его. Наконец дух явился. Это был огромный песец с длинным-предлинным хвостом. «Возьми-ка

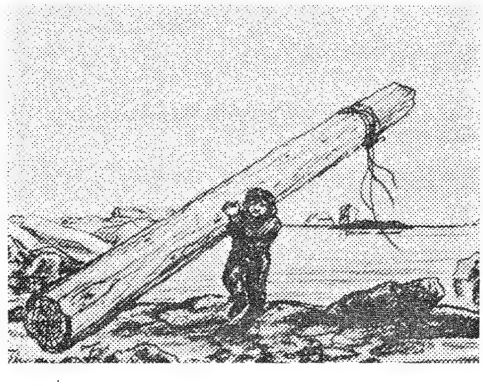


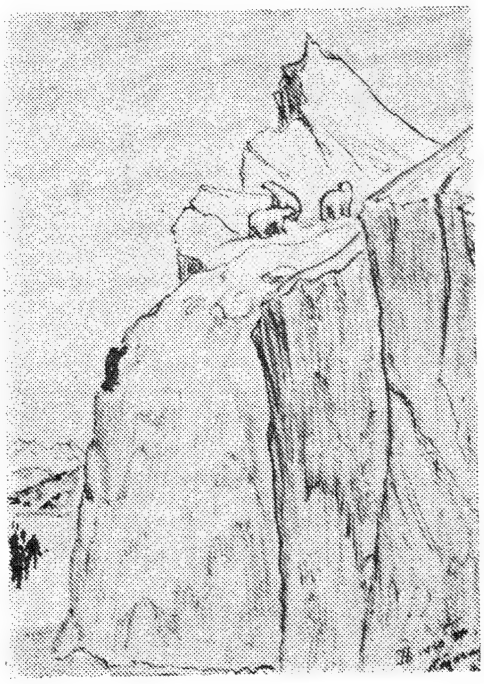
меня за хвост»,— сказал дух и начал кружить Каассассука так сильно, что вся беспомощность разом покинула тело мальчика. В другой раз дух так швырнул его оземь, что Каассассук перелетел через голову. Но в третий раз ему удалось удержаться на ногах. «Теперь все в порядке»,— сказал песец и исчез. Чтобы испытать свою силу, Каассассук поднял огромный камень и обнаружил, что даже не чувствует его тяжести.

Каассассук стал необычайным силачом, но никто в поселке этого не заметил. Ребятишки по-прежнему мучили его, но он не сопротивлялся. Однажды один охотник вернулся домой на каяке, таща за собой огромное бревно. Люди попытались вытащить бревно на берег, но были вынуждены оставить его в воде; на их счастье, погода была тихая. Ночью Каассассук встал, прокрался на берег, поднял бревно на плечо, отнес его за свой дом и воткнул в землю, а потом снова лег спать рядом со своей приемной матерью.

И никто не догадался, что принес туда это бревно Каассассук.

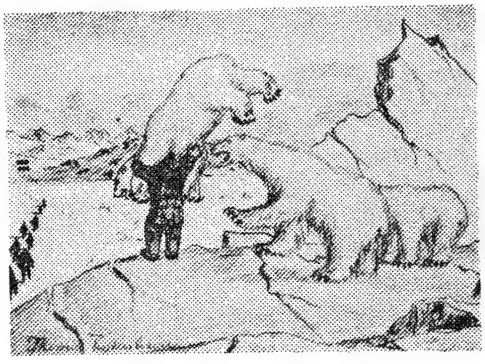
Однажды зимой к поселку подошли три белых медведя. Бедный сирота вбежал к своей приемной матери и спросил, не даст ли она ему свои камики, чтобы и он тоже смог принять участие в охоте на белых медведей. Приемная мать бросила ему один камик со словами: «Принеси мне медвежью шкуру, чтобы я могла спать на ней». А когда бросила второй, сказала так: «Раздобудь мне шкуру, я буду ею укрываться».





Каассассук надел камики, которые были ему велики, и побежал на охоту, не взяв никакого оружия.

За одно мгновение он догнал охотников, которые уже бежали к медведям, взобравшимся на высокий айсберг. Каассассук без колебания тоже полез наверх.



Добравшись до медведей, он приготовился к борьбе. Первого напавшего на него медведя он поднял за передние лапы, ударил его об лед и швырнул к стоявшим внизу охотникам. Точно так же поступил он и с напавшей на него медведицей. За несколько минут он убил трех медведей и принес своей приемной матери медвежьи шкуры и для подстилки, и для одеяла. Трудно передать те дружеские чувства, которыми вдруг воспылали к Каассассуку люди, прежде ежедневно мучившие его.

Март 1962.

Санный путь из Китерлека в Игинниарфик. В прежние времена, когда в Гренландии был датский губернатор, жители Ниакорнаарсукаи Аалатсивика ездили по этой дороге на собачьих упряжках, чтобы продать свою добычу в Игинниарфике. Им трудно было возить ворвань ,особенно если снег был глубок. Да и путь туда неблизкий. Если льда не было, они, чтобы переплывать через залив, тащили с собой каяки. А это восемь километров.

На охоту мы всегда выходили очень рано, еще до рассвета. Хорошо, если погода бывает тихая. Но во время буранов найти дорогу способны только собаки, они-то и не дают нам заблудиться.

24 мая 1962.

В мае мы дважды охотились в Симиутарсуске и добыли одиннадцать тюленей. Возвращаясь после второй охоты на загруженной до предела лодке, мы видели еще много белух и тюленей. Потом, пока благоприятствовала погода, мы снова вышли в море. Зашли в Атту и поплыли дальше, хотя северный ветер все время нарастал. Я держал курс к тем местам, где обычно бывает много тюленей. Постепенно видимость ухудшилась, мы попали в полосу дрейфующего льда и были вынуждены провести ночь в открытом море. Одного тюленя мы все-таки забили. На третий день, дрейфуя со льдом, мы подошли к большому стаду моржей и убили пять штук. Когда мы втащили их на борт, лодка погрузилась до самого края. Неожиданно отказал мотор, и нам пришлось руками отталкиваться от плавающего льда. Утром мы под парусом пошли к берегу, по пути починили мотор и дальше шли уже на моторе.

Вдруг нас накрыло огромной волной, она смыла за борт канистру с запасным горючим. Крышка трюма разлетелась, и мне пришлось держать ее руками, чтобы не потерять. На последних каплях горючего мы дотянули до гавани в Сисимиуте.

«Одному богу известно, как вам удалось уцелеть в такой шторм на своем суденышке»,— приветствовал нас на берегу один знакомый.

Июнь 1962.

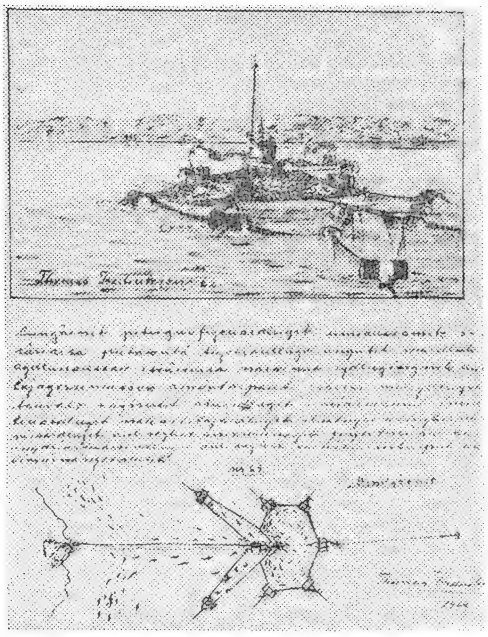
В середине июня я поднялся на гору, чтобы оттуда взглянуть на родной поселок. Мне было немного грустно. Мы недавно купили катер для ловли креветок. Когда он прибудет, мы переберемся на южное побережье и поселимся там в Нууке (Годхобе).

2 июля 1962.

Я и еще двое парней проверяем наши придонные сети. Мы начали их применять совсем недавно. Самый лучший результат был в Тунуннгасоке, правда. в сетях оказалось много и мелкой трески. Говорили, что в 1921 году в Атанек-фьорде трески было видимо-невидимо, вот мы и надеялись найти там хорошие косяки.

В Игинниарфике началась эпидемия кори. Я заболел одним из первых и только недавно поправился, потому я и рыбачил с чужими парнями. Мы верим, что исследования рыбного промысла будут продолжаться и помогут местным рыбакам в их конкуренции с иностранными рыбаками, плавающими на больших судах.

У нас много отмелей, богатых треской и палтусом. И нам нужны подробные карты этих районов.



Наша моторка пришвартована к придонной сети. На маленькой лодке мы подплываем к «входному отверстию» сети и затягиваем канаты, таким образом стягивается и закрывается нижняя часть сети. После этого вся сеть осторожно подтягивается к моторке. Тогда рыбу стряхивают в одно место и вычерпывают из сети сачком.

Мы начали промышлять креветок в заливе Диско. Сначала три дня с нами плавал инструктор. Когда мы первый раз самостоятельно выбрали трал, креветок в нем не оказалось. Но постепенно дело у нас наладилось, и мы овладели различными приемами.

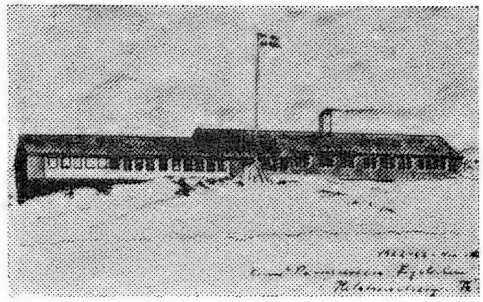
14 сентября 1962.

Креветок мы продаем в Касигианнгуите. А ловим их тралом на креветковом поле Упернавик. Оно называется так потому, что навигационным знаком там служит маленький островок Упернавик. Когда тянешь трал, нельзя ни отклоняться от курса, ни слишком близко подходить к другим судам. За пределами креветкового поля есть риск повредить трал о неровности дна. Если трал зацепится обо что-нибудь на дне, а это, как правило, видно по стальному тросу, которым трал прикреплен к катеру, приходится останавливаться и осторожно выбирать трал.

К сожалению, нам не всегда удается продать весь свой улов, иногда часть креветок мы выбрасываем обратно в море.

Когда выбирают трал, один человек стоит у лебедки и следит за подъемом. «Кухтыль» трала поднимается так, чтобы весь улов попал в нижнюю часть трала «куток», который перевязывают крепким канатом и вытягивают лебедкой. По пути к гавани мы сортируем улов.

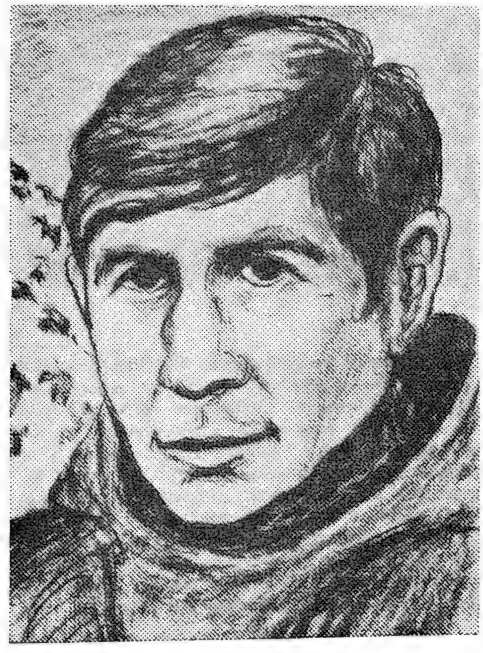
Вокруг креветкового поля много палтуса, но нет морского окуня. Когда-то за креветки платили одну крону за килограмм, теперь же (ноябрь 1962) платят девяносто эре.



Ноябрь 1962.

Пока я промышлял креветок, гренландская администрация предложила мне поступить в среднюю школу. И хотя меня тревожило, как семья справится без меня, я все-таки поехал в Сисимиут — мне хотелось одним из первых приехать в школу имени Кнуда Расмуссена.

Здесь собралось двадцать девять веселых и энергичных парней из самых разных рай-

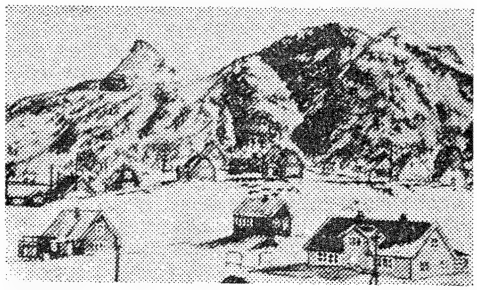


онов Гренландии. С нами связывали надежды на будущее страны, да и мы надеялись, что школа даст нам новые силы, что мы получим тут знания, которые послужат на благо Гренландии.

Я радовался, что мне представилась возможность попасть в эту школу. Делал много записей, рисунков и картин, спрос на мои картины все время был очень большой. Много сил вложил я в портрет Кнуда Расмуссена, который группа учеников преподнесла в дар школе.

К моей великой радости, братья мои всю зиму охотились в чистой воде возле Сисимиута.

Кнуд Расмуссен был гренландско-датского происхождения. Физически и духовно он был гренландцем. Он как бы призывал нас брать с него пример и бороться за достижение своей цели.



Начало 1963 года.

Неповторимый вид с церковного холма на Келлингехеттен — высокую, сразу бросающуюся в глаза гору в Хольстейнсборге. Школа Кнуда Расмуссена стоит у подножия этой горы. Во время моего пребывания в школе занятия там велись с восьми до двенадцати, потом после двух и еще, как правило, вечером. Если человек привык к жизни охотника, ему трудно проявлять такую усидчивость.

Всю осень погода была крайне неустойчивой — то оттепель, то морозы, то штормы. Лишь после Нового года установились дивные морозные дни.

---

18 марта 1963.

Пока я учился в школе и был «сухопутным крабом», море, к большой досаде охотников, начало покрываться льдом. Мои братья часто выходили на лов и обычно возвращались с хорошей добычей. Однажды мы получили радиосообщение с «Бенедикте», попавшей в трудное положение среди дрейфующих льдов. Когда «Бенедикте» вернулась домой, капитан рассказал, что встретил в море моих братьев, у них был хороший улов. Четырнадцатого марта было очень холодно, и море стало замерзать, к тому же все время дул сильный северный ветер. Я очень тревожился за братьев и расспрашивал всех, кто и где видел их в последний раз.

Пятнадцатого марта я обратился в полицию с просьбой, чтобы начали поиски. Из-за плохой погоды нельзя было сразу же выслать на поиски самолет. Полицейский катер «Илик» несколько раз выходил в море, но из-за шторма возвращался обратно. Северный ветер гнал на юг дрейфующий лед. Моя тревога росла, но я боялся сообщить о случившемся родителям. Наконец с промыслового судна «Керроргусок» сообщили, что моих братьев видели далеко за Итиллеком. Винт нашего «Йоргена Петера» был поврежден льдиной, и братья дрейфовали со льдом. Восемнадцатого марта мне сообщили, что «Эрика Дан», направляющаяся в Сисимиут, идет на подмогу к моим братьям. Одновременно к ним на помощь вышел и «Илик». Вечером он вернулся в гавань, ведя на буксире «Йоргена Петера». Братья убили одну белуху, шесть моржей и много тюленей.

Впредь надо учесть, что даже самые небольшие суда должны быть снабжены радио на случай подобных аварий.

---

16 мая 1963.

Последний во всей Западной Гренландии умиак принадлежит Отто Петерсену из Аалатсивика. По пути в Ниакорнаарсук мы с местным управляющим заехали в Аалатсивик. Когда-то это был многолюдный поселок, здесь очень хорошие места для охоты. Теперь тут живет только одна семья. Зимой они бьют тюленей. Весной, когда море очищается ото льда, ходят в Арферсиорфик-фьорд на промысел форели, позже охотятся на оленей. Недавно они обнаружили новое место, где всегда в изобилии водится палтус. Кроме того, всю зиму возле незамерзающих протоков держится много гаги. За палтуса и гагу в Эгедесминде дают хорошие деньги. Отто Петерсен, или Большой Отто, как его называют,— опытный и искушенный охотник.

Я стоял на горе над этим поселком и смотрел на айсберги, медленно плывущие мимо. И невольно думал, что здесь всегда были замечательные условия для охоты. Красота этого места радовала людей, но их пугал адский грохот раскалывающихся айсбергов. Айсберги очень величественны, но когда они с грохотом сталкиваются друг с другом, людей охватывает страх. Говорят, будто человек, плывущий в каяке, слышит в воде шелестящий звук еще до того, как айсберг расколется, и потому успевает бежать от опасности.

В прежние времена, когда охотники возвращались домой с богатой добычей, радовался весь поселок. Все ждали рассказов об охоте. Порой во время праздника разгорались такие жаркие споры, что спорщиков было не унять. Все несогласия обычно сглаживались барабанной музыкой.

В наших преданиях говорится, что люди (без ракет) летали на луну. Времена года определялись по расположению звезд.

Перевод с датского Л. ГОРЛИНОЙ

◆

Д. УХОВ

РОК-МУЗЫКА. ВЗГЛЯД ИЗ 80-х

«...Создается впечатление, что по Австралии прокатывается волна недовольства чем-то, заставляя женщин, девушек из разных концов страны засыпать письмами журналиста... Причина этих эпидемий стала мне ясна лишь спустя два года, в течение которых я составлял своеобразные таблицы, пытаясь с их помощью проследить, в какой мере наплыв однотипных писем зависит от ряда факторов, оказывающих влияние на всю страну. Скажем, в Австралии приобретала популярность песенка о неразделенной любви («Я хотела, чтоб кто-нибудь меня полюбил») или песенка о суровом отце, запретившем встречи с любимым («Остались мне одни воспоминания»), и тотчас же на меня обрушивался поток писем, в которых речь шла именно о подобных вещах. И так до тех пор, пока эти песни не вытеснялись новыми...»

Просим прощения за столь обширную выписку, но очень уж она выразительна. Правда, если кто-нибудь подумает, что написано это сегодня, то он ошибется: мы процитировали автобиографический роман известного австралийского писателя Алана Маршалла «В сердце моем». Речь в нем идет о событиях по меньшей мере сорокалетней давности, то есть об идиллической по современным представлениям эпохе, когда не было еще ни вездесущих транзисторов, ни электроусилителей, способных оглушить стотысячный стадион, ни долгоиграющих пластинок, ни магнитофонов, ни телевизоров, ни дискотек.

А сегодня? Если кому-то свидетельство писателя может показаться недостаточно убедительным — вот статистические данные: одни только американцы тратят на музыку «в консервированном виде» около одного миллиарда долларов в год, то есть в империи развлечений наряду с телевидением бал теперь правит музыка, причем, в отличие от других сфер буржуазной «массовой культуры», царствует в молодежной среде практически безраздельно. Поп-музыка продолжает оставаться ориентированной на молодежь: 80 процентов покупателей грампластинок — моложе 30 лет, а 75 процентов из них не достигают двадцатилетнего возраста. «Он (популярный певец.— Д. У.) выйдет на эстраду, он будет среди нас, он даст нашим устремлениям новое выражение»,— это строки из романа Зигфрида Ленца «Живой пример». Так передает писатель настроение молодежной аудитории, ожидающей появления своего кумира.

О все возрастающей роли, которую играет в жизни современного западного общества популярная музыка, впервые всерьез заговорили в конце 60-х годов, в период расцвета молодежной контркультуры, вынесшей на гребне своей волны и так называемую молодежную музыку. Но в работах конца 60-х годов рок-музыка (биг-бит, бит и т. д.) — этот своеобразный «молодежный» феномен культуры современного буржуазного общества — отождествлялась (и иногда отождествляется до сих пор) со всей сферой музыкальной «массовой культуры» — с «поп» (то есть популярной) музыкой.

Каково же место молодежной музыки в общей массе всей эстрадно-развлекательной продукции [1], почему по прошествии времени возникла необходимость

[1] Читателей, которых интересуют конкретные сведения по истории молодежной музыки, мы отсылаем к книге журналиста-международника О. Феофанова «Рок-музыка — вчера и сегодня». Музыковеды откликнулись пока только одним небольшим сборником статей «Поп-музыка» (Ленинград, 1977), однако много ценных наблюдений содержится в работах Д. Житомирского, В. Конен, Л. Переверзева (названные работы в свое время рецензировались автором этих строк). Планируется также перевод на русский язык исследования «Поп-музыка» (Таллин, 1977) известного эстонского композитора и музыковеда В. Оякяэра.

УХОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ (род. в 1946 г.).

Советский критик и переводчик с английского и польского языков. Занимается смежными проблемами литературы и музыки, зарубежной популярной песни. Автор статей в советской и зарубежной печати.

отделять рок от поп-музыки и вообще, почему этот феномен заслуживает самостоятельного разговора?

Прежде чем предпринять попытку ответить на этот вопрос, необходимо сразу оговориться. Некоторые читатели, особенно из числа поклонников этого жанра, будут удивлены, что мы лишь вскользь упоминаем имена, которые для них, возможно, олицетворяют всю современную (а не только популярную) музыку вообще («АББА», «Бони М», «Смоуки», «Урия Гип», «Пинк Флойд» и т. п.). Проблема, прямо скажем, непомерной популярности у нашей аудитории иных явлений зарубежного музыкального искусства, в своей среде играющих подчас куда более скромную роль, чересчур сложна, чтобы затрагивать ее мимоходом. Уже один из первых наших исследователей поп-музыки Д. Житомирский точно подметил, что «музыка способна эмоционально завуалировать любое содержание, придав ему видимость художественного воплощения». А если слушатель не владеет (или, что, наверное, еще хуже, плохо владеет) языком песенного оригинала? Ведь привлекательная внешняя форма шлягера (броская мелодия, заразительный ритм, пикантная оркестровка, прочувствованное исполнение) — лишь одна десятая «айсберга», остальные девять десятых — это та реальность буржуазного мира, которую содержание этих шлягеров отражает и о которой, соответственно, в нем поется. Вырванные из контекста этой реальности, они предстают в совершенно ином — безобидно-отлакированном виде.

Приведу лишь один пример того, как много неожиданно чужеродного может оказаться скрытым от стороннего наблюдателя под поверхностью бурного океана поп-музыки. Помните навязчивый мотив «Ма Бейкер» — танцевальной песенки из репертуара группы «Бони М»? В тексте этой песенки пересказывается — без какого-либо морального комментария — содержание гангстерского фильма «Кровавая мамаша» (основанного на реальных фактах) о матери — предводительнице банды из своих сыновей (с которыми она вдобавок еще и сожительствовала!).

Если прислушаться, можно услышать, что в аранжировку песни даже вмонтирована фонограмма из этого фильма. Кстати, история с музыкой «Ма Бейкер» — штрих, весьма характерный для методов, по которым вообще делаются шлягеры. Когда кто-то обратил внимание, что уж очень она похожа на старую мелодию одного тунисского композитора, и обратился к последнему за разъяснениями, тот спокойно ответил, что действительно является ее автором, но подписавшийся под ней и получающий соответственно все авторские отчисления продюсер «Бони М» Фрэнк Фариан вовремя успел дать ему «отступного».

Короче говоря, однозначно стереотипными оценками — негативными или положительными — поп-, рок-, диско-музыки мало что удалось бы прояснить в названной проблеме.

При всем том статистические показатели свидетельствуют, что оба русла, по которым с середины 70-х годов, казалось, должно было устремиться основное течение поп-музыки — «диско» и «новая волна»,— явно стали пересыхать. Едва успел еженедельник «Ньюсуик» опубликовать статью «Диско завоевывает мир» (с заголовком, вынесенным на обложку), как журнал «Диско-новости» был переименован в «Танцевальную музыку». Тогда же на гигантском фестивале рок-музыки в Рединге были освистаны единственные представители «новой волны».

Так или иначе, но никто из легендарных лидеров рок-н-ролла 50-х и 60-х годов не смог удержаться на прежнем уровне, если вообще выжил. Последний из могикан 50-х, вездесущий в свое время острослов Чак Берри в тексте своей последней пластинки устало отмахивается: «Вы ко мне не приставайте, и я не трону вас». «Роллинг Стоунз» объявили было о скором уходе со сцены. В рецензиях на пластинки и концерты Боба Дилана впервые с начала его карьеры появилось, наверное, самое жестокое для артиста слово «скука». После смерти Джона Бонэма (ударника группы «Лед Зеппелин», а еще ранее — Хендрикса, Джоплин, Моррисона, если называть только суперзвезд) пришел черед одного из ливерпульской четверки «Битлз» Джона Леннона — пятью выстрелами в упор его застрелил некий Марк Чэпмен, как потом выяснилось, психически неуравновешенный поклонник «Битлз», ухитрившийся незадолго до убийства Леннона... взять у него автограф.

Не осталось фактически ни одной прославленной молодежной рок-группы, которая не лишилась хотя бы одного своего участника. Обозреватель еженедельника «Виллидж войс» так откликнулся на гибель Леннона: «Его смерть — единственное значительное поп-событие за последние 10 лет». Таким образом, налицо все признаки кризиса жанра. Но кризис этот — не первый, по крайней мере, дважды уже объявляли: «Король рок-н-ролл умер!» Но тут же приходилось добавлять: «Да здравствует король рок-н-ролл!»

Что же случилось с пресловутым рок-н-роллом на этот раз? Однако сначала вернемся лет на 30 назад, к моменту его рождения.

На рубеже 40—50-х годов содержание популярной (тогда еще не говорили «поп») музыки США фактически исчерпывалось набором заплесневелых штампов сентиментально-романтической поэтики рубежа XVIII—XIX веков [помните, у Пушкина: «Потом приносят и гитару, И запищит она (бог мой!): «Приди в чертог ко мне златой!..»]. Штампы эти были совершенно обесценены — не столько от постоянного употребления, сколько от несоответствия правде жизни. Советскому читателю может показаться невероятным, но во время второй мировой войны бродвейские «профессионалы» не

создали ни одной популярной песни, которую помнили и пели бы сегодня и которая имела хотя бы косвенное отношение к событиям тех лет.

На эскапистской сущности музыкальной «массовой культуры» никак не отразились даже те значительные изменения в ее стиле, которые были обусловлены техническим прогрессом (микрофон создал манеру исполнения, родственную фольклорной: певец скорее напевает, чем собственно поет (по-английски — «crooning») [1] — это как бы сокращает дистанцию между ним и аудиторией), во-первых, и властным вторжением негритянского джаза, во-вторых.

Кроме того, средства массовой коммуникации и приток сельских жителей в большие города активизировали хорошо знакомое фольклористам явление «народного профессионализма». Начиная с 10-х годов, по мере развития радио и граммофона, представители устной традиции, талантливые самородки, все чаще вовлекались в круговорот легкожанрового бизнеса, минуя при этом стадию «письменной» профессиональной подготовки. В США это привело к возникновению двух типов полународного-полупрофессионального музицирования: сперва белого «кантри», а позднее — негритянского ритм-энд-блюза. «Кантри» (буквально: «сельская» музыка) — не столько традиционный, сколько авторский жанр, возникший внутри англокельтской традиции. И сначала он отражал повседневную реальность беднейших слоев американской провинции (жителей гор, сельскохозяйственных рабочих, ковбоев и т. п.). Стиль «кантри» приучил городскую публику к тому, что певец может сам аккомпанировать себе и являться автором исполняемой песни.

Ритм-энд-блюз, танцевальная музыка негритянских гетто, унаследовал от своей прародительницы Африки своеобразный синкретизм — единство «песни-танца-музыки» и присущее фольклору единство исполнителей-слушателей, коль скоро он исполнялся джазовыми импровизаторами. Настроение и продолжительность пьесы нередко зависели от реакции аудитории. «Публика — пятый участник нашего квартета»,— сказал однажды пианист Дэйв Брубек. Посредством кино, радио, электропроигрывателя и главным образом телевидения научно-техническая революция в каком-то смысле возвращает человека XX века к подобному синкретизму, донося «цельный» образ (и изображение, и звук, и движение), предоставляя нам возможность манипулировать изображением на экране ТВ и акустическими характеристиками грампластинки или магнитозаписи.

Возможность по собственному усмотрению заставить телевизор работать или «остановить» музыкантов порождала у первых юных телезрителей хотя и иллюзорное, но все же достаточно четкое ощущение включенности в происходящее на экране, участия в действии, игре. Не удовлетворяясь иллюзорным соучастием, юный телезритель искал подлинного. И нашел — пока еще не рок-н-ролл, но ритм-энд-блюз.

Молодежная «контркультура в буквальном смысле слова зародилась и погибла» на экране телевидения, справедливо заметил американский писатель Ф. Боноски.

Но все это, так сказать, лицевая сторона.

Почему же именно в первой половине 50-х годов неожиданно для самих негров — и что важнее, для бизнесменов от искусства,— ритм-энд-блюзовые пластинки с унизительной этикеткой «race records» (расовые записи) стали раскупаться не только цветными детьми и внуками дяди Тома, но и детьми благополучных белых американцев? Что отталкивало тинэйджеров [1] от музыки их родителей?

Первая половина 50-х годов — период «холодной войны», маккартизма, «черных списков» (напомним здесь шедший на наших экранах фильм «Подставное лицо»), первой угрозы всемирной ядерной катастрофы (не случайно тинэйджер 50-х годов, английский поэт и музыкант Джефф Наттел позднее назовет свое искусство «культурой бомбы»).

Конечно, мальчишки и девчонки 50-х еще не могли до конца осознать, какое отношение имеет социальная атмосфера к их настроениям и эмоциональному самочувствию. Однако они со свойственным юности протестом против всякой фальши — как Холден Колфилд из романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи» — почувствовали, что в мире взрослых не все благополучно. Кстати, роман Сэлинджера появился почти одновременно с первым рок-н-роллом.

Такая музыка по самой своей природе отвечала той особенности юношеской возрастной психологии, которая позже будет четко сформулирована «бунтующим поколением» 60-х годов в пресловутом девизе «here and now» — «здесь и немедленно».

«Именно в поп-музыке,— отмечал Кеннет Лич, автор книги «Молодежная встряска. Развитие контркультуры на протяжении двух десятилетий»,— первоначально воплощались ценности возникающей молодежной культуры». Рок-н-ролл отвечал и по-своему оформлял стихийный нонконформизм «детей» — естественно, что они не осмысляли этого в понятиях социологии,— по отношению к образу жизни и культуре «отцов». Но юные «тотальные нонконформисты» не преследовали никаких социальных или политических целей. Они просто искали забвения, стремились к интенсивному переживанию жизни, видели свой «идеал» в богемной, капризно-раскованной чувственности, в свободе от навязанных им

[1] Самым известным представителем этой манеры до сих пор остается Фрэнк Синатра, хотя создателем ее считают Бинга Кросби.

[1] Тинэйджеры — социально-возрастная прослойка молодежи от 12 до 19 лет, сформировавшаяся в результате относительного роста материального благосостояния «одноэтажной Америки»; тинэйджеры либо не заняты непосредственно в процессе производства вообще, либо имеют больше свободного времени, чем взрослые.

«отцами» норм и стандартов. Поэтому молодежи казалось, что «простой, как мычание», рок-н-ролл дает им возможность сиюминутного — «здесь и немедленно» — самовыражения, позволяет как бы обособиться от поколения «отцов».

Хемингуэевское «потерянное поколение» находило забвение в расслабляющей, экзотически-пряной мелодичности Кола Портера (это точно передано в «Снегах Килиманджаро»), которая даже по сравнению с приглаженными ритмами коммерческого джаза просто убаюкивала слушателя. «Молчаливое поколение» выражало свое несогласие с миром взрослых музыкой резко ритмичной, громкой, которая была способна дать непосредственный выход нерастраченной физической и эмоциональной энергии, от «звуков грез и забвения» швыряла в стихию оглушающего грохота.

Но главным, что роднило подлинные ритмы детей дяди Тома с мироощущением Холдена Колфилда, был питавший их глубокий, хотя далеко не всегда осознанный протест против конформизма, особенно отчетливо заявивший о себе после войны в Корее (воевавшие за США солдаты-негры, возвращаясь домой, снова становились людьми второго сорта). Чувство это пронизывает все афроамериканское искусство, в том числе и музыку — от духовных песнопений «спиричуэлс» и «госпел» до сельских блюзов и городского ритм-энд-блюза. Не случайно в репертуаре движения «песенного протеста» чаще представлены именно эти жанры, и прежде всего блюз.

Сохранившая многие черты традиционного народного творчества, поэтика блюза (а также «кантри») привлекала белую молодежь своим личностным характером: автор-исполнитель всегда обращался непосредственно к слушателям, его рассказ неизменно включал такие реалии, как даты, названия мест, имена собственные. Полная противоположность бродвейской «лирике», герой которой представлял собой некое лишенное человеческой плоти,— собирательное «третье» лицо, что обращалось к таким же «атомарным» (Т. Адорно), усредненным потребителям.

Блюз в исполнении белого артиста становился подобием народной песни, принадлежащей и тем, кто ее исполнял, и тем, кто слушал. Когда позднее (в начале 60-х годов) блюзом увлеклись в Великобритании, гитарист Эрик Клэптон ответил на похвалы в свой адрес: «Я играю только то, что сыграл когда-то Би-Би Кинг» (негритянский автор-исполнитель, гастролировавший в СССР). Загадочное для многих название «интеллектуально-экспериментальной» рок-группы «Пинк Флойд» (имена негритянских блюзовых певцов) восходит к первоначальной творческой программе этого коллектива.

Но увлечение молодежи негритянским ритм-энд-блюзом и подлинным блюзом в более общем плане можно рассматривать как проявление своего рода протеста против стереотипов «массовой культуры».

Хотя року не под силу претендовать на роль «фольклора индустриального человека», он, вопреки М. Маклюэну, больше подходит для нее, чем буржуазная «массовая культура». Некоторыми весьма существенными свойствами фольклора рок действительно обладает: прежде всего, танцевальная песня становится не столько художественным творчеством, сколько неотъемлемым компонентом бытия, или, пользуясь емкой формулировкой Л. Переверзева, «принципом музыкального переживания действительности». И в этом своем качестве рок активно противостоит эскапизму буржуазной «массовой культуры». Рок — некий синкретический «акт волеизъявления», нерасчленимый на слова, музыку, танец, игру, слушание — «авапбапалубапалуббэмбум», как, воспользовавшись припевом одного рок-н-ролла, назвал свою книгу молодой авторитет в области поп-музыки Ник Кон.

Потенциальная возможность «сотворчества» аудитории заключена и в обязательной, почти фольклорной, простоте выразительных средств — в принципе принять участие в исполнении может и должен и непрофессионал. В силу этого даже самые стойкие внешние стилистические приметы молодежной музыки — микрофонная манера ансамблевого пения, чудовищная громкость, воздействующая иногда прямо на физиологию, деформированные электроникой тембры гитары (и вообще синтетические звучания) и даже самодовлеющий ритмический пульс — правила, допускающие и даже подразумевающие исключения.

«Да, «Битлз» и вправду сочиняли хорошую музыку. Но с каких это пор «поп» (то есть рок.— **Д. У.**) имеет дело с хорошей музыкой?» — характерное признание того же Ника Кона.

Как и в фольклоре, в рок-культуре «свое» искусство оценивается однозначно — молодежь воспользовалась для формирования собственного вкуса списками песенных бестселлеров, так называемыми хит-парадами. «Скажи мне, какое место занимает в хит-параде твоя любимая песня, и я скажу, кто ты».

На примере тех же «Битлз» хорошо виден фольклорный примат коллективного над индивидуальным; никто из знаменитой четверки не мог в одиночку достичь того творческого накала, которым прославился ливерпульский квартет. Кстати, под песнями «Битлз» подписывались сразу и Джон Леннон, и Пол Маккартни, даже если автором был кто-то один (знаменитая мелодия «Вчера» полностью сочинена и записана на пластинку Маккартни). Интересно, что бывший участник «Битлз» Джордж Харрисон, признанный виновным в плагиате, был осужден материально, но не морально — частное определение гласило, что он мог воспользоваться когда-то слышанным и

впоследствии забытым мотивом подсознательно.

Авторы рока стремятся даже преодолеть стадию «письма», отдавая предпочтение устному бытованию своих произведений — Боб Дилан, например. Однако рок — явление иной, отличной от фольклора и противоречивой, даже парадоксальной природы. В культурологическом аспекте его следовало бы считать явлением «популярной культуры», которая в период молодежного протеста сомкнулась с контркультурой на общей платформе «негативного здравомыслия», как отметил советский исследователь Ю. Кагарманов.

Внутри контркультуры рок мечется от неверия в слово, речевую коммуникацию вообще — к традиционной народной песне, от абсолютизации индивидуализма, личного спонтанного опыта — к слепому преклонению перед авторитетом хит-парада, от здравомыслия, пусть негативного,— к наркотической мистике, от желания «увлечь» аудиторию, разбудить ее от душевной спячки — к сформированному «массовой культурой» утопизму. Идеологический спектр рока простирается от сотрудничества с коммунистами (английский ансамбль «Генри Кау») до экстремизма разных мастей, подавляющего антибуржуазное начало молодежного протеста.

Но основной парадокс рока — это противоречие между нонконформистской сущностью «негативного здравомыслия», свойственного молодежной субкультуре, и механизмом «массовой культуры», в лоне которой (в частности, на экране ТВ) контркультура «зародилась и погибла».

Рок заражен всеми противоречиями «массовой культуры», и прежде всего несоответствием ее универсального характера «атомарным» способам потребления ее продукции: до сих пор не найдена форма трансляции поп-музыки по телевидению, тем более такой музыки, которая подразумевает активное сотворчество аудитории; «шоу» неизбежно противоречит домашнему «интиму», и телезритель всегда подмечает неестественность пения под фонограмму.

Язык рока во многом прочно заимствован из лексикона той же «массовой культуры», но, что важнее, не отражает (в отличие от фольклора или мифологии) цельного представления о жизни, но ориентируется, как и «массовая культура», почти исключительно на одну ее сферу — досуга, развлечения. Отсюда и крайне наивные эксперименты иных талантливых песенников, артистов эстрады, не желающих примиряться со своей ролью «развлекателей» — «Революция № 9», «Битлз», а иногда и откровенная профанация — «Музыка металлических машин» Лу Рида.

Наконец, «не забывайте, что рок был создан прыщавыми юнцами»,— напомнил недавно критик Дэйв Марш. Действительно, все комплексы незрелой, почти детской психики рок-музыкант протаскивает вместе со своими песнями дальше — в юность. Когда «Энималз» пели:

Папаша работал, работал, работал,
Да так и остался рабом,—

они не столько протестовали, сколько выдавали свою боязнь взрослеть. Социологи добавят к этому еще и подростковый инстинкт разрушения, все чаще выплескивающийся наружу в жестокой реальности капиталистического города. В роке от природы был заложен архетип уличного «дикаря» (так назывался фильм с Марлоном Брандо, которому поначалу подражал Элвис Пресли) и «бунтовщика без цели» (название кинокартины тех лет).

Пусть большая часть выросших на этих фильмах подростков присоединилась позднее к требованию «заниматься любовью, а не войной», символом юношеского протеста все же остается площадное насилие («Эх, жаль, что в сонном Лондоне нечего делать уличному бойцу»,— «Роллинг Стоунз»; «В субботу вечером, выйдя из пивной, здорово подраться»,— Элтон Джон).

В историю биг-бита вошел не только фестиваль «братства и любви» Вудсток, но и Альтамонт — бесплатный концерт «Роллинг Стоунз» на открытом воздухе, во время которого «ангелы ада», нанятые для охраны артистов, забили насмерть негритянского парня — причем буквально в двух метрах от сцены. Такова уж ирония судьбы: Мик Джеггер как раз пел о сочувствии сатане. Кинокамеры зафиксировали его потрясенное лицо, но публика, кроме сидящих в первых рядах, так ничего и не заметила. Потом выяснилось, что на концерте погибло еще трое. Прошло ровно 10 лет, и в Цинциннати перед началом концерта группы «Те, кто» толпа, стремившаяся занять места поудобнее, задавила насмерть одиннадцать человек. А через 12 лет повторилась и альтамонтская история, на этот раз во время гастролей «Роллинг Стоунз» в штате Мэриленд, причем произошло это в годовщину смерти Джона Леннона...

В сущности, не такая уж краткая, по масштабам XX века, тридцатилетняя история рок-музыки — это история упорного сопротивления (сначала неосознанного, позднее сознательного) контркультуры, которую не менее упорно пытается поглотить индустрия развлечений.

Рок не создал значительных музыкально-эстетических ценностей, несмотря на то что уже третье поколение молодежи продолжает вкладывать в него немало таланта и душевной энергии, так как, по сути дела, не успел побыть искусством, музыкой. Из опознавательного знака тинэйджеров, объединенных протестом против «голого короля» — бессодержательной поп-музыки «взрослых», он сразу же превратился в ингредиент жизни молодежи, по которому формировался ее особый стиль: «все, что нужно,— здесь и немедленно».

Собственно, история рок-н-ролла и началась с того момента, когда белые исполнители музыки «кантри» стали включать в свой репертуар негритянский ритм-энд-блюз и копировать негритян-

ских исполнителей. Процесс копирования получил такое распространение, что даже породил специальный термин «cover» (от глагола «покрывать»).

Однако ведущие передач по заявкам слушателей — диск-жокеи — выдвинули собственные креатуры (из них самым знаменитым стал очень одаренный от природы Элвис Пресли), чей сценический и бытовой облик — «имидж» — формировался в традициях американской бродвейской эстрады по образу и подобию Фрэнка Синатры и Бинга Кросби. Выдумывая, точнее, заимствуя из негритянских песен задорный клич «рок-энд-ролл!» (то есть «повертимся-покружимся»), диск-жокей Алан Фрид просто-напросто рассчитывал заменить им словосочетание «ритм-энд-блюз».

Тем более показателен успех артиста, тогда представлявшего собой полную противоположность «имиджу» Пресли и ему подобных, но все-таки добившегося одновременно с ними относительного успеха. Речь идет о Чаке Берри — негритянском авторе и исполнителе песенок на школьном жаргоне, не без мальчишеских непристойностей, с чувством юмора, а иной раз и претензиями на сатиру. Впрочем, сфера выпадов Берри ограничивалась Бетховеном, старым джазбандом и учителями-бюрократами.

Интересно, что в конце 70-х годов панк-группа «Секс Пистолз» реставрировала песни Берри так, что все подразумевавшиеся им непристойности были смачно спеты вслух. Никто из участников группы к ответственности за «оскорбление нравственности» привлечен не был. Длящаяся и по сей день популярность Чака Берри свидетельствовала, что, хотя первый раунд на арене молодежной субкультуры между неосознанным юношеским протестом и конформистской «массовой культурой» окончился победой последней, до конца обуздать стихийно антибуржуазное начало негритянской музыки она все же не смогла.

К началу 60-х годов казалось, что «король рок-н-ролл умер». Фактически первый кризис жанра означал, что окончились породившие его «безликие 50-е», но непосредственным поводом послужило разоблачение коррупции в среде диск-жокеев — они получали взятки за то, что включали в свои программы те, а не иные пластинки. В их числе оказался и сам изобретатель термина «рок-н-ролл» Алан Фрид. Поэтому «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли демонстративно отправили служить в армию; он вернулся через два года, благосклонно принятый как блудный сын, не столько детьми, сколько их родителями. Стушевались и остальные первооткрыватели: примечательно, что в американских хит-парадах. скажем, 1963 года практически нет ни одного имени, которое помнили бы сегодня.

Как только статистика зарегистрировала значительное падение акций музыки легких жанров, на смену ей было предложено не менее доступное развлечение — бытовой танец. После нескольких проб была мастерски проведена кампания по «внедрению в серийное производство» твиста. Видимо, такая подстановка становится своеобразным законом компенсации в музыкальной «массовой культуре»; нечто подобное происходило и прежде, в 30-е годы, и в 50-е (мода на «ча-ча-ча»), и позднее — но особенно наглядно в период второго кризиса рока (имеется в виду феномен, а точнее — антифеномен «диско»). В твисте, впервые в истории бытового танца отделившем партнеров друг от друга, «одноэтажная Америка» не нашла ничего дурного. Затем, как утверждают американские педагоги, подростки решили, что их танец незаконно присвоен взрослыми, и скоро перестали им интересоваться, хотя в дальнейшем все очередные танцевальные новинки рока (и «диско», и «новой волны») продолжали развивать тот же стиль индивидуалистически-игрового самовыражения.

Если первый этап рок-н-ролла был прикидкой будущей драмы контркультуры, то ее прологом стала начавшаяся в Великобритании битломания, охватившая весь западный мир. Надо подчеркнуть, что языковая общность существенно облегчала циркуляцию музыкальных идей между Англией и США. Однако сразу же бросаются в глаза и различия: в США, с их культом «американской мечты», начинающие артисты пытались добиться успеха в одиночку, поэтому в американском рок-н-ролле господствует фигура певца-солиста, а позднее автора — исполнителя собственных песен, самым значительным из которых стал Боб Дилан.

Не то в «доброй старой Англии»: традиционно сословная система образования со строгой социальной иерархией приучила английских мальчишек из рабочих кварталов держаться вместе. И если американцы имеют основания оспаривать приоритет в изобретении состава «три электрогитары плюс ударные», то патент на вокально-инструментальный ансамбль, скорее всего, принадлежит англичанам, опять же позаимствовавшим идею группы певцов-инструменталистов из негритянских духовных песнопений «госпел». Бит-группа — фактически продолжение дворовой команды, уличной или школьной компании, если не сказать — шайки (существовала сравнительно популярная группа, действительно состоявшая из малолетних правонарушителей). Такая компания создавала свой собственный мирок и находилась, естественно, на полном самообеспечении — пели, играли, сочиняли слова и музыку, поначалу даже режиссировали свои выступления сами ее участники.

Беспрецедентный взрыв любительского музицирования в Англии начала 60-х годов объясняется именно тем, что успех «Битлз» и «Роллинг Стоунз» вселял уверенность, что одним только талантом можно пробить брешь в чуть ли не средневековой традиции корпоративности, уживавшейся в Великобритании с системой развитого капиталистического производства и гипертрофированного потреби-

тельства. Позднее американская певица-поэтесса Патти Смит скажет: «Рок-н-ролл — это не только ансамбль, исполняющий песни, это сообщность, интегрируемая звуками, взаимодействием энергии и ритма. Нечто, на чем зиждется взаимопонимание. Чувство общности с людьми, вместе стремящимися к одной цели. Я убеждена, что рок-н-ролл — самая универсальная форма общения со времен христианства».

Разумеется, битломания была прежде всего делом тройки «продюсер — менеджер — диск-жокей» и, шире, всего комплекса «поп-моды», выдвинувшего наряду с «Битлз» создательницу миниюбки Мэри Квант и манекенщицу Твигги. В сущности, бунт «новых левых» еще не успел оформиться, а «массовая культура» успела уже к нему подготовиться модой, ориентированной на молодежь.

И все же можно сказать, что второй раунд борьбы за умы и сердца молодежи — уже на английском «ринге» — всесильная и все предвидевшая «массовая культура» проиграла.

Удар ей был нанесен с самой неожиданной позиции — со стороны безобидной эстрадной музыки: в хит-парадах зазвучали остросоциальные песни, образный строй которых был весьма далек от традиционной бродвейской тематики. Свою роль здесь сыграла опять же научно-техническая революция, дав в руки музыкантам-непрофессионалам, в том числе и музицирующим поэтам, неотразимое оружие — микрофон, который позволял ограничиться весьма скромными вокальными данными, а вся прочая электроника — сравнительно легко научиться (или, вернее, сделать вид, что научился) играть на гитаре.

И поэты не преминули воспользоваться предоставленной возможностью: возникло песенное движение новых «бардов и менестрелей». В США это привело к тому, что возродился интерес к незамысловатой народной песне, балладе. Немалая заслуга в этом принадлежит Питу Сигеру — «отцу фолксингеров» и борцу за гражданские права, как оказалось, не забытому американцами во времена «черных списков».

Концерты-встречи, на которых известные артисты разучивали и исполняли вместе с аудиторией самые разные песни, нередко превращались в политические демонстрации: на издавна популярные мотивы распевали новые тексты обо всем, что волновало подросших уже поклонников Пресли, а теперь студентов колледжей. Непосредственным учителем и примером для подражания многих молодых поэтов-песенников стал бард «красных тридцатых» Вуди Гатри, прямой наследник и продолжатель традиций пролетарской песни Джо Хилла и Эрла Робинсона: один из «молодых» — Боб Дилан — первым решился выступить на фестивале народной музыки в сопровождении электрифицированной рок-группы.

Жест его поначалу был воспринят чуть ли не как предательство общих идеалов, но вскоре его примеру последовали и канадец Ленард Коэн, и ирландец Донован, и сын самого Гатри — Арло. «Если бы не Дилан, я так и не узнал бы, что песня — это что-то большее чем просто «Ах, люби, люби меня»,— признался однажды Джон Леннон. Благодаря Дилану, которому удалось преодолеть преграду между песней и поэзией, традиционно существовавшую в странах английского языка, «Битлз» пробили первую брешь в стене, отделявшей иллюзорный мир песенной лирики от реальности:

Вот и вечер после трудного дня.
Я работал как вол.
Вечер после трудного дня,
Я буду спать как убитый.
Ты же знаешь —
Я целый день тружусь,
Чтоб хоть что-то заработать.

Формально тема этой песни — все та же «любовь» («Нет, спать я не стану, лучше проведу вечер с тобой, обними меня покрепче...»), но ничего подобного в песне предыдущего периода и представить было невозможно!

Хотя значение рок-поэзии не следует преувеличивать, поворот к злободневной тематике тех же «Битлз», «спроектированных» менеджером Брайаном Эпстейном по проверенным образцам Пресли и Клиффа Ричарда, может быть объяснен только в контексте социально-политической реальности 60-х годов — периода назревавшего молодежного бунта.

Вместе с битломанией рок вступает в свою вторую, «героическую» эпоху, которая подразделяется на три этапа — собственно битломания первой половины и середины 60-х годов, «золотой век», совпадающий с контркультурным взрывом 1967—1969 годов, и длительный период скрытого кризиса.

Возможно, все, что есть в роке значительного, было задумано и реализовано именно в «золотой век» на общем фоне подъема молодежного движения. Вопреки распространенному мнению, молодежные лидеры отводили музыке довольно скромное место (по сравнению, скажем, с телевидением), на практике же англоязычный рок оказался чуть ли не единственным элементом духовной культуры, цементировавшим распыленное на всевозможные «школы» и «школки» молодежное движение.

С этого времени понятие «рок» приобретает почти мировоззренческое значение: еще до начала леворадикалистских выступлений рок-музыкант из артиста эстрады, фигуры и прежде заметной, но с социальной точки зрения в общем-то второстепенной, превращается чуть ли не в пророка — властителя дум и законодателя мод, внешне как бы не зависящего от «массовой культуры».

По мере того как с начала 70-х годов контркультурный бум идет на спад, акции рок-музыки и особенно раннего рок-н-ролла, как это ни парадоксально, поднимаются. Поэтому второй кризис жанра (песня уже не столько «зовет в бой», сколько — как и раньше — утешает и развлекает) протекал менее заметно, хо-

тя был более глубоким и затяжным (до середины 70-х годов).

Внешне, казалось, все обстояло как нельзя более благополучно, омрачали картину лишь устрашавшие своей регулярностью «странные» смерти артистов, не достигших еще 30 лет, но на их место приходили десятки и сотни искателей приключений, обуреваемых «звездной горячкой». Спекулируя на естественном расслоении неоднородной по своей природе рок-аудитории, «массовая культура» приманивает многих талантливых художников, чьи творческие находки используются как модели, по которым создаются целые серии образцов однотипной музыкальной продукции. Нередко и сами артисты участвуют в этом процессе, не замечая того, что после первой же удачной пластинки их произведения срываются в автопародию и отражают уже не столько многообразие творческих поисков, сколько замаскированную смену одной моды другой.

Фактически рок первой половины 70-х годов состоит из «основного течения», представленного в общей массе удручающе примитивным «хард-роком», то есть роком «тяжелым», «энергичным». Энергичность его на деле оборачивается просто-напросто бесцельным перерасходом самых экспрессивных выразительных средств негритянского ритм-энд-блюза, затушевывающим типично маньеристское нагромождение ничего не означающих символов — как известно, характерный признак любого кризиса в искусстве. С одинаковой ритмической тупостью, с тем же самым визгом и ревом усилителей поется (точнее, надрывно выкрикивается) и о «свиньях войны», и о «черном шабаше», и о том, что... «у тебя сегодня плохо намазаны глаза». Приятные исключения столь редки, что не могут не выделяться на общем фоне; этим, возможно, отчасти объясняется авторитет таких групп, как «Квин», «Лед Зеппелин», «Дип-Пёрпл».

Очередной всплеск моды на «хард-рок» в начале 80-х годов не принес абсолютно ничего нового, чем еще раз подтвердил кризисное состояние жанра в целом. В течение пяти лет творческий потенциал рок-музыкантов вообще реализуется вне сферы молодежной музыки. Многие артисты демонстративно удаляются в «башню из слоновой кости», составляя «левое крыло» рока — разного рода экспериментальные «школы», которые пытаются сочетать стилистику рока с классическими музыкальными формами, с джазовой импровизацией, с искусственно получаемыми электронными тонами и т. п. Эксперименты эти, впрочем утрачивающие всякую связь с песенной первоосновой рока — блюзом, как правило, остаются вне поля зрения рок-аудитории.

Полную противоположность представляет, по удачному выражению одного советского критика, «рок в коротких штанишках». Дальновидные коммерсанты точно рассчитали, что школьники младших классов, проводящие свой досуг у экрана ТВ,— тоже потенциальный рынок сбыта детских песенок, более или менее удачно скроенных ловкими профессионалами. От рока остаются только самые внешние приметы — принцип ансамблевого исполнения, легкая хрипотца в голосе солистов, ненавязчивое, но однообразно ритмичное сопровождение.

По этому же рецепту создавался и «рок в коротких штанишках» для... взрослых. От «детского рока» «рок популярный» отличается только словарным запасом и декольтированными туалетами участниц ансамблей. Содержание — как и положено по традиции, идущей еще от 20-х годов,— «счастливые люди со своими счастливыми проблемами», не более! Нет ничего удивительного, что натиска «поп-рока» не выдержали последние бастионы традиционной эстрады — фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо, конкурс Евровидения. Их организаторы, в сущности, ничем не поступились.

Экономический и энергетический кризис 1973—1974 годов отразился на рок-музыке не количественно (пластинок в эти годы продавалось даже больше, чем когда-либо), но качественно: фирмы грамзаписи, испугавшись за свои доходы, тут же сбросили маску покровителей искусств и стали делать ставки исключительно на беспроигрышные варианты — артистов-суперзвезд, гарантировавших верную прибыль.

Чтобы скрыть растерянность суперзвезд, неверие в собственные силы и вообще в возможность «изменить» мир, внутреннюю опустошенность, которая неизбежна при жестких контрактах и серийно-конвейерном стиле работы, стали прибегать к театральным эффектам, кинопроекции, участию огромных исполнительских аппаратов. И родился «ослепительный рок» (glam-rock).

Что они сделали с нашей песней,
Песней про наши права?
Переделали ее мотив на другой, давно известный,
И подменили слова.
Что они сделали с песней?
Ее украли тайком...[1]

Так прокомментировала происшедшие перемены певица Мелани Сафка: певец Дон Маклин пел о «дне, когда музыка умерла».

Итак, «король рок-н-ролл умер» во второй раз. Ослепительные эффекты уже не имели ничего общего ни с рок-н-роллом, ни с музыкой вообще — на концерте группы «Стилай Спэн», например, разбрасывали настоящие ассигнации, во время «шоу» «Генезиса» начинали демонстрировать кинофильм, причем публика не замечала, что давно уже слушает магнитозапись... Из потрепанных демократичных джинсов рок переряжается сначала в «короткие штанишки», а затем и в «атласные слезы на бархатном фоне», как с самоиронией пел Брайан Ферри.

[1] Автор русского текста — М. Подберезский.

Второй кризис жанра сделался очевиден даже для горячих его поклонников, но... «да здравствует король рок-н-ролл!».

Читатели, наверное, помнят, как по телевидению показывали первых лондонских «панков»: вызывающий грим, короткие, нафабренные, выкрашенные в самые неестественные цвета волосы, не столько потрепанная, сколько грязная одежда и украшения, которые при случае можно было использовать как... холодное оружие (бритвы, булавки, унитазные цепочки с увесистыми ручками, перекинутые через плечо на манер шарфа). Кое-где мелькали свастики. В том же стиле были и песни, неумело сочиненные, плохо сыгранные, еще хуже спетые, но при этом что-то удивительно напоминающие. «Мы, критики, с таким жаром принялись отстаивать панк-рок только потому, что вообще больше не о чем было писать»,— признал в 1980 году журнал «Роллинг Стоун».

Поначалу действительно могло показаться, что панк-рок — какой-никакой, а все же выход, творческий порыв «низов», долгожданные новые «Битлз». Но на деле все обстояло не так просто. Хотя любительство всегда играло в роке первостепенную роль — обычно из самодеятельных дворовых команд и рекрутирует «массовая культура» будущих суперзвезд,— истоки панк-рока, как это ни парадоксально, идут «сверху», от неомодернистской элиты.

Еще в начале 60-х годов некоторым любительским ансамблям удалось даже записаться на пластинки, но они были оттеснены вторжением «Битлз». Однако именно тогда рок-группы обратили на себя внимание интеллектуальной богемы. Одну из таких групп впоследствии взял под свое покровительство художник Энди Уорхол, другую — поэт Аллен Гинзберг, сам время от времени пробующий — впрочем, пока без особого успеха — музицировать.

Музыке, разумеется, в таких ансамблях принадлежало подчиненное место, первенствовала мелодекламация в духе настроений сегодняшней американской богемы вроде: «Я — меч, я — рана, я — пятно позора. Я — отверженное дитя преображенного Каина» (Патти Смит, «Пасха»). Властителями дум в этой среде были кумиры авангардистской литературы: из классиков — французские символисты (лидер панк-группы «Телевижн» Том Миллер даже присвоил себе псевдоним Верлен), а из современников — Гинзберг, Жене, Берроуз; мало кто из любителей рока придает значение тому, что, например, означают названия популярных групп «Мягкая машина» и «Стили Дэн», взятые из произведений последнего с их наркотическими откровениями, научной и ненаучной фантастикой на грани мистики, черным «садистским» юмором, повышенным интересом к насилию, к сексу.

В противовес призывам «любовь и мир», «занимайтесь любовью, а не войной», может быть, отчасти дискредитированным хиппи, был выдвинут лозунг «война и ненависть», который приписывают некоему Игги Попу. Этот «анфан террибль» рок-музыки мог спокойно снять штаны на сцене (недавно этот номер у него не прошел: при теперешней свободе нравов это уже лишнее), а потом до крови расцарапать себе грудь, плюнуть в публику и т. д. и т. п.

Стиль ненависти и насилия на этот раз был предложен «массовой культуре» неким Малькольмом Макларен, дельцом, вернувшимся в Лондон после не очень успешной попытки устроить дела одной из нью-йоркских богемных рок-групп. Он собрал квартет юношей, вызывающе назвал его «Секс пистолз» и предложил им соответствующую тематику. Никто из участников на этом этапе особого таланта к сочинительству не проявил, поэтому репертуар «секс-пистолетов» состоял в основном из непристойных пародий на самые разные объекты — от британского гимна («Боже, благослови королеву, ведь она совсем не человек!») до ранних рок-н-роллов.

Успех «Секс пистолз», естественно, вдохновил на подобные «подвиги» многие десятки и сотни других мало-мальски освоившихся с музыкальными инструментами дилетантов, и дело пошло!

О чем могли петь «Мертвые мальчики», «Душители» из «Тупиков» и «Асфальтовых джунглей» (в кавычках — названия панк-групп), стоящие в очередях за пособием по безработице (появился даже термин «dole cue rock»)?

Я представляю собой жалкое зрелище,
когда несу безропотно бремя стыда,
на меня не хочется и смотреть,
когда несу я смиренно бремя стыда.
У нас вошло уже в привычку
ни на что внимания не обращать.
Мы остаемся глухи к просьбам
о помощи и крикам отчаяния...

(«Бремя стыда», ансамбль «Пособие по безработице 40»)

Они подрастали рядом со старшими товарищами, теми, кто испытывал растерянность после 1968 года, после Уотергейта, когда молодежь окончательно рассталась с иллюзорными надеждами на «демократическое государство». Если в сознании поколения 60-х годов рушатся последние иллюзии, то поколение 70-х живет уже среди обломков этих иллюзий.

Так, Джонни Лайдон (в прошлом «Прогнивший» из «Секс пистолз») в одной из своих новых песен цинично рисует сцену то ли избиения, то ли убийства неподалеку от оживленной магистрали; крики жертвы заглушаются звуками поп-музыки, доносящимися из стоящего на обочине автомобиля.

В 1967 году в предчувствии молодежного взрыва и хипповских братаний «Битлз» пели: «Все, что нужно,— это любовь».

Через 10 лет Патти Смит обращается к поколению 60-х:

Мать говорила: все, что нужно,— это любовь
Но как она ни старалась,
Все равно теперь живет одна.

(Из песни «Ночная слепота»)

В 1970 году, когда стало ясно, что революция по принципу рок-н-ролла — «здесь и немедленно» — не удалась, с особой остротой прозвучала и стала шлягером песня Криса Кристоферсона в исполнении Дженис Джоплин (она сама, кстати, до этого успеха не дожила) с припевом: «Свобода — это когда нечего терять». Но Том Верлен бросил этому разочарованию вызов: «А я люблю катастрофы и все, что потом». Панк-рок Макларена, прозябавший лет десять где-то на задворках нью-йоркской богемы, был рассчитан именно на эти настроения.

Стиль насилия отражал прежде всего глубочайший моральный кризис общества потребления, но корни его — в общем кризисе капитализма. Напомним, в рок-н-ролле с самого начала был заложен культ анархистского бесцельного бунта. Только в 60-е годы бунтовали по законам эстетического, а в 70-е — безобразного.

«Злобные мизантропы, в глубине души знающие о себе всю правду, любят представиться этакими наивно ребячливыми созданиями, невинно аплодирующими, когда утенку Дональду достается очередная пощечина»,— писал задолго до эпохи рок-н-ролла Макс Хоркхаймер. Панк-рок выплеснул на поверхность молодежного сообщества именно описанный социологом тип политически неустойчивой, неразборчивой, но склоняющейся к насилию личности. Одно время заигрывавшие с нацистской символикой панк-рокеры приняли было участие также в ряде антифашистских мероприятий; но чего стоили эти жесты, если поклонники «Секс пистолз» аплодировали, когда те верещали со сцены «Боже, благослови нацистов»?

При всем том немалая часть молодежи довольно скоро разобралась, что к чему, и панк-рок успел обогатить всего лишь несколько пробивных дельцов. В списках бестселлеров стали занимать ведущие позиции имена, по сути дела, ничего не умевших дилетантов, и дорогостоящим «электронно-техно-симфо-роковым» опусам «Генезиса» или «Стикса» (обратите внимание на претенциозные названия ансамблей!) пришлось потесниться.

В конечном счете кратковременная конкурентоспособность панк-рока еще раз убедительно продемонстрировала, что рок в целом не столько эстетическое, сколько социальное явление. Не случайно одна из немногих действительно серьезных панк-групп «Клэш» поет о «липовой битломании», пытаясь отделить подлинное от созданного рекламой. И не это ли имел в виду четверть века назад Дюк Эллингтон, когда сказал, что «рок-н-ролл не имеет ничего общего с музыкой».

Отталкивающаяся от панк-рока «новая волна», на которую возлагали большие надежды скорее критики, чем любители рок-н-ролла, тоже не была чем-то новым. В третий раз умудренные опытом профессионалы поддавались воздействию вызывающе дилетантского примитива — панк-рока. Произошло это без особого сопротивления, так как проницательные рок-музыканты не могли не видеть очередного кризиса жанра — самые смелые экспериментаторы (такие, как Роберт Фрипп и Брайан Эно) быстро сдали позиции, взяв под крылышко целый ряд доморощенных панк-групп. Но характерно, что их деятельность в новом качестве остается явлением элитарным, проходящим мимо широкой публики, точно так же, как и поп-арт Раушенберга и Уорхола. Аналогия не случайная, о связях рок-музыкантов с последним уже говорилось.

Единственной действительно свежей струей в общем потоке «новой волны» можно было бы назвать музыку «реггей» — опять же заимствование белой субкультурой полународной-полупрофессиональной культуры афроамериканцев с островов Карибского моря. В негритянской музыке Ямайки «новую волну» привлекает именно народное начало — прочное сцепление текста и напева, простота, но не упрощенность мелодии, сочетающаяся с заразительно плясовой, удивительно гибкой ритмикой.

Как уже говорилось, когда люди перестают слушать легкую музыку, индустрия развлечений заставляет их под нее танцевать. Спекулируя на постоянном возрастании значения музыки в системе массовых коммуникаций, ее авторитета в молодежной среде, индустрия развлечений создала и нечто вроде карикатуры на рок — так называемый стиль «диско»: «Мы жертвы той песни, что сами поем» (Кэнди Стэйтон).

В отличие от «коллективизма» «Битлз» и других ансамблей, о которых шла речь выше, диско-музыка — порождение жесточайшей диктатуры триумвирата: «продюсер — композитор — дирижер». Нередко эти функции монополизирует один человек (французский руководитель оркестра Серрон вообще не указывает на пластинках имен тех, кто принимал в записи участие; на пластинках его нет ничего, кроме номеров 1, 2, 3, 4 и т. д.; сходство с конвейером прямо-таки разительное!).

«Утопизм» рока подменяется дешевым псевдокосмическим футуризмом (вспомните «Бони М») с довольными жизнью роботами, «звездными войнами», скафандрами и т. п. А «идеология» сводится к модели капиталистической реальности, «крысиных гонок», конкуренции, ведь конкурс на первого, лучшего танцора — обязательная составляющая дискоритуала.

Мода на «диско», как и на рок-н-ролл, пропагандировалась через кино (только более организованно) — не без дальнего прицела на видеомагнитофон. Самый известный из фильмов «диско» — «Лихорадка в субботу вечером». Но есть и «Лихорадка летним вечером», «Слава богу, уже пятница» и т. п.— «уикэндовая» тематика выдает стремление организаторов диско-кампании найти путь к сердцу рабочих, трудящихся. Не вышло. Зато дискотеки облюбовали американские... гомосексуалисты, так как профсоюзы му-

зыкантов отказались обслуживать их заведения. Квинтет «Виллидж пипл» («Деревенские ребята», точнее, «Ребята из Гринвич-виллидж» — богемного района Нью-Йорка) уже прямо создавался в расчете на подобную аудиторию. Тот, кто видел во время последнего кинофестиваля картину «Музыку остановить нельзя», имел возможность это заметить хотя бы по все время попадающим в кадр обнаженным и полуобнаженным мужским фигурам.

«Диско» вообще может служить хрестоматийным образцом всех основных методов «массовой культуры». Например, товарный принцип «покупатель всегда прав» внедряется даже в саму структуру музыки: ритм диско-танцев обязательно строится по методу «концентрированного метра», проще говоря, одновременно четко отбивается два ритма, быстрый и медленный, так что каждый пляшет, как ему угодно. Соответственно и репертуар «диско» — все, чего изволите, от Баха до Оффенбаха, но только самое известное, только шлягеры, только по описанной ритмической схеме.

В сущности, ничего нового в дискотеке нет. Есть только виртуозная реализация всех потенциально заложенных в современной технологии беспроигрышных эффектов (электроакустических, кинопроекционных, осветительных и т. п.), помноженная на ремесло диск-жокея, который не может не быть искусным манипулятором, знатоком человеческой психики и... физиологии. Однако мода на «диско», видимо, уже миновала: в дискотеках играют самую разную музыку, а популярные мелодии все реже сопровождаются характерным диско-ритмом.

Ни в самом этом ритме, ни в танцах под пластинки, вероятно, в принципе нет ничего порочного — порочен стиль, обязывающий людей «поклоняться неоновым богам, которых они же сами сотворили» (как пел 10 лет назад дуэт «Саймон и Гарфанкел»). Нельзя не заметить, что, каким бы космополитически минимальным ни был запас английских слов в текстах диско-песен, даже по этим «мини-текстам» нетрудно увидеть, куда клонят их авторы: «Прекрасно защищать родину во флоте», «Боже, благослови Америку», «Прекрасно состоять в Ассоциации молодых христиан»,— уверяют посетителей дискотек «Деревенские ребята» (все это названия диско-шлягеров № 1). Манипуляторская сущность диско-стиля породила — впервые, кажется, в истории популярной музыки — «дискофобию», движение «разрушителей дискотек». Такого еще не было! Уличные компании собираются и идут громить — всего-то навсего — танцзалы! Да и отталкивающий грязный «панк» — во многом своего рода отрицательная реакция на «шик-модерн» дискотеки. В музыкальном стиле рока и «диско», впрочем, никакого особенного антагонизма нет. Напротив, оба стиля растут из одного корня — ритм-энд-блюза, с той разницей, что «диско» воспользовалось новейшей эстрадной разновидностью последнего — «соулом», сегодня все чаще и чаще воспроизводимым на электронно-звуковых компьютерах (есть и такие). Поэтому, кстати, многие негритянские артисты прославились и как исполнители диско-музыки, хотя ничего не изменили в своем творческом облике (особо следует выделить фигуру разносторонне одаренного слепого музыканта Стиви Уондера).

Кое-кто из закатившихся было суперзвезд рока поэтому довольно безболезненно вознесся на Олимп «массовой культуры» («Би-джиз», например), кое-кто (упомянутый уже Роберт Фрипп) попытался даже подвести под это философию: мол, «диско» — это тоже протест, только протестуют... ногами. Но «новая волна» обошлась без философии: появились откровенно коммерческие диско-панк-рок-группы вроде «Блонди».

Смыкание в начале 80-х того, что в конце 70-х годов выглядело как противоположности — конформистского «диско» и анархической «новой волны»,— еще один, новейший в рок-культуре, но не в истории буржуазного искусства, парадокс. Хотя, впрочем, уже в начале 70-х годов самый, возможно, авторитетный рок-критик Грил Маркус горько признал: «Нет, рок не «Марсельеза», это — не более чем недовольное ворчание тех, кому ничего не досталось при дележе пирога». Так, неоднократно упоминавшийся Джон Леннон, например, буквально за несколько дней до своей гибели успел выпустить альбом «Двойная фантазия», прямо призывающий «возделывать свой сад тихих семейных радостей» в полном соответствии с идущей от идеологических верхов буржуазного мира доктриной «неоконсерватизма». И неожиданная траектория знаменитого бунтаря 60-х, и смыкание непримиримых в прошлом крайностей дают основания — быть может, более серьезные, чем приведенные вначале статистические данные, — полагать, что вот-вот снова заговорят о смерти «короля рок-н-ролла». Но эти же самые факты свидетельствуют о том, что, пока рок-н-ролл жив, он продолжает оставаться все таким же точным социально-эстетическим барометром, каким был на протяжении своей не такой уж, повторим, краткой истории.

◆

Наши гости

Писатели Югославии

В октябре прошлого года Союз писателей СССР организовал советско-югославскую встречу на тему «Реализм: традиции и современность», в которой с югославской стороны участвовали литераторы почти из всех республик и краев СФРЮ. Члены югославской делегации: Петар Бошковски — критик из Скопья, Янош Баняй — критик из Нови-Сада, Йован Радулович — прозаик из Белграда, Байрам Реджепагич — прозаик из Сараева, Франсе Пиберник — эссеист из Любляны и Али Подримья — поэт из Приштины — были гостями нашего журнала.

Мы возвращаемся к этой актуальной дискуссии.

— Каково, по вашему мнению, соотношение между современной литературой и традицией?

П. Бошковски. Традиция, по-моему, проявляется в современной литературе двояко. Это может быть стилизация, использование каких-то приемов, характерных для литературы прошлого, я бы назвал это «умозрительной формой» проявления традиции. Кроме того, возможна и «органическая» форма соотношения, когда произведение как бы вырастает из самой материи, из жизни. Обе эти формы существуют с тех пор, как существует литература. Я — за органическую форму соотношения между современной литературой и традицией. Здесь я представляю македонскую литературу Югославии, а в ней как раз весьма явственно прослеживается развитие этих связей с традицией, как вертикальных — под этим я понимаю связи, идущие вглубь, в историю собственного народа, так и горизонтальных — то есть связей с традициями мировой литературы.

Б. Реджепагич. Эти мысли очень близки мне. Сейчас, по-моему, всем литературам присуща одна интересная особенность — взаимопроникновение универсального и национального, когда на местном материале, на собственных корнях и традициях, через эпос, легенду, фольклор поднимается определенная проблема и трактуется таким образом, что приобретает всеобщий характер. Это очень ярко выразил в своих произведениях Иво Андрич. В русской литературе таким поразительным примером я считаю поэму «Василий Теркин». Настоящая литература, я в этом убежден, невозможна без корней, без традиций!

— Видимо, если говорить о традициях, наиболее глубоки все же в каждой литературе именно народные, фольклорные традиции?

П. Бошковски. Да, я как раз хотел пояснить свою мысль о вертикальных и горизонтальных связях примерами из македонской литературы, это тем более интересно, что она сравнительно молода. Такие, недавно освободившиеся, народы не имели в прошлом ни политических, ни экономических, ни социальных свобод. Естественно, это пагубно отражалось и на развитии культуры. Поэтому в качестве компенсации развивалась богатая фольклорная традиция. Мне и моим сверстникам народная литература была известна не из книг, а из жизни, в буквальном смысле этого слова. Наша связь с подобной традицией органична. Кроме того, у таких народов литературный процесс развивается неравномерно, с длительными перерывами, и тогда возникает необходимость «догонять» мировую литературу — происходит ускоренное, концентрированное развитие, становится жизненно необходимой связь с другими литературами, постижение их опыта. Настоящая, актуальная, полноценная литература может быть создана только на основе традиций мировой литературы и национальной культуры. Хотя отношение к ним должно быть достаточно осторожным — опасность кроется как в замкнутости и самоудовлетворенности, ведущим к провинциализму, так и в эпигонстве. Нужно искать свой собственный путь между этими двумя крайностями. Например, крупнейший македонский поэт К. Рацин в своем творчестве плодотворно освоил опыт и экспрессионизма, и сюрреализма, и Гарсиа Лорки, и национальной фольклорной традиции.

Й. Радулович. Кстати, наша литература стала известна в других странах именно благодаря фольклору. Это произошло в девятнадцатом веке, когда наш великий просветитель Вук Караджич собрал, систематизировал и издал наше фольклорное богатство. Гёте был потрясен красотой наших народных песен. Современные писатели в Югославии, мне кажется, особенно плодотворно используют фольклор.

— Изменяется ли с течением времени восприятие литературы прошлого?

Я. Баняй. Да, конечно. Я бы несколько развил эту мысль: мне кажется, что взаимосвязь между традицией и современностью сложнее, чем это представляется на первый взгляд, хотя бы потому, что связь эта не однонаправлена. Поясню. Двадцатый век привел к глобальным изменениям в духовной жизни, однако нельзя сказать, что это характерно только для данного века. Точно так же коренные изменения происходили и в девятнадцатом веке, когда в эстетике начал применяться так называемый экспериментальный метод, а в поэзии

появился Бодлер. Не менее глубокими были перемены и во всех предшествующих веках, что вообще кажется мне характерным для любого нового периода в истории литературы и культуры. Это влечет за собой новые, важные открытия, правда, порождает и известные разочарования. В существовавшие ранее понятия вливается новое содержание, что приводит к появлению новых критериев. И именно они позволяют нам по достоинству оценить то, что дала традиция, правильно воспринять и сами эти новые произведения, породившие новую систему критериев. Таким образом, любой художник постоянно ведет диалог со своими предшественниками, а это влечет за собой и определенные изменения в системе ценностей. Именно такая взаимосвязь делает традицию динамичной, ибо в свете новых понятий мы получаем возможность открыть новое содержание в старом, уже известном нам. Так, познакомившись с творчеством Пруста, мы иначе будем воспринимать Толстого, а прочитав Кафку и Камю, другими глазами посмотрим на Достоевского.

— А как проявляются традиции в произведениях представителей молодой югославской прозы, тех, кто родился уже после второй мировой войны?

Й. Радулович. Думаю, что для этого поколения, к которому принадлежу и я, вопрос о традициях реализма очень важен. Моему поколению повезло — на нашу долю не выпали такие драматические события. А в нашем веке их хватало. Двадцатый век — это великая революция, две мировые войны, появление ужасающих разрушительных средств — атомной и водородной бомб. Хотя катастрофа Хиросимы не повторилась, угроза остается, она висит над нами уже почти сорок лет. Кроме того, в мире продолжают существовать диктаторские режимы, душащие свободу. И все это оказывает если не прямое, то косвенное влияние и на писателей моего поколения в моей стране. Влияние я вижу прежде всего в том, что мы по-иному смотрим на мир, оцениваем его более трезво и критично. А это привело к преобладанию в югославской литературе таких тенденций, как деепоэтизация и ирония. Ирония может быть весьма плодотворной, и она основывается на колоссальной традиции, яркий пример — «Дон Кихот» Сервантеса. Идеалы прошлого питают нас, но не нужно стремиться их повторять. Реализм вечен, несмотря на то, что давно уже сформировался как литературный метод, потому, что он возникает с появлением первого рассказа и существует всегда, по-разному проявляясь в произведениях великих писателей прошлого, таких, как Толстой, Мопассан, Чехов, Бабель. Однако эти произведения прекрасны и ценны именно тем, что их написали Толстой, Мопассан, Чехов, Бабель.

Б. Реджепагич. Я поддержу моего коллегу. Каждый писатель стремится найти истину. И пути к этой истине у разных писателей различны. Сила писателя состоит прежде всего в ассоциативной, психологической силе его восприятия, наблюдательности, возможности анализа и воспроизведения. Чем ближе автор остается самому себе в поисках истины, тем больше у него шансов создать оригинальное произведение. И никакое время не властно над истинно гуманистическим произведением, в котором автору удался целостный подход к действительности, глубокое проникновение в суть явлений и характеров. Именно поэтому Шекспир сейчас не менее актуален, чем четыреста лет назад.

— Какие черты еще можно было бы считать характерными для современной югославской литературы?

Й. Радулович. Уже давно стало ясно, что круг сюжетов достаточно ограничен, на протяжении веков искусство эксплуатирует сравнительно небольшое их число, взять хотя бы такую вечную тему, как супружеская неверность, которая по-разному интерпретируется в таких произведениях, как сербская лирическая песня четырнадцатого века «Банович Страхиня», роман Толстого «Анна Каренина» и современный роман Апдайка «Давай поженимся». Так что писать становится все труднее и труднее. Кроме того, на литературу сейчас оказывают сильное влияние другие искусства, такие, как театр, а особенно кино и телевидение. Я думаю, это неплохо, ведь литература не заповедник, пусть каждый пробует сделать что-то свое, история в конце концов все расставит по местам. Так вот, все это, а также критичность и скептицизм в оценке идеалов и достижений прошлого, о чем я уже говорил, привело к росту в нашей литературе интереса к документу. Мы стремимся писать как можно более правдиво. Познавая и осознавая прошлое и современность, мы при этом идем к одному идеалу, общему для всех здравомыслящих людей, для всего человечества. Этот идеал — коммунизм. Наша задача — находить новые средства, творчески использовать старые для того, чтобы бороться за него.

А. Подримья. Я думаю, что смогу выразить наше общее мнение. Но я поэт и буду говорить как поэт. Любое настоящее литературное произведение всегда современно, независимо от того, когда оно было написано и о каком времени в нем идет речь. Когда мы читаем Гомера, Данте, Пушкина, нам кажется, что эти произведения могли бы быть написаны и сейчас. Один из наших «современников» сказал примерно так: «Все повторяется». Так что Улисс, давно скитающийся по свету, всегда присутствует и в нашей жизни. Его путь к нам длится веками. Он постоянно раскрывает перед нами свою суть, и мы все глубже погружаемся в его время. Для того чтобы создать литературное произведение, недостаточно только черного и белого цвета, потому что в таком случае перестанет существовать и реализм, и художественность. Великие писатели меньше всего думали о вечности, создавая свои книги. Они имели в виду то, что было актуально для данного исторического момента существования их народа. Но величие классиков в том и состоит, что их произведения так или иначе основаны на традиции, ибо литература — это непрерывный процесс, развивающийся в историческом контексте. Традицию нужно обогащать, развивать, с благодарностью черпать из этого чистого и неиссякаемого источника.

Л. САВЕЛЬЕВА

Среди книг

Издано в СССР

«ДА» КАРЛА СЭНДБЕРГА

Карл Сэндберг. Избранное. Переводы с английского. Вступительная статья А. Зверева. Составление А. Ибрагимова и А. Сергеева. Москва, «Художественная литература», 1981.

Советским читателям Сэндберга открыл Маяковский. «Знаменитейший сегодняшний поэт Соединенных Штатов», «революционер американской поэзии», «большой индустриальный поэт Америки»,— говорил он о Сэндберге и в устных выступлениях, и в печати после своей поездки в Америку в 1925 году. При этом почти целиком цитировал стихотворение Сэндберга «Чикаго». В этом городе они и познакомились — в редакции местной газеты, где Сэндберг, «сам чикагец», был «загнан американским нежеланием вникать в лирику в отдел хроники и происшествий богатейшей газеты «Чикаго трибюн»,— писал Маяковский.

Вскоре в сборнике «Революционная поэзия современного Запада» появилась большая подборка стихов Сэндберга, переведенных Иваном Кашкиным. С тех пор поэзия Сэндберга, непривычная на слух и обманчиво доступная по форме, а по существу чрезвычайно трудная для адекватного воспроизведения на русском языке, не перестает искушать наших переводчиков.

И вот вышел новый, третий сборник стихов Сэндберга на русском языке, наиболее полный и представительный, дополненный фрагментами из автобиографической книги поэта и серией прекрасных фотографий, запечатлевших его в разные моменты жизни.

Сборник составлен любовно и со знанием дела. Он строго, с хорошим вкусом оформлен. Вступительная же статья А. Зверева — пожалуй, лучшее из того, что у нас написано о Сэндберге. (А написано, к сожалению, немного. Причем критик не повторяет своих недавних публикаций, связанных с творчеством поэта. Его оценки поэтической индивидуальности Сэндберга стали глубже, появилось стремление взглянуть на творчество Сэндберга широко, в контексте его эпохи. Оправданное стремление. И хочется надеяться, что со временем наследие Сэндберга будет осмыслено в масштабах истории американской культуры, а возможно — дерзнем предположить — и в масштабах культуры всемирной.

В «Письме к американским рабочим» В. И. Ленин говорит о революционной традиции в американском народе, о кульминационных ее вехах — Войне за независимость, затем Гражданской войне. Эту традицию, по словам Ленина, «восприняли лучшие представители американского пролетариата, неоднократно выражавшие свое полное сочувствие нам, большевикам»[1].

Каждый из отмеченных Лениным этапов породил своего певца, своего выдающегося поэта, освоившего и развившего творческий опыт предшественника. Певцом американской революции был Филип Френо, родоначальник поэзии США. Эпоха Гражданской войны породила колоссальную фигуру Уолта Уитмена. Поэт-бунтарь, поэт-интернационалист, поэт-коллективист, Уитмен стал Прометеем мировой поэзии — он дал ей свободный стих, форму, естественно воплотившую богатство и новизну содержания его творчества.

Карл Сэндберг — наиболее значительный продолжатель уитменовской поэтической школы. И самый признанный преемник прогрессивных традиций американской культуры. А потому любые масштабы, включая всемирные, к нему вполне применимы.

Считается, что свободный стих Сэндберга максимально сближен с прозой. По внешнему виду его стихотворений может даже показаться, что поэт нередко переступает эту грань. На деле это не так. «...Длинные перекрученные строки, похожие на прозу,— сказал о стихах Сэндберга другой поэт, Марк Ван-Дорен,— и все же не проза...»

Действительно, не проза. А почему? Не внешние, привычные, атрибуты стиха надо искать у Сэндберга. Он учит другому. У него подлинно поэтическое, органичное для него, видение мира:

> — Я помню,— с любовью сказала ирландка,
> гладя головку сына,— я помню,
> когда ты был всего лишь нежностью
> в глазах твоего отца...[2]

[1] В. И. Ленин. Псс, т. 37, с. 58.

[2] Здесь и далее переводы, кроме специально оговоренных, принадлежат автору статьи.

Его, сына шведского пролетария-эмигранта, судьба наградила редкостным, неповторимым даром: он слышал музыку, он чувствовал поэзию всей окружающей его многоголосой жизни — будь то будничная человеческая речь, или гудок затерявшегося в тумане парохода, или ритм огромного индустриального города, или ветер прерии, звучавший для него песней:

Для меня песня прерии утром, и я знаю к ночи,
что мне засыпать на руках
у прерии, на груди у нее.

(*Перевод В. Куприянова*)

Его стихи взрастила живая народная речь, поэтика народных песен, которые Сэндберг собирал и пропагандировал всю жизнь — печатно и с гитарой в руках.

О диапазоне увиденного, пережитого и воспетого Сэндбергом говорят названия его поэтических книг — «Чикаго», «Сборщики кукурузы», «Дым и сталь», «Камни сожженного солнцем Запада», «Доброе утро, Америка», «Народ, да», «И мед, и соль»...

Есть у Сэндберга и стержневая, кровная его поэтическая тема — это труд человеческий как основа бытия, это поэзия труда созидательного и порожденное капиталистической действительностью трагическое мироощущение человека, лишенного права на такой труд, лишенного возможности реализовать свои способности, осуществить свое жизненное предназначение, стать самим собой. Это горечь человека, вынужденного всю жизнь заниматься каторжной, по необходимости, работой, калечащей и духовно, и физически. Отсюда постоянное сочетание мажорных и минорных тонов, постоянные световые контрасты на создаваемом Сэндбергом поэтическом портрете Америки.

На человека труда Сэндберг смотрит не сторонним, хотя бы и сочувствующим взглядом — не так, как, скажем, Эдвин Маркем в знаменитой его поэме «Человек с мотыгой», а как участник трудового процесса. И можно не сомневаться, что уличную сценку из раннего стихотворения «Землекопы» («Два десятка зевак толпятся возле траншеи для укладки газовых труб...») он наблюдал не из толпы зевак, следивших за тяжкой работой землекопов, а из подобной же траншеи.

С юных лет поэт узнал цену хлебу насущному. За свою жизнь он переменил множество профессий, исколесил страну вдоль и поперек. В тысячеликой галерее созданных Сэндбергом образов ему дороже всего те, кому чужда собственническая мораль буржуазного общества:

Кто был тот норвежец из Южной Дакоты, который
отправился в Сибирь и вернулся
с пшеничными зернами, открывшими пшеничным полям Северной Америки
тысячемильные просторы к северу?
Он мог иметь миллион долларов, а взял взамен
миллион благодарностей.

Естественным было активное участие Сэндберга в профсоюзном и социалистическом движении, его сотрудничество в прогрессивных журналах «Мэссиз», «Либерейтер», «Нью Мэссиз». И так же естественно и закономерно поэт приветствовал Октябрьскую революцию — революцию трудящихся в далекой России. А когда над Европой, над миром, над страной Октября нависла угроза фашистского порабощения, Сэндберг — в тяжелейший период войны — выразил уверенность, что

Народ России может отступать, и терпеть поражения,
и снова отступать; протянутся долгие годы,
но в конце концов он победит.

(*«Вручите письмо Дмитрию Шостаковичу, 26 июля 1942 г.» Перевод Б. Слуцкого*)

Светлые, оптимистические тона поэзии Сэндберга неизменно связаны с народной первоосновой его творчества, с верой в неисчерпаемость сил народного сопротивления реакции, верой в духовное здоровье народа, в жизненность его революционных традиций, в конечное торжество народных чаяний о социальной справедливости, о светлой человеческой доле.

«Народ, да» — озаглавил Сэндберг главную книгу своей жизни, одно из величайших творений американской художественной мысли. И центральными в новом сборнике стали именно главы этой поэтической эпопеи.

В этой книге у Сэндберга есть одна автобиографическая миниатюра. Под ней могли бы подписаться и его великие предшественники — Филип Френо и Уолт Уитмен. Но адресуется она, конечно, будущим поколениям писателей, его преемникам, как выстраданная истина, как творческое кредо, как заповедь — чтобы не прерывалась цепь:

Один из старых чикагских поэтов,
Один из сутулых чикагских поэтов,
Имея лишь разум, дарованный богом,
Не имея ни единого цента,
Написал своим единственным карандашом:
«Я верю в судьбу человека,
я верю больше, чем могу доказать,
в будущее человечества,
. . . . . .
в важность больших ожиданий».

(*Перевод А. Сергеева*)

Понятен и постоянный интерес Сэндберга к эпохе Гражданской войны, его многолетний подвижнический труд по созданию биографии Линкольна. В. И. Ленин — в том же «Письме к американским рабочим» — подчеркивал «величайшее, всемирно-историческое, прогрессивное и революционное значение» Гражданской войны в США. Сэндберг отлично знал содержание этого письма — одну из его копий он привез с собой, возвращаясь в конце 1918 года из корреспондентской поездки в Финляндию.

А Владимир Ильич, видимо, знал о Сэндберге. В 1920 году в его библиотеке в Кремле появился сборник «Дебс и поэты», присланный Эптоном Синклером. Среди участников сборника был и Карл Сэндберг...

В последние годы своей жизни Сэндберг дважды побывал в Советском Союзе. У всех, кто встречался с ним, сохранилось в памяти человеческое обаяние, простота, детская непосредственность этого великого поэта Америки.

И. ПОПОВ

ДОРОЖНАЯ ТУШЕЧНИЦА

Ихара Сайкаку. Новеллы. Перевод с японского, составление, предисловие и комментарии Т. Редько-Добровольской. Москва, «Художественная литература», 1981.

Великий японский романист Ихара Сайкаку (1642—1693) вошел в историю мировой литературы с запозданием, как все японское искусство. Сказалась вековая разобщенность между Востоком и Западом. Писатель лишь тогда приобретает всемирное значение, если он находится в самом центре силового поля своей национальной культуры и своей эпохи.

Сайкаку в наши дни уже занял подобающее ему место рядом с такими титанами Возрождения, как Боккаччо, Чосер, Рабле. Каждый из них неповторим, великолепно своеобразен, но их роднит между собой самое насущное: подлинный гуманизм, широта взгляда, мощное жизнелюбие. Они прозорливо наблюдали жизнь в самых разных ее проявлениях. Поэтому и переходят их творения от народа к народу.

На русском языке уже появлялись и были тепло встречены читателями новеллы и повести Ихара Сайкаку. Но вот перед нами новая книга. В ней представлены новеллы (всего их пятьдесят девять) из десяти сборников. У каждого сборника своя тема, свои лейтмотивы, свои жанровые краски. Бытовые новеллы контрастно оттенены фантастическими и авантюрными, временами звучат ноты героического эпоса. Новеллы соединены в сборнике методом контрапункта.

XVII век японские историки обычно именуют Ренессансом, термин применительно к Японии несколько условный, схематически общий. Но верно, что этот век — заря нового времени, когда в бурно растущих городах на авансцену выходят не феодалы, а простые горожане. Среди незнатного люда появились яркие индивидуальности, язык искусства зазвучал свежо и ново. Так было в поэзии и прозе, в творчестве мастеров цветной гравюры, миниатюрных скульптур — нэцкэ, в искусстве книгопечатания. Родился новый массовый потребитель книги, на первых порах не особенно взыскательный. Популярная книга того времени — тонкая тетрадка, а не свиток, хотя отдельные выпуски по старой памяти еще назывались свитками. Горожане любили почитать о чем-нибудь диковинном, о страшном, умилительном или потешном, ценили острословие, анекдот. Словом, эти книжки напоминали европейские лубки. Вот из какого народного лубочного материала вышло высокое искусство Ихара Сайкаку!

Он сам был горожанином, купцом. О нем дошли скупые, не очень достоверные сведения: жил в торговом городе Осака, писал стихи в духе модной поэзии. Овдовев, оставил дела и начал странствовать по разным краям, собирая сказки и легенды. Прозу писал в последнее десятилетие своей жизни.

В те времена профессия сочинителя не считалась престижной ни на Востоке, ни на Западе. Как мало знаем мы о жизни Шекспира! Год рождения Сайкаку, события его юности теряются во мраке. Год его смерти высечен на надгробии, у него уже были заботливые последователи, какие, к прискорбию будущих поколений, отсутствовали у многих великих деятелей искусства.

Поэт-странник — традиционная фигура в странах Азии. Для поэта природа «не слепок, не бездушный лик», он вел с ней диалог на равных. Зачастую суета мира для поэта — тема для углубленной медитации, элегической скорби.

Не таков Ихара Сайкаку. Он жадно вглядывался в жизнь современного ему общества, стараясь все схватить: социальные типы людей и в то же время уникальность, неповторимость каждого человека, расцвет и падение торговых домов, «блеск и нищету куртизанок», человеческие страсти, непокорные догмам и законам, доблесть и лицемерие. Все уловить на лету, запечатлеть методом, в чем-то похожим на современный киномонтаж. Недаром Сайкаку был поэтом излюбленного у горожан жанра хайкай. Поэты составляли цепочки стихотворений из коротких строф, входивших в сложные сочетания. Ценились сопряжения строф по смыслу и контрастные повороты темы, сшибка высокой поэзии и пародийного просторечия. Каждая художественная деталь была на счету, ведь лучшие строфы (особенно ведущая первая) вылущивались из стихотворения-цепочки и обретали самостоятельную жизнь.

Сайкаку как поэт, по свидетельству современников, владел редким импровизационным даром, он мог сложить в один день тысячи строф. Для будущего прозаика это было замечательной школой.

Сборники новелл Сайкаку созданы по методу свободного сцепления, с вольными переходами, как в модных в его время «стихотворениях-цепочках». Иногда новеллы выстраиваются в повесть жизни одного героя, но скорее как цепь авантюр, а не стройное повествование. Проза Сайкаку орнаментальна, это густая словесная связь, в которую вплетены пословицы, поговорки, каламбуры, сентенции с двойным дном (в них часто звучит ирония), переосмысленные цитаты «из классиков». И перечень бытовых предметов эпохи, даже цен, такой подробный, как будто перед нами своеобразный путеводитель по Японии, но художественно преображенный в картину, написанную мелкими точными мазками.

Новеллы обычно начинаются с короткого зачина. Это может быть сатирическая сентенция: «Монахи в большинстве своем таковы, что ради собственной выгоды готовы продать самого Будду». Это может быть жанровая картина, размышление о человеческих судьбах или пейзаж, словно запечатленный на цветной гравюре. Сама новелла предельно лаконична. Но как много сумел вместить писатель в свои короткие рассказы: поле их действия — вся страна во всем ее многообразии. На помощь Сайкаку привлек богатый фольклор Японии, народный театр, песню и поэзию. Многое он нашел в сокровищницах япон-

ской и китайской классической литературы.

Сайкаку неутомимо странствовал по дорогам Японии со своей дорожной тушечницей, делая путевые записи. Такое множество персонажей, как в произведениях Сайкаку, можно встретить разве только в рассказах Чехова. У Чехова вся Россия, у Сайкаку вся Япония.

Только один перечень заглавий новелл расстилается как многоцветный ковер: «Горе, вылетевшее из рукава», «Драконов огонь, что засиял во сне», «Могила в Очарованном лесу», «Дом, где даже соврать нельзя даром» и т. д. Можно говорить даже о поэтике заглавий, броских, как театральная афиша. Они заранее будят воображение и готовят читателя к встрече с удивительным, необычным, даже если речь пойдет о делах будничных, казалось бы сугубо бытовых, нарочито приземленных... Искусство Сайкаку всегда необычно. Все явления жизни отображаются в неожиданном ракурсе, с пряной остротой. Судьбы людей причудливы: от гротеска до трагизма один шаг. Жанровый диапазон необычайно широк, и, кроме того, жанр у Сайкаку не является незыблемо устойчивым. Дидактика внезапно опровергается насмешкой. После строгого поучения, как копить деньги, оказывается, они ни к чему. Жизнь все время поворачивается новой гранью, судьбы людей по сути дела непредсказуемы.

Мы мало достоверного знаем о Сайкаку, но в герое сборника «Дорожная тушечница» Бандзане зримо проступает автопортрет самого Сайкаку. Бандзан на склоне лет отправляется в трудный и опасный путь, чтобы собирать материал, как сказали бы теперь.

«Людские сердца несхожи меж собой, как цветы на разных деревьях. Даже в столице, где видимо-невидимо народу, не встретишь двух одинаковых людей. А об отдаленных провинциях и говорить нечего. Там различия между людьми еще больше».

«Хорошо бы записать все необыкновенное, что я там увижу. Со временем из этих записей, как из семян, могут вырасти рассказы!» — думает Бандзан.

Главное в рассказах — не причудливые сюжеты, хотя писатель собирает их повсюду, как россыпь семян, но «людские сердца», столь несхожие между собой. Рыбак, увидев, что жена его второй раз вышла замуж (она думала, что муж ее погиб), убивает ее, своего соперника и себя не по холодному повелению самурайского долга, а в порыве отчаяния: «Для жителя захолустного рыбацкого поселка это был поистине удивительный поступок!»

Такие новеллы — зерна «мещанских драм», и действительно, пьесы на сходные сюжеты появлялись на подмостках японского театра того времени и зритель мог испытать ужас и сочувствие.

Мотивы жалящих антиклерикальных фарсов возникают во многих «потешных» новеллах. Достается надувалам-монахам. В конце новеллы под заголовком «Даже боги иногда ошибаются» говорится: «История эта лишний раз подтверждает ту истину, что даже боги бывают бедные и богатые, о людях же и говорить нечего».

Героем прозы, поэзии, театра становится простой человек в его противостоянии старому сословному обществу. Недаром японская цензура в последующие века упорно преследовала творения Сайкаку, вытравляя из них «вольный дух».

Но Сайкаку остался любимым писателем и в XIX и в XX веке. Его умение создавать характерные типы, и притом самыми скупыми средствами, оказалось плодотворным даже в кино. Многие его герои наделены вечной жизнью, как мольеровские или гоголевские типы. Переводчик Т. Редько-Добровольская, давно занимающаяся творчеством Ихара Сайкаку[1], хорошо владеет арсеналом изобразительных средств, чтобы передать острые речевые характеристики персонажей, которые говорят, как подобает людям их звания. Звучит речь самурая, рыбака, крестьянина, монаха, речь эмоционально насыщенная, окрыленная поговорками, шутками. Взволнованно говорят герои в кризисный момент.

Авторская речь ведет линию мудрого комментария, сострадает, негодует, иронизирует. Автор — участник событий, он никогда не остается холодным, умело модулируя свой голос. А рассказывает он о судьбах людей и своем времени.

Закрывая книгу, расстаешься с удивительным, странным и в то же время таким понятным и близким миром прошлого, навечно запечатленным искусством Сайкаку.

Переводчик снабдил книгу хорошим научным аппаратом: содержательным предисловием и подробным комментарием.

Иллюстрации взяты из старинных японских изданий Сайкаку, они полны юмора и очень выразительны. Библиотека японских классиков в русском переводе получила отличное пополнение.

В. МАРКОВА

ЛИТЕРАТУРА ОСТРОВНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Сингапурская мозаика». Перевод с китайского. Составитель и автор предисловия Д. Воскресенский. Москва, «Прогресс», 1980.

Этот сборник — первая встреча советских читателей с творчеством сингапурских авторов, которые пишут на китайском языке. Молодой китаеязычной литературе Сингапура приходится выдерживать тяжелую конкуренцию с потоком развлекательного чтива на английском языке, импортируемого из США, и на китайском — поступающего из Гонконга.

Условия для развития китайской литературы в Сингапуре были нелегкими. В период английского господства там насаждалась английская культура колониального образца, предназначенная для того, чтобы

[1] См. ее книгу «Творчество Ихара Сайкаку (к вопросу о новаторстве в японской литературе XVII в.)». М., «Наука», 1980.

лишить китайское население собственной культурной традиции. Когда же Сингапур добился независимости, он, уступая экономическому давлению США, вынужден был открыть двери перед американской массовой культурой.

Однако, как, в частности, свидетельствует сборник «Сингапурская мозаика», китайские писатели Сингапура тяготеют к прогрессивной реалистической традиции. Они следуют принципам передовой китайской литературы 30-х годов, и особенно Лу Синя. Большое влияние оказывает на них русская литература, и преимущественно творчество А. М. Горького.

Сборник дает довольно полное представление о современной сингапурской литературе на китайском языке и ее разнообразии. Не все рассказы равноценны в художественном отношении. Однако всей книге присуща острая социальная направленность, гражданское чувство, гуманизм. Несколько рассказов носят сатирический характер, другие представляют большой этнографический интерес, так как в них рисуется жизнь самых разных слоев китайского населения Сингапура.

Особое место в книге занимают пять рассказов Мяо Сю, который, по мнению местной критики, находится под влиянием творчества А. П. Чехова, что признает и сам писатель.

Едва ли не лучший в подборке рассказ «На отмели», посвященный трагедии семьи, разъединенной войной. Неожиданно возвращается Сун Шэн, которого считали погибшим. Жена сошлась с его другом А Даем, спасшим ее и сына от голодной смерти. В момент возвращения Си Шэна А Дай лежит в больнице при смерти. Сун Шэн узнает о переменах в своей семье только после смерти А Дая. Вопреки требованиям традиционной морали он находит в себе силы понять и оправдать жену, понимая, что во всем случившемся виновата война. Супруги вместе начинают новую жизнь.

Рассказ «На отмели» написан динамично, поступки героев психологически оправданы, и, читая его, понимаешь, почему сингапурские критики так высоко ценят творчество Мяо Сю. Другие его рассказы, представленные в сборнике,— «Золотые ножницы», «Клетка» и «Комнатка у лестницы» — знакомят нас с Мяо Сю-сатириком. Два последних, показывая узкие мещанские интересы буржуазного общества, буржуазной женщины, ее обеспеченной жизни, бичуют бездуховность торгашеского мира, в котором она существует.

Запоминается и рассказ Вэй Юня «На закате», где описана смерть безвестного нищего, больного старика. Его не взяли в больницу, и он умирает под открытым небом, привалившись к стене общественной уборной сингапурского рынка, под бойкие выкрики торговцев рыбой, мясом, птицей... Прибыль, выгода — вот главное в этом бесчеловечном мире погони за наживой, и никому нет дела до умирающего бедняка. Даже больница, созданная, казалось бы для того, чтобы облегчать страдания, отказывает ему в единственном оставшемся у него праве — умереть по-человечески. Однако труп немедленно убирают, и полиция тщательно дезинфицирует место, где он лежал: на рынке должно быть чисто, иначе пострадает торговля.

Та же тема раскрывается и в рассказе «Сумерки в Вороньей гавани». Старый рыбак Хоцзинь ощущает себя никому не нужным, лишним, бесправным и, не желая быть обузой для любимой женщины, уходит из дому куда глаза глядят.

Вэй Юнь пишет в ином ключе, нежели Мяо Сю, но обоих писателей роднит жгучий протест против буржуазного образа жизни.

Интересен рассказ Ло Пина «Отбросы общества», повествующий о жизни завсегдатаев курильни опиума. Многие из них прежде занимали довольно высокое общественное положение, но теперь скатились на самое дно. Это любопытная и реалистическая картина жизни сингапурских низов. Писатель сам называет имена своих учителей: «Разве Горький, Лу Синь и другие не обращали внимания на горькую жизнь низших слоев народа и не описывали маленьких людей и их маленькие дела? — говорит он.— Я стремился писать о самых реальных вещах, к тому же хорошо знакомых читателям, и впредь намерен идти по пути реализма».

Рассказы Чжао Жуна «Праздник» и «Лотерея» рисуют быт сингапурской бедноты. Задавленные нищетой люди ищут выход в мечтах, в трагической надежде на чудо, которое изменит их жизнь, сделает ее более светлой.

Особняком стоит оптимистический по своей тональности рассказ У Вэйцая «Слепой». Слепой юноша и девушка-служанка становятся опорой друг другу, и герой, обреченный жить в вечном мраке, обретает радость и счастье. Рассказ построен как диалог, слагающийся из коротких вопросов и ответов; описания почти отсутствуют, и такая композиция создает особую мелодику и особое настроение.

Рассказы Чжоу Цаня «Невеста», Цзянь Жэня «Секреты предков» и рассказ Юй Мово «Беда» — остросатирические зарисовки жизни и быта средних классов китайского населения Сингапура. Ярко и выпукло описаны обычаи, предрассудки и всяческие обряды. Комический эффект в рассказе «Невеста», например, возникает из столкновения педантичного воспроизведения процедуры традиционного брачного обряда с современными взглядами и представлениями. В юмористическом рассказе «Секреты предков» лекари-шарлатаны ведут между собой борьбу за раздел «сферы влияния», чтобы без помех дурачить простодушных и доверчивых людей.

Сборник «Сингапурская мозаика» впервые подробно знакомит советского читателя с жизнью народа этого небольшого государства на крайнем юге полуострова Малакка и содействует дальнейшему укреплению культурных связей наших стран.

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ

Издано за рубежом

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Блага Димитрова. Пространства. София. Български писател, 1980.

Блага Димитрова. Пространство. 1980.

Блага Димитрова — поэт и прозаик. Вернее, поэт, который пишет и прозу. Как правило, сначала, в молодости, пишут стихи, а потом уж начинают писать рассказы, повести, а то и романы. На языке некоторых читателей это называется «перейти на прозу». Такой-то, говорят, перешел на прозу. Иногда это определение бывает правильным, но иногда является грубой ошибкой. Не можем же мы сказать, что Пушкин и Лермонтов, написавшие соответственно «Дубровского», «Повести Белкина», «Капитанскую дочку» и «Героя нашего времени», перешли на прозу и деквалифицировались как поэты.

Дело тут гораздо сложнее. Как человек, знающий в совершенстве несколько языков, думает все же на каком-нибудь одном, а именно на родном языке, так и поэт, если даже он пишет статьи, очерки, повести и рассказы, думает стихами. Только в том случае, если он лишится поэтического мышления, про него можно будет сказать, что он перешел на прозу. Такие случаи редки, но не исключительны.

Как правило, поэзия и проза одного и того же писателя — это две разные «епархии», настолько разные, что как будто они принадлежат двум разным авторам, круг тем, идей, образов, сам способ мышления образами в стихах один, а в прозе другой. Мы никогда не сможем вообразить себе «Капитанскую дочку», написанную стихами, а «Евгения Онегина» или «Медный всадник» — прозой. Точно так же как напрасно будет вообразить роман в прозе «Демон» и поэму «Княжна Мери», или «Максимыч», или «Тамань».

У замечательной болгарской писательницы и поэта Благи Димитровой ее поэзия и проза сближены настолько, что как бы продолжают друг дружку и переходят друг в дружку. И это вовсе не потому, что ее поэзия прозаична, а проза поэтична, но потому, что она умела сохранить в себе единый строй мыслей и образов, единую систему, а главное, я бы сказал, единое напряжение в сети. Достаточно прочитать хотя бы ее роман «Лавина» и любой сборник стихотворений, чтобы получить подтверждение этому, в том числе и новый сборник стихотворений Благи Димитровой «Пространство».

В разговоре Блага Димитрова любит (и умеет) пересказывать прозой содержание своих стихов, как бы создавая импровизированный подстрочник, в то же время когда она пересказывает содержание своего романа, получается впечатление, будто она пересказывает стихи. Умозрительные конструкции сближаются и объединяются личностью автора, они, повторим еще раз, едины.

«Тебя вселяют в гостиничный номер, ты в нем закрываешься, как в одиночке, но, странно, вдруг ощущаешь себя свободной.

Ничего неизвестно о тех, кто здесь жил до тебя, здесь нет традиций, здесь нет никакой устоявшейся атмосферы, но здесь, наконец, тебе легко дышится.

Все вещи здесь: шкаф, кровать, столик, обои,— все здесь безлико, но здесь ты находишь свое лицо.

Здесь ты отрешена от всех и все отрешены от тебя. Настольная лампа, тишина, полнейшее одиночество, но постигаешь биение пульса мира.

Ничто не расскажет потом о тебе другим жильцам, ты не оставишь им о себе никакого воспоминания, но сама, что было здесь, никогда не забудешь.

Утром проснешься, не понимая, где ты. Не дома. Гостиничный номер. Одиночный. Но это и есть твой настоящий дом».

Все немного парадоксально, обострено, но все четко и поэтично.

Писать ли стихотворения Благи Димитровой так, как мы написали сейчас, прозаическими строчками, разбить ли их на стихотворные строки — не имеет большого значения, красота мысли, красота конструкции, наконец, все равно остаются, и это и есть настоящая поэзия, ибо стихи, как таковые, есть только один из частных случаев поэзии.

При всей современности формы как поэзии, так и прозы Блага Димитрова в душе своей то, что раньше в России называли забытым теперь словечком «идеалист». Не в смысле приверженности к философским концепциям, считающимся идеалистическими в отличие от материализма, но в смысле чистоты душевных движений, помыслов, некоторой даже наивности, некоторой даже (чуть-чуть) сентиментальности. Она может настолько пожалеть дерево, срубленное у нее под окном, что напишет о нем поэму. Она может убеждать городские власти ее родного Тырнова сохранить атрибуты ликвидированного, старенького городского фонтана, около которого происходили раньше все патриархальные городские гулянья. Этот энтузиазм известной поэтессы вызывает, вероятно, снисходительные усмешки. Но ведь именно на этом энтузиазме замешан целый роман Благи Димитровой «Страшный суд», выходивший у нас и в журнале «Москва», и отдельным изданием, и в «Роман-газете».

Этот «идеализм» (а словечко это употреблялось всегда в самом положительном значении в противовес практицизму и меркантильности) в стихах Благи Димитровой сочетается с твердостью и мужеством. Она за свои идеалы готова идти на любые жертвы.

Так знайте же,
Такая я сильнее.
Нет больше ничего, что можно потерять.
Нет страха,
Нет боязни потерять.

Не нужен мне теперь замóк молчанья,
Не нужно мне оглядываться ночью —
Не грабят ли?
Мне ничего не страшно...

...Нет ничего, за что бы я могла
Склониться,
Пасть перед вами на колени,
...Я все свое давно уж отдала...

...Да, так, мне больше нечего терять.
Но знайте же,
Такая я — сильнее!

Новый сборник стихотворений Благи Димитровой свидетельствует о том, что она пронесла через годы все лучшие качества своей поэзии, не потеряв ничего, не поступившись ничем, оставшись самой собой, сохранив и чистоту души, и резкость мысли.

Участь птицы

Будто птица вольна и свободна!
Но — обязанность петь?
И не хочешь, да пой.
Тирания веселенькой песенки!
Принудительность утренней песенки
Держит руку на горле
И висит топором
Над твоей головой.

Будто птица вполне беззаботна!
Но откуда же
Стоны и слезы?
Горечь в сердце.
Когда белое кажется черным?
Волны грусти
И вечерней тоски океан?
Мельничный жернов
Там, где обычно бусы,—
Вот мой символ и мой талисман.

Будто птица и впрямь перелетна!
Но куда,
На какие юги
Улетишь от себя по осени,
Когда ненастье и холода?
Не ты сочиняешь песню,
А тебя сочиняет песня.
Ты поймана в клетку жизни.
Из нее не вырвешься никуда.
Будто песенка птичья невинна!
Песня — клюв,
Песня — клич.
Песня — хрип из груди.
Заноза в пяте Ахиллеса,
Догадка: «Король-то голый»!
Крик в непроглядной ночи:
«Не спите, люди!»

Будто птица — Жар-птица!
Но охотник уж вышел,
И заряд упакован в патроне,
И охотничья зорька,
Солнце в небе встает...

Гулкий выстрел.
Дымок над водой растекается горький.
Называется это —
Ударить влёт.

Свое шестидесятилетие Блага Димитрова встретила в расцвете творческих сил. Желаем ей новых песен, новых горизонтов, новых радостей, новых книг, преодоленья пространства.

ВЛ. СОЛОУХИН

БЕЗ ЭКЗОТИКИ

Harry Narain. Grass-Root People. La Habana. Edicionas Casa de las Americas. 1981.

Гарри Нараин. Простые люди. Рассказы. 1981.

В давно минувшие времена жили у подножия горы странные люди. Вершина этой горы всегда скрывалась в облаках. Долго они жили под ее сенью, но пришло время выбирать вождя. Собрались они вместе и порешили: пусть самые сильные из племени поднимутся на гору, а тот, кто взберется выше всех, пусть принесет доказательство того, что узрел чудеса, которые там происходят,— тогда он станет вождем. Трижды этот народ посылал на гору юношей. Первый принес оттуда цветок невиданной красоты и яркости и даровал людям понимание прекрасного. Второй принес камень и научил людей затачивать лемеха плугов, лезвия ножей и другие орудия труда. Третий же вернулся с пустыми руками и упал, потеряв сознание. А когда очнулся, то поведал людям, что дошел до страны тумана, где набрал целую пригоршню чудесных блесток, сверкавших на солнце, как драгоценные камни, и стал спускаться с горы; но чем ниже спускался, тем меньше их оставалось у него в руке, а на полпути они и вовсе исчезли, и он принес лишь воспоминание о них.

Эту поэтическую притчу, рассказанную кичливому молодому нуворишу его старым скромным учителем, привел в романе «Прикосновение Мидаса» известный писатель из Гайаны Ян Керью. Слова «прикосновение Мидаса» заимствованы автором из легенды о царе древней Фригии, согласно которой бог Дионис наделил Мидаса способностью превращать своим прикосновением предметы в золото. Но когда в золото стала превращаться и пища, Мидас вымолил себе освобождение от рокового дара.

Образ юноши, спустившегося с горы с пустыми руками,— это образ человека, который в погоне за мнимыми ценностями порвал со своими корнями. Ян Керью повествует о том, как Арон Смарт, герой романа, покидает родную деревню и по примеру бесславно погибшего на золотых приисках отца становится старателем. Жажда обогащения сделала его «королем алмазов», но богатство не приносит ему счастья, его детские мечты о «далеком прекрасном мире» оборачиваются распутством и мелким тщеславием. Автор показал процесс превращения честного, душевного деревенского парня в бальзаковского Растиньяка, развращенного колониализмом.

Роман «Прикосновение Мидаса» вышел в 1958 году (его перевод был опубликован в «ИЛ» в 1963 г.), за восемь лет до того, как народ Британской Гвианы покончил с полуторавековым владычеством англичан. Правительство новой Кооперативной Республики Гайаны наметило (и отчасти осуществило) ряд демократических преобразований с целью упрочить политическую и экономическую самостоятельность страны, однако многие проблемы, с которыми сталкивались герои названного романа Керью, дают о себе знать и поныне и, конечно, не могут не находить отражения в литературе последних лет. Характерным в этом смысле является вышедший в прошлом году на Кубе и удостоенный премии издательства «Каса де лас Америкас» первый сборник рассказов молодого гайанского писателя Гарри Нараина (в прошлом учитель, а ныне крестьянин) под общим названием «Простые люди».

Книга открывается эпистолярным рассказом «Письмо к премьер-министру», в котором крестьянин, оказавшийся на грани разорения, сетует на свою незавидную судьбу.

«Вы всегда говорите,— пишет он главе правительства,— что мы должны жаловаться, если что не так. Пишите, мол, жалобы. А кому нам тут жаловаться? Полиции? Но полиция ответит, что рис — это не ее дело. Идите, скажет, к господину Барнетту, большому начальнику в местном управлении. Но контора господина Барнетта целыми днями заперта, и никто не знает, когда он ее открывает. А народу вокруг конторы набирается столько, что господину Барнетту и впрямь лучше бы спрятаться. Когда он открывает дверь, то люди прут с такой силой, будто плотину прорвало. Жаловаться радио? Но радио меня не слушает, оно только говорит».

С горькой иронией рассказывает автор письма о том, как прогрессивные, казалось бы, агротехнические новшества, предлагаемые и даже навязываемые за большие деньги рисоводам, по вине недобросовестных и некомпетентных чиновников превращаются в источники бедствий.

Борьба гайанцев против иноземных угнетателей увенчалась известным успехом, а вот одолеть новых растиньяков — бюрократов, взяточников, спекулянтов — пока не удается. Им и посвятил Г. Нараин рассказ «Человек из низов».

Свою карьеру Сэмюэлс, один из персонажей этого рассказа, начал с того, что, работая продавцом в продовольственной лавке, воровал продукты и деньги. А когда хозяин догадался, что у него в лавке завелся вор, Сэмюэлс сумел выгородить себя и свалить вину на неграмотного и безответного подсобного рабочего.

После провозглашения независимости страны Сэмюэлс примазался к одной из политических партий и под ее флагом вымогал у бедняков последние гроши в обмен на обещания всяческих благ. Потом, заняв теплое местечко в органах власти, ухитрился получить у государства несколько сот акров пахотных угодий, предназначавшихся безземельным крестьянам, и сдал их тем же крестьянам за арендную плату.

Трагической судьбе безработных, наводняющих гайанскую столицу, посвящен рассказ «Последние дни». В центре его — одинокий старик Пхолол, подобранный на улице каретой «скорой помощи» после того, как его сбила автомашина.

Все семеро детей Пхолола, которых он с огромным трудом вырастил, разлетелись в разные концы света в поисках счастья; последней уехала младшая дочь Сабо. Чтобы собрать ей на дорогу денег, он продал хижину — последнее свое достояние — и, оставшись без средств, подался в Джорджтаун в тщетной надежде найти там работу. Все, что у Пхолола осталось,— это карманный транзистор, подаренный дочерью накануне отъезда; и теперь, лежа на больничной койке, он судорожно сжимает эту черную коробочку в слабых руках. «Когда я уеду, папа, то буду разговаривать с тобой с помощью этой штуки»,— шутила девушка, вручая ему подарок, и бедному старику чудится, что он и в самом деле слышит нежный голос любимой дочери. С этой мыслью он и умирает.

Есть в сборнике и сатирические рассказы, зло высмеивающие невежество, алчность и жестокость людей. К ним относится, например, история о том, как один зажиточный крестьянин, поссорившись из-за пустяка с соседом, в припадке ярости зарубил у него топором корову (рассказ «Человек или зверь»).

Гарри Нараин, как и другие гайанские писатели, пишет по-английски. В странах Карибского бассейна — бывших английских колониях — издавна существовали «чистый английский язык» и диалект. Коренные жители Британской Гвианы, мечтавшие вывести своих детей в люди с помощью образования, пренебрегали диалектом, называя его испорченным английским, варварским языком, мешавшим тем, кто им пользовался, занимать выгодные места в колониальной администрации. Известный писатель Виктор Рид был первым из вест-индских литераторов, кто выступил в защиту диалекта и сделал его языком художественной литературы. Но вскоре он обнаружил в диалекте и слабые стороны. Для того чтобы полнее осветить социальные, психологические и философские проблемы современного общества, одного диалекта оказалось недостаточно. И в результате долгих, упорных поисков появилась знаменитая повесть Рида «Леопард», перевод которой был опубликован в «Иностранной литературе» в 1960 году. В этом произведении Рид сумел талантливо сочетать литературный поэтический язык с ритмами и кадансами народного диалекта.

Образцом такой прозы можно считать и книгу рассказов Гарри Нараина. Использование им диалекта в прямой речи героев придает повествованию самобытность и убедительность. При этом писатель, в отличие от некоторых своих соотечественников, долгое время проживших в европейской эмиграции, не стремится сдабривать рассказ элементами кажущейся обязательной в таких случаях экзотики, описанием причудливых тропических пейзажей и племенных обрядов — он пишет для своего народа, который ищет в книге знания, необходимые ему для борьбы с вековой отсталостью и притязаниями неоколониализма на природные богатства этой южноамериканской страны.

К. ЧУГУНОВ

КОГДА АРЕНА — НАРОДНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ

Rachid Boudjedra. Les 1001 années de la nostalgie. Paris, Denoël, 1979.

Рашид Буджедра. Тысяча и один год ностальгии. 1979.

Много лет назад неподалеку от Оливковой мечети в Тунисе я впервые увидел листки арабского лубка. Ими можно бы было иллюстрировать сказки «Тысячи и одной ночи». Всадники на белых и вороных конях с высоко поднятыми саблями летели навстречу роковой схватке. Из зияющих ран алым потоком струилась кровь. Выше неба вздымались минареты мечетей и башни замков.

Мне невольно вспоминались эти наивные и патетичные картинки с лотка улич-

ного торговца, когда я читал роман алжирского писателя Рашида Буджедры «Тысяча и один год ностальгии». Не потому, что в этом романе, как в волшебной сказке, прошлое врывается в современность и великие арабские историки, поэты, создатели империй и ниспровергатели тронов живут рядом с нищими крестьянами и ремесленниками глухой деревеньки у порога пустыни. Дело в том, что автор широко прибегает в романе к средствам лубка.

Характеры романа обведены жирной линией. При их создании смело использовалась гипербола, решительно отвергались полутона, оттенки. Они ярки, красочны, но всегда однозначны. Страсти, которые в них бушуют, будь то любовь или ненависть, ярость или презрение, безмерны. Раз и навсегда установлены «декорации» — пышный дворец губернатора, центральная площадь деревни с птицами, распевающими революционные гимны при появлении главного героя романа Мохаммеда Б. О. (Без отчества), дом его матери Мессауды с подсолнухами, своим вращением разгоняющими жару. Реальность переплетается с фантастической условностью, и развитие событий все время переступает невидимую линию, которая отделяет миф от тусклой деревенской повседневности.

Лубочная пышность сцены и маски-характеры актеров хорошо гармонируют с тем невероятным, что все же происходит на страницах романа. Этого органического единства, казалось бы, несовместимых элементов было бы трудно добиться с помощью самых изощренных литературных приемов, но оно возникает естественно и свободно, как бы само собой, складываясь на почве соответствующего ему мировидения — мифологизированного, романтически смелого и вместе с тем внимательного к человеку и его судьбам. История повторяет себя и в литературе. Мировидение алжирского писателя сближает его с некоторыми немецкими романтиками XIX века, в особенности с Э. Т. А. Гофманом. При всем различии эпох, культур, индивидуальностей сходство двух писателей в восприятии мира через калейдоскоп сказочности бывает временами поразительным.

Медленно, неторопливо развертывается повествование. Роман изобилует отступлениями, и его сюжет напоминает старое дерево, многие ветви которого почти столь же массивны, как и ствол. Мысль автора охотно погружается в глубины истории. Иногда течение событий приостанавливается: персонажи романа любят порассуждать об арабской культуре, о судьбах и предназначении арабских народов. Какие-то из этих рассуждений подслушаны автором у народа, другие принадлежат ему самому, иногда это оригинальные и неожиданные умозаключения.

Сюжет развивается поэтому как бы рывками. И в перипетиях интриги ощутимо пристрастие писателя к крайности, к безмерному, ошеломляющему необычностью преувеличению. Про Рашида Буджедру было бы неверно сказать, что у него нет чувства меры. Сознательно и последовательно писатель просто отвергает всякую меру.

Глухая, забытая богом деревня Манама переживает эпоху потрясений, и ее застывший мир нищеты, суеверий, косности, вековых предрассудков рушится. События пробуждают сознание ее жителей. Во многих эпизодах книги угадываются вполне реальные проблемы современности. Нагло агрессивный характер натиска американской «массовой культуры» обнажается и высмеивается в сценах съемки в Манаме фильма на темы «Тысячи и одной ночи». В сластолюбивом короле Калиджии угадывается паразитирующий на нефти феодал пустыни. Возникает в романе и некий генерал Иегуди, армия которого безуспешно обстреливает древние стены укреплений Манамы. Гипербола помогает писателю раскрыть огромный потенциал юмора и сатиры, заключенный во внешне банальных событиях.

За фантастической канвой повествования прослеживается жгучая, волнующая каждого араба злободневность. Одна из главных особенностей романа в том, что эта злободневность всегда выступает преображенной, в форме мифологизированной. Миф дает художнику возможность выпукло, в гротескно шаржированных образах представить силы, сталкивающиеся, по его мнению, на арене, которой служит общественное сознание. И он показывает, как народ сбрасывает пелену предубеждений и предрассудков, поднимается на борьбу против эксплуатации и порабощения, как восстает против культурной агрессии империализма. Все эти проблемы общи для литературы развивающихся стран. В творчестве Рашида Буджедры они лишь находят крайне своеобразное художественное воплощение.

Герман Гессе писал в романе «Степной волк»: «...Есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность!»

Именно такое время позади у алжирского народа. Более 130 лет колониального порабощения подорвали его национальные и культурные традиции. Его связи с арабскими странами были ослаблены, связи с Европой — не развиты. В этих условиях вопросы культурной самобытности, осмысление национальной истории и сегодня занимают особое место в алжирской литературе.

Роман «Тысяча и один год ностальгии» — отражение этой общей тенденции. Не случайно Мохаммед Б. О. одержим идеей — найти в Манаме место, где некогда стоял дом великого Ибн Халдуна, якобы проведшего здесь четыре года ссылки. Это одна из многих аллегорий романа. В сущности, герой Рашида Буджедры стремится понять истинный смысл, который заключает в себе история арабских народов и их культуры. Не случайно и то, что Мохаммед Б. О. вдруг осознает себя потомком Ибн Халдуна: есть реальная преемственность между его поиском и политической мудростью Ибн Халдуна, между его очистительным бунтарством и новаторством великого ученого.

Для писателя это вопросы принципиальной важности. Свое понимание истории,

героем которой — революционные народные массы и творцы национальной культуры, он противопоставляет ее феодальному толкованию как описанию «героических» деяний завоевателей и государей. С нескрываемым презрением дегероизирует писатель их фигуры. Их изображения становятся пугалами, отгоняющими птиц от огорода матери Мохаммеда — Мессауды.

В преклонении перед народом как творцом истории состоит пафос романа. Автор подчеркнуто указывает на традиции, которые считает своими. Духом непокорного свободолюбия проникнуты, по мнению Рашида Буджедры, самые волнующие, самые светлые страницы арабской истории. Он убежден, что этот неукротимый дух еще не отложил свое перо в сторону.

Со страстью выступает писатель за освобождение народного сознания от влияния некоторых мифов, в конечном счете, по его мнению, рисующих в ложном свете духовные и культурные ценности народа. Парадоксальным образом он обращается и к народному мифотворчеству, прежде всего ради ниспровержения мифов. И древних, и новых. Унаследованных от эпохи расцвета арабо-мусульманской культуры и порождаемых сегодня теми, кто хотел бы подчинить своим интересам общественное сознание арабов.

Своего рода символом мифов, затуманивающих народную мысль, в романе служат сказки «Тысячи и одной ночи», может быть, потому, что они являются наиболее полным выражением пресловутого «арабизма» — роскошных дворцов, ковров-самолетов и прочих «признаков» таинственного Востока. Но если крестовый поход писателя за переосмысление истории вызывает сочувствие, то его критика «Тысячи и одной ночи», пожалуй, бьет мимо цели.

Действительно, вот что он пишет: «Некогда жили-были две династии, боровшиеся за власть. Омейяды против Абассидов. Или наоборот. Последние победили. Очень быстро предали они свои принципы и данные народу обещания. Требовалось отвлечь народ. Им — дворцы. Прекрасные рабыни. Луна и солнце. Вывезенные из Скандинавии мальчики. Народу — мечта. И вот — «Тысяча и одна ночь». Написанные, конечно, народом, но не полностью. Абассиды использовали их как пропагандистский плакат. Им принадлежала в этих сказках прекрасная роль. Сказка была ими присвоена. Их писатели поспешили со своими переделками. Чудесное играло роль хлороформа».

Многие образы романа, многие идеи нарочито идут вразрез с общепринятыми представлениями. В известной мере это прием, с помощью которого автор стремится разбудить читательскую мысль, привести ее к переоценке привычных суждений. Но его критика «Тысячи и одной ночи», по-видимому, отвечает искреннему убеждению самого автора. Думается, что когда он низводит этот шедевр народного воображения до жалкой и чуждой ему роли «политического плаката», то оказывается в плену азарта полемики.

Напротив, призыв писателя к противодействию силам, которые стремятся использовать реакционные, консервативные стороны арабской культуры для духовного подчинения арабских народов, своевременен, убедителен. В присущей автору аллегорической манере он показывает, как объединяются арабские феодальные круги и американский империализм. Символом культурного порабощения становится в романе гротескно шаржированная история съемок в Маname фильма на темы «Тысяча и одной ночи», наглая и грубая попытка использовать ценности народной культуры для обмана народа.

Автор предостерегает, что спекуляции на национальной культуре развивающихся стран могут стать и становятся средством их культурного обезличения. Эти опасения сегодня разделяют многие литераторы, художники, музыканты «третьего мира». В эпоху, когда национальное самосознание еще недавно порабощенных народов начинает в полный голос заявлять о себе, проблемы культурной независимости обретают особую остроту.

Жгучая актуальность общественных вопросов, поднятых в романе, дерзость воображения его создателя во многом предопределили резонанс книги. Но есть в этом произведении и существенные недочеты.

Автор, в сущности, завершает и изложение своих взглядов, и развитие сюжета задолго до того, как ставит в романе последнюю точку. Поэтому последние его главы кажутся затянутыми. Не всегда оправданное повторение одних и тех же стилистических оборотов, одних и тех же метафор создает впечатление монотонности, многословия.

Рашид Буджедра охотно прибегает к буффонаде, к бурлеску. Применение этих средств требует немалого мастерства, безупречного вкуса. Иначе они оборачиваются против автора, и выразительный образ становится жалкой карикатурой, а яркая острота — балаганной пошлостью. Автору не всегда удается избежать этих опасностей.

В частности, он злоупотребляет приемом, который состоит в гиперболизации натуралистических подробностей. Результат часто противоречит авторским ожиданиям. Это особенно досадно, когда речь идет о женщине.

В романе есть выразительные, интересные женские характеры. Рашид Буджедра всемерно подчеркивает свое уважение к женской личности, преклоняется перед ее местом в семье и обществе. Но злоупотребление натуралистическим физиологизмом дает противоположный ожидаемому автором эффект: женщина-человек утрачивает свою одухотворенность, превращается в рабыню мужчины и старой традиции.

Роман «Тысяча и один год ностальгии» — не первое произведение алжирского писателя. Ранее им опубликованы романы «Идеальная топография для грубого нападения», «Упрямая улитка» и другие. Новая книга подтверждает, что Рашид Буджедра не прекращает своих творческих исканий.

В. ИОРДАНСКИЙ

◆

Из месяца в месяц

АРГЕНТИНА

«ТАИНСТВЕННЫЙ БУЭНОС-АЙРЕС»

Так называется новая лента режиссеров Альберто Фишермана, Барни Финна и Уильчера, представляющая собой экранизацию рассказов аргентинского писателя Мануэля Мухики Лайнеса. По мнению рецензента газеты «Опиньон», работа Фишермана, Финна и Уильчера — одна из лучших лент о Буэнос-Айресе. В ней живо воссоздается сама атмосфера города, рассказывается о его истории на протяжении четырех столетий — со времени основания в 1536 году. Картина состоит из трех новелл, посвященных различным историческим этапам в развитии города. Так, Альберто Фишерман снимает первую новеллу под названием «Голод», действие которой развивается в начале XVI века, в период основания Буэнос-Айреса испанским конкистадором Педро Мендосой. Вторая новелла, которую снимает Уильчер, называется «Наручники с колокольчиками», в ней отражен период работорговли в Латинской Америке — тема, почти не затрагивавшаяся ранее в аргентинской кинематографии. Последняя новелла «Золотой салон», снятая Барни Финном, воссоздает атмосферу Буэнос-Айреса начала нынешнего века.

БРУНЕЙ

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРА СТАРОГО СУЛТАНАТА

В нынешнем году исполняется 20 лет со дня основания Союза литераторов Института языка и книги султаната Бруней (британский протекторат).

В интервью, данном корреспонденту малайзийского журнала «Деван састра», брунейский поэт, драматург и публицист Бадаруддин бин Гани рассказал о планах деятельности возглавляемого им института в связи с предстоящим в 1983 году провозглашением независимости Брунея. В частности, институт проведет конкурс на лучший роман, издаст антологии поэзии, сборники рассказов, проведет работу по сбору рукописей, относящихся к периоду расцвета средневекового Брунея, именем которого (в испанской транскрипции — Борнео) долгие годы назывался третий по величине остров мира — Калимантан.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ЛАУРЕАТ ГОДА

«Жизнь врозь» — первый роман молодого английского писателя Кристофера Хоупа, сатирическое произведение, разоблачающее политику апартеида южноафриканских властей. Книга удостоена одной из ведущих литературных премий, премии Дэвида Хайема за 1981 год.

Английская критика была единодушна в высокой оценке романа. Так, рецензент «Санди телеграф» сравнил произведение Хоупа с «Уловкой-22» Хеллера. «Это политическое обвинение величайшей силы и убедительности»,— считает Уильям Бойд в «Санди таймс», а критик Джон Меллорс в своей статье, помещенной в «Лиснере», утверждает, что книга Хоупа — «блистательное произведение» и ее автор принадлежит к числу тех немногих писателей, которые понимают, что смех — великолепное оружие в борьбе против абсурдности и мерзости апартеида.

ВЕНГРИЯ

ВЕНГЕРСКАЯ ЛЕНИНИАНА

Журнал «Мювесет» поместил на своих страницах статью Дёрдя Тейслера «Образ Ленина в венгерском изобразительном искусстве 1917—1945 гг.».

Первые три работы, запечатлевшие образ вождя Октябрьской революции, появились уже в ноябре-декабре 1917 года как отклик на события в России. Автор одной из них — Арпад Тимар, авторы двух других работ неизвестны.

Линогравюра художника Шандора Бортника с портретом Ленина была опубликована в конце 1918 года. Ее копии — оригинал не сохранился — находятся в двух будапештских музеях: Венгерской национальной галерее и Музее венгерского рабочего движения.

Целая серия изображений Ленина появилась в период Венгерской советской республики. Среди них — гипсовые бюсты Ленина, они были установлены на улицах города в связи с проведением первомайской демонстрации. Автор оригинала неизвестен. К сожалению, ни один из бюстов не сохранился, о них можно судить только по фотографиям в печати. Были в 1919 году и плакатные изображения Ленина. До наших дней дошел лишь один такой плакат. Монограмма на нем свидетельствует, что он был издан Венгерским комитетом пропаганды. Интересно изображение Ленина на обложке нот «Интернационала», изданных в 1919 году. На обложке воссоздана карта Центральной и Восточной Европы. Красным цветом затушеваны государства, охваченные революцией. Над колонной вооруженных рабочих, движущихся на этом красном фоне,— портретное изображение Ленина. Автор рисунка — Геза Вёрёш. После падения Венгерской советской республики большинство работ, воспроизводящих образ вождя Октябрьской революции, было выполнено венгерскими художниками-эмигрантами.

Но и в условиях жесточайшего хортистского террора в Венгрии появлялись отдельные ленинские изображения. Так, в энциклопедии по общественным наукам «Таршадалми лексикон», вышедшей в 1928 году, был помещен рисованный портрет Ленина работы художника Имре Перей.

К этому же периоду относятся линогравюрные изображения профилей Маркса и Ленина на листовках, напечатанных в подпольной типографии Венгерской коммунистической партии. Автором линогравюр предположительно считают художницу Эву Кепеш.

В 1933 году был издан агитационный листок. Фотомонтаж, включающий портрет Ленина во весь рост,

сопровождался подписью: «Шестнадцать лет строится социализм. Защитим Советский Союз!» Фотомонтаж был выполнен коллективом авторов под руководством Деже Реваи.

В 1942 году художник Пал Патцаи по заказу Комитета по празднованию памятных исторических дат изготовил для участников антифашистской демонстрации 15 марта 1942 года значок с изображением Петефи. Изображение Петефи было контаминационным изображением Петефи и Ленина. Об этом значке написал в своей книге «Пора возмужания» Лайош Мештерхази: «Значок можно было видеть на груди у самых разных людей — рабочих, чиновников, студентов, стариков и молодых, на улице и в трамваях, в Будапеште и провинции. В открытую не говорилось, что это означает солидарность с Народным фронтом. Но все это знали».

Много интересных работ, запечатлевших образ Ленина, было создано венгерскими художниками, жившими в эмиграции. Среди них литография Гуго Геллерта, бронзовая двусторонняя медаль Бени Ференца, которые воспроизводятся на снимках.

ВЬЕТНАМ

МНОГОТОМНОЕ ИЗДАНИЕ

По сообщению печати, Комитет общественных наук СРВ принял решение об издании многотомной «Истории вьетнамской литературы».

Вышел в свет первый том, который открывается разделом, посвященным древнему периоду — времени появления памятников устного народного творчества. В следующем разделе рассказывается о литературе национальных меньшинств Вьетнама. В первом томе рассматривается творчество выдающегося писателя и мыслителя Нгуен Чая, 600-летие со дня рождения которого отметила в минувшем году мировая общественность, а также известных вьетнамских поэтов Нгуен Зу, Хо Суан Хыонг, Као Ба Куата, чьи имена являются национальной гордостью.

Выход в свет «Истории вьетнамской литературы» является большим событием в культурной жизни страны.

ГДР

НАСЛЕДИЕ ПИСАТЕЛЯ-ПУБЛИЦИСТА

В издательстве «Ауфбау» вышел объемистый том избранных работ Ганса Гюнтера (1899—1938), видного антифашистского писателя и публициста, активного члена Коммунистической партии Германии в годы Веймарской республики и в годы эмиграции.

Г. Гюнтер, сын кустаря-мебельщика, по образованию экономист, на протяжении ряда лет сотрудничал в коммунистической печати, публиковал очерки, эссе, театральные рецензии, статьи на политические и философские темы и преподавал в Берлине в Марксистской рабочей школе. В 1932 году он был командирован в Москву Союзом революционно-пролетарских писателей Германии, работал в секретариате Международного объединения революционных писателей; после прихода Гитлера к власти Гюнтер остался в СССР как политэмигрант. В 1935 году он опубликовал в Москве на немецком языке книгу «Дух этих господ» — первый обширный труд, посвященный разоблачению фашистской идеологии. Гюнтеру удалось показать в этом труде связь расизма, иррационализма, реакционного мифотворчества гитлеровских идеологов с интересами самых агрессивных элементов монополистического капитала. Книга, обращенная к широкому читателю (не только к прямым единомышленникам автора, но и к буржуазно-демократической интеллигенции), получила одобрительные отзывы Г. Манна, Л. Фейхтвангера. Она была роздана делегатам VII конгресса Коминтерна; к ней проявили живой интерес деятели антифашистского движения в разных странах Западной Европы. Иоганнес Р. Бехер писал осенью 1935 года из Парижа в Москву Вилли Бределю: «Я прямо изголодался по такому чтению. Книга для меня лично представляет большую ценность...»

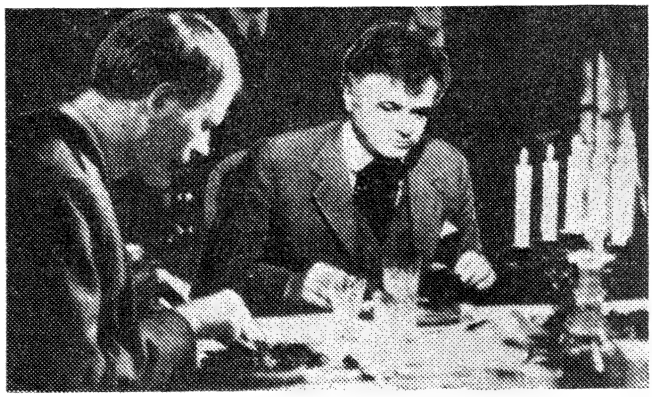
Помимо труда «Дух этих господ», сборник, вышедший в «Ауфбау», включает рассказ Г. Гюнтера «Дело против Бертрама» и его статьи и эссе. Часть их посвящена критике фашистской литературы и культурной политики («Писатели третьей империи», «Культурфашизм в поперечном разрезе»), в других речь идет о творчестве антифашистских писателей — Г. Манна, Л. Фейхтвангера, А. Шаррера, Бодо Узе, Я. Вассермана. Книга завершается обстоятельной статьей редакторов-составителей — Вернера Рёра и Симоны Барк.

Большую помощь составителям в подготовке книги к изданию оказала вдова Г. Гюнтера, литературовед, ветеран коммунистического движения Т. Рихтер, живущая в Лейпциге.

ТЕЛЕФИЛЬМ ПО РАССКАЗУ СТЕФАНА ХЕРМЛИНА

Телевидение ГДР показало фильм «Лейтенант Йорк фон Вартенбург»; в основу сценария, принадлежащего Эберхарду Гёрнеру, лег одноименный рассказ Стефана Хермлина, известный и советским читателям.

Герой рассказа лейтенант Петер Йорк фон Вартенбург — лицо историческое. Он был самым молодым из участников офицерского заговора против Гитлера, завершившегося неудачным покушением на его жизнь 20 июля 1944 года и варварской расправой фашистских властей с заговорщиками. Как и большинство казненных по этому делу, П. Йорк фон Вартенбург принадлежал к дворянско-офицерской касте; он был прямым потомком прусского генерала, который в декабре 1812 года, нарушив



На снимке: Александер Ланг и Дитрих Кёрнер в телевизионном фильме «Лейтенант Йорк фон Вартенбург».

(*Еженедельник «Зонntаг»*)

приказ своего короля, присоединился к русским войскам, сражавшимся против Наполеона.

Стефан Хермлин написал этот рассказ в 1944 году, находясь в эмиграции, под впечатлением известия о покушении 20 июля и о казни его участников. Основное содержание рассказа составляют видения, возникающие в сознании лейтенанта накануне казни. В мечтах он видит себя свободным, по-прежнему боеспособным — он убеждается в необходимости союза с военными противниками гитлеровского рейха, едет в Советский Союз, становится другом советского народа, с радостью воспринимает вести о близком крушении власти Гитлера. В этих мечтах отражается политическое прозрение юного офицера, его готовность бороться против фашизма на стороне трудового народа.

Новый телефильм, поставленный режиссером Петером Фогелем,— первая попытка перенесения прозы Стефана Хермлина на экран. Режиссеру удалось передать и общий трагический колорит рассказа, и высокую поэзию революционных надежд героя, так и оставшихся неосуществленными. Исполнитель главной роли Александер Ланг сумел показать духовное богатство героя. напряженность его поисков. Критики отмечают, что чередование картин реальности с фантастическими видениями поставило авторов фильма перед нелегкими задачами — временами действие воспринимается не без труда, требует от зрителя немалых усилий. Но в целом фильм оценивается рецензентами как достижение телевидения ГДР. По словам газеты «Нойес Дойчланд», этот фильм — «художественно удачная попытка проникновения в нашу историю. Он свидетельствует, что социалистическая телевизионная драматургия способна создать произведения большой поэтической силы».

ГРЕЦИЯ

ЕСЕНИН В ПЕРЕВОДАХ ЯННИСА РИЦОСА

Как сообщает газета «Ризоспастис», афинское издательство «Кедрос» выпустило в свет стихи Сергея Есенина в переводе известного греческого поэта Янниса Рицоса, лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», президента Общества дружбы «Греция — СССР». Греческий читатель впервые познакомился с замечательной лирикой С. Есенина, в частности, со стихами из сборников «Радуница», «Голубень», «Преображение», «Страна советская», «Персидские мотивы» и другие.

Яннис Рицос — давний и преданный друг советской страны, авторитетный знаток нашей литературы. Его перу принадлежат переводы стихов и поэм В. Маяковского, Т. Шевченко, И. Франко, А. Блока, И. Эренбурга и других поэтов. За перевод поэмы А. Блока «Двенадцать» в пятидесятые годы Я. Рицос подвергался преследованиям и даже привлекался к судебной ответственности. Реакционные власти усмотрели в поэме призыв к революционному перевороту в Греции.

Большой популярностью в Греции пользуется вышедшая в 1977 году пластинка «Двенадцать русских песен». «Коробейники», «Калинка», «Живет моя отрада», «Черный ворон», Ой, цветет калина» и другие песни зазвучали по-гречески благодаря Яннису Рицосу. «Работая над переводами этих песен,— рассказывает поэт, — стремясь передать глубину их содержания, чистоту и простоту русского народного стиха, я все время думал о Есенине. Очевидно потому, что Есенин в своем творчестве использовал многое, присущее подлинно народной поэзии. На мой взгляд, самая яркая, самая волнующая особенность есенинской лирики — любовь к родной земле. Это делает Есенина поэтом народным, истинно русским... Вот почему я решил познакомить нашего читателя с творчеством Есенина. Я считаю Есенина большим, выдающимся поэтом. Его значение, я уверен, будет расти год от года».

ИНДИЯ

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА

Индийская печать уделила большое внимание юбилею выдающегося прогрессивного поэта литературы урду Фирака Горакхпури (настоящее имя — Рагхупати Сахай) в связи с 85-летием со дня его рождения.

Литературе урду юбиляр отдал свыше шестидесяти лет своей жизни. Еще совсем молодым человеком вступил он на путь борьбы против чужеземного владычества — произошло это в 1920 году — и на протяжении более четверти века был ее активным участником, неоднократно подвергался арестам и тюремному заключению. И когда в 1936 году была создана Ассоциация прогрессивных писателей Индии, Фирак одним из первых встал под ее знамена.

«Фирак был не только связан с прогрессивным движением, — отмечается в статье, опубликованной в газете «Джан юг»,— но и являлся выдающимся его лидером. Проблемы войны и мира, национальной независимости, борьба вьетнамского народа, мировое революционное движение — все это находило отклик в гражданской лирике Фирака».

«Фирак поднял поэзию урду на небывалую высоту,— пишет автор статьи,— и секрет его успеха как мастера слова заключается в том, что, являясь подлинно новаторской, его лирика неразрывно связана с традициями, сложившимися в поэзии не только на языке урду, но и на хинди, на санскрите, на английском языке».

ИСПАНИЯ

«КРОВАВАЯ СВАДЬБА» НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Знаменитая пьеса Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба» — драма любви и смерти — легла в основу балета, поставленного известным испанским танцором и балетмейстером Антонио Гадесом. Он же подал идею экранизации этого балета кинорежиссеру Карлосу Сауре. «Фильм «Кровавая свадьба» — результат случайности,—сказал Саура в интервью, опубликованном в «Юманите»,— он не входил в мои планы. Когда Антонио

На снимке: кадр из фильма «Кровавая свадьба».

(Газета «Юманите».)

Гадес пригласил меня на свой балет и заговорил об его экранизации, я испугался, так как до сих пор ни один фильм-балет меня не устраивал: это театр, снятый бесстрастной камерой, которая только фиксирует. Я еще не смотрел самого балета, хотя он идет на сцене уже не менее пяти лет, но уже в репетиционном зале, который довольно точно воспроизведен в моей картине, я проникся той страстью, какую Гадес вкладывает в эту драму, силой его постижения людской психологии. Я всегда предпочитал репетиции готовому, «чистому» спектаклю. Я люблю быть рядом с танцорами, люблю видеть, как достигают они совершенства. Здесь, в репетиционном зале, я понял, что от меня требуется — передать с помощью камеры это творческое волнение. Мне нравится, как Гадес интерпретирует пьесу Лорки, и я очарован его уменьем воссоздать подлинную жизнь при всей условности балетных приемов».

ИТАЛИЯ

«ТРОЯНСКИЙ КОНЬ»

Как сообщила газета «Паэзе сера», около шести тысяч подписчиков получили первый номер нового литературного журнала с весьма «провокационным» названием «Троянский конь».

«История его создания,— рассказывает один из руководителей нового издания писатель Луиджи Малерба (его повесть «Сальто-мортале» опубликована в «Иностранной литературе» № 5 за 1976 год),— и любопытна, и грустна. Дело в том, что несколько лет назад писательский кооператив, куда входили многие крупные писатели (например, Кальвино, Вольпони, Арбазино, Дзаваттини), решил предпринять попытку — сколь дерзкую, столь и тщетную, как показало время,— проникнуть в «Бомпиани», в этот издательский колосс, контролируемый концерном ФИАТ, и «подорвать» его изнутри при помощи новой серии книг, которую мы и назвали «Троянский конь». Мы полагали — увы, наивно,— что издательство, привлеченное обилием крупных имен, предоставит нам необходимые средства и позволит публиковать в этой серии книги исключительно по нашему выбору.

К сожалению, очень быстро стало ясно, что перед логикой современного книжного рынка мы по-прежнему бессильны: ФИАТ не интересовала и не интересует литература как таковая. Вкладывая деньги в какое-либо издание, концерн стремится лишь к одному: в максимально короткие сроки получить максимально высокую прибыль. Понятно, что серьезный, да к тому же еще и остросоциальный, роман явно не отвечает этим целям. Наша инициатива была загублена, как говорится, на корню. Но название «Троянский конь» осталось, оно понравилось, объединило группу энтузиастов, решивших создать свой журнал.

Название, безусловно, обязывает, и мы мыслим это издание прежде всего как элемент своеобразного «провоцирования» в современном литературном процессе. Отсюда нацеленность в первую очередь на молодые имена, а также и на признанных авторов, но при условии, что они предлагают журналу то, что стоит особняком в их собственном творчестве, представляет собой определенный тип эксперимента.

«Троянский конь», таким образом,— это прежде всего «разведка» того нового, свежего, оригинального, что способна дать в наши дни литература, и знакомство с этим новым нашего читателя».

КУБА

III ФЕСТИВАЛЬ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО КИНО

С 4 по 13 декабря 1981 года в Гаване проходил фестиваль латиноамериканского кино, собравший кинематографистов, критиков и киноведов Латинской Америки, стран Карибского бассейна, а также представителей киноискусства «чиканос» — пуэрториканцев и кубинцев, живущих в США. На фестиваль прибыли гости из других стран, среди которых советский актер Донатас Банионис, известный аргентинский режиссер Фернандо Бирри, режиссер из США Аллан Франкович, швейцарский критик, президент Международной федерации кино Жан-Пьер Броссар и многие другие. В жюри конкурса вошли такие известные латиноамериканские кинематографисты, как кубинцы Сантьяго Альварес и Умберто Солас, бразилец Карлос Диэгес, колумбиец Карлос Альварес, мексиканка Берта Наварро.

На киносмотре было представлено 160 картин из 30 стран. Кроме традиционных премий и призов «Коралл», впервые присуждались также и премии режиссерам других регионов, создавшим свои фильмы на проблематике Латинской Америки.

По разряду художественных картин приз «Большой коралл» был присужден ленте бразильского режиссера Леона Ирцмана «Смокингов они не носят». Среди документальных картин высший приз был присужден ленте

На снимке: мексиканская актриса Мария Роха, лауреат премии «Коралл» за лучшее исполнение женской роли в фильме Хайме Умберто Эрмосилья «Мария моего сердца».

(Журнал «Боэмия».)

сальвадорских кинематографистов «Решимость победить». В жанре мультипликации призы «Коралл» были присуждены режиссерам Армандо Арсе (Венесуэла) и Мо Толедо (Бразилия).

Приз за лучшее исполнение женской роли был вручен мексиканской актрисе Марии Роха, исполнительнице главной роли в показанном на фестивале фильме «Мария моего сердца» режиссера Хайме Умберто Эрмосилья. За лучшее исполнение мужской роли награды был удостоен ее партнер по фильму — мексиканский актер Эктор Бонилья.

В рамках гаванского кинофестиваля были проведены дискуссии и семинары, касающиеся самых разных сторон современного киноискусства и современной культуры.

Выступавшие в дискуссии латиноамериканские критики говорили о влиянии кино на революционное движение на континенте, подчеркивали необходимость последовательного отстаивания революционных позиций в кинематографе, отмечали особую роль «авторского кино» Латинской Америки, бросающего вызов банальным схемам американской кинодраматургии.

СИРИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Э. ХАБИБИ НА СЦЕНЕ И НА ЭКРАНЕ

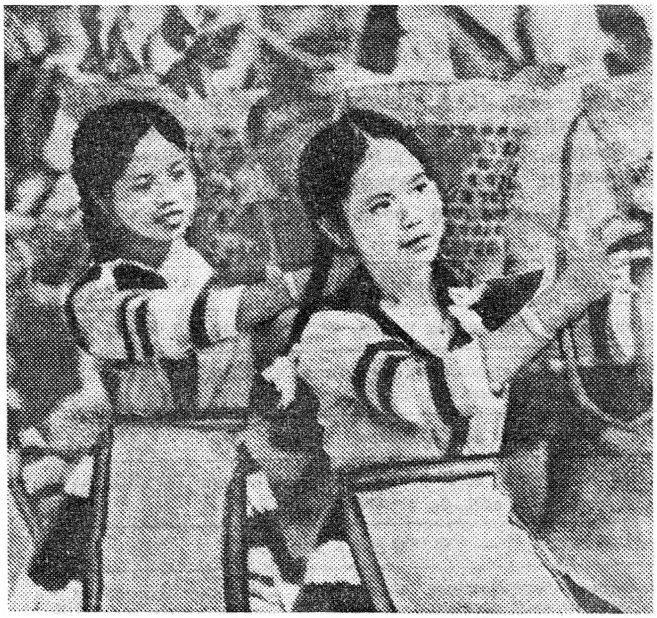
В театральном зале Всеобщей федерации рабочих профсоюзов Сирии в Дамаске, как сообщает газета «Аль-Иттихад», состоялась премьера пьесы «Лякаа Бен Лякаа» известного арабского писателя-коммуниста Эмиля Хабиби, живущего в Израиле. Пьеса поставлена сирийским самодеятельным театром «Аль-Мухтабар аль-масрахи». Режиссер спектакля — Валид аль-Куатли. Постановка пьесы «Лякаа Бен Лякаа», автор которой, используя легендарно-исторический сюжет, остро ставит проблемы современной жизни и борьбы арабских народов, получила высокую оценку на страницах журнала «Филастын ас-Саура» — органа Организации освобождения Палестины.

Генеральная организация кино Сирии, по сообщению газеты «Аль-Иттихад», в настоящее время снимает фильм по повести Эмиля Хабиби «Странные события, связанные с исчезновением Саида Абу ан-Нахса аль-Муташаиля». Это произведение Хабиби, представляющее собой сатиру на отдельных арабов, прислуживающих израильским властям, имело большой резонанс в арабских странах. (Повесть в переводе на русский язык помещена в сборнике «Пропасть терпения», вышедшем в издательстве «Молодая гвардия».)

ЛАОС

Кинематографисты Лаоса совместно со студией ДЕФА Германской Демократической Республики создали три документальных фильма — о жизни народа Лаоса, перед которым открылись широкие перспективы; о детях, которые получили возможность учиться; о развивающейся культуре, о природе страны.

На снимке: кадр из документального фильма «Самбайди — значит «добрый день»



США

ОРЕСТ И ЭЛЕКТРА В ВАШИНГТОНЕ

Вот уже на протяжении двух десятилетий Джойс Кэрол Оутс выпускает чуть ли не ежегодно новую книгу. Ныне на ее счету дюжина романов, более десятка сборников новелл, несколько сборников стихов, книги литературно-критических эссе. По мнению еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», феноменальная плодовитость Оутс — тут ее можно сравнить лишь с Дж. Апдайком и Н. Мейлером — стала причиной того, что ее очередное сочинение редко ожидается с таким нетерпением, как, к примеру, романы Дж. Барта, Дж. Хеллера или Т. Пинчона, которые «обречены стать литературной сенсацией». В случае с Оутс все обстоит куда проще: ее новый роман — это всегда только «следующая книга Оутс», которая «вряд ли может взбудоражить нас». И все же, подчеркивает еженедельник, средний читатель испытывает сильную тягу к таким романистам, как Диккенс, Бальзак, Толстой, Гарди, Джеймс, Фолкнер (этот список дополняет и имя Оутс), чьи многочисленные книги, порой повторяющие друг друга, создают целую литературную «страну». А «страна» художника — это как раз то, что так нравится читателю и что заставляет его с неизменным интересом вновь и вновь вступать в ее пределы, узнавая каждый раз что-то новое.

Вышедший в издательстве «Даттон» новый роман Оутс «Ангел света» — книга, добавляющая несколько штрихов к той яркой и многокрасочной картине, которая называется «страна Оутс». «Ангел света» — роман, жанр которого трудно определить однозначно. Это и политический, и философский роман. Это и романтическое повествование, исследующее корни человеческих страстей, и захватывающий «триллер» (так называют в США «романы ужасов»). В основе книги лежит сюжетная схема античного мифа об Атридах, повествующего об убийстве царя Агамемнона его женой Клитемнестрой и ее любовником Эгисфом и о мести детей Агамемнона — Ореста и Электры — за это убийство. В роли Агамемнона в рома-

не Оутс выступает крупный вашингтонский юрист Морис Хэллек, который оказывается замешанным в политическом скандале и кончает жизнь самоубийством. Воплощением мифологических Ореста и Электры становятся его дети: дочь Кирстен и сын Оуэн, убежденные в том, что их отец стал жертвой тайного заговора, что его самоубийство было инсценировано и что непосредственными убийцами были его жена Изабел и ее любовник...

Определяя главную мысль книги, рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» пишет, что Оутс утверждает здесь «невозможность справедливости в безнадежно больном обществе». Рецензент напоминает, «что «ангелом света» назывался герой поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай» — Люцифер. Современными «ангелами света» Оутс считает тех, кто хочет восстановить социальную справедливость террористическими средствами. Как показывает писательница, подобные «сатанинские» попытки обречены на поражение, ибо справедливость нельзя купить ценой пролитой крови невинных жертв.

Написанная в лучших традициях реалистического романа прошлого века, пишет в заключение рецензент, злободневная книга Оутс развенчивает идеалы «благородного» насилия и терроризма, ставшего весьма распространенным явлением в жизни нынешнего буржуазного общества.

ТУНИС

«ЧЕЛОВЕК, НЕ СКАЗАВШИЙ СВОЕГО СЛОВА»

Редакция журнала молодых тунисских писателей «Аль-Ахилля» опубликовала в качестве отдельного специального номера первый сборник рассказов новеллиста Али Саси под названием «Человек, не сказавший своего слова». Сборник содержит семнадцать коротких рассказов, тематика которых почерпнута автором из современной жизни Туниса.

Рецензент журнала «Аль-Фикр» отмечает актуальность и художественные достоинства рассказов Саси.

ФРГ

«ПОТЕРЯ»

Так называется новый роман Зигфрида Ленца, выпущенный гамбургским издательством «Гофман унд Кампе».

«Начиная с первой же фразы: «Это случилось с ним внезапно», книга захватывает читателя»,— пишет рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Вальтер Хинк. Зигфрид Ленц остался верен своей манере сразу же ставить героя в ситуацию трагическую, «пограничную». Экскурсовод Ульрих Мартенс, сопровождающий иностранцев по большому портовому городу (в нем без труда угадывается Гамбург, где живет Ленц), вдруг почувствовал себя плохо. С трудом он доводит экскурсию до конца, спешит к своей подруге Норе, и там его настигает инсульт. Частичный паралич сопровождается потерей речи — но это лишь одна из потерь, которые суждено испытать Ульриху.

Заглавие романа, по мнению критика, многозначно; указания на это есть и в самом тексте. «Потерять речь — значит потерять мир»,— говорит врач в неврологическом отделении клиники, куда попадает на лечение Мартенс. Тем более когда перед нами человек, для которого речь — повседневный рабочий инструмент, позволяющий ему оживлять историю и связывать ее с современностью.

Но едва ли не больше страшит его возможность другой потери: он боится потерять Нору. Она долго не навещает его в больнице, хотя Ульрих ее страстно ждет. Для него любовь Норы — вопрос жизни и смерти. С риском для себя Ульрих убегает из клиники, чтобы разыскать ее. Он вновь обретает возлюбленную, но заканчивается история жестоким рецидивом болезни. Остается неясно, поможет ли дальнейшее лечение и не стало ли воссоединение с Норой, по выражению критика, «всего лишь последним примиряющим жестом жизни».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
О. С. ВАСИЛЬЕВ (зам. главного редактора), **Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **С. И. Мухин.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 02.02.82. Подписано в печать 16.03.82. А 08124. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая, 16 п. л., 22,4 усл. п., уч-изд. л. 28,36

Тираж 449000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 445

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл., 5.

Калина Тасева (Болгария). Пейзаж

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394